Индекс 70327

ISSN 0321—1878

5

1991

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1991 ГОДА «ЗВЕЗДА» НАПЕЧАТАЕТ:

Повесть «ЧЕРЕЗ НЕМОГУ» Марины Рачко, смешная и горькая история из жизни современных эмигрантов: ленинградская семья привезла с собой в Америку столетнюю бабушку, плохо соображающую, что же творится на белом свете.

Повесть ленинградского прозаика Михаила Чулаки «ГАВРИЛИАДА», название которой напоминает об известном пушкинском творении, но содержание — о нашей запутанной действительности.

Книгу мемуаров недавно умершего в США прозаика Василия Яновского «ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ». В книге содержатся живые и емкие характеристики едва ли не всех ведущих деятелей отечественной культуры, живших в 30-х годах в Париже: Бердяева, Булгакова, Федотова, Мережковского, Гиппиус, Ходасевича, Георгия Иванова — представителей первой волны русской эмиграции.

Документальную книгу А. Антонова-Овсеенко о Берии «КАРЬЕРА ПАЛАЧА» (окончание).

Интервью Андрея Дмитриевича Сахарова.

Документальную книгу Виктора Френкеля о выдающемся советском физике Я. И. ФРЕНКЕЛЕ.

Исторический очерк Якова Гордина «ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ».

Повести и рассказы З. Журавлевой, Н. Катерли, М. Веллера, Р. Погодина, С. Вольфа, В. Ляленкова и др.

«ЭТЮДЫ О ЛЮБВИ» Ортеги-и-Гасет.

Сонеты и терцины Льва Карсавина.

Дневники Дмитрия Философова.

Письма Марины Цветаевой к Ариадне де Берг.

Письма Сергея Эфрона к Максимилиану Волошину.

А также статьи:

Виктора Гофмана «О ЛИРИКЕ МАНДЕЛЬШТАМА»;

Аркадия Белинкова «ПОЧЕМУ И КАК БЫЛ ОПУБЛИКОВАН „ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА“»;

Бориса Парамонова «НОЙ И ХАМЫ»;

Игоря Ефимова «ЖЕМЧУЖИНА СТРАДАНЬЯ»;

Петра Вайля и Александра Гениса о русской литературе XIX века.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

СССР

Звезда

5
май
1991

ЛЕНИНГРАД

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

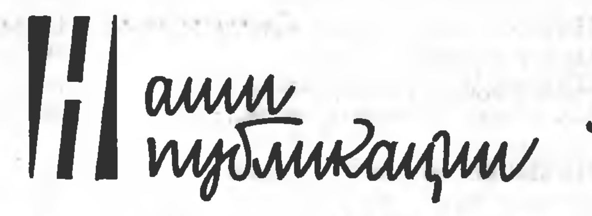
Учредитель: Союз писателей СССР **Издатель: редакция журнала «Звезда»**

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора — 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Сдано в набор 18.01.91. Подписано к печати 8.04.91. Формат 70×108 1/16. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 25,8 уч.-изд. л. Тираж 140 670 экз. Заказ № 767. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.



Владимир Щировский

(1909—1941)

И еще один поэт, узнаваемый через пятьдесят лет после гибели (благодаря А. Н. Доррер, сохранившей рукописи эти долгие десятилетия). Публикации в «Огоньке», «Новом мире», теперь вот в «Звезде». Подготовлен к печати в серии «Библиотека поэта» сборник «Поэты, павшие на Великой Отечественной войне», где стихи Владимира Щировского будут представлены максимально полно.

Сын сенатора, за соцпроисхождение «вычищенный» из университета, он успел поработать и сварщиком, и полковым писарем, и худруком в клубе, и дважды побывать под арестом. Отвергнутый Н. Тихоновым, обласканный М. Волошиным, переписывавшийся с Б. Пастернаком,— Щировский выглядит одиноким среди поэтов своего поколения. Его корни — в лирике предреволюционного десятилетия с ее широтой культурных ассоциаций, иронией, свободой и изысканностью поэтического жеста.

Герой классического романа признавался, что присутствие энтузиаста обдает его крещенским холодом. На фоне доминирующей социальной эйфории тридцатых годов Щировский был скептиком, точно и глубоко видевшим историческую реальность. «Хоть иную искали обитель мы, // Все же вынули мы ненароком // Жребий зваться страной удивительной, // Чаадаева злобным уроком»,— написано в трагическом тридцать седьмом.

Но все-таки он, главным образом,— поэт экзистенциальный. Лирический герой Щировского чувствует свою отчужденность от бесконечной, живущей по своим законам вселенной.

Вселенную я не облаплю.
Как ни грусти, как ни шути,
Я заключен в глухую каплю —
В другую каплю нет пути.

Нет пути в другую каплю человеческого существования. Не избавляет от одиночества и любовь. И конец человеческий лишь подчеркивает это беспредельное трагическое одиночество: он никого не потрясает, ничего не аргументирует, ничему не служит. И все же, вопреки очевидности, в лирике Щировского побеждает чувство неистребимости жизни, парадоксальное ощущение равнодушной природы, почему-то примиряющей с неизбежностью.

Лирика Щировского кажется мне связующим звеном между «серебряным веком» и теми поэтами-«метафизиками», которые объединились в пятидесятые годы вокруг А. А. Ахматовой.

Стихотворные клятвы в верности Родине, оказывается, вовсе не обязательны. Шедший в поэзии особым путем, Владимир Щировский в начале войны ушел на фронт и разделил общую судьбу «мальчиков сороковых годов».

Игорь Сухих

* * *

Вчера я умер, и меня
Старухи чинно обмывали,
Потом — толпа и в душном зале
Блистали капельки огня.

И было очень тошно мне
Взирать на смертный мой декорум,
Внимать безмерно глупым спорам
О некой божеской стране.

И становился страшным зал
От пенья, ладана и плача...
И если б мог, я б вам сказал,
Что смерть свершается иначе...

Но мчалось солнце, шла весна,
Звенели деньги, пели люди
И отходили от окна,
Случайно вспомнив о простуде.

Сквозь запотевшее стекло
Вбегал апрель крылатой ланью,
А в это время утекло
Мое посмертное сознанье.

И друг мой надевал пальто,
И день был светел, светел, светел...
И как я перешел в ничто —
Никто, конечно, не заметил.

1929
Харьков

* * *

Ю. Н. Райтлер

Горсовет, ларек, а дальше —
Возле церкви клуб.
В церкви — бывшей генеральши
Отпевают труп.
Стынет дохлая старуха,
Ни добра, ни зла.
По рукам мертвецким муха
Тихо проползла.
А у врат большого клуба
Пара тучных дев
Тянут молодо и грубо
Площадной напев:
«Мы на лодочке катались,
Золотой мой, золотой,
Не гребли, а целовались...»
«...Со святыми упокой...»

Церкви, клуба, жизни мимо
Прохожу я днесь.
Все легко, все повторимо,
Все привычно здесь.
Как же мне не умилиться,
Как же не всплакнуть,
Поглядев на эти лица
И на санный путь?

Ты прошла, о генеральша,
Ты идешь, народ,—
Дальше, дальше, дальше, дальше,
Дальше — все пройдет.
Дан томительный клубок нам,
Да святится нить...

Но зачем же руки к окнам
Рвутся — стекла бить?

1930

* * *

Быть может, это так и надо,
Изменится мой бренный вид
И комсомольская менада
Меня в объятья заключит.
И скажут про меня соседи:
«Он работящ, он парень свой!»
И в визге баб и в гуле меди
Я весь исчезну с головой.
Поверю, жалобно тупея
От чванных окончаний *изм*,
В убогую теодицею:
Безбожье, ленинизм, марксизм...
А может статься и другое:
Привязанность ко мне храня,
Сосед гражданственной рукою
Донос напишет на меня.

И, преодолевая робость,
Чуть ночь сомкнет свои края,
Ко мне придут содеять обыск
Три торопливых холуя.
От неприглядного разгрома
Посуды, книг, икон, белья
Пойду я улицей знакомой
К порогу нового жилья
В сопровождении солдата,
Зевающего во весь рот,
И все любимое когда-то
Сквозь память выступит, как пот.
Я вспомню маму, облик сада,
Где в древнем детстве я играл,
И молвлю, проходя в подвал:
«Быть может, это так и надо».

1932—1933

* * *

В балетной студии,
где пахнет, как в предбаннике,
Где слишком много света и тепла,
Где вьются незнакомые ботанике
Живых цветов громадные тела,

Где много раз не в шутку опозорены,
Но все ж на диво нам сохранены
Еще блистают ножки Терпсихорины
И на колетах блещут галуны;

Где стынет рукописная Коппелия,
Где грязное на пультах полотно,
Где кажется вершиной виноделия
Бесхитростное хлебное вино,

Где стойко плачут демоны ли, струны ли,
Где больше нет ни счастья, ни тоски,
Где что-то нам нездешнее подсунули,
Где все не так, где все не по-людски,—

В балетной студии, где дети перехвалены,
Где постоянно не хватает слов,—
Твоих ногтей банальные миндалины
Я за иное принимать готов.

И трудно шевелиться в гуще воздуха,
И ведьмы не скрывают ржавых кос,
И все живет без паузы, без роздыха,
Безвыходный, бессрочный микрокосм.

1939

ТАНЕЦ ДУШИ

А. Р.

В белых снежинках метелицы, в инее
Падающем, воротник пороша,
Став после смерти безвестной святынею,
Гибко и скромно танцует душа.

Не корифейкой, не гордою примою
В милом балете родимой зимы,
Веет душа дебютанткой незримою,
Райским придатком земной кутерьмы.

Ей, принесенной декабрьскою тучею,
В этом бесплодном немом бытии
Припоминаются разные случаи —
Трудно забыть похожденья свои.

Все — как женилась, шутила и плакала,
Злилась, старела, любила детей,—
Бред, лепетанье плохого оракула,
Быта похабней и неба пустей!..

Что перед этой случайной могилою
Ласки, беседы, победы, пиры?
Крепкое Нечто с нездешнею силою
Стукнуло, кинуло в тартарары.

В белом сугробе зияет расселина
И не припомнить ей скучную быль —
То ли была она где-то расстреляна,
То ли попала под автомобиль.

Надо ль ей было казаться столь тонкою,
К девам неверным спешить под луной,
Чтоб залететь ординарной душонкою
В кордебалет завирухи ночной!

Нет, и посмертной надежды не брошу я:
Будет Маруся идти из кино,
Мне вместе с предновогодней порошею
В очи ее залететь суждено!

1 января 1941

Публикация Л. Г. Чащиной

Валерий Попов

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ

Иностранный крем «После бритья» кончается как-то сразу. Наш — долго еще хлюпает, пузырится и выдает после долгого выжимания какие-то сопли. А этот — отпустит еще довольно сочную увеpeпную колбаску, и все — больше ни миллиграмма, сколько ни проси!.. Ну что ж — тут все по-другому... и главвое — другие запахи... вот, например, этот, в зелененьком флакончике... я отлил, завинтил... И вышел из ванной.

Гага, со слегка опухшими после сна, полуоткрытыми губками, с красноватыми вытаращенными глазками, стоял в дверях кухни, сдирая жестяную нашлепку с баночки пива. Я впервые в эту нашу встречу разглядел его, так сказать, без бутафории — он был такой же тоненький, в такой же белой футболочке и шортиках, как в пионерском лагере, где мы познакомились почти четверть века назад. Но тут был не лагерь — за окном был совершенно другой пейзаж: соседний дом уходил вдаль и ввысь широкими террасами, заросшими кустами, деревьями, гирляндами цветов.

— Так...— поводя тоненьким синеватым носиком, проговорил Гага.— Опять, падла, мазался моей «Кельнской водой»?

— А ты что — предпочел бы запах родного «Тройного»? — поинтересовался я.

Улыбаясь, мы смотрели друг на друга. Вдруг он быстро приложил палец к губам. Из спальни вышла Рената в махровом халате и, сдержанно поклонившись мне, не глядя на Гагулю, прошла в ванную.

...Дело в том, что мы вчера по случаю нашей с Гагой встречи слегка нарушили с ним режим — не только здешний, немецкий, но и наш, среднерусский.

Началось все довольно культурно: они встретили меня в аэропорту, с ходу радостно сообщив, что в самолете моем обнаружена бомба, которую, однако, удалось обезвредить... Ничего себе начало! Мы с Ренатушкой тут же слегка отметили это радостное событие в стеклянном баре (Гага был за рулем), потом мы вышли на автостоянку — на жару, яркий свет, в заграничную пахучую пестроту.

Потом мы приехали в их скромненькую квартирку, разделись до трусов (кроме, разумеется, Ренатушки) и сели на террасе, расположенной над ухоженным садиком.

Присутствие мое среди друзей, с которыми я без отрыва жил десять лет (с того года, как Ренатушка приехала на стажировку в наш университет), делало все вокруг каким-то понятным, знакомым, незаграничным... словно мы чудом прорвались в какой-то привилегированный, закрытого типа пансионат где-нибудь в Ялте или Зеленогорске и теперь наслаждаемся *привилегиями:* чистотой, ухоженностью, подстриженными кустами, солнцем и тишиной, копченой ветчиной и баночным пивом. Из своего скромного опыта зарубежных поездок я знал, что странное чувство *иной* жизни приходит не сразу и, как правило, внезапно, от какого-нибудь пустяка, привычно-незаметного для здешних и абсолютно убойного для тебя. Пока же прежнее мое, предотъездное, возбужденное состояние растягивалось, как резина, и сюда... Я радостно приглядывался, внюхивался, стараясь прорвать пелену, почувствовать, что я *прилетел.*

Валерий Георгиевич Попов (род. в 1939 г.) — прозаик. Окончил Ленинградский электротехнический институт и сценарный факультет ВГИКа. Автор книг «Нормальный ход», «Жизнь удалась», «Новая Шехерезада» и других. Живет в Ленинграде.

Потом, где-то на двенадцатой баночке пива, к Гагуле пришла роскошная идея: немедленно показать мне таиландский ресторан, расположенный прямо вот тут, в этом здании, поднимающемся террасами.

— Пойдем, Ренатушка? — вскакивая, произнес он.

Ренатушка, поджав губы, молчала.

— Но, Игор,— своим слегка гортанным голосом заговорила она.— Тебе же завтра целый день сидеть за рулем!

Я все понял.

— Да зачем? Неохота! Отлично же сидим! — миролюбиво сказал я.

Но Игорек уже занелся — уже вполне по-нашему, почти как в те черные дни, когда Рената, закончив стажировку, жила уже здесь, а его не отпускали даже на конференции, где бы он мог хотя бы встретиться с собственной женой. Но такие издевательства были тогда в порядке вещей — сейчас вроде нормально, но напряженка в душе осталась...

— Рената! — тряся перед своим изможденным детским личиком растопыренными ладошками, завопил Игорек.— Ты что, со своей обычной тупостью не понимаешь, что к нам наконец приехал наш любимый друг?

— Я не меньше тепя люплю Валеру,— волнуясь и слегка обнаруживая акцент, проговорила Рената.— И потому не хочу, чтопы из-за твоих трошаших рук он савтра погип!

— Ты знаешь, что я прекрасно вожу машину — в любом, кстати, состоянии! И все дорожные происшествия, которые с нами случались, происходили исключительно по твоей вине, из-за твоих идиотских советов, которые ты любишь давать под руку!

Игорек весь дрожал. Чувствовалось, что это давняя заноза в его сознании: полностью или не полностью владеет он сравнительно новой для него здешней жизнью — в частности, вождением машины.

— Но ты же знаешь, Игор,— мудро сдаваясь, проговорила она,— что я не могу с вами пойти сейчас в ресторан, я непременно — непременно, да? — должна готовиться к завтрашней лекции!

Игорек весело чмокнул ее в бледно-розовую щечку и убежал в комнату переодеваться. Мне вроде бы переодеваться было не надо — достаточно одеться — я и так был в лучшем... Игорек скоро появился в белых шортиках и футболочке, с черной кожаной сумочкой через плечо.

— Игор! — кротко проговорила она, кивая на сумку.— Зачем ты берешь *все* деньги? Я тоже очень рада приезду Валеры, но зачем ты берешь их все — ты же опять потеряешь сумку! Возьми сколько угодно — но все остальные лучше оставить!

Но в Гаге уже играло его казачье упрямство.

— Ты прекрасно знаешь, что сумку в прошлый раз я потерял по твоей вине, причем в Испании, а тут — два шага от дома!

Рената кротко вздохнула.

— Не беспокойся, Ренатушка, все будет в порядке! — солидно проговорил я.

— Но ты, надеюсь, придешь к нам? — слегка обиженно-отстраненно проговорил он.

— Хорошо. Если закончу работу — приду! — сказала она.

С чувством божественной легкости (при всей нашей любви к Ренатушке) мы сбежали по скромной мраморной лестнице и вышли на улицу.

В жарком слепящем свете я попытался оглядеться... в сущности — это были новостройки, мюнхенское Купчино, серые бетонные дома... на ближайшей стене, правда, был нарисован идиллический сельский пейзаж с рекламой пива «Пауланер». Мы быстро прошли через жару и слепящий свет и вошли в кондиционированные катакомбы под огромным террасовым домом — тут, увы, сходство с нашим Купчином кончалось — яркий подземный зал тут и там ответвлялся уютными тупичками: итальянский ресторан с приятно щиплющей нервы игрой мандолины... зеркально-роскошный салон модного парикмахера, крохотные пестрые магазинчики... Потом вдруг показались восточные миниатюрные пагоды, бронзовые страшные птицы, золотистые, в мудреных иероглифах, решетки... наш таиландский ресторан!.. Мы сели в плетеные кресла, вольготно расслабились, огляделись — откуда-то из таинственного полумрака чуть слышно доносилась медленная гортанная музыка.

Гага, вскочив, пошел помыть руки (я, не желая нарушать блаженного оцепенения, отказался). Вернулся он свежий, умытый, оживленный.

— Володьке позвонил — сейчас подгребет! — радостно сообщил он.

— Какой это Володька? — Я наморщил лоб.

— Ну... мой здешний приятель, художник,— ответил Игорек.— Сейчас я угощу тебя потрясающим напитком, который есть только тут... сейчас.— Он нетерпеливо огляделся.

Подошел, кротко улыбаясь, грациозно-хрупкий официант-таиландец в белой бобочке.

Гага, поглядывая в богатое — метр на метр — меню, долго разговаривал с ним по-немецки. Таиландец очень тихо что-то отвечал и в ответ почти на каждую фразу робко кланялся. Наконец, еще раз поклонившись, он отошел.

— Отлично! — хлопнув ладонью по меню, радостно сверкая глазами, воскликнул Гага.— Гляди...— Он повел пальцем по реестру.— Против некоторых блюд стоят восклицательные знаки, а вот — целых два. Это значит, что блюдо слишком экзотическое... с непривычки можно слегка ошалеть.

— Надеюсь — мы не заказали ничего такого? — поинтересовался я.

— Нет, нет... пока нет! Ничего такого, о чем бы ты раньше не знал... или, во всяком случае, не слыхал бы! — усмехнулся он.

— А напиток? Что за напиток мы будем пить? — уже заранее избалованный, уже почти капризно осведомился я.

— Сейчас... попробуй угадать! — оживленно потирая руки, проговорил он.

Тут, кланяясь, вышли из сумрака сразу три таиландца, поставили фарфоровую горелку с тихим, чуть вздрагивающим пламенем над ней, много баночек, видимо, с разными соусами, потом — бадью с торчащими из нее палочками. Я схватил одну из палочек, поднял ее — с нее, как тонкий полупрозрачный флажок, свисал ломтик мяса.

— Ну — тут разные экзотические виды мяса... ну там, лань, гималайский медведь, ягнятина... все! — Он нетерпеливо махнул рукой.— Осторожно подогреваешь на пламени, потом — в какой-нибудь соус — и ешь!

— В сыром виде? — вскричал я.

— Конечно! — Гага небрежно пожал плечом.

— Изобрази! — воскликнул я.

Он изобразил. Я последовал его примеру.

— С-с-с! Отлично! — просасывая через рот охлаждающий воздух, проговорил я.

Потом — таиландец поставил на стол графинчик с золотыми птицами.

Мы торопливо налили по рюмке и выпили: я выпил зажмурясь, сосредоточившись, дегустируя.

— Ну? — успокоив наконец дыхание, спросил Гага.

— Грушевка! — воскликнул я.

Точно такое — грушевый самогон — я пил две недели назад на Кубани.

— Да, точно... грушевая водка! — несколько разочарованно произнес Гага.

— Но — отличная штука... какой аромат! — Я зажмурился.— Ну и, ясное дело, качество значительно выше!

Удовлетворенный этим признанием, добродушно оттопырив губу, Гага налил по второй.

Потом появился Володя — плотный, слегка прихрамывающий, с черными усиками. Приподнявшись, я тряхнул ему руку. Лицо его показалось мне знакомо... но, наверное, в основном теми неуловимыми отличиями, которыми отмечается лицо всякого нашего соотечественника, оказавшегося на чужбине.

Наш разговор с Гагой к тому времени уже кипел, продвигался вперед странными рывками.

— Давай... Баптисты!.. Какая рифма?!

— Баб тискать!

— Точно! — Мы радостно захохотали.

— Давно не виделись-то? — поинтересовался Володя.

— Четыре года! — сказал Гага.— Думали — все! И тут — на тебе! И этот тип тут как тут! Приехал меня спаивать!

— Ну давай... чтобы еще не видеться, лет пять! — Мы радостно чокнулись.

— Как приятно наконец услышать родную ахинею! — довольный, сожмурился Володя.

— Да, тут мы — полные чемпионы! — самодовольно заметил Гага.

И действительно — ахинея удалась! После таиландского ресторана, где Гага безуспешно пытался склеить таиландку с маленькой балалаечкой, мы оказались в итальянском ресторане, потом — в испанском, где пели пазлью, и где я поимел от Гаги скандал за развязное пользование зубочисткой, и где потом — под ритмичные хлопки Вовы — мы исполняли огненный танец фламенко. Потом, уже без Володи, были в каком-то изысканном пристанище местной богемы, оформленном каким-то моднейшим дизайнером в виде сарая: неструганые скамейки, мятые вентиляционные трубы из светлого кровельного железа. Оборванные завсегдатаи, одетые почему-то почти по-зимнему. Но это уже мало занимало нас — мы, наконец, были уже в состоянии полного счастья, абсолютно слились... Ритмично рубя ладошками и как бы отталкивая друг друга от текста, радостно опережая: «Я знаю лучше!» — выкрикивали наше общее юношеское (назовем это так) стихотворение... Все теперь у нас было разное, но эти дурацкие стихи помнили на всей планете лишь мы вдвоем:

Пока не стар,
Идешь ты в бар,
Подобно человеку,
И смотришь на живой товар
По выбитому чеку.

Но ждет тебя здесь не любовь
(Иронию прости нам!):
Тут бьют тебя и в глаз, и в бровь
Мингрелец с осетином.

И вот, сдержав протяжный стон,
Не жив, но и не помер,
Ты ищешь в будке телефон
И набираешь номер!

К тебе на помощь мчится друг,
Уже втолкнувший в тачку
Почти без скручивания рук
Безумную гордячку.

И если не напьешься в пласт
И будет все в порядке —
Она тебе, возможно, даст
Свои погладить прядки.

И, лежа на ее груди
И локоном играя,
Ты Музе скажешь вдруг: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Дочитав, оборвав стихотворение одновременно, ноздря в ноздрю, мы с Гагой глянули друг на друга и радостно захохотали.

Естественно, что в момент нашего позднего прихода Ренатушка встретила нас в прихожей бледная, скорбно прижав руки к груди... И, естественно, сейчас, поутру, довольно чопорно с нами обращалась. Гага, повернув голову, посмотрел ей вслед. Судя по добродушно оттопыренной нижней губе и блеску глаз, он был доволен, что гулянье, редкое в его теперешней жизни, блистательно удалось.

Ренатушка вышла из ванной уже причесанная, свежая, подтянутая, как и положено молодой немке.

— Я все понимаю, Игор,— заговорила она.— Но скажи мне, зачем ты взял сумку с получкой — ведь ты же знал, что напьешься и потеряешь ее!

«Ну, во-первых, там была уже не вся получка...» — подумал я.

— Но ты же прекрасно знаешь, Рената,— слегка передразнивая занудливость ее тона, произнес Гага,— что сумку вернут: сколько раз я напивался и терял ее — и каждый раз приносили!

— Но зачем тебе нужно столько раз напрягать нашу социальную систему, вновь и вновь проверять ее честность! — взволнованно проговорила она.

— Но, мне кажется — это ей приятно! — вступил я.

Гага мне подмигнул.

— Ну что ты, Валера, тепер хочешь на завтрак? — уже весело и дружелюбно (вот жена!) обратилась ко мне Рената.

— Думаю — корочку хлеба за такое поведение! — радостно воскликнул я.

— Дай ему корочку хлеба... и йогурт... и сыр... и кофе свари! — уже вполне сварливо скомандовал хозяин.— В дорогу нам положи только питье: этому — пиво, мне — швепс! Жратвы не клади — купим что-нибудь по дороге!

Чисто химический приступ злобы бушевал в моем друге.

Потом мы спустились по лестнице в прохладный и сумрачный гараж под домом, подошли к машине... Гага сосредоточенно молчал — чувствовалось (и даже я проникся), что предстояло путешествие достаточно серьезное.

Мы поцеловали в разные щеки Ренатушку, положили сумки на заднее сиденье, сели сами на передние.

— Пристегни, Валера, тряпочку! — Рената, протянув руку, подняла с сиденья ремень страховки.

Я пристегнулся, утопил кнопочку возле стекла, блокирующую дверь,— так на моей памяти поступали все серьезные автомобилисты — поерзал, поудобней устраиваясь.

— Ну — спокойно, Рената! — Игорек поднял руку.— Вечером позвоню!

— С богом! — Рената взволнованно подняла руку.

По наклонному бетону мы подъехали к воротам, Гага нажал пальцем кнопку радиопульта, зажатого в руке, и ворота разъехались.

— Кстати...— Он достал темные очки, набросил на нос.— Кнопочку блокировочную вытащи! — тщательно выруливая по дорожкам, отрывисто произнес он.

— Пач-чему?!

— Я, кажется, сказал!

— Но у нас все ее втыкают! — Я взбунтовался.

— Но в Европе,— он слегка издевательски глянул на меня,— давно уже ее... никто не втыкает!
— Пач-чему?!
— При катастрофе... очень трудно... вытаскивать... з-э-з... тела,— сосредоточенно выруливая на дорогу, ответил он.
Сначала мы ехали почти как в аэропорт.
— Ты что — уже выкинуть меня хочешь? — сказал я.
— А что? — беззаботно откликнулся Гага.— Выпили — и хорош!
Настроение у нас было отличное — особенно у меня,— предстояло проехать по Германии, промчаться через пространства, в которых я не был никогда!
К счастью, у последней развилки, где желтела стрелка «Аэропорт», мы свернули не туда и помчались в другую сторону.
Мюнхен, знаменитый Мюнхен, что интересно, не производит впечатления города (кроме многокилометровой готической пешеходной зоны от вокзала до ратушной площади, набитой ресторанами и магазинами, где мы бушевали вчера). Чуть в сторону — заросли, луга, вдали какие-то домики и снова роща... потом вдруг, ни с того ни с сего — снова скопление огромных домов — параллелепипедов, машин, и снова — тишина.
— Да, самое трудное — это выбраться из города! — словно прочитав мои мысли, проговорил Гага.— Вроде бы кончился уже — и опять начинается!
И действительно, вроде бы шли уже перелески, и вдруг вздыбились стеклянные гиганты с надписями: «Банк», «Отель», на самом высоком параллелепипеде стояли белые буквы «Арабелла».
— Арабелла-парк,— кивнул Гага,— один из самых дорогих районов...
По красиво вымощенной площади шли толпы, многие из людей — в экзотических одеждах, бурнусах...
— Вон видишь... турки! Очень много турок у нас! — озабоченно произнес Гага.— А сейчас будет вообще аристократический район, но там, наоборот,— все тихо, скромно, чтобы толпы не привлекать. И, кроме того, как раз над этим районом самолеты взлетают и садятся... на дикие лишения приходится аристократам идти, чтобы хоть как-то отделиться от всех! — Гага усмехнулся.— Вообще, надо отметить,— уже лекционным тоном, словно перед своими студентами, заговорил он,— престижность района на Западе вовсе не связана с близостью к центру, можно проехать через совсем завальный район, и снова — блеск!
«Нет... у нас все идет строго по убывающей... по убивающей... да и центр-то еле теплится!» — с отчаянием подумал я.
Ну вот, вроде бы вырвались. Высокий мост над бесконечным разливом рельсов, два стеклянных гиганта по обеим сторонам моста, с мерседесовскими эмблемами — тонкими серебристыми колесиками — наверху... Машинная свора, словно почуяв свободу, нетерпеливо наддавала.
— Ну вот... а сейчас начинается! Автобан! — сладострастно проговорил Гага.
Машины почти бесшумно, но стремительно неслись в шесть рядов — три ряда с нами, три навстречу. Шоссе словно не существовало, не замечалось в своем гладком однообразии — только вился бесконечный, без разрывов и стыков, белый приподнятый рельс, разделяющий направления.
Незаметно возник дождь. Соседи, оставляя за собой вертикальные призраки-водоворотики, ушли вперед. Гага надбавил.
Мы вырвались из дождя на сухое. Пошли ровные, чуть холмистые, словно подстриженные, желтые поля и красноватые, как бы расчесанные пашни.
Изредка на каком-нибудь идиллическом холмике мелькал белый домик под черепичной крышей... именно редкостью своей они вызывали уважение: ведь один этот домик управляется с гигантским пространством!
На высоком плавном холме темнеет лес с четкой закругленной границей, словно свежеподстриженный под полубокс. Ни малейшего хлама! И не видно людей — словно все поддерживается само собой!
Вот мы влетели в аккуратненький городок — чистенький костел, высокий, весь из зеркального стекла универмаг, ресторанчик под тентом...
— Стоп! — хриплю я.— Дай хоть дыхнуть, глоток сделать!
— Не останавливаемся! — азартно произносит Гага и, стремительно вильнув рулем, выскакивает на одну из дорог на сложной шестиперстой развилке.— Ф-фу! Чуть не проскочил! — Он вытирает пот, не замедляя хода. Тут же с легким, но мощным дыханием нас нагоняет новая стая — держаться, держаться с ними, а если не выдерживаешь, надо, предупредительно помахав поднятой рукой, сойти на правую, более медленную полосу. Но Гага держится, закусив губу, со своим скромненьким «опель-пассатом» среди «мерседесов», «фордов» и «ягуаров».
— Сумасшедшие, тут все сумасшедшие! — тряся растопыренной левой ладошкой, возмущенно и восхищенно восклицает он.— Единственная в мире страна, где нет ограничения скорости!

И снова безумное однообразное жужжание. И такая игра у него — почти на целый день — два раза в неделю! Да — я его буквально не узнаю: избалованный академический мальчик, который падал в обморок даже в троллейбусе, и вдруг — такая работа!
От некоторого однообразия я задремываю, как мне кажется — всего на секунду, но когда вдруг резко, толчком просыпаюсь, вокруг — горы! По-немецки аккуратные, без излишнего нагромождения, но — горы!
— Ну и ну! — Я ошеломленно оглядываюсь по сторонам.— Ну ты и работу себе нашел! Ближе не было?!
— Подходящей не было! — лихо отвечает Гага.
Он уже уверенно, победно сворачивает на одну дорогу из трех, на одну из пяти, на одну из семи; тут уже плотно населенная зона — кругом дома, виллы, высокие виадуки,— надо на ходу разбираться. Вдруг, после особо лихого поворота — одна дорожка, безошибочно выбранная чуть ли не из пятнадцати,— и мы внезапно вылетаем на водный простор, окруженный на горизонте, по овалу, аккуратными горами с белыми домиками. Я застываю в изумлении, но Гага не отвлекается по сторонам, мы с ходу въезжаем внутрь какой-то огромной пристани, причаленной к берегу, громыхнув трапом, въезжаем в большой гулкий железный ангар, проезжаем через него и — как знать, если бы не цепь, преграждающая путь,— не съехали бы мы в воду? Но у самой цепи мы застываем как вкопанные. Гага вытирает пот. К нам, лавируя между другими машинами, устремляется черноусый красавец в голубой униформе. Гага протягивает ему через окошко ассигнацию, тот отрывает билет. Я с недоумением озираюсь по сторонам, назад, въезжают все новые машины...
— Паром, что ли? — наконец догадываюсь я.
Гага, довольный эффектом, благодушно кивает. Мы с двух сторон вылезаем из машины, по железному, с заклепками, гулкому трапу поднимаемся на просторную верхнюю палубу.
Паром медленно отплывает. По мере удаления все больше открывается и наш берег, уходящий вдаль и ввысь, с россыпями белых домиков в уютных долинах.
Приближается дальний берег.
Через десять минут паром мягко ткнулся в пристань, цепь перед нашим носом сняли, и машины, как голодные, рванулись вперед.
— Ну, может, немножко расслабимся? — оглядывая обступившие нас субтропики, сказал я.
— Сначала дела! — холодно произнес Гага.
Какой-то просто Железный Феликс!
Машина карабкалась по осыпающимся, чисто крымским улочкам-горушкам — только дома по сторонам были другие — шикарные виллы,— с завываньем — вверх, с уханьем — вниз!
— Кратчайшая дорога! — отрывисто выдохнув, счел нужным объяснить он.
— Ясно! — выдохнул я. Я тоже устал, хоть был исключительно зрителем, частично спящим.
Нас понесло вниз с горушки, и на этот же перекресточек с поперечной горушки ссыпался огромный сияющий «форд» — с отчаянным визгом тормозов мы остановились в полуметре друг от друга! Седой, жилистый, в белой бобочке владелец, застыв за тонированным коричневатым стеклом, впился взглядом в моего Гагу — и Гага не мигая уставился на него. Пауза накалялась. Ну, все! Я пригладил волосы. Сейчас монтировки из-под сидений — и в бой! Но пауза длилась, водители были неподвижны. Вдруг седой джентльмен широко улыбнулся, поднял у себя за тонированным стеклом руку и приветливо помахал. Должен отметить, что Гага ни на мгновение не отстал; когда я обернулся на него, он так же радостно улыбался и махал рукой. Ну и порядки! Наконец, насладившись лицезрением друг друга, оба резко и безоговорочно дали задний и багажниками вперед стали карабкаться обратно каждый в свою горушку. Казалось бы, тут достаточно и одному попятиться, чтобы другому проехать, но — кому? Вот вопрос! Конечно, если по-нашему, наш занюханный «пассат» должен был потесниться, чтоб уступить шикарному «мерседесу»,— об чем речь? Но тут, видимо, и речи не могло быть о чьем-то наглом преимуществе — тени этого не было! Чудная страна!
Надо признать, что соревнование в джентльменстве мы, конечно, проиграли и, еще раз, уже вдвоем, помахав чудесному старику, проехали. Ползанье по горкам продолжалось.
— Знакомый, что ли? — чтобы хоть как-то объяснить небывалую приветливость, поинтересовался я.
— С такими засранцами не знакомлюсь! — проворчал Гага.— Съезжает без сигнала!
— Но и ты же без сигнала!
— Просто порядок тут такой — всегда улыбаться, при любых осложнениях, и чем осложнение круче, тем улыбаться радостней!
— И правильно, я считаю!
— А тут все правильно! Можешь быть стопроцентно уверен, что, если ты ни в чем не виновен, тебя не накажут никогда!

— А у нас — запросто!
— Зато уж,— упрямо продолжил Гага,— если ты хоть что-то нарушил, можешь быть абсолютно уверен, что наказание неминуемо!
— Да... тоже не как у нас...
— И если пытаешься лукавить, финтить, вина твоя, в глазах общества, возрастает в сто раз!
— Сурово!
— Ты, может, слыхал — нашего премьера уже свалили почти за то, что он сказал — не полную правду! И скинут — будь уверен,— тут такие не нужны!
— Да-а-а...— неопределенно проговорил я.
— В самом начале еще... двух месяцев тут не прожил,— заговорил Гага, бросая машину вниз.— Выезжал я как-то из гаража... и чью-то машину легонько стукнул, у тротуара. Радостно оглянулся — никого! — и валить! Вечером приезжаю довольный домой и говорю Ренатушке: «Ты знаешь, я тут машину одну тюкнул — но удалось отвалить!» Понятное вроде по-нашему дело. Но только гляжу я — Ренатушка побледнела как смерть! «Когда это... было?» — еле-еле выговорила. «Утром, а что?» Она еще пуще побелела. Потом берет слабой рукой телефон, ставит передо мной: «Звони в полицию!» — «В полицию? Вот еще!» — «Умоляю тебя — если еще не поздно, звони!» — «Зачем — никто же не видел!» — «Звони! Ты погубишь (если уже не погубил) свою судьбу здесь! Тут человек, который обманул, сразу же вылетает изо всех порядочных сфер, тебя не фосьмут таже в торгофлю!» — «Но ведь совсем легонечко же тюкпул!» — «Звони!» — «Ну, дела!» Набираю номер полиции, меня там приветствуют, как именинника! «Как замечательно, что вы нам позвонили! Впрочем, мы ни на секунду и не сомневались, что вы порядочный человек! Впрочем (мимоходом, вскользь!), все ваши данные нам уже известны... Так что — замечательно! И если вас не затруднит, позвоните, не откладывая, владелице машины — она очень ждет вашего звонка, вот ее телефон». Звоню — та тоже безумно счастлива, что наши жизненные пути пересеклись. Ни тени упрека!
— Великолепно!
— Что — великолепно-то?! Ты бы так пожил!.. Сумку не потеряй — сразу же приносят!
Мы вскарабкались на еще одну горку и завернули в вырытые в горе темные бетонные катакомбы, подпираемые столбами,— чуть, опять же, не столкнувшись с выезжающим автомобилем, еле успели увильнуть — да, Гага молодец! — и заняли вроде бы тот единственный свободный от машин квадратик, с которого, видно, только что съехал тот автомобиль — блестело пролитое машинное масло. Мы наконец-то встали.
— Ну... все! — Гага утер рукавом счастливый пот, застыл в неподвижности.
— Что — все-то? — я огляделся.— Мчались столько часов через всю Германию, чтобы оказаться в этом погребе?! Надолго мы тут?!
— Ты что, не можешь посидеть?! — заорал Гага.— Провел бы ты шесть часов за рулем — я бы посмотрел!
— Ну ясно, ясно! — я дисциплинированно застыл.
Наконец Гага зашевелился, медленно вылез, я, во всем копируя его, вылез тоже медленно.
Мы, уже пешком, поднялись еще на горушку — перед нами открылась бескрайняя озерная гладь. Чуть в стороне, на самом верху стоял огромный стеклянный куб, опутанный толстыми отопительными трубами, сильно напоминающий котельную в Комарово...
— А что это за сарай? — поинтересовался я.
— Это наш университет! — сухо произнес Гага.
— А-а... понимаю... Постмодернизм!
— Ну, наконец-то ты начал кое-что понимать! — Нижняя губа его благодушно отмякла.— Вообще,— он улыбнулся,— если тебе, в том числе и здесь, будут что-то долго и сложно толковать, ты говори, после некоторой паузы: «Постмодернизм!» И никогда не ошибешься! И наоборот — будешь автоматически считаться очень умным и вдобавок очень смелым человеком! Усек?
— Усек!
Мы вошли в огромный холл, почему-то мощенный булыжником. По краям, у стеклянных стен, валялись очень грязные и потертые, но зато очень длинные диванные валики, скованные алюминиевыми цепями.
— А это что? — поинтересовался я.
— Это? — Гага кинул взгляд.— Диваны.— Он уже был крепко сосредоточен на чем-то на своем.— Так-так-так...— Он постучал карандашиком по зубам.— Так. Вроде бы должен тут еще получить какие-то деньги! — Он решительно направился к крохотному окошечку в стене, за которым вроде бы никого не было, но, тем не менее, сунув туда какую-то бумажку, тут же вынул увесистую пачечку ассигнаций, бросил в карман.
— Да... и гляжу... ты неплохо освоился тут!
— А хулиш! — лихо ответил он.

Мы быстро пошли по какому-то коридорчику, потом поднялись по какой-то лесенке, свернули, снова поднялись, потом спустились, пошли по коридорчику.
— Специально так сделано! — радостно, уже чувствуя себя дома, сообщил Гага.— В первое время часами искал свой кабинет!
— Ясно, постмодернизм.
Он солидно, как крупный уже ученый, кивнул. Что интересно — на всех этих лестничках и коридорчиках не было ни души.
— А зачем? — удивился Гага, когда я спросил.
— Ну — а если на лекциях моих так же будет?
— Не волнуйся! — зловеще проговорил он.
В одном, наверное, двадцатом коридорчике, ничем вроде бы не отличающемся от предыдущих, Гага вдруг достал ключ и вставил его в белоснежную дверь.
— Мы туда вообще? — засомневался я.
— Туда-а, туда-а! — Гага толкнул меня внутрь. Узкий белый пенал, освещенный люминесцентными лампами, с массой компьютеров, телексов, телефаксов, но в общем довольно пустынный. Я обернулся — на белой двери с этой стороны увидел свою фотографию, с толпой друзей.
— Это так! — Гага небрежно махнул рукой.
— Ну, ясно... чтобы не перепутать кабинет!
Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга.
— Ну, так как ты живешь? — усаживаясь в крутящееся кресло и почти официальным жестом предлагая мне такое же, произнес он.
— Как? Нормально — я же говорил!
— Ну, а дома как? — Он пытливо глядел на меня.
— Как дома может быть? Великолепно — как же еще?!
— А, помнится, ты говорил — хотел поднять семью... на недосягаемую для тебя высоту?
— А-а... не успел!
Я терпеливо смотрел на него: что еще?
— Ну — а материально ты сейчас как? — занудно спросил он.
Отыгрывается, сволочь, за трудную дорогу, сбрасывает стресс!
— Великолепно,— ответил я.
— Ну ясно — великолепно! — заскрипел он.— Видел я, как великолепно... был у тебя! Мебель типа «смирение паче гордости»!
— Ну — такая же мода как раз! — Я оглядел его кабинет.
— По-прежнему, значит, считаешь все, что происходит с тобой, колоссальным достижением своего ума?
— Ну — ясное дело! — Я оживился.
— Ну что ж, правильно! — Он солидно, по-профессорски уже, запыхтел трубочкой, кивнул.— Я говорил на последней конференции, что сейчас в литературе время нарциссов! — Он показал на какой-то сброшюрованный отчет.
— Нарциссов?
— Ну — считающих себя самыми великолепными.
— А-а-а...
— Ну хорошо — давай текст! — холодно произнес он, протягивая руку.
— Текст?
— Текст.
— Какой текст?
— Текст твоей завтрашней лекции!
— А-а-а... завтрашней лекции... а зачем?
— Студенты должны ознакомиться с ней... чтобы подготовить... свои возражения.— Он плотоядно улыбнулся.
— Ну... на.— Я вытащил из-за пазухи несколько листков, напечатанных на машинке.
Он раскурил трубочку, напустил дыма, накинул на тоненький носик огромные очки, стал внимательно прочитывать листок за листком, потом вернулся к началу, включил компьютер, стал настукивать на экран букву за буквой.
— Ну как? — взволнованно проговорил я.
— Вполне приличный текст,— сухо и отрывисто произнес он.
— Ну, слава богу! — Я откинулся на спинку кресла.
— Подожди, «слава богу» скажешь в конце! — с угрозой проговорил он.
Он долго молча стучал — я весь извертелся,— потом замедлил стук.
— Как это прикажешь понимать: «Гротеск является кратчайшим путем от страдания к его противоположности»? К чьей противоположности — страдания или гротеска?
— Страдания, ясное дело!
— Пример? — строго проговорил он.
— Ну... например... сижу я дома... Полный завал! Абсолютный! И у жены, и у дочери — полный ужас! И вдруг — раздается резкий звонок в дверь, входит незнакомая

волевая женщина, молча проходит в комнату, откидывает одеяла и начинает срывать с постелей наволочки, простыни, пододеяльники! «Простите, но в чем дело?» — робко пытаюсь у нее спросить. «Дело в том, что я по ошибке выдала вам чужое белье!» — «А... где наше, позвольте узнать?» — «Понятия не имею!» — гордо говорит. С огромным комом нашего белья идет к двери. «Откройте, пожалуйста!» — высокомерно приказывает. И вдруг все мы чувствуем, что нас вместо предполагаемых рыданий душит смех. Секунда — и все мы не выдерживаем, радостно хохочем! Женщина презрительно смотрит на нас: «Таким идиотам, как вы, вообще не надо белья выдавать!» Уходит. А мы не можем остановиться!.. Понятно? Страдание, неимоверно разрастаясь, не имея эстетического вкуса, перевешивает само себя, грохается в лужу! Плюс еще одна беда — и страдание переходят в хохот. Меняет полюсность! Вот так вот... Умно?

Гага молча кивнул и, снова повернувшись к клавишам, продолжал стучать.

— Так... а это — «Все проблемы возникают из-за ошибок»? Не слишком ли высокомерно?

— Нормально!

Гага застучал.

— Так — а это что за литературный прием у тебя: «...Газета гналась за грузовиком — видно, что-то хотела ему сообщить»? Не знаешь?

— Не знаю.

— Ну ладно... тебе завтра объяснят! — с угрозой произнес он и снова застучал.

Наконец он допечатал, долго сидел сгорбившись, вдумчиво попыхивая трубочкой,— я даже извелся.

— Ну, так и что? — Он поднял пытливые глаза.— По-прежнему, значит, отрицаешь социальность в литературе?

— Ну... примерно, да!

— Напрасно! Это сейчас очень модно! Большой бум!

— Знаю, ну и что? Как-то стыдно, понимаешь, говорить то, что все уже говорят! Разрешенная смелость! «То, что общеизвестно,— то уже неверно!» Слыхал?! «Смелый писатель — это тот, кто смело говорит людям то, что они и сами давно знают». Это уже мое... Вот как, скажем, принято сейчас: ругай милицию, всяких администраторов... и все в порядке будет у тебя! А мне почему-то стыдно! Понимаю — отличнейший момент, бешеную карьеру можно сделать, и именно, наверно, поэтому — не могу! Недавно иду по одной площади, ну, там толковище, как сейчас везде... И по тротуару мимо меня идет мильтон с рацией в руке. И что, ты думаешь, он в эту рацию бубнит? «Внимание, внимание!.. Купил расческу, следую домой!.. Внимание, внимание! Купил расческу, следую домой!»

— Та-ак! А может, это шифр какой-нибудь? — усомнился Гага.

— Да нет, не думаю. Закончил связь — вытащил из кармана расческу, некоторое время любовался ею, начал причесываться!

— Ну ясно.— Гага помолчал.— А потом этот же мильтон дубинкой тебя жахнет по башке — будешь знать!

— То — в другой уже момент! Или, скажем: недавно прорывались мы в ресторан, ну — как всегда — с унижениями, страданиями, прорвались наконец! И — гардеробщика теперь нет! Минут двадцать ждали его! И вот появляется — седой старичок, утирает губы... ясное дело, видит нас... Но, как бы не видя нас, перекладывая какие-то тряпочки — «Поку-шали, поку-шали!» — напевает как бы про себя. То есть как бы извиняется, но — просит его понять... Колоссально понравилось! Вот что слышать надо... что давно уже никто не слышит! А классово подходить... Хватит! Подходили уже! — Я разволновался.

— Ну — а как же надо подходить?

— Художественно! — ответил я.

Гага удовлетворенно кивнул — видно, это совпадало и с его соображениями, но все же подколол:

— Не хочешь, значит? Ну-ну, смотри! А то тут недавно был один из ваших — так тот все нес! Жирно, слоями! Немало капусты нарубил! Купил джинсы, джип, джус... что-то там еще. Компьютер, машинку, стиральную машину... Самолет еле взлетел!

— Но ведь страшно же на таком самолете!

— Ну, ну... смотри! Ладно — как ты работаешь, это я своим балбесам более-менее объяснил. А вот как ты живешь — будут вопросы. Писать как угодно можно — свобода творчества! А вот как жить хорошо — вот будет к тебе вопрос! — Он откинулся.— Как плохо у вас живут — это все понимают, а вот как хорошо — это непонятно!

— Рассказать?..

— Ну давай...— Он снова включил аппаратуру.

— Ну...— Я сосредоточился.— Недавно был я в Москве. На одном крупном, заметь, собрании. Догадываешься?

— Догадываюсь.

— В гостинице «Россия», между прочим, рядом с ЦК!

— Поздравляю!

— Ну, это не суть. Главное — так сложилось, что на один день всего меня поселили!

— И то огромное счастье!

— Конечно... Но дело не в этом... Сосед! Номер двухместный, естественно, других не дают.

— Естественно,— усмехнулся он.

— Но я прежде времени духом падать не стал — надо посмотреть. Захожу в номер — человек еще спит. Раннее утро... Я пока что скромно побрился... Наконец он встает. Я радостно приветствую его. Позавтракали, грубо говоря, разговорились — мол, то да се... Он о своих проблемах мне рассказал: мол, третий уже месяц в этом номере живет, сильно устал и все никак не может билет к себе домой, обратно в Каракалпакию, достать. Так бы, говорит, еще месяц-другой пожил бы с удовольствием, но надо бы все же хоть какую-то надежду иметь — жену увидеть, детей! «Ну что же,— скромно говорю,— постараюсь тебе помочь».

— Что-то плохо себе представляю, как ты *скромно* говоришь! — встрял Гага.

— Ну, неважно,— скромно продолжал я.— Короче — сел за телефон, позвонил кое-куда, говорю ему: «Есть тебе билет!» Радостно вскинулся: «Через месяц?» — «Почему же через месяц? — говорю.— На сегодня билет!» Сначала он, конечно, зубами заскрипел. Потом образумился: «Ну, спасибо тебе! Большое дело ты сделал — семью спас! Что я должен сделать для тебя?!» — «Что значит — должен? — говорю.— Ничего ты не должен! Садись, поезжай!.. У тебя, кстати, за сегодня заплачено?» — «За сегодня,— говорит,— как раз заплачено, а что?» — «Можешь ты этим шакалам не говорить, что сегодня съезжаешь?» — «Как?» — «Так. У тебя много вещей?» — «Да какие там вещи! — отмахнулся.— Одна сумка с бриллиантами — и все!» — «А большая,— спрашиваю,— сумка-то у тебя?» — «Ай, да какая большая, маленькая совсем!» — «Так не можешь ли ты,— говорю,— небрежно так перекинуть свою маленькую сумочку через плечо, непринужденно выйти из гостиницы, как бы на прогулку, и уехать в аэропорт?» — «Так...— взволнованно вытер пот.— А разыскивать меня не будут?!» — «За что?!» — «За это!» — «Но у тебя же заплачено за сегодня, а завтра — за что же платить, тебя же не будет?!» Долго напряженно на меня смотрел, пытался понять — в какую еще авантюру я втягиваю его? Потом понял все, наконец радостно захохотал: «Один хочешь остаться?! Понимаю!» — хлопнул по плечу. «Да, надо тут кое-что обдумать»,— скромно так говорю. «Понял!» — закричал. И пока алмазы свои, раскиданные по всему номеру, собирал, время от времени поглядывал на меня, подмигивал так, что стекла дребезжали. Собрался наконец, подмигнул, палец к губам приложил — и на цыпочках вышел. Хотел я крикнуть ему, что на цыпочках как раз не стоило выходить, но поленялся крикнуть... и обошлось!

— Короче!

— Ну, а дело все в том, что надо было мне... в этот единственный день... принять в номере моем ровно десять... э-э-э... человек!

— Молодец!

— Но дело в том, что по новым нашим правилам за номером две тысячи пятьсот шесть, принятым тридцать седьмого мартобря две тысячи первого года, для того, чтобы... э-э-э... гостю в гостиницу пройти, требуется теперь огромнейшее число документов, справок, постановлений. И сидят, радуются — думают, никто не пройдет! И ошибаются! Звоню первому... э-э-э... человеку... «Зайдешь?» Радостно говорит: «О чем речь?» — «Ну, только захвати,— говорю,— там документы, постановления...» — «Ну ясно, конечно!» Короче — через пятнадцать минут заходим с... человеком этим в бюро пропусков: мегеры сидят. Штат мегер. «А паспорт есть?» — ехидно спрашивают. «Ну конечно же, как же можно без паспорта!» — «А метрика?» — «Ну конечно, конечно!» — «А справка о прививках?» — «Ну разумеется! Как же можно из дома вообще без этой справки выходить?» — «А постановление исполкома?» — «Разумеется!» В конце концов, пришлось мегерам выписать-таки пропуск! Минут через сорок — снова прихожу: «Вот — оформите, пожалуйста,— ко мне гость».— «А-а... паспорт есть?» — «Ну разумеется!» — «А...» — «Вот, пожалуйста!» — «А-а-а...» — «Пожалуйста!» Короче, все десять... э-э-э... человек ко мне в этот день благополучно прошли... и у каждого, ясно, все справки. Мегеры к концу дня частично поседели!

— Ну и к чему ты это рассказал?!

— Ну... к тому, что не так уж трудно у нас победить! Сила-то есть!

— Да-а... сила у тебя есть! — Гага двусмысленно усмехнулся.

Мы помолчали.

— Ну, все... А теперь — в пивную!

— В пивную? Нет! В пивной ресторан! — ликующе воскликнул он.

Мы мгновенно промчались через лестнички, коридорчики, выскочили на волю.

— На машине? — Я рванулся в ту степь.

— Нет уж! На автобусе, представь себе.

— Нашел чем испугать!

Мы пошли на остановку — белоснежный навес!

— Ну... скоро?

Не успел Гага ответить, подкатил шикарный автобус, открыл дверцы.

— Постой! — Я схватил вдруг Гагу за лямочки шортиков.— Не поедем на этом!
Автобус вежливо некоторое время ждал, потом сложил свои аккуратные дверцы и уехал.
— Ты что — с ума сошел от перенапряжения?! — вырвавшись наконец от меня, яростно зашипел Гага.— Чем тебе автобус-то не понравился?!
— Да понимаешь...— Я замялся.— Как-то в нем... хорошеньких было мало... Раз уж я с такими трудностями приехал к тебе, то хочется, чтобы в автобусе... были хорошенькие!
— Идиот! — Гага затряс своими ладошками перед личиком.— Хорошеньких ему подавай! Да кто ты такой? Да у нас... министры... не требуют такого! Избалован ты, просто... непонятно чем! — Он возмущенно умолк.
— Да, согласен... я избалован... но исключительно самим собой,— миролюбиво согласился я.
— Ну вот,— тоже остывая, проговорил Гага, подходя к расписанию,— теперь из-за твоего идиотизма торчи здесь... Следующий черт знает когда — через сорок минут!
— Ничего, может, еще раньше придет!
— Не придет, понимаешь — не придет! Здесь страна осмысленная, если написано — через сорок...
Из-за поворота появился автобус... Гага задохнулся от ярости! Вот этот автобус был подходящий — хорошеньких полно!
— Стоило этому идиоту приехать,— ворчал Гага, поднимаясь в салон,— как моментально поломал все, даже расписание! Знаешь, ты кто? Говорящая ветчина!
— А ты — Хорь и Калиныч, в одном лице!
— Ну все... выходи!
— Драться, к сожалению, не могу — слишком шикарно одет.
— Выходи, говорят тебе! — Гага выпихнул меня из автобуса.
— Жалко.— Я поглядел вслед автобусу.— Там одна отчаянно клеилась! — Я вздохнул.
— Уверен — она на тебя с испугом смотрела!
— Думаешь, как в романсе: «Ты с ужасом глядела на меня»?
— Нет такого романса,— проворчал Гага.
Мы свернули в какой-то сад.
— Куда это мы? — возмутился я.— Не туда!
— Туда-а, туда-а! — усмехаясь, произнес Гага.
И действительно, под раскидистыми пахучими деревьями я разглядел тяжелые, накрытые скатертями столы, могучие стулья. На них сидели люди, пили пиво и ели.
— Биргартен... Пивной сад!
— Понимаю! — воскликнул я.
После короткого разговора, который я частично уже понимал, официант принес много-много разноцветных сегментов сыра на деревянной доске, шершавые соленые «палочки» в бумажном стаканчике, потом — что-то шипящее на сковороде. Наконец принесли и пиво.
— Ну! — Мы стукнулись тяжелыми кружками.
— Та-ак! — проговорил он.— Завтра мои ребятушки... орлятушки мои... раскатают твой докладик... по бревнышку! — Он сладострастно хлебнул.
— Отлично! — воскликнул я.
Несли уже седьмую, восьмую закусь!
Потом я уже сидел расслабленно, привольно облокотившись на удобную — как раз под мышку — ограду сада.
— Вот ты говоришь,— лениво, уже не зная, к чему придраться, заговорил я.— ...Вот ты говоришь — демократия, Европарламент... А вон — стоит прямо посреди улицы полицейский — не скрою, правда, первый, которого вижу за все время,— но стоит посреди улицы — и останавливает некоторые машины! И документы в них проверяет! Это как?!
— Граница, старик,— кинув туда спокойный взгляд, равнодушно сказал Гага и тут же пожалел о сказанном.
— Граница?! — Я вскочил, перегнулся, как мог, через ограду и стал вглядываться туда.— С кем?! — Я повернулся к Гаге.
— Ну, со Швейцарией...— неохотно ответил он.— Я ж говорил тебе — тут вся Европа сошлась...
— Со Швейцарией?! — Я еще больше перевесился через забор. Улица уходила за границу абсолютно спокойно!
— Сразу видно — человек оттуда! — заворчал Гага.— Сколько границ уже пересек — и все ему мало, подавай еще одну!
— А нельзя?! — Я встрепенулся.
— Сложно,— подумав, проворчал он.
— А помнишь — как ты ко мне, когда я в Венгрии был, из Австрии прорвался?!
— Ну — я тогда молодой... к тому же пьяный был.
— А сейчас? Слабо?!

— Ну все... ты мне надоел! — Он со стуком поставил кружку, подозвал официанта, что-то ему сказал. Мы встали.
— Что ты ему сказал?
— Чтобы пока не убирал — скоро вернемся.
— Скоро?!
Он не отвечал. Мы быстро, резко сели в автобус — тут уже я не ерепенился,— проехали несколько остановок, абсолютно в другую сторону, потом вдруг сели в вагончик, оказавшийся фуникулером,— он поволок нас над обрывами, пропастями.
— Куда же так высоко?!
— Альпы, старик,— отрывисто сообщил он.
— Ясно.
Мы вышли на обдуваемой ветром площадке, окруженной со всех сторон пространством. Чуть в стороне стояла деревянная кабинка с двумя как бы подвешенными жесткими сиденьицами и — широко раскинутыми крыльями!
— Плаиер, что ли? — дрогнувшим голосом спросил я.
Гага зловеще кивнул. Мы подошли, сели в креслица... Ух!
Старушка-билетерша получила денежки, как-то по-славянски перекрестила нас... и отцепила. Грохот, сотрясение, резкий ветер, потом — глухой удар, словно обрывающий жизнь,— и небытие: тишина, неподвижность. Я открыл наконец глаза — кораблик внизу, на глади, был как игрушечный.
— Высота? — деловито осведомился я.
— Метров четыреста,— глухо (уши заложило) донеслось до меня.— Что — не любишь?!
— Ну почему?!
— Вон видишь... беленький домик на мысу? — Гага, выпростав ручку, показал.— Италия, старик! — радостно выкрикнул он.

ОТПЕВАНИЕ

Я дал стюарду в голубой безрукавке мой билет, он стал стучать по клавишам компьютера, компьютер прерывисто запищал, и я увидел на экранчике зеленые цифры, номер билета и мою фамилию латинскими буквами. Потом стюард улыбаясь протянул мне билет и показал волосатой рукой — проходите!
Я сел в зальчике, абсолютно один — единственный среди стульев, и стал с тоской озираться. Местечко было довольно унылое — таким, наверное, и должно быть место, в котором человек ожидает перелета из одного мира в другой. Никаких уже примет — ни еще этого мира, ни уже того — только круглые часы с ободком на белой стене — я все. Я вдруг внезапно вспомнил, что там, куда я лечу, местечко это называется «накопитель», и почему-то приуныл еще больше. Ага — одно утешение все-таки есть: на сетчатых полочках у дальних стульев были навалены серебристые пухлые пакетики с красной надписью «Снэк». Как-то в перелетах по миру, сидя в «накопителях», и перестаешь постоянно замечать эти «снэки» — всюду они лежат, но теперь-то, я вспомнил, мне лететь туда, где эти «снэки» — парочка ломтей ветчины, кусочек ананаса, картонный пакетик фруктового йогурта, баночка сока — могут стать желанным сувениром,— я с небрежным видом (я и брал их всегда так, но сейчас — подчеркнуто небрежно) взял парочку «снэков» и кинул их в «атташе-кейс».
Интересно, понял стюард, что я русский, а живу здесь, а паспорт советский, а живу здесь, а паспорт советский, а живу давно здесь, а лечу туда на один день, понял он — или ему это абсолютно, как говорят у нас, до фонаря?
Появилась японка, ведя мальчика с загипсованной ногой и костыликом. Видно, летели они к какому-нибудь знаменитому русскому хирургу в надежде на исцеление — и я не сомневался, что японского мальчика он блестяще исцелит, и об этом с восторгом напишут

газеты всего мира — что вот, мол, японка с мальчиком облетела весь мир, и лишь советский хирург его исцелил! У нас это умеют! Почему не исцелить? Вот исцелить советского мальчика — это уже значительно сложнее! А японского — почему не исцелить? Видимо, в предчувствиях чудесного исцеления мальчик-японпик духарился, не сидел на месте, прыгал весело по проходу, опираясь на свой маленький, красивый, ярко-желтый костылик,— у нас такого предмета даже и представить нельзя. Я любовался сверкающим костыликом, хотя ничего особенно приятного, если глубже вдуматься, в нем не было.

Слегка запыхавшись, вошли двое командировочных, сразу видать — наших, до последней секунды шастали по магазинам — когда-то доведется еще? Они были в одинаковых кожаных пиджаках и с одинаковыми, упакованными в чехлы, «видиками». Съездили удачно! Судя по отрывкам беседы, а также по виду — технари, причем, похоже, довольно крупные — лица у обоих толковые и уверенные.

Где-то что-то проговорил голос, и все рванули на посадку. Здесь оно так — соображать надо мгновенно, на ходу ориентироваться в сплетенье эскалаторов и коридоров. Как пишут у нас: жестокий мир! Я поспевал за командировочными, мальчик на костылике весело ускакал далеко вперед.

И вот я увидел нашу стальную птицу — и сразу что-то перевернулось в моей душе. Рейс был «аэрофлотовский». Меж кресел сновали удивительно надменные наши стюардессы: они с ответственным рейсом прибыли на Запад, им было чем гордиться — но для меня-то как раз это была встреча с Востоком: узкий проход, еле протискиваешься, тесные обшарпанные кресла. С тоской я вдохнул запах пыли. Горделивость стюардесс выглядела смешно.

— Так где... мое место? — обращение по-русски их не расположило, скорее — наоборот.

— На свободное! — даже не глянув на меня, проговорила одна и стремительно прошествовала куда-то. Да, желающих лететь было немного — всего пятеро, и это вызывало у стюардесс дополнительную ярость.

Живя за границей уже три года, я впервые заплакал о Родине не тогда, когда увидел западные улицы и витрины, а когда вдруг случайно в пивной увидел, как полицейские обращаются с напившимися. Вежливо, дружелюбно, с шутками они довели пьяного до его машины, усадили, один из полицейских сел за руль, спросил адрес... Может быть такое у нас?! Тогда я впервые вдруг почувствовал слезы!

...Поземка в Ленинграде залетала прямо в аэропорт — там, где в аэропортах всего мира расхаживают пассажиры в белых рубашках, тут зябко кутались люди непонятного возраста и пола.

— А где это — Охтинское кладбище? — недовольно спросил шофер.

Он явно ожидал, что пассажир с иностранной сумкой закажет что-нибудь поинтереснее — отель, бар, а тут какое-то кладбище.

— Но Охту знаете?

— Охту? А, да!

Явно медленно и неохотно мы двинулись. Это тоже чисто наше, родное: исполнение работы с демонстративной, подчеркнутой неохотой!

В темноте под ногами что-то хлюпало и переливалось.

— Чего там у тебя — вода, что ли? — поджимая ноги, спросил я.

— Да нет... то не вода... кислота,— также медленно и неохотно, как вел машину, он и отвечал. Я поднял ноги еще выше.

Господи! Чего только за это время не настроили там! А тут — все те же унылые, обшарпанные домишки! О-о!

Мы переехали Охтинский мост, свернули — и вот маленькая голубенькая церковка, и я словно бы попадаю в сон — одновременно со мной, хлопая дверцами, вылезают на солнышко мои любимые друзья — и Шура, и Слава, и Дима, и Серега... Только вот Саня уже не вылезет!

— Ну — как международный рейс? — насмешливо (такой установился тон) спрашивает Слава.

— Недурственно, недурственно! — подыгрывая ему, величественно произношу я.

Мы обнимаемся все вместе, стучимся, по дурацкому нашему обычаю, головами — так что выступают слезы, хотя они и без этого могут выступить!

— Ленка в церкви уже... договаривается,— подходя к нам и пожимая мне руку, произносит Андрей.

— Ну как она? — задаю я положенный, но нелепый вопрос.

Андрей пожимает плечом. Что тут еще можно ответить?!

Хрустя начинающими оттаивать лужами, мы идем туда. Внутри церквушка маленькая, темноватая, какая-то домашняя — низкий потолок. Сразу в нескольких местах кучно горят свечи, пахнет воском, язычки качаются, проходят волны. Ленка стоит с тоненькой свечкой в руке, губы ее дрожат. Я подхожу, прижимаюсь к ней щекой. Она поворачивается, кивает, прерывисто вздыхает. Подходят остальные — как-то здороваться шумно, тем более — за руку, здесь неловко, все обмениваются кивками и замолкают.

Потом находится выход из тяжелой неподвижности — сперва один, а за ним все остальные подходят к конторке в углу, покупают свечи, зажигают их от других свечей, возвращаются к иконостасу. Это действие как-то слегка взбодрило всех — начались тихие переговоры. Грустные подробности — для тех, кто еще их не знает: Сани уже нет, а урны еще нет, будет через неделю. По щеке Лены катится слеза, она шумно хлюпает носом. И снова тишина.

Наконец, энергично, и я бы сказал, вкусно хрустя половицами, к нам подходит молодой, красивый, огромный священник с черной бородкой и в черной рясе, с крестом на груди. Он явно в хорошем настроении — сейчас он ходил куда-то по воздуху, с кем-то приятно поговорил — ноздри его продолжают еще играть от каких-то приятных воспоминаний.

— Платите в кассу! — говорит он Лене, взмахивая рукой.

— Мы ведь уже платили! — выходя вперед, заявляет Андрей.

— Тогда, наверное, ему надо ленточку на лоб! — священник слегка нетерпеливо проводит через свой лоб двумя перстами.

— Так ведь... нет уже его! — виновато улыбаясь, произносит Лена.

— А, да?.. Тогда сейчас! — он уходит в свою подсобку. Мы тихо бродим по церкви, разглядываем иконы, с некоторым удивлением смотрим на какие-то странные длинные сундуки, покрытые клеенкой,— они стоят по стенам вдоль окон и придают залу — с обычными окнами, с обычными потолками — какую-то еще большую домашность. К батюшке в подсобку приходит еще один красавец, одетый ярко и аляповато, как самый «крутой мажор». О чем-то они там глухо и весело говорят, и наш благочинный гогочет, как бешеный конь. Наконец, с веселыми чертиками в глазах он выходит к нам, берет в руку красивое паникадило и, размахивая им, начинает читать заупокойную службу — сначала мы лишь из вежливости стоим — не дышим, расплавленный воск со свечек обжигает пальцы и застывает на них, время от времени кто-нибудь с хрустом половиц тяжело переступает с ноги на ногу, но постепенно грозные, страшные, и я бы сказал, великолепные слова достигают нас, душа поднимается, звенит!

В общем, какой-то смысл тут, оказывается, есть, какое-то высокое чувство в нас появилось. Никогда в жизни нашего Саню не называли так торжественно и красиво — «новопреставленный раб Божий Александр»! Но паникадило батюшка так и не зажег — видимо, принял повышенные обязательства по экономии благовоний. Я еще надеялся поначалу, что что-нибудь у него там разгорится от плавных взмахов,— но разгораться, видимо, было нечему.

И вот мы уже никому больше здесь не нужны, мы тихо переговариваемся в углу, а на середину зала с веселым грохотом какие-то мужики выдвигают те самые клеенчатые сундуки от окон, и я вдруг с ужасом понимаю — что на них сейчас будут ставить. Мы, не сговариваясь, быстро выходим на воздух. У церкви стоят несколько похоронных автобусов, нарядные крышки прислонены к облупленной церковной стене.

Потом мы шли по размокшим дорожкам среди оградок, и Костя, самый большой среди нас специалист по этим делам, приехавший с некоторым опозданием, объяснял мне, что отпевания как такового не было, была лишь заупокойная служба — но исполненная, несмотря на молодость священника, с толком и с чувством.

Да — отпевание теперь Ленке явно не по карману, как вообще она будет с двумя детьми? Поможем, конечно. Слава ведет ее за плечи, что-то почти уже весело говорит.

Мы подходим к большой, слегка обколотой по краям, шершавой старинной плите, под которой — и вокруг которой — лежат поколения Саниных предков. Сюда — через неделю, когда получат, опустят Санину урну, но меня, к сожалению, здесь уже не будет — дела не ждут!

Мы некоторое время молчали над плитой — в глубоко вырезанных буквах светилась и морщилась от ветра вода.

Мы вышли с кладбища, и некоторое время молча, широким фронтом шли по улице — кидаться по трамваям и автобусам после этого было как-то нехорошо.

Мы дошли до метро. Эскалатор превратил наш фронт в цепочку. Мы молча спустились, вошли в вагон.

— Поезд следует до станции «Академическая»! Только до станции «Академическая»! — повторил водитель таким грозным тоном, словно поезд следовал прямиком в ад. Потом вагон вдруг начал гореть — откуда-то повалил едкий дым, почти до отсутствия видимости заполнил салон,— люди кашляли, хрипели... я молился, чтобы хоть побыстрее доехали до станции,— люди, ясное дело, сразу же выскочат на воздух — главное, не затолкать бы друг друга! И совершенно поразило меня, что когда вагон остановился и двери наконец-то разъехались, никто — почти что никто — из вагона не вышел! Люди покашляли, поразгоняли ладошками дым — и двери задвинулись, поехали дальше. И главное — это, видимо, было почти нормой, никто не удивлялся такому, никто и не думал об этом, каждый уже думал о чем-то своем. Я смотрел на седые уже головы моих друзей, на слезы, потекшие наконец-то по щекам, и вдруг почувствовал, как я люблю их и как волнуюсь за них! Наконец пожар вроде бы сам собой ликвидировался, дым куда-то усосался, свет

2*

снова стал ярким, и все весело и оживленно заговорили — дождались наконец-то праздника!

В квартире была полная обшарпанность, даже немножко больше, чем я предполагал,— видно, Саня не особенно в последние годы преуспевал, впрочем, это известно было и так — дела его я прекрасно знал, хотя письма он писал исключительно бодрые — веселый, несмотря ни на что, был мужик!

Стояла только водка.

— А ты, может, и не знаешь, что у нас ничего больше и нет! — усмехнулся Слава.

— Знаю, знаю,— ответил я.

Тут и пригодились мои «снзки» — каким далеким казалось время, когда я их брал!

— Ну...— Слава поднял фужер.

Мы, не чокаясь, выпили. Стало шумно и горячо вокруг, а я сам словно уплыл куда-то... Я ясно вдруг вспомнил, как наш Саня, высокий и тощий, стоит вместе с нами в отсветах туристского костра (туристами мы не были, суровый уклад их презирали, и ездили в лес исключительно элегантными). Однако Саня стоит именно у туристского костра и, наяривая на гитаре, поет на сочиненный им стремительный мотив:

Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая!

А теперь Саню самого нашли под насыпью, с пробитой головой и сломанными ребрами... наша доблестная медицина не смогла точно установить, отчего наступила кончина, а наша доблестная милиция решила так: «травмы произошли от соударения с каким-то движущимся предметом, вероятнее всего поездом». Но поскольку время его падения точно не установлено, а поездов за это время прошло много и никто из машинистов ничего такого не помнил, то следствие на этом самоликвидировалось.

Какая-то странная смерть, не похожая на него! С его насмешливостью и ленью ради какого черта ему могло понадобиться карабкаться на обледенелую насыпь? Странно как-то это, не похоже на него! Правда, в молодости, подвыпив, мы часто горланили песню:

Какой-то стрелочник-чудак
Остановил все поезда.
Кондуктор вывел на пути,
Заставил всех пешком идти.
По шпалам!

Но одно дело петь, и совсем другое — карабкаться на насыпь и шагать по ней неизвестно куда, тем более Сане, наиболее далекому из нас от всякой патетики и любви к сверхусилиям. Странно это...

— Ты знаешь,— склонившись ко мне, прерывисто вздохнула Лена,— мы с Саней в последнее время довольно часто в церковь ходили... уж на всякие там праздники — это точно! — Она вдруг улыбнулась.

«Курица ты, курица! — подумал я.— Сидела в своей тухлой конторе и ничего достойного Сани так и не придумала! Это ж надо — такого человека, как Саня, довести до смиренного хождения в церковь!»

Я погладил ее по голове.

...Да — шагать куда-то по шпалам он навряд ли мог, непонятно куда и зачем... но тогда, выходит: стоял... и ждал? Неужели все-таки довели, неужели было совсем уж так плохо? Ведь совсем не похоже на него — жизнерадостный — главное — хитрый мужик! Неужели?

— Ты знаешь,— прошептала Лена,— Саня в последнее время серьезно в общественную жизнь ввязался... даже кандидатуру свою на выборах собирался выставлять... поэтому последние ночи перед выдвижением он на всякий случай дома не ночевал — мало ли что? Борьба сейчас знаешь какая?! Вот, наверное, ему и сделали!

Саня — и общественная деятельность. Это что-то странное. На него что-то непохоже, чтобы он всерьез этим занимался,— слишком хитер. Другое дело — плел, чтобы дома не ночевать... это уже ближе!

Я вдруг оживился.

— Ну-ка, орлята, нальем!

— Ты знаешь, чего я боюсь? — тихо сказала мне Лена.

— Да теперь — чего уж бояться? — бодро проговорил я.

— Боюсь, что Павлов появится! — проговорила она.

— Как? — Я подскочил на стуле.— Разве он... снова к вам ходит?

— Звонил, что придет!.. Это временно у него, понятно. С директоров ведь сняли его...

— Сняли? Колоссально! — воскликнул я.

— Сняли! — кивнула она.— Да это так... временно, конечно... своего они в обиду не

дадут — скоро назначают его генеральным директором какого-то банно-концертного комбината... но пока что он формально не начальство... так что может зайти!

Вот это сюрприз! Уж кого бы я не хотел тут видеть, так это Павлова! Именно из-за него — не из-за кого-либо другого — я оказался там, где оказался... и с Саней явно что-то произошло не без участия этого типа!

...В нашу, как говорится теперь, команду Павлов влился, а точнее, вломился курсе на третьем. В те годы почему-то было можно, когда тебя выгоняли за неуспеваемость, перевестись на тот же курс в другой вуз, и Павлов широко этой возможностью пользовался — наш вуз был в его блужданиях уже третьим или четвертым. По всем признакам к нашей компании он не имел ни малейшего отношения, но почему-то упорно — как он упорно проникал всюду — проникал и в нее.

У нас была тогда такая дурацкая хохма — вдруг все начинали говорить одному: «Слушай... а ты чей друг?» — и отталкивать его ладошками в сторону. Чаще всего мы это проделывали с Павловым, но он при этом совершенно не считал себя ущемленным — просто такая веселая игра! — и глядишь, через полчаса он уже выталкивал кого-нибудь из нас и громко, заразительно хохотал.

Когда мы закончили вуз, мы все, не сговариваясь, думали, что теперь, когда Павлов одолел столь тяжкий рубеж, он отправится куда-нибудь отдохнуть и умственно подлечиться — настолько преддипломные и дипломные испытания иссушили и без того нещедрые мозговые его запасы. К нашему полному изумлению, он был взят в аппарат управления, на очень неслабую должность, и буквально лет через пять, когда мы в своем чахлом институте получали по сто десять рублей и маялись в автобусах,— Павлов получил отдельный кабинет и пост руководителя всех зрелищных мероприятий города, и уже снисходительно звонил нам и предлагал — не хотим ли мы посетить какой-нибудь совершенно недоступный концерт какой-нибудь замечательной зарубежной звезды?

Но тут, на самом взлете карьеры, с ним произошла маленькая неприятность. В яркое дневное время, абсолютно не таясь, он публично помочился на водосточную трубу Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. То, что он был при этом абсолютно пьян, почему-то было посчитано не смягчающим фактором, а отягчающим. Конечно, подобное неоднократно случалось с ним и раньше, например — многократно за время учебы в вузе, но тогда этому не придавалось такого значения, поскольку он не занимал столь выдающегося положения. Теперь же он был безжалостно снят со своей синекуры — и после примерно двухнедельной паузы мы с ужасом узнали, что его назначают... директором нашего института, специально отправив для этого на пенсию престарелого профессора Усачева. Человек, писающий на трубу, по мнению управленцев, зрелищами заниматься больше не мог; но для нашего научного института он, как они посчитали, подходил в самый раз.

С этого для меня началась невозможность жизни тут... Но Саня-то, Саня абсолютно был не похож на меня, он прекрасно ладил с новым шефом, был его ближайшим якобы другом и собутыльником... сколько же всего, и чего именно, должно было произойти, чтобы загнать Саню на насыпь? Он никогда за всю жизнь, сколько я его помню, не занимался такой глупостью, как борьба. Если, например, наши общественные организации вдруг решали оторвать весь институт от науки и бросить на какое-нибудь вполне бессмысленное мероприятие, наши неформальные лидеры-герои сразу же мужественно кидались в отчаянную, но абсолютно бесполезную борьбу. Саня же прямиком шел с блокнотом и карандашом в руках в именно эти самые общественные организации и непременно требовал себе самого большого начальника: «А вы точно самый крупный тут? А крупнее нет?» Добившись самого крупного, он старательно и дотошно, хотя и несколько туповато, допрашивал «крупняка» о всех волнующих подробностях предстоящего мероприятия, просил подробно и обстоятельно чертить план местности, где это должно было произойти, по многу раз просил перерисовывать. После этого он, разумеется, абсолютно нигде не появлялся — но это считалось уже преступлением не столь важным: искренность и дотошность подготовки к мероприятию искупали такую мелочь, как неявка, главное, как сказал один из руководителей, «это искренний и заинтересованный взгляд»,— а этого Саня абсолютно никогда не жалел и был в самые черные годы любимцем как и начальства, так и всего коллектива. Совмещать эти две абсолютно несовместимые вещи удавалось, на моей памяти, только ему.

Мое же положение в институте делалось все более и более невыносимым. Комендант здания, желая угодить Павлову-директору, вообще отодрал водосточные трубы — девятнадцатого, кстати, века, как и сам дом,— и даже заделал дыры в крыше, чтобы струи воды не наводили шефа на нездоровые ассоциации. Кровля после этого стала протекать, погибло ценнейшее хранилище старинных книг, но это, как говорится, было не существенно — главное, чтобы ничто не угрожало зыбкому моральному облику нашего директора.

Далее. На день восьмого марта Павлов обошел всех собравшихся в зале принарядившихся наших женщин, всем тепло пожал руку и каждой, невзирая на возраст и занимаемое положение, сделал неприличное предложение, при этом не понижая голоса и не

стесняясь того, что только что говорил это же соседке. Разразился скандал. На верхах Павлоа сумел как-то отбиться, видимо, саргументировав так: «Извините, мол, не знал, человек необразованный, не знал, что не принято это,— про трубу вы меня сурово предупредили, а про это не предупреждали — извините, буду теперь знать!» Но в институте спокойствие не наступало. Женщины до некоторой степени существа асоциальные, им их женская суть и гордость важнее того, какой пост занимает личность, оскорбившая их. Они требовали сатисфакции. И Павлов, показав пример настоящей, мужественной и бескомпромиссной самокритики, собрал общее собрание и на нем, стуча по трибуне кулаком, вопил: «Я спрашиваю вас, наконец, может ли человек с подобным моральным обликом возглавлять крупный научный институт? Может или нет?!» — «Может, конечно, может!» — кричали из зала павловские подхалимы. «Нет, я вас спрашиваю! — Голос его грозно звенел.— Может ли человек с подобным моральным обликом возглавлять крупный научный объект?» — «Может, может! Конечно, может! Даже обязан!» — кричали из зала. «Ну ладно, тогда и остаюсь!» — проговорил Павлов и спустился с трибуны.

Я как-то не мог всего этого терпеть — поэтому моя жизнь сделалась абсолютно невыносимой. Я не был, подобно другу Сане, мастером маневра — совсем наоборот.

В одно из воскресений я предложил Павлову съездить в гости на дачу к профессору Усачеву, вышибленному им с директоров,— поболтать, попить чаю с малиной, обсудить последние научные новости. Я наивно надеялся, что в беседе с седовласым ученым Павлов поймет наконец всю пропасть своего невежества, ужаснется и покинет пост. Но Павлов отлично почувствовал готовящийся подвох — в чем в чем, а в хитрости ему отказать было нельзя.

Мы подъехали к Финляндскому вокзалу на такси. Павлов выскочил, я хотел вылезти вслед за ним.

— Погоди! — Павлов попридержал дверцу.— Посиди пока, отдохни... Я сбегаю узнаю, как там вообще.

— Что значит — как там? — Я сделал снова попытку выбраться.— Не знаю я, что ли, как и что на вокзале?

— Посиди! Я умоляю тебя! — патетически вскрикнул Павлов.

Ну что ж... раз умоляет!.. Я остался. Павлов через секунду вернулся обратно, тяжело дыша.

— Представляешь, билетов нет! — с отчаянием воскликнул он.

— Как... нет?! На электричку? — изумился я.

— Представь себе,— горестно вздохнул он,— запись на двадцать шестое только!

— Как — запись?.. А билетные автоматы? — Я все еще не мог поверить, что можно так беспардонно лгать.

— Автоматы все сломаны! — тараща для убедительности глаза, произнес он.— Ну ничего, ничего... поедем сейчас на другой какой вокзал,— он стал запихивать меня обратно,— может, там полегче!

Мы урулили. Я хотел было сказать, что с другого вокзала мы навряд ли приедем на дачу профессора Усачева,— но не сказал, поняв, что профессор Усачев никак не нужен моему другу, более того — смертельно опасен!

Все ясно! Вопрос был закрыт. Но оказалось, что Павлова он волновал. Примерно через неделю он вызвал меня и сказал:

— Ты знаешь, я все думаю и думаю, которую ночь уже не сплю — почему ты так хреново ко мне относишься? И знаешь, что я придумал?

— Ну, интересно, что?

— А выписать тебя из города к чертовой матери! Чтобы ты не жил тут, не поганил воздух!

— Как... выписать? — Я обомлел.— За что?

— А чтоб воздух не поганил — я уже сказал! — довольно усмехаясь, промолвил он.

— Но как же... разве такое можно?

— У нас, сам знаешь, что хочешь можно!

И он не обманул. Примерно уже через неделю меня вызвали в исполком и объявили, что согласно постановлению от первого февраля, принятому четырнадцатого июля, имеющему одну особенность — право действовать задним числом, я лишаюсь прописки и выселяюсь с площади, подотчетной институту, без права предоставления другой площади.

— И что же мне делать? — воскликнул я.

Ответ длился примерно час и состоял сплошняком из цифр и дат — понять его было невозможно.

Я кинулся к Павлову. Он жил уже тогда в номенклатурном доме, и внизу сидел крепкий вахтер и меня не пропустил.

— Но мне по важному делу! — воскликнул я.

— Тут дел не делают, тут люди отдыхают! — веско сказал вахтер. В этот момент в парадную вошли два солдата, неся на плечах сосиску размером в бревно.

— Куда, хлопцы? — спросил их вахтер по-отцовски тепло.

— В девятнадцатую! — ответили хлопцы.

— И мне в девятнадцатую! — Я попытался рвапуть вслед за ними.

— Вы, хлопцы, проходите, а вас, гражданин, сказал, не пропущу!

Сосисконосцы прошли, а я остался. На другой день я прорвался к Павлову в кабинет и стал кричать, что сосиска у нас имеет прав больше, чем человек.

— Какая сосиска? Огромная? Вы говорите полную чушь! Злонамеренный навет!

Я посмотрел на него и понял, что в обществе, где начальники (все!) врут в глаза подчиненным и абсолютно при этом не боятся быть уличенными,— в таком обществе нормально существовать нельзя. Я вышел.

Уже примерно полгода у меня было приглашение в Борхеровский университет с лекциями. После гигантских усилий я поехал, и читаю там лекции до сих пор.

Звякнул звонок.

— Это он! — Лена подпрыгнула.

Остальные, расчувствовавшись, среагировали слабо. Вошел Павлов в строгом черном костюме, и с ним постоянная его подруга, которая училась на значительно более младшем курсе, чем мы, но тем не менее всегда была знаменита благодаря своей настырнейшей деятельности. «Камнебойка» — как дружески звали ее.

Камнебойка, хотя вряд ли знала близко Саню, да и вообще не слишком много видела его, тем не менее была в полном порядке: траурный костюм из черного бархата и из того же материала чалма с мелкими алмазиками... специально ли для Сани она шила этот ансамбль — или надеется, что теперь его хватит на всех нас?

— Все толстеешь? — на ходу полил меня Павлов.

И вот уже в комнате послышались их громкие голоса.

— Да — накурено, набедокурено! — нес Павлов самодовольную чушь.

Даже здесь, на поминках, среди Саниных друзей, они хотели быть главными, как хотели быть главными везде! Но все так тут растрогались, разнежились сейчас, что разговор принял исключительно мирный характер: все вспоминали в основном о разных веселых случаях нашей молодости. Дело в том, что Павлов — и это, надо отметить, не его вина — родился и вырос на территории пивного завода имени Степана Разина. Тут, повторяю, не его вина — на заводе работали его родители, тут же имели они квартиру. Однако благодаря этому он с ранних лет вместе с непонятно откуда взявшимся неимоверным тщеславием получил понятно откуда взявшуюся страсть к алкоголю. Беда в том, что с годами обе эти страсти не проявили ни малейшей тенденции к затуханию, а наоборот — к усилению и разбуханию.

Павлов твердо решил найти себя, причем в списках руководящих работников, но при этом не мог — или расчетливо не хотел — завязывать с пьянством. Две эти страсти то мирно сосуществовали, то вступали в конфликт. Почему-то взлет обеих этих страстей происходил, как правило, абсолютно параллельно. То есть — наутро Павлов должен был встречать в аэропорту важнейшую делегацию, может быть, даже иностранную, а к позднему вечеру накануне он напивался до полного безобразия — и облик его наутро никак не мог соответстаовать кондиции. Уж не знаю кто, а может быть, сам Павлов, придумал способ спасения. Он был абсолютно убежден, что накануне можно нажраться как угодно, но если надеть на лицо холодную кастрюлю и спать в ней, то никакого опухания личности не произойдет, и даже напротив — она обретет строгие, интеллигентные черты! Помню, как однажды перед встречей очередной делегации он надрался у меня, после чего, твердо ступая, вышел на кухню, подобрал подходящую для своей хари кастрюлю, натянул ее, упал на диван, и через минуту послышался даже не храп, а реактивный вой с характерным металлическим дребезжаньем! А так как он верил только в правила и презирал исключения, то спал в кастрюле практически все ночи подряд. Представляю себе ощущения его первой жены, его второй жены, а также всех немалочисленных его любовниц: он мог изменить женщине, но кастрюле не изменял никогда!

Я минут сорок просидел в туалете. Из комнаты доносились уверенные голоса Павлова и его подруги — остальных вовсе не было слышно: пришли наконец настоящие хозяева! Я заглянул в комнату. Павлов, временно одемократившийся ввиду перерыва между высокими должностями, говорил, размахивая руками, хлопая всех подряд по плечу. Шура, крепко, видимо, выпив, клевал носом. Слава тоже углубился в какую-то прострацию, Костя, Андрей, Дима, Серега незаметно слиняли. Образ века: демагог, разглагольствующий среди частично спящих, частично отсутствующих людей!

Ленки не было.

— Эй, Лен... Ты где? — проговорил я, выходя в коридор.

— А вот она я! — выглянула Лена из кухни.

Я пошел к ней, мы молча постояли, прижавшись, глядя в непроницаемую черноту за окном.

Потом я зашел в ванную, маленько причесаться. Все бритвенные принадлежности Сани стояли на месте. Даже белые бумажные полоски, поля газет, которые он аккуратно приклеивал на порезы, висели на трубе. Представляю, каково будет Ленке завтра утром зайти в ванную и увидеть их! Я скомкал эти полоски и сунул в карман.

На всех международных конференциях, в разных красивых и знаменитых городах, в программе сообщений всегда стояла Санина фамилия — в последний момент она вычеркивалась, и появлялась фамилия — Павлов. Хотя мне теперь для поездки на эти конференции не требовалось визы первого отдела, а также подлых интриг, я тем не менее если видел фамилию Павлов, то не приезжал. Тем не менее в Лондоне, в гостинице в Блумсбери, напротив университета, он меня настиг, появившись как-то абсолютно неожиданно, вне списка. Он жизнерадостно приветствовал меня (в тот момент это было можно и даже поощрялось), потом сказал мимоходом, вскользь, словно он продолжал оставаться моим директором и только мелкие, случайные обстоятельства временно разлучили нас:

— Слушай — ты в каком номере, а? Я сейчас закину тебе мое сообщение — посмотри там, поднакидай мыслишек!

Поскольку тут не было первого отдела, охраняющего его, во всяком случае, он был представлен тут не в полном составе, я выдал Павлову, что хотел:

— Я тебе сейчас таких поднакидаю...— и, не разъясняя очевидных деталей, повернулся и ушел.

И все равно мне потом перед всеми пришлось растолковывать Санины идеи — этот все лишь запутал!

...Я снова заглянул в комнату. ...В самом страшном, на мой взгляд, рассказе Брэдбери марсиане превращаются на время в людей, а после, убив наших астронавтов, снова пытаются вернуться в свой облик — на лицах их происходит страшная борьба людских гримас с гримасами уже не людскими. Примерно это происходило сейчас с Павловым — гримасы дружеские мучительно боролись с гримасами начальственными — причем последние явно побеждали.

Я заглянул к Ленке на кухню.

— Ну ладно, я пойду... зайду, может, часика через четыре,— я поглядел на часы, потом — в сторону комнаты,— во всяком случае — утром буду!

Прерывисто вздохнув, Ленка кивнула.

Я вышел. По обе стороны от парадной тусклая улица уходила во тьму. Улица Высоковольтная... На такой и жить-то страшно! Я пошел влево и вышел на широкую магистраль. Ширина — это, пожалуй, единственное ее достоинство, а так — та же тьма и пустота. Куда, господи, податься? И это в полдесятого вечера, когда все города мира брызжут огнями и весельем, а тут — только улица Маршала Устинова поражает своей суровой простотой!

Да, единственное, что тут есть замечательного,— это насыпь, очевидно, *та самая* — бесконечный черный холм, закрывающий полнеба, половину звезд. И может, действительно, раз ничего уже, кроме этой насыпи, вокруг не осталось, то, может, действительно — пора туда, немножечко прогуляться, как это сделал три дня назад мой друг? Что еще из серьезного осталось? Только это! Так, может, пора? И если будет не очень уж больно — то почему бы и нет?

По дороге мне не встретилось ничего — полная пустота, только одиноко белел удивительно низко врытый газетный стенд — видимо, для чтения на коленях.

И вдруг другой, совсем новый ужас охватил меня. Краем глаза, куском затылка я почувствовал, что за мной вдоль тротуара медленно едет машина, белый «жигуль»!

Я моментально напрягся... Секут? Но на хрена, спрашивается, я им понадобился? Ведь еще при моем выезде мой любимый подполковник Голубев говорил мне:

— Эх, нечего пришить тебе, все чисто — а то бы уж! — он поднял кулак.

Но если даже по его понятиям я такой хороший, то что же сейчас интересует их?.. Я еще больше похолодел — машина догнала меня и ехала рядом. Скосив, как заяц, глаза, я увидел, что в машине сидит женщина в белой куртке — вспыхнула зажигалка, осветив молодое красивое лицо. Машина остановилась. Слегка склонившись, женщина молча отпихнула дверцу.

«Ах, вот оно что? — я несколько оживился.— Ну неужели же, неужели я уже абсолютно читаюсь как иностранец? — самодовольно подумал я.— Навряд ли наши бедные ребята интересуют таких — имеющих к тому же „Жигули“ — наверняка посчитала за иностранца!»

Я молча сел, не выдавая пока что своего происхождения, закурил от ее зажигалки. Ну что ж, среди охватившего жизнь хаоса еще немножко ахинеи не повредит!

Она захлопнула дверцу, мы медленно тронулись.

— Куда? — проговорил наконец я, разбивая все ее западные мечты, но, к удивлению моему, она не прореагировала на это дело абсолютно, даже не повернула головы.

— Недалеко! — затянувшись, ответила она.

Я вскользь разглядывал ее... Этакая «чернобровая казачка», которая, как поется в песне, то ли подарила, то ли подоила, то ли напоила мне коня,— любимые песни сталинского детства стали постепенно исчезать из памяти. Что, интересно, заставляет ее заниматься этим ремеслом, причем в этих малоперспективных кварталах,— ведь машина у нее уже есть... на что зарабатывает теперь? На запчасти?

А вот и любимая насыпь — теперь она уже закрывала все небо, мы долго молча ехали вдоль нее. Наконец появился тусклый, цвета мочи, просвет — мы проехали под мостом — и снова поехали вдоль насыпи, теперь уже с другой стороны. Что за ритуальное сооружение, почему такой культ ее здесь — разъедемся вообще мы когда-нибудь с ней или нет? Не разъехались. Серебристо-серый девятиэтажный дом был чуть выше ее, но и тут она была главным элементом пейзажа — хоть и с другой стороны.

Мы подошли к дому, поднялись в вонючем лифте на третий этаж. Хозяйка отперла квартиру. Уютно, кстати, отделанная прихожая... из полуприкрытой двери шел какой-то странно колеблющийся свет.

Повесив куртку, я вошел в комнату. Задергавшееся при нашем приходе пламя свечи, установленной в хрустальном блюде, освещало висящую на стене увеличенную фотографию Сани — я помнил ее: возле института, в счастливые дни!

Хозяйка вошла вслед за мной и стояла молча. Я быстро оглянулся на нее, потом бросился к окну, сдвинул штору — насыпь темнела во весь экран! А вон за ней Санин дом — синяя занавесочка на кухне!

— Ясно...— Я обернулся к хозяйке.

— Что — ясно-то? — нахально мотнув грудью, проговорила она.— Он ведь не ко мне шел, а совсем наоборот!

Она опалила меня жгучими очами.

— Ясно... а выпить у тебя есть?

Она молча накрыла на стол — видно, готовилась. Я осматривал ее гнездышко. Мой западный университетский профессор (язык не поворачивается назвать его шефом — не те отношения) часто говорит мне:

— Почему мы — вот я, например, живу в абсолютно пустой квартире (и это чистая правда), в университет езжу на велосипеде или хожу пешком, и при этом не чувствую никакой неполноценности — почему же когда к нам сюда приезжают советские люди, даже самые передовые и прогрессивные, они обязательно волокут с собой вагон барахла — дубленки, магнитофоны, видеомагнитофоны, а при возможности еще и автомобиль? Почему мы можем жить легко и свободно, без засилья вещей, а вы не можете?

Я оглядывал квартиру... действительно, почему?! Из страха, наверное.

— Меня Соней зовут! — Она явилась в вечернем платье.

— Да... я помню... Саня говорил,— соврал (или сказал правду?) я... точно не вспомнить.— А мне — представляться не нужно?

— Нет.— Она покачала головой.— Саня очень тебя любил!

— Я его тоже.

Мы налили вина, молча, не чокаясь, выпили.

— Кстати, это я кремацию устроила ему,— скорбно произнесла она.— Он *всегда* говорил: не хочу нигде присутствовать в виде покойника, чтобы люди приходили, слезы лили! Исчез — и с концами! Нет меня, все!

Я смотрел на нее. Хоть она Санины слова и передала в точности и, кстати, выполнила его последнюю волю — с тактом у нее, видимо, не все в порядке — видать, Саня приходил не за этим, а за другим — с другим как раз все в порядке. Молодец Санек! Он как бы снова вдруг ожил, новый круг его жизни явился передо мной.

— Помню... в последнюю нашу встречу...— поддержал я беседу на соответствующем уровне,— он сказал мне: я был недавно в лесу. И кукушка три года накуковала мне... Причем тюрьмы! Ну — хохму он не добавить просто не мог. А так-то — сошлось!

Мы помолчали.

— А скажи, пожалуйста,— вскользь поинтересовался я,— он не в отчаянии... не в прострации был, когда от тебя уходил?

— А ты видел его когда-нибудь в этой самой прострации? — усмехнулась она.

— Саню? Нет, никогда!

— Вот то-то и оно! — Она улыбнулась.

— А что-то, говорят, у него с какой-то общественной деятельностью... какие-то заморочки...

— У него? — Она засмеялась.

— Да, действительно...

Даже с Павловым, который вместо него ездил на все конференции, Саня умудрялся поддерживать прекрасные отношения, хотя тайком куражился над ним непрерывно. Помню, в момент полного моего отчаяния, когда я совсем уже склонялся к отъезду, я почти с мольбой обратился к Сане:

— Ну что ты якшаешься с этим подонком? Брось!

— Нельзя! Без меня он совсем оподонится!

— А с тобой — нет?

— Со мной, надеюсь, несколько медленнее,— отвечал он.

Я рассказал об этом ей — она обрадовалась:

— Это точно! Единственный, кто чему-то меня в жизни научил,— это Саня. Вокруг, особенно сейчас, все как говорят? «Все плохо!» Даже те, кто по две машины и по три

видика имеют,— «все плохо» говорят. Обязательный пессимизм, как Саня это называл. И ненавидел его, основным признаком слабоумия считал. «Почему это плохо все? — говорил.— Что за чушь? Почему же мы тогда живем?» Он здорово меня воспитал... он — и больше никто! Хотя разные были — и богатые, и вроде имеющие все,— но такой любви к жизни, такого оптимизма ни у кого не видела, ни у каких миллиардеров!

— Это точно! — Я согласился с ней (хорошая баба!).— Он тоже нас поднимал всегда, пока у нас силы были, и даже когда кончились — тоже пытался.

— ...Надо во всем видеть что-то хорошее! — повторял он.

— Во всем? — с отчаянием говорил я.— Ну, например, в Павлове твоем есть хоть что-то хорошее?

— Есть! — сразу и убежденно говорил он.

— Ну, что, что?!

— Пьянство!

— Это, по-твоему, хорошая черта?

— Убежден!.. То есть для него — да!

— Почему это?

— Не будь он пьяницей, он бы уже такого натворил! Всех бы уже передушил! А так — не успевает!

— Да, замечательно!

Но надо сразу отметить, что, общаясь с Павловым, Саня ни малейшей коррозии не поддавался, ничего не делал того, чего хотел от него тот. Придя директором, Павлов понял, что надо первым же делом обмарать всех — заставить, например, произносить речи.

Помню, как он обламывал меня:

— Ну я же, пойми меня правильно, вовсе не призываю тебя ко лжи! Вовсе не обязательно тебе говорить о том-то и том-то, скажи об этом и этом-то — но скажи искренне, от души!

Постоянный мой отказ и сделал наше совместное существование невозможным.

А Саню он один только раз попросил произнести праздничную речь и после зарекся: Саня вроде как надо все говорил, но постепенно в речи его все четче проявлялся ритм верлибра... в зале хохот все нарастал... гости в президиуме были недовольны! А Саня радостный кинулся к Павлову: «Ну как?»

— Да... это точно! — подтвердила она мой рассказ.— В смысле куража, дурацкого изгиляния он был поистине неутомим! Говорила я — доиграешься! И доигрался. Однажды, помню, позвали к телефону его — причем именно здесь, чтобы показать, что знают про него *все*! Рукой ему машу: «Тебя нет!»

— Ну почему же? — говорит. Трубку отобрал.— Алле... внимательно слушаю вас!

— Извините за беспокойство, Александр Федорович,— вежливо так говорят (и отчество, мол, знаем, никуда не уйдешь).— Не могли бы мы с вами в удобное для вас время встретиться и поговорить?

— А кто вы?

— А вы не понимаете?

— Нет.

— Ну хорошо — при встрече мы вам объясним, кто мы и что именно нас интересует,— в голосе, чувствуется, уже некоторое утомление появилось.— А кто там у вас все время берет параллельную трубку?

— Это хозяйка,— Саня говорит.— Надеюсь, вы не станете спорить, что в своей квартире она может делать все, что ей заблагорассудится?

— Ну конечно, конечно...— отвечает голос.

Я машу ему рукой — кончай, а он, наоборот, вошел только в раж!

— Так когда бы вы могли нас посетить?

— Как только докушаю ананас!

— Вы кушаете ананас? — настороженно спрашивают.

— Да нет, это так. Шутка.

В трубке долгая пауза, должная, видимо, показать, что в таком разговоре шутки более чем неуместны! Саня ждал, ждал и трубку повесил. Моментально новый звонок.

— Алле!.. Так это опять вы? Разве вы не закончили?

— А что — вы считаете, что мы о чем-либо с вами договорились?

— А разве нам надо с вами договариваться? — Саня удивился.

— А вы считаете, что не должны?

— А я, знаете, никак не считаю. Не задумывался о вас.

— Какой-то странный у нас получается разговор!

— Да, разговор не первый сорт... Так все? Извините, очень хочется в туалет!

— Так не хотели бы вы к нам зайти?

— Честно говоря, не особенно... А где вы расположены?

— Вы что — не знаете?

— А почему, интересно, я должен знать?

— Хорошо. Мы пришлем вам повестку,— совершенно измотанный уже товарищ сказал.— Всего доброго!

И повесил трубку.

— Наконец-то! — Саня вскочил, помчался в сортир...

И потом, когда все-таки затащили его туда, он уверял потом меня, что вовсе не моральный его облик их интересовал («Моральный ваш облик нас совершенно не интересует»,— якобы сказали ему). А интересовали их якобы только исключительно физические его данные — почему он совершенно не устает, всегда находится на взводе, на подъеме, а их сотрудники, даже самые здоровые, посидев за столом полтора часа, поголовно засыпают. «Хорошими делами надо заниматься!» — якобы сказал он им...

Мы помолчали, вспоминая.

Вдруг резко зазвонил телефон.

— Ты возьми! — вдруг испуганно проговорила она. Я посмотрел на нее.

Неужели она думала, что может позвонить он?

— Алле! — резко проговорил я.

— Это кто это? — проговорил грубый голос.

— Не имеет значения! — так же грубо ответил я.

— А хозяйка что делает?

— А вам-то что?

— А ты зачем у нее? Раз уж пришел к ней — так в койку таракань! Она знаешь кто? Организатор экскурсий! По очень дальней, очень крутой дорожке тебя повезет, вверх-вниз, вверх-вниз!

Я бросил трубку.

— С экскурсиями езжу,— смутилась она.— Много идиотов встречается... Ох, завтра надо фару чинить! — переключилась она.

— Наверное, подмигивала всем этой фарой, она и перегорела!

— Точно!.. Главное, чему меня Саня научил,— это не говорить слово «умничка» и никогда не раскаиваться, всегда уверенным быть, что поступил гениально! Помню — однажды добрался он ко мне абсолютно уже на бровях, никогда в жизни его таким не видела — лежал, умирал, горько стонал: «Ну почему, почему я так напился? И сколько денег, главное, ухнул!» (надо признать для объективности, что был он немножко хитроват и скуповат, и вдруг — такое!). Между стенаниями успел объяснить, что пришел на банкет по случаю чьей-то защиты, но в зал почему-то не зашел, а свернул в бар, и там — отнюдь не с горя, это он точно помнил, а скорее с радости зверски напился! Но — почему он свернул в бар, что за нелепость в его рассчитанной жизни? Так и заснули — и вдруг ночью просыпаюсь от вопля: «Вспомнил, вспомнил почему! Все правильно! Отлично!» — «Ну и что ж ты такого вспомнил, что отличного-то?» — со сна ворчу. «Вспомнил, почему в зал не пошел,— я же Сомееву там увидел, засосала бы меня с потрохами! Все отлично!» — заснул сном праведника... Я сидела, смотрела на него, потом, когда он проснулся, говорю:

«А знаешь, все же ты, несмотря ни на что, огромное счастье мне подарил!» — «Когда это?» — стал как бы мысленно по карманам себя охлопывать. «Какое? А сидела я ночью, смотрела на тебя и думала: какое счастье, что у нас с этим типом никогда ничего серьезного не будет!» — «А, это да»,— уже вполне успокоенно сказал...

— Но при всей его абсолютной расчетливости,— сказал я,— барахлом не интересовался, макулатуру не копил...

— Это уж точно! — воскликнула она.— Рассказываешь ему, иногда даже с упреком: этот то-то купил, тот обменял «семерочку» на «девяточку»... А Саня глаза так прикроет, словно спит, а потом говорит, с каким-то даже упоением: «А у меня нич-чего нет!»

— Ну ясно — и это «нич-чего» и позволяло ему свободным быть! Но при всей его как бы безалаберности его ни на миллиметр нельзя было сдвинуть туда, куда он не хотел!

— Это да,— вздохнула она.— Где сядешь, там и слезешь!.. Помню — познакомились мы в автобусе, случайно: крепко прижали нас и, надо признать, довольно-таки приятно.— Она усмехнулась.— Стоим, и почему-то не сдвигаемся, хоть сдвинуться, ну хотя бы вбок, вполне возможно... но зачем? — Она дерзко глянула на меня.— Стоять так вроде больше невозможно, надо куда-то двигаться — туда или сюда. «Тесно...» — наконец-то он говорит. «А что — разве это плохо?» — вдруг брякнула я. «Ну почему же плохо!» — говорит. Вышли наконец из автобуса, пошли. У самого моего дома говорит: «Ну и что? Увидимся когда-нибудь, нет?» — «Это,— пококетничать решила,— от вас будет зависеть!» — «А-а! — сразу рукой махнул.— Если от меня — тогда-то безнадежно!» Но после, столкнувшись все же, оказались в одном пансионате в Эстонии, я при своих экскурсантах, он — при мне. Но в разных, естественно, апартаментах. Сначала, когда я смотрела на него, думала: «На фиг он мне такой нужен? Без машины, не деловой». Но как раз тогда я пахала крепко, устала, хотелось отдохнуть. Ну и... Там отличная сауна была, на крыше. Вообще — мужская и женская отдельно, и бассейн темный, но там кнопочка возле ступенек, если хочешь — можешь все осветить.

— Ну и ты, конечно, понажимала от души! — глянув на ее замечательные стати, усмехнулся я.

— Донажималась! — улыбнулась она.— Тут же — с легким паром! — явился и вместе с креслом к себе уволок, на первый этаж. И потом, когда дело произошло, подпрыгнул вдруг, заорал, как сумасшедший... там внизу тоже бассейн маленький был — разбежался через библиотеку, зимний сад, склад и кухню, и с полного хода в воду кинулся — брызги до потолка! Отлично было.— Она вдруг сглотнула слезу.—...Ночью раз по пять ходили друг к другу, потом гуляли босиком, по холодному мрамору... Однажды — сидим в номере у меня, вдруг увидел он в окно: мужик косит на склоне. Заорал, бросился туда. Возвращается убитый: «Это финн или швед. Тут, оказывается, только за валюту дают косить!» И вроде забыл об этом совсем — но когда мы обратно ехали, поезд остановился на изгибе, и видим вдруг — машинист выскочил и косой замахал. Бросился туда, уговорил машиниста...— Она помолчала.— Утром просыпаюсь — мы в общем вагоне ехали, на купейный не разорился — гляжу: два узбека у моей полки стоят, мою ногу с педикюром, высунувшуюся из-под одеяла, держат, восхищенно цокают языками: «Красиво!.. Да ты спи, спи»,— меня увидели. Тут является он, с полотенцем на плече, говорит: «Могу продать — но только вот эту часть!» — пальцем провел. Брыкнула ногой его в нос... Вот блин! — выругалась она, выскочила, принесла из кухни почти выкипевший чайник.— ...И когда мы после всего этого счастья выходим с вокзала — он вдруг прощается и бредет вбок, к троллейбусной остановке. «Ты куда это?» — ему говорю. «Как куда? — удивленно отвечает.—Домой. Все, не скрою от тебя, было отлично — но в душе я кабинетный ученый, аскет — и та оболочка, не скрою, мне гораздо важнее, чем эта!» — «Ну и катись в свою оболочку!» Разъехались...

«Да, насчет кабинетного ученого — это верно,— подумал я.— Помню, как Павлов в расцвете дружеской зависти и алкоголизма, прочитав очередную Санину статью, воскликнул: „Просто завидно — из такой ерунды вдруг такое качество у тебя выходит!“».

— Самогонный аппарат улучшенного образца! — Саня хлопал себя по лбу. И тем не менее — Павлов оставался директором института, хотя произносил публично «притча во языцех» и тому подобные ляпсусы!

— Только недели через три позвонил,— продолжила она.— «Ну, что делаешь?» — бодро спрашивает. «Качаюсь на люстре»,— отвечаю ему. «Отцепляйся,—говорит.— Сейчас, может, зайду!» — «С какой это стати?» — спрашиваю. «Все отлично! — отвечает.— Сделал пару неслабых открытий — имею прао!» Пришел... Да-а-а, удивительный был тип. Даже если уже совсем прижимало его, буквально не продохнуть, он, как бы оправдывая жизнь, одну и ту же фразу повторял: «Ну что же — не будешь в следующий раз министров высаживать на ходу!» Видимо, где-то когда-то какого-то министра высадил на ходу, и этим как бы оправдывал все неприятности, происходящие с ним. «Что же ты хочешь? — ласково сам себе говорил.— Министров высаживать на ходу, и чтоб все тихо-гладко было у тебя?» ...Был ли такой министр, существовал ли когда-либо в природе — думаю, он и сам этого не знал. Подсказок никаких, а тем более помощи — не терпел. Однажды надыбала я стремный вариант: тут один выехал за рубеж и докторскую оставил — почти что по Саниной профессии... «Договорилась! — ему говорю.— Ставь только фамилию и защищай!» — «Ну и что? — говорит.— У меня друг тоже уехал — я его тоже, значит, грабить должен?» Надоела однажды мне эта карусель. «Все,— сказала ему,— никуда ты отсюда больше не уйдешь!» Он как раз в туалете был — закрыла на задвижку. Он, конечно, запросто и сломать ее мог, но словно и не подумал об этом, словно забыл даже, где находится,— стал радостно петь! Полвторого ночи уже, соседи приходят: «Что это у вас за певец?..» Однажды в отличную клинику его устроила — люди годами туда стоят! Ну, теперь-то уж, думаю, мой!.. А заодно, кстати, думаю, и отдохну от него немного — еле ноги передвигаю! Пошла с приятельницей поужинать в «Европейскую» — у нее там знакомый официант. И вдруг — обмерла! Вижу — в цветных сполохах прожекторов Санек мой скачет с какими-то мулатками, как козел! Увидел, радостно помахал. «Ну что... И не стесняешься абсолютно?» — подозвав, спрашиваю его. «Вообще,— всерьез так задумался,— немножко стеснительности я от молодости оставил себе — но исключительно уже для нахальных своих целей!» Совсем уж замаявшись, в соревновании с ним, я пыталась — на такую уж глупость пошла! — общественной пассивностью его попрекать: «Вон как люди в наши дни выступают — а ты, видимо, трусоват!» — «Нет, я, пожалуй, не трусоват,— тоже серьезно подумав, ответил он.— Если надо, я пойду до конца — но только по своей дорожке, а не по чужой!»

— Точно! И эту свою дорожку он видел безошибочно, как никто!

— Да, пожалуй, так. Все свои действия абсолютно гениальными считал! Восхищался непрерывно! И даже уверенно надвигающуюся импотенцию считал колоссально хитрой своей уловкой! — улыбнулась она.

Я посмотрел на нее... и судя по тому, как резко отвел взглнд,— начал влюбляться! Вообще — то и дело ловил на ней свои взгляды!

— В последнее время еще проблема возникла,— заговорила она.— Павлов меня увидел — случайно как-то встретились. И все! «Отдавай,— говорит,— бабу, а то с работы с треском выгоню — ты же меня знаешь, прописки лишу!» — «Разберемся!» — беззаботно Саня говорит. И вот — в самый последний, как оказалось, раз — абсолютно счастливый ворвался ко мне. «В жизни нет ничего радостнее,— говорит,— чем встреча с талантом, пусть даже со своим!» Сказал, что колоссальную статью написал и завтра на ученом совете будет докладывать ее. «Ну и что,— подкалываю его,— все равно же твою статью Павлов, и никто иной, в Нью-Йорке будет читать!» — «Павлов не будет,— мимоходом так говорит.— Он уже больше не директор у нас!» — «Как — не директор! Почему?» — «А почему и всегда,— небрежно так говорит.— Снова — не удержался, помочился на Литейном на трубу!» (Почему-то только это начальстао возмущало, остальное — нет.) — «Ну колоссально! — воскликнула я.— Значит, не выдержал! Кто же, интересно, его напоил?» — «Как „кто же“? Я, разумеется!» — он говорит. «Ну все: чайку — и к станку!» — уже в нетерпении был, к работе рвался. «У тебя пальцы все в чернилах!» — смеюсь. «И это главное мое оправдание перед богом!» — важно так говорит. Все это время подростки на лестнице на гитарах бренчали, Саня слушал, слушал, потом распахнул вдруг дверь на лестницу и запел!

— ...Ну... а потом? — не сводя с нее глаз, спросил я.

— Ну а потом... мы с ним придумывать разное стали... Мы с ним часто так вдвоем веселились — придумывали всякую чушь: как он назавтра, в белом фраке с гвоздикой, делает доклад. Павлов сидит тут же, мрачный, уже не директор, горестно думая о том, что кастрюлю с лица по утрам все труднее срывать,— плюс сухость во рту: трясет графин, оттуда вываливается лишь дохлая муха. И тут раздается треньканье балалаек, врываются присядкой два ухаря, с васильками в кепках, а за ними вплываю я, этакой подраненной лебедушкой, мелко ступая, плыву по комнате — в монисте, в кокошнике, а на расписном коромысле у меня два ведрушка с ключевой водой. Подплываю к Сане, говорю нежным голосом: «Испей, добрый молодец, водицы». Он так, жадно прильнув, со всхлипами пьет. Отрывается, утирается. «И мне, красавица»,— Павлов хрипит. Балалаечники приплясывают, а я, вильнув этак бедром, проплываю мимо, плеща на пол, и уплываю совсем! «Так,— думает Павлов, утирая пот.— Имеются случаи оплыва красавицами, а также обноса водой... Тревожащий признак!»

— Ну... а потом? — придвигаясь к хозяйке, произнес я.

— Суп с котом! — ответила она.

— Я должен знать о друге все!

— Мечтать не вредно!

— Что за разговоры? — Я вспылил.

— ...Очень охота мне — шило на мыло...— уже оправдывалась она.

— Надеюсь — я шило?

— Похожи шутки у вас...

— Ну тем более...— прошептал я.

— И глаза похожи...

— Говори, говори...

— И руки...

Медальон в виде сердца на цепочке ритмично колотил ее в грудь, она, оскалившись, поймала его зубами, чтобы не возникал...

— Ну, все! Я помчался! Скоро зайду!

На лестнице подросткв бренчали на гитарах — и я вдруг, как Саня, тоже запел.

Отличное вышло отпевание! Я выскочил на улицу. Еще ходили автобусы (или уже?). Впрочем, это не имело никакого значения — вот же насыпь, в двух шагах, перескочим за пять секунд!

Я уже приближался, огибая гаражи, как вдруг медленно наехал грузовой поезд, с убегающим лязгом буферов тяжело остановился, как железный занавес, закрыл небо — от конца до конца!

— Ах — вот так?! — Я моментально оказался наверху.

Так... ну что тут у вас? Слева от меня был железный ребристый вагон с надписью «Ждановтяжмаш», справа — черная цистерна: «Опасно улучшенная серная кислота. С горок не спускать».

Испугали! Я поставил ногу на сцепку. Словно почувствовав меня, поезд громыхнул. Я отдернул ногу, потом снова поставил... Испугали!

Как я мог усомниться в друге, хотя бы на минуту? Не в отчаянье, а в ликованье летел он сюда! Так и погиб. Но это ж совсем другое дело!

Михаил
Головенчиц

* * *

Брат ушел на войну добровольцем,
Из-за парты — навстречу врагу,
Говорил он: «Ведь мы — комсомольцы,
Я иначе никак не могу».

Что с ним стало? Быть может, в могиле
В сорок первом он кончил войну,
Хорошо, если просто убили,—
Хуже, если он сгинул в плену.

Может быть, не мечтая о чуде,
Он успел в землю Родины лечь,
А быть может, с пометкою «юде»
На чужбине отправился в печь.

О себе не прислал он известья,
Но от смерти не прятал лица,
Распрощался он с жизнью — не с честью,
Веру в совесть пронес до конца.

И опять в переулке знакомом
Ясно видится мне сквозь года —
Из подъезда кирпичного дома
Он уходит от нас навсегда...

ОЧЕРЕДЬ

В довоенном пальтишке потертом
Я стоял на несколотом льду
На морозище в сорок четвертом,
Не забытом доныне году.

Хвост до кассы тянулся неблизкой —
Вижу я этот день наяву:
Александр Николаич Вертинский
Возвратился с чужбины в Москву.

И часами под стынущим небом,
Не желая взамен ничего,
Мы стояли тогда не за хлебом,
А затем, чтоб услышать его.

Все бывало. Случалось, за солью
Друг за другом спешили мы вслед.
Те хвосты вспоминаются с болью,
Но не все. Эта очередь — нет.

* * *

Тяжелая больничная усталость,
От боли не поднимешь головы,
Подчас за деньги помощь продавалась,
А состраданья не было, увы.

О это одиночество ночное,
В тревожном полусвете коридор,
Чуть слышный стон за тонкою стеною
Да грубость недоверчивых сестер,

Что хмурили подведенные брови,
И так недобро поджимали рты,
И, верно, не боялись вида крови,
Зато боялись чувства доброты.

Мне думалось о жизни —
не о смерти,
И в эти ночи я узнал сполна —
Горька беда, где нету
милосердья,
И рядом с ним не так страшна она.

* * *

Листва звенела на деревьях сада,
И шли к концу военные года,
Мне говорила девушка: «Не надо»,—
И я не знал, что это значит «да».

Печалью был охвачен я великой
И к дому шел, угрюм и одинок,
Что подлинное чувство многолико,
Мальчишкой я понять еще не мог.

И все-таки однажды
осторожно
Губами я коснулся губ ее,
И запах меда —
сладкий и тревожный —
Унес с собою в бедное жилье.

Он и теперь со мною, как награда,
Хоть велики давно мои года,
Мне говорила девушка: «Не надо»,—
А я не знал, что это значит «да».

Михаил Ефимович Головенчиц (р. в 1927 г.) — поэт и переводчик. Впервые опубликовался в 1940 году. Первая книга стихов — «Зерна» — увидела свет в 1974-м. Живет в Ленинграде.

Александр Солженицын

Роман

560

Кто-то из пришедших сказал, что в сегодняшнем митинге для него главное: возможность быть самим собой.

И Сусанна согласилась, как верно выражено. Действительно, вся их привычная, обычная жизнь — адвокатская, московская, культурная, вся она носила какой-то вид — не притворства, но как бы лицедейства, какой-то условной игры. Они годами, да всё своё существование, выступали будто добровольными, а если вдуматься, то невольными участниками по сути чужой жизни. Они и сами уже забывались, забылись, они и на самом деле видели в той жизни интерес, и даже горячо прилагались к ней, и могли бы так вовсе забыться, если бы постоянно не угнетало их притеснение их народа — или вот, миг великой очищающей революции не привёл бы их к опоминанию.

Опоминание — как самоосознание, большое внутреннее очищение: к т о они воистину, в эту дальнюю страну занесенные как песок ветром. И сама Сусанна — кто? вот, забывшая и синагогу, и субботу,— а сейчас, в миг сердечного соединения со своими, с волнением радости ощущая это возвращение к родному,— вот сейчас они пойдут туда, где открыто и гордо соберутся все свои, тысячи своих, только свои. И первый оратор будет — не лучший из адвокатов, не общественный или партийный деятель, не депутат Думы,— но главный раввин Москвы Мазе. Тот, кто только и мог объединённо выразить, просветлённо соединить их всех.

Давно, давно не была Сусанна в синагоге — тем возбуждённо-радостней теснилось в груди: идти и слушать раввина. Счастливый возврат.

Только Давид ранил цельностное настроение: позубоскалил, что это опять начинаются патриотические концерты. Но видя, как жена огорчилась, попросил прощенья. Сам он ушёл в свой Комитет Общественных Организаций.

Не понимал он и даже сердился, а Сусанне эти дни принесли ещё и такую радость освобождения: от никогда не называемой вины перед менее удачливыми, перед теми, кто застрял *за чертой,* или даже не пытался оттуда выбиться.

С особой нежностью она встречала тех своих спутников, которые дожидались дома субботней зари, не имея права двинуться раньше, и вот только теперь подъезжали.

Первая из них приехала Ханна Гринфельд, вдова, троюродная тётка Сусанны по матери,— высокая, худая, под шубой — ещё в белом шерстяном платке на плечах, она зябла. Сусанна встретила её весело, но осеклась,— Ханна была очень торжественна, а без улыбки. Сказала:

— Это ведь будет сегодня, как если бы нам встретиться и с нашими умершими.

Сусанна — не поняла сразу. Но не успела переспросить — тут же вслед вложилась в неё эта мысль и показалась замечательно верной: да, такая массовая наша сходка и во главе с раввинами,— да, это будет как бы соединение всех-всех, и с покойными мамой и папой тоже. Да.

Торжественность сообщалась и тем, что не все сели к столу перекусить, Ханна и ещё пожилой родственник Давида не сняли верхнего, а сидели в креслах, как бы ожидая, что с минуты на минуту поедут.

А разговор, естественно, вращался о главном: о том, как падают цепи с евреев — одна

Продолжение. См.: «Звезда», 1991, № 4.

за другой, почти ежедневно: снимаются ограничения в одной области, другой, третьей,— почти ежедневно, а кажется — всё ещё не быстро.

Но это — и не внешний дар судьбы евреям: это дар — взятый собственными руками.

Молоденькая хорошенькая Руфь, которую Сусанна с любовью направляла и воспитывала как повторение бы самой себя, воскликнула, блестя глазами:

— Вся смелость и прямота этой революции и определились нашим духом!

Да, динамичный дух наш участвовал, конечно, не мог не участвоаать при обвисающем русском,— но и голов мы сложили за то достаточно.

Но если так ярко проявился еврейский дух, то следует ждать и яростной реакции против него?

Да! Тысячи погромщиков притаились! — встречала Руфь. Они не могут примириться с тем, что произошло. Они спустились в то святое подполье, где раньше выносились революционные приговоры,— и теперь оттуда помышляют, как вырваться со своими озверелыми дубинами.

Перебрасывались тревогой: ведь там и сям мелькало в газетах — то о подготовляемом погроме, то кажется уже о начавшемся, то о массовой перевозке поездами антисемитской литературы. Правда, всё вослед и опровергалось.

Да, все успехи евреев на чужой почве всегда кажутся такими хрупкими! — один грубый посторонний удар — и всё терпеливо-построенное рухнет.

— Вот такие козицыны из чёрного автомобиля...

Они прячутся в толпе и со всеми приветствуют — а сами скрытые, прежние! Они, конечно, будут действовать. Разве они так легко отступятся от прежних привилегий? Конечно, теперь нельзя открыто хвалить старый порядок — но можно дискредитировать новый. Они станут вливать свои ядовитые капли против новой власти. Например, будут подстрекать: скорей к идеальному обществу, долой постепенновщину и реальную политику! Удобная форма! Уже ловили охранников, произносящих левые речи. На самом деле никаких крайних левых даже не существует. Это — правые провокаторы раздувают крайних слева, чтобы Россия свалилась.

Да вот и пример: эти необузданные митинги домашней прислуги и кем-то брошенный лозунг «ещё одной революции», теперь — прислужной. Какой вздорный лозунг. Прислуга, даже лучшая, начинает не поаиноваться, оспаривать,— но так развалится сама обыденная жизнь... Обывательскими низами революция понята как что-то вроде масленицы: прислуга пропадает на целые дни, с красными бантиками катается на автомобилях, возвращается домой к утру, чтобы только помыться, поесть,— а там опять на гулянье. А другие — принимают на ночь солдатскую компанию и кутят, спать не дают.

— А чью-то прислугу, Агриппину Проторкину, выбрали депутаткой! Вот возрадуются её хозяева: и работать не будет, и уволить нельзя.

Женщины очень живо откликнулись: революция домашней прислуги грозила анархией всей жизни. У Сусанны с её образцовой, приласканной и одарённой горничной тоже появилась двусмысленность, правда от её монархизма, но как это разовьётся? Их всех зовут на митинги.

— Революция прислуги — это и есть из первых актов черносотенства.

Долголицый бритый доктор Розенцвейг, отоляринголог, высмеивал:

— Да просто тёмный бред невежественных людей. Никаких погромов сейчас бояться нам нечего: погромов не может быть, если им не помогает полиция и не поддерживают войска. Все эти черносотенцы, мы видим, с такой же лёгкостью отрекаются от своего прошлого, с каким рвением они раньше служили ему, и, как говорится, «переходят на сторону народа». Вон, посмотрите, как даже Воейков подло предал своего хозяина — «эти слова сказал не я, а царь, он был в состоянии сильного опьянения».

Речь шла о сенсационном сообщении Тамарина из «Утра России», что Воейков предлагал Николаю II открыть минский фронт для подавления революции — но теперь, арестованный и спрошенный Керенским, Воейков, спасая свою шкуру, всё перевалил на царя.

— Кошмар! Ужаснёшься: в чьих же руках находились судьбы России!

— Эту предательскую затею открыть фронт Новая Россия никогда не забудет, кто бы ни произнёс тé слова!

Доктор Розенцвейг, сложив руки на набалдашнике своей трости, он тоже не отложил её, оттого что «вот поедем», сказал примирительно:

— Что ж с него взять. Малообразованный человек, он не имел понятия о жизни своего государства. Придворные льстецы поддерживали в нём представление о царстве длиннобородых мужиков, только и думающих, как угодить царю-батюшке. Александра Фёдоровна добавляла к тому свой истерический мистический бред. Кому теперь не ясно, что династия могла отсрочить своё падение, если бы в 1906 честно и лояльно договорилась с Первой Думой?

Но Николай оправился от страха и снова погрузился в свой фантастический сон о России. Получал миллионы поддельных телеграмм от «союзников» и жил в чаду их преданности.

— А в 1914 он снова получил возможность сблизиться с народом. В тот год и всё русское еврейство решительно поддержало государственный патриотизм. И если бы тогда он сам прогнал бы всю окружающую челядь и призвал бы общественное министерство — очень возможно, что общество простило бы ему и никакой бы революции теперь не было.

Но он пропустил все сроки и пренебрег всеми предостережениями. На всякую живую мысль самодержавие единообразно всегда отвечало: «нет!». У Николая II никогда не было ни великодушных порывов, ни государственного ума.

— А у кого из них — был? — сострила Руфь: — Один Сергей Романов единственный раз «пораскинул мозгами», и то уже по мостовой.

И сусаннина выученица она была — и частенько вот так стала резать резкостью какого-то безоглядного поколения. Сусанна исправила ближе к духу сегодняшнего вечера:

— Кажется, для царской власти мы сократили скрижали Моисея, мы требовали от них всего две заповеди: «не убий» и «не укради». Но даже эти две были им не под силу. Работа народной совести всегда была за тысячи вёрст от дворцов.

Вообще разговор пошёл злободневно, политически-плоско, отворачивая от того глубокого настроения, какого сегодня хотелось.

Вошёл последний, кого ждали: старый адиокат Шрейдер, широкий в плечах и крупноголовый. Потрясённый смертью жены, два года назад, он сильно состарился, стал медлене, всё меньше занимался адвокатурой.

— Но как возмутительно,— горячо говорила Руфь,— сейчас пишут газеты, пытаются пробудить противоестественное сожаление: «император осунулся, превратился в старика с глубокими морщинами»,— да просто напугался в тюрьму попасть! Суздальские богомазы и тут рисуют свои картинки. Просто неловко и стыдно читать об «их личной трагедии». Его трагедия — не короля Лира, а — тюремщика, от которого убежали арестанты.— Красивые тонкие губы Руфи выделялись в непреклонном изломе.— Или: у царицы дети больны, подумаешь трагедия, как нас хотят разжалобить. А от скольких детей отрывала политических отцов грубая рука жандарма! Конечно, революция не игрушка.— Кончики тонких прозрачных её ушей запылали. Добавила ходкую фразу: — Революция — не балет.

Но тут горбоносая, со впалыми щеками, всё молчавшая Ханна осадила:

— Так нельзя, Руфь. Трагедия всяких людей — есть их трагедия, и больных детей особенно. Вот, приезжают из Петербурга, рассказывают, что городовых топили в прорубях Фонтанки и через два, через три дня после переворота. Кто они? — простые стражи уличного порядка,— хлебай ледяную и грязную воду, иди на дно. Не говорите мне: всё это прошло не при слишком хороших знаках.

Руфь смутилась:

— Каких знаках?

— Небесных,— отрешённо ответила Ханна, не опасаясь, что кто-то тут улыбнётся.

А Шрейдер вздохнул:

— Мы в России — не в гостинице. Надо уметь её понимать, и с её стороны тоже.

Ханна вернула всех к тому очищающему возвышенному, как и хотелось настроиться.

Давид уже прислал второй автомобиль, пора выходить.

Ехать надо было в цирк Никитина.

561

И правда, Ксаночка была Ярику ближе родной сестры Жени: та училась далеко, а с этой отрочество общее. И с годами всё большая почему-то сладость была называть её сестрёнкой, и в постоянном заботливом тоне между ними, а то в случайной приобнимке — такая славная принялась игра (а ведь — нисколько не сестра, но от этого особенная и присладь). Эта игра ещё обновилась в предвоенный год, когда они оба учились в Москве, и естественно было при встрече поцеловаться и товарищам-юнкерам ревниво представить её как сестрёнку.

С годами в душе двоится, и сам уже начинаешь путать игру и действительность. Отношения, не сравнимые ни с чем.

Любил в карие глазки её смотреть с открытой нежностью и встречая открытую нежность.

Но в этот раз в Москве — отдавалось ему гулкими ударами по телу. Игра дошла до грани, что уже игрой оставаться не могла. Целовал ли её при встрече, глядел с дивана, как она для него танцует, поглаживал ли руку под перчаткой,— если это и была игра, то уже совсем другая, по новым правилам, и глубока,— но чтоб доиграть её, надо было отказаться от прежней «сестрёнки», а та — пролепила все извивы их отношений.

Две игры перепутались, и одна мешала другой. «Сестринство» так остро сближало! — но и загораживало. Как-то было бессовестно, греховно вдруг проломить это доверие. И вот когда он пожалел, зачем это всё игралось? Сейчас эту смугловатую, скуловатую, кругло-

плечую степнячку он видел прозревающими глазами, как если бы первый раз: уже лопалась зрелость из её губ, зубов, пальцев, смех жизнелюбный по делу и без дела, глаза побегивают, горят,— да зачем же они так застряли в их детской игре!

Но оскорбительно и грубо было бы разломить грань. Как будто свои семьи, кровосмешение.

И несколько раз уже набегала горячая тень такая, что вот сейчас прорвётся — и всё назовётся откровенно. И отбегала опять.

Опять он ошибся, как и с Ростовом! Вся встреча с печенежкой была такая же ошибка, как и гощенье в семье,— близкие только загораживали. А в нём уже так заострилось, он, наконец, просто как зверь хотел женщину — и без этого не мог уехать на фронт, может быть под последнюю гибель.

Морока какая-то! Ярик выдержал первый вечер (думалось ещё и так, и так), выдержал ещё сегодняшнюю дневную прогулку, но на Каменном мосту перед закатом дошла его тоска до краю: что погубится вся его поездка, столько уже потерянных дней,— а он не может вернуться на фронт иначе.

И спасенье его было — оторваться от Ксаны сейчас же, сию минуту! И сегодня же всё осуществить, пусть с проституткой!

И он, не допроводив Ксенью, круто распростился и ушёл от неё.

А распростясь — пошёл наугад, не думая возвращаться и в казармы к товарищу, побрёл — как под пули идёт потерянный, не смеряясь с опасностью, хоть и погибнуть,— пошёл хоть изрешетиться, взять сейчас любую на любом бульваре, с опасностью заболеть,— но только провести с ней ночь, это билось из него с такой силой, он не мог больше откладывать!

А где их берут, где надо было их брать? Всем известно, что — на Тверском бульваре, прославленное место. А другого Ярик и не знал, но догадаться можно было, что — на всяком бульваре, удобней всего, можно ожидать на скамейках. (Да не только же, правда, по букве называли трамвай по бульварному кольцу «Аннушкой бульварной».)

Ближе всего был Пречистенский — и Ярослав свернул туда, в своём невладении. Садилось солнце — и время могло быть уже подходящим.

Прошёл половину длинного изломистого бульвара, миновал десяток скамеек, все подсохшие и по неходолу кой на каких присели — там парочка, здесь с газетой, но и долго не посидишь, и подумал уже Ярослав, что это — промах насчёт скамеек, что *ходить* должны, как и рассказывали всегда юнкера, и не по одной, и наверно только на Тверском.

Как вдруг увидел на отдельной скамейке — одинокую молодую, копна чёрных волос из-под вязаной шапки видна ещё издали.

А ближе — именно это черноволосье, по плечи и густо обрамляющее голову, диковато и даже вульгарно,— именно оно почему-то наводило на мысль.

И поза была не такая, чтоб вот — присела на краешек, сейчас убежит. Нет, сидела она вполне углубисто, ожидаючи.

Кого-то? Она просто, может быть, ждала близкого, знакомого. По неумению различать — не хитро и оскорбить. Да никогда б Ярослав и не решился, если б не такой уж край у него был, обрыв отпуска.

А между тем, хоть и замедлив, он уже приближался, приближался к ней, и надо было решаться: так? или этак?..

Вид её был довольно бедненький, пальтишко с плохим меховым воротником.

А лицо показалось на подходе — даже отчаянно-красивым, зловеще-красивым, даже — таких не бывает, или это — от окружения непомерных её волос?

Обратиться? не обратиться? Фронтовая простота и семейная воспитанность боролись в нём. Как можно неловко попасть, стыдно!

Но красота её — решила. Такую красоту — сейчас! — он пропустить не мог.

А девушка смотрела не на прохожих, но косо вниз, немного презрительно.

И он бы — наверно сробел, миновал бы.

Но вдруг от сапог его — медленно она подняла глаза. И посмотрела — выразительными, чёрными (может, не чёрными, но — вся такая, но от волос) — прямо ему в глаза и не торопясь отвести.

И — всё было решено! — он уже уйти бы не мог, он как схвачен был.

— Разрешите — рядом с вами? — первое трудное, без соображения, спросилось само из него, как из груди выбилось.

— Пожалуйста,— ответила она, но не подвигаясь и без единого движения, всё так же обняв себя руками, может для теплоты, руки без перчаток под рукава.

Что-то в ней цыганское-не цыганское было, но вульгарно-загадочное.

Он сел, в поларшине от неё. И следующий вопрос ещё знал, какой задать (а уже потом не знал):

— Как вас зовут, могу я спросить?

Из своего презрительного взгляда на обтаявший лёд у себя под ботами, она ещё раз подняла глаза, теперь близко вровень, так и пробрало его.

— Вильма.

— Вильма? — Вот и сам родился следующий: — Что за имя? Никогда не слышал.

Она на это время не отвела от него глаз, рассматривала.

— Латышское.

Да, и акцент у неё был.

— Вы — латышка? Беженка? — ухватился, как будто это важно было.

— Да.— Голоса много не тратила, а густой был, настоенный.

— Из какого же места?

— С Даины.

— Вот как? — обрадовался Ярик. Почему-то хотелось заверить её дружественно, какую-то не грубую нить протянуть между ними.— И я от Двины недалеко воюю. Близко.

Но она не отозвалась. Взор увела.

— Близко фронт подошёл? — с сочувствием спрашивал он.

— Да. По тому берегу. Прямо против нас.

И... и... и всё?

И что ж ещё было спрашивать? Что другое — как будто невежливо. Он не мог спросить ни о семье, ни об образе жизни. Было бы глупо рассказывать ей, какие случаи беженства он знает ещё. Хотя: чем может жить латышка в Москве, каково ей здесь? Наверно, неважно. Ему, правда, хотелось узнать о ней больше.

Но вопросы его пресеклись.

А красива была — ужасно.

И красота её — помогала Ярику. Потому что хотелось красивого, не случайного, чтоб она действительно ему понравилась.

И она — нравилась.

Но ничего не доказывал ни её задержанный взгляд, теперь уже отведенный, ни сиденье их в полуаршине.

А из-под самого её подбородка — вот одно некрасивое у неё, широкого твёрдого подбородка,— чуть выдавалась пунцовая ткань с цветками, косынка.

Ничто не было доказано и никак дальше не разъяснилось. Может быть, она сидела здесь совсем не за этим. (А может быть — за этим, но вышла первый раз и сама не умеет?) Свободное — что-то было в обмёте её волос, стеснительности её или прямого запрета он не чувствовал. Но развязности не мог себе нагнать.

И так посидел ещё, молча.

Но и она продолжала сидеть, не переменяя позы, не уходя. Глаза — косо вниз.

Так это и был ответ?

Он вот как сказал:

— Я бы... пошёл с вами?

И почти сразу услышал, сквозь зубы, без поворота её головы:

— Пятнадцать.

И его — осадисто резануло. Всё оказалось — именно так, но зачем так грубо, как сбросило со скамейки на лёд. Да! Ему хотелось всего лишь одного, именно этого,— но хотелось так, чтоб отзывалось и в душе.

Но уже выбора не было. Дорвался.

— Пойдёмте,— сказал.

И тут же подумал: а *как* же они пойдут? Её вид,— идти с ней под руку ему невозможно...

Но оказалось просто: совсем рядом, в Антипьевском переулке. Вильма шла на плечо вперёд, а поручик — чуть сбоку и сзади, весь — за её буйными волосами.

Антипьевский! — надо же! — как раз вдоль задней стены его родного училища. По ту сторону сколько маршировал — думал ли, что всё разрешится рядом, вот так?

До войны и без фронта он бы так не мог.

Маленький двор, двухэтажный дом в глубине. Тёмная лестница, ещё без света. На третий, мансарда.

В первой убогой комнате, которую надо было им пройти, сидела за столом с неубранной едою — другая девушка, не такая красивая, но пожалуй похожая,— сестра?

Странно так проходить — Вильма не познакомила, не сказала ни слова, шла в следующую комнату. И Ярослав, кивнув той девушке (та не ответила, как не заметила),— за Вильмой.

И Вильма накинула крючок на дверь.

Вторая комната, скошенная крышей, была тоже мала, скорей не чистая. Одна полуторная кровать, одна одинарная, обе под простыми одеялами. Комод под кружевной дорожкой, на комоде стоячее зеркало. Вешалка, стул, табуретка.

Через единственное подкровельное малое окно ещё падал сумеречный свет, и не было надобности зажигать.

Вильма ловко сбросила пальто, шапку,— волосы ещё больше рассыпались, а пунцовая — оказалась на ней шаль, в обхват плеч её, сильных облокотий,— и концами сведена под пояс впереди. И в нищей сумеречной комнате эта пунцовая шаль загорелась как жар-птица. И сильные глаза Вильмы против окна смотрели на Ярослава в упор. И гордо.

И так это вспыхнуло разом — Ярику теперь опять показалось, что — лучше он и найти не мог! Это было чуже, странно — и восхитительно!

Он подошёл к ней распутаться в шали — а воротник оказался вырезной косяком, открывая шею и душку.

Оставалась одна опасность — но спросить её прямо было невозможно, да ведь и не скажет. Оставалось только — доверять ей. Да если б не эти «пятнадцать» — а может, процеженные так с непривычки? — он поручился бы, что она вышла на бульвар в первый раз.

Но какие опасности он не переходил в жизни, не страшней же. Спросить — было невозможно.

А ещё: отстёгивал шашку с револьвером — почему-то мелькнуло, что и это опасно, в чужом неосвещённом месте.

В комнате быстро темнело — и только привыкшими глазами он продолжал досматриваться до неё. А пунцовый платок на стуле — гас, гас, потом погас, не различался.

Сперва пóмнилось, что за дверью сестра. Потом забылось.

Но ему действительно хотелось — войти в её груды! Заглянуть в её жизнь. Ему хотелось — в чём-то и полюбить, нешуточно.

Он нуждался — ещё и кусочек своей души оставить у неё.

Чуть шелестили шёпотом.

И обнимая, он спрашивал:

— А можно — я до утра останусь?

— Нельзя. Придёт мама и все, ночевать негде.

Но ещё лежали в полной темноте.

Чего не было в её теле — нежности. Но — сила.

Лежал — и уже сейчас подумал: ведь будет её вспоминать, и может — долго.

— А я тебя — запомню, Вильма!

Кажется искренне ответила:

— И я тебя.

562

Сегодня среди революционеров уже пожилой, 43 года, Нахамкис однако сохранял все преимущества никогда не болевшего человека, кровь с молоком. Хотя он всю жизнь отдал революции, начал уже с пятнадцати лет (ещё жив был Чернышевский!) пропаганду среди одесских рабочих,— однако не измытарился по каторгам и сумел не подорвать здоровья. В единственную свою ссылку он попал под свой 21 год, из-за чего не погнали его ни в Верхоянск, ни в Колымск, а в самом Якутске призвали по воинской повинности, он был зачислен рядовым в местную команду и от службы только ещё укрепился. Запрещено было дать ему чин даже ефрейтора, но он исполнял все должности унтера, дежурил по роте, даже заведовал ротной школой — и ещё укрепился в себе, по-командирски. А политическая уверенность у него уже тогда была такая, что потом, живя в одном доме с якутским вице-губернатором, не раскланивался с ним (наслаждение презирать!), а мирового судью принимал у себя в гостях. Да после военной службы он в Якутске задержался недолго: хоть оттуда трудно было бежать, на пароход при полиции не сядешь, но и пойманных особенно не наказывали, так что рискнуть. Его полуротный офицер, с характером Ноздрёва, пивал запоем и в белой горячке бредил революцией, что он с полуротой сразу перейдёт на сторону народа. Этот поручик и помог ему бежать по зимней Лене на почтовых, спрятавши в своём возке. (И когда позже открылось — поручик не пострадал, а только письмоводитель за подделку документа.) Затем вослед своему беглецу уже беспрепятственно выехала и жена с ребёнком.

За границей Нахамкис не бедствовал, ибо всегда была помощь от отца из России,— но должен был выколачиваться ради грошей, а мог отдаться свободной революционной деятельности,— да уже и тогда влёкся к литературной, намечая стать писателем, как и кумиры его — Чернышевский, Добролюбов, затем и учитель Плеханов. Однако поклонение Плеханову не было стойким, после II съезда РСДРП заколебался он, не примкнуть ли к Ленину (а какой-то он неполноценный, будто со срезанной частью головы),— но по независимости и яркости своего характера не примкнул ни к кому, а остался — вот и до сих пор — социал-демократом внефракционным, это давало и большую свободу движения всякий раз. Очень сблизился за границей со своим земляком-одесситом Парвусом, вслед ему покатил в Россию на революцию Пятого года, но поучаствовать не успел: пришёл посидеть на заседание Совета рабочих депутатов, как раз последнее, в его гамузе арестован, да как непричастный скоро освобождён.

В последующие годы, хотя тактически принято было грозно проклинать *годы реакции*,— однако было довольно-таки выносимо. Нахамкис стал негласным направителем («секретарём») с-д депутатов 3-й Думы,— там серенькие были, а он вёл их со всей широтой своего революционного кругозора. Но и более того: в эти годы он мог отдаться и своей литературной страсти и своей верности идеалам шестидесятников, от которых отчётливо ощущал своё происхождение,— и написал, и прямо в России напечатал, под псевдонимом Стеклов, научно-полемический труд о жизни и деятельности Чернышевского.

Наш великий предтеча! Один из величайших людей русской истории! Великий мыслитель с гордостью Прометея. Русский Сен-Жюст. Наш первый якобинец (не случайно, что и «Молодую Россию» и многие анонимные прокламации — все, и враги, и сторонники, приписывали ему). И подошёл вплотную к научному социализму! — всеми своими корнями Стеклов чувствовал себя от *него*, и окажись на его месте, вот так же бы и поступал: с умной личной осторожностью (их общая черта!), но энергично поддерживал бы студенческие волнения; с ликующей замкнутой радостью следил бы за грандиозными петербургскими поджогами, спалившими десяток густых кварталов так, что пламя перебрасывалось аж через Фонтанку, толкотня телег, карет, судов на реке, погорельцы с узлами на площадях, и вдали от пожара уже вяжут имущество, огонь охватил и министерство внутренних дел, Петербург представлял вид города, подвергшегося бомбардировке неприятеля, и после того ещё несколько дней сряду вспыхивали новые пожары в разных местах города (кто те безымянные юные смельчаки, клавшие паклевые факелы в дровяные сараи? — остались нам не открыты); и так же не сдерживал бы кровавой ярости в воззвании «К барским крестьянам»; и так же бы негодовал на пошлость глупого Герцена, низко открывшего из-за границы кампанию против радикалов, развязавшего рты всем либеральным иудам в России, да ещё неуклюжим промахом подавшего нечаянный документ к аресту Чернышевского; и так же вызывающе-уверенно вёл бы себя под долгим следствием, зная, что у палачей не может быть доказательств. (А смог ли бы в неустанных литературных занятиях выдержать 20 лет заключения, мученичество?.. Писать, писать — только для того, чтобы тут же и сжигать?)

Последовательно отражая философские воззрения Чернышевского, систему его этики, эстетики, историософии и политэкономии (да даже изобретал он и машину вечного движения — ради уничтожения пролетариатства),— то и дело находил (перенимал) Стеклов не только глубокое сходство убеждений (например, в интересах трудящихся масс полностью разрушить как всю систему старого самодержавия, так и всё лживое здание александровских реформ — прежде чем они утвердятся; и — никогда не допустить крестьян до индивидуального владения землёй, только общиной! — актуальнейший вопрос сегодня); не только общую кипучую ненависть к реакции, общее презрение к бледно-розовым либералам и предчувствие оказаться после переворота вождём крайне левой стороны; не только общую страсть к писательству («Что делать» и «Пролог» написаны прямо сразу набело, без единой поправки,— именно так же и писал Стеклов! а ведь у Чернышевского погиб и ещё один роман, о котором односсыльцы свидетельствуют, что он был бы евангелием и библией современного человечества!); но и совпадение многих даже личных черт, как рассудочность берёт верх над воображением, мыслящий человек может отстраниться и от любви, владение собой, когда нужно отступить — то и вовремя отступить; в год написания этой книги — столько же ему было лет, как Чернышевскому в год гражданской казни, и у обоих — якутская ссылка. Но! — легко прийти в революцию из революционной среды, а каково было Чернышевскому из гущи реакционного православия, от того отца-священника, который даже на своего архиерея доносил о неправоверии! Этот мир так цепко въелся в Николая Гавриловича, что, уже будучи вождём петербургских радикалов, он, проходя мимо церкви, всё не мог удержаться, не перекреститься... (Это дураченье народа православным духовенством всегда отвратно поражало Нахамкиса: сел в поезд с несколькими пролетариями, дёрнул в путь паровоз — и они все перекрестились, как самые тёмные крестьяне. Да что, если некоторые члены Совета рабочих депутатов Пятого года, посаженные в «Кресты», когда возвращались с прогулки — крестились на икону в тюремном коридоре...)

Издавая труд о Чернышевском с отодвижкой на сорок лет от событий — мог Стеклов неистовым революционным духом обнажать всю казённую ложь. Уже не было в России такой цензуры, которая мешала бы ему хлёстко спорить с теми как будто остывшими реакционными зубрами и Третьим отделением, а он-то сам, как и его читатели девятисотых годов, отчётливо прозревали за *теми* — нынешних псов царизма, всех матёрых палачей по ту сторону баррикады. Только не мог он всласть исхлестать коронованного жандарма, лицемерного иезуита, верховного сыщика, кровожадного жёлчного тирана Александра II (теперь-то — наступило это время, будем делать второе издание книги), но зато уж — продажных тварей царских сенаторов, заскорузлых душонок византийского чиновничества,— ab uno disce omnes! — по одному суди обо всех, а особенно — всех либеральных шавок и брехунов из подворотен, не обойдя и патентованного либерала Тургенева, никогда не отстававшего от охранников, и реакционного изувера Гоголя, и полоумного мистического мракобеса Достоевского, политически павшего человека. Да после ареста Чернышевского русская литература впала в маразм, в прозябание на долгие годы.

Тем временем за революционные связи и вокруг думской фракции в 1910 подпёрло Нахамкису садиться и ехать в новую ссылку, но, к счастью, предложили на выбор уехать за границу, так он и сделал. В эмиграции снова сближался с большевиками, преподавал в их школе Лонжюмо, но снова отказывался вместиться в узкую ленинскую дисциплину.

С 1913, после амнистии, мог возвращаться в Россию, но ещё задержался, июль 1914 застал в Берлине — и был избит немецкой озлобленной уличной толпой, принявшей за русского обывателя — его-то, с его взглядами! — тем особенно обидно, что он ещё до войны желал военного поражения России. (А ведь тоже мысль Чернышевского: предсказывал столкновение России с Западной Европой, и что будет она разбита, и поражение царизма приведёт к революции.) Хорошо, что немецкие власти быстро разобрались, социалистов сочувственно отпустили ехать на родину; Лурье, Коллонтай, другие товарищи остались в Скандинавии, а Нахамкис имел причины вернуться в Россию. Тут удалось стать чиновником Союза Городов и прожить военные годы не только спокойно, но и весьма содержательно. С той же Скандинавией вели коммерческие операции, по поручению Согора Нахамкис уже в войну дважды проехался в Стокгольм за товарами, заказывать лекарства, а у кого? — у фирмы Парвуса-Ганецкого. С Парвусом не угасла революционная связь, создали каналы для денег — на поддержание революционных точек, но притекало и самому, с Фаберкевичем, с Подвойским,— столы их в Согоре стояли рядом. В войну появились специфически изумительные товары, такие как презервативы: в России своих не было, иностранные вздорожали сразу в десять раз, а именно при военном отсутствии мужей они стали особенно необходимы, и ещё к тому же ничтожны в объёме, без труда вкладывались в ящики согорских товаров, а потом продавались негласно в институтах красоты (такой вела и жена Нахамкиса) и по другим гигиеническим точкам.

Даже никогда так хорошо не жилось, как в эти два военных года, не сравнить с довольно жалкими эмигрантскими,— с этой ступени благосостояния можно было бы вообще начать очень приличную жизнь. Но — и война не бесконечна, и революция вот же прикатила, да не для обывательского прозябания и создан был духовный потомок Чернышевского, в полном расцвете здоровья, сил, умственных способностей,— и тотчас приложился к едва грянувшей революции, в первый же вечер вшагнул в Исполнительный Комитет, да не простым членом. Не только по своей физической выдержке он высиживал и выстаивал все сплошь часы заседаний Исполкома и над разморенным столом заседаний выкладывал своё тяжеловесное слово,— но и по политическому таланту кто с ним тут мог равняться? Изношенный Чхеидзе плыл по течению прений, не влияя на них заметно, Скобелев болтался без дела и значения, его посылали затычкой во все места. Слюнявые народники — ничего тут не весили. Только внефракционный Гиммер был голова комбинаторная, с острым соображением, вытаскивал идеи быстро, но по поспешности, перескокам, и лишённый фигуры и силы, никак не козырял в вожди, шёл к Нахамкису в хорошие подручные, как обезьянка на плече, для проверки теоретического курса. И всё направляюще открывалось Нахамкису: и посадить Временное правительство на его шаткое седалище и вести голос Совета «Известия». (Не успевая сам, ввёл туда друга своей одесской юности Циперовича.)

Даже сам удивлялся, как легко ему всё подаётся, нет отпора, бери власть. Ещё одиндва шага, он станет председателем Всероссийского Исполнительного Комитета Советов — и это высшая реальная власть, сильней, чем буржуазный президент.

И тут — эта проклятая история со сменой фамилии. Нахамкис всю жизнь силился отделаться от этой позорной фамилии своего богатого, но недальновидного отца, и даже подал, в военные годы, прошение о том на высочайшее имя, что для революционера считается последним позором, ибо там обязательная форма — «припадаю к стопам»,— но не успело обернуться, а вот революция, и теперь больше всего боялся, как бы не открылось это «припадаю к стопам». И вот подлые буржуазные газетки подняли патриотический визг об «анонимах в Совете» — и как раз может всё разоблачиться. Буржуазная печать — духовная жандармерия.

И теперь — нашёл бы то гнусное прошение и своими руками бы уничтожил,— но в каких канцеляриях его искать? И ещё хуже станет заметно.

А обидно ужасно: при всех его талантах и представительности — налеплена как бы в насмешку унизительная фамилия, уродливей невозможно сочинить,— как будто связывает руки и ноги, заклеивает рот.

В пятёрку Контактной Комиссии Нахамкис вошёл тоже не рядовым членом, а — центральным, самым видным и настойчивым (Гиммер привычно рядом, Филипповский в стороне от главных политических вопросов, а ещё только — Чхеидзе да Скобелев).

С этой компанией и поехали сегодня в Мариинский дворец, в автомобиле не успели сговориться ни о тактике, ни о конкретных вопросах, а в общем виде: давить и произвести впечатление. Тем более инициатива переходила к Нахамкису, он-то всегда найдётся, и что сказать, и как сказать.

В вестибюле Мариинского было, как и в Таврическом: солдатский караул кто курил, кто спал на скамейках, винтовки лежали. Но дальше было интересно посмотреть. Длинная с поворотом парадная лестница с ажурными бронзовыми перилами, стены белого мрамора, а колонны розового, в нишах — статуи античных воинов. Потом один двухъярусный круглый зал, другой двухъярусный квадратный — с верхней галереей, лепным орнаментом на стенах, там и маски, а над дверьми ландшафты,— нет, не туда зашли,— назад через круглый, тут золочёные фигуры вроде грифонов, а паркет какой, ничего правительство устроилось, да всё ещё не пачкано, окурки нигде не валяются, да разодетые чванные лакеи — как им самим не смешно своих манер? — теперь ещё один зал — Приёмная, с двумя каминами, высокими окнами на площадь, а по стенам опять барельефы, барельефы,— наконец ещё в новую комнату, где за бархатной синей скатертью их ждали четыре любезных и даже угодливых министра. И усевшись за этим столом — Нахамкис опять-таки возвышался крупной, крепко посаженной головой, оглядывал что своих незадачливых коллег, что этих припугнутых министров (почему-то не было главных — ни Милюкова, ни Гучкова), и, без лишней скромности, не мог не ощутить, что он тут — фигура центральная, поскольку Исполнительный Комитет доминирует над правительством. (Дождались! вот когда мы, красные радикалы, добрались и ущемим розовую либеральную блудливую слякоть.) Ещё никем так специально не названный и не выделенный, а становился в России чернышевец Стеклов — первым и главным человеком.

И это явное превосходство он посчитал необходимым выразить министрам на первой же этой встрече. И ждать долго повода не пришлось. Думал Нахамкис — сейчас они будут укорять ИК за резкие действия в Царском Селе, тогда бы им и всыпал. Нет, возражали очень деликатно, почти ласково. Думал — будет следующее столкновение о Верховном Главнокомандующем. Нет, ещё опережая советских гостей, Некрасов объявил им с улыбкой, что эта операция уже произведена, Николай Николаевич окончательно смещён, сегодня. Хорошо, но кто взамен? Алексеев? — реакционный генерал, Исполнительный Комитет не может и его допустить, даже временно! Князь Львов, благостно улыбаясь, спрашивал: а кого же? Вот тут Нахамкис не приготовил, не знал — кого. Тогда, успокаивал Львов, что надо только чуть пообождать: Алексеев сам хочет уйти, и уйдёт.

А спор возник — об армейской присяге. Гиммер, который этой присягой много занимался, теперь выпрыснулся с упрёками, что Временное правительство действует самочинно, не оповещая Исполнительный Комитет: такой присяги они не имели права объявлять и даже в действие приводить, и всё без согласия ИК, и мы решительно ставим вето.

Застигнуты были министры врасплох: они искренно, кажется, не ожидали, они не подумали даже. Львов растерянно улыбался, расфранченный Терещенко принял вид размышления, Некрасов сочувственно и готовно развёл руками: но как же теперь быть? Уже во многих частях присягали, не отменять же?

Но Нахамкис, единственный, кажется, тут среди них, кто оттянул действительную службу, знал и цену этой подлой воинской присяги, когтями забирающей душу рабочего и крестьянина. И невозмутимо продиктовал:

— Значит, отменить.

И вскинулся вдруг маленький смирный Мануйлов, которому по своим делам просвещения тут бы и сидеть нечего. Он вскочил, хотя вообще говорили сидя,— и возбуждённо, даже вскрикивая, тоном личной оскорблённости стал выбрасывать, что создаётся совершенно невозможная обстановка, никакое правительство в мире не может функционировать под таким давлением. Он понимает — сотрудничество, он понимает — добрые советы, но признать над правительством открытый посторонний контроль он отказывается! И если говорить о произвольных действиях, то произвольно действует именно Исполнительный Комитет, ни с чем не считаясь и не спрашивая правительства. Так был произведен и этот безобразный влом в Царское Село, так был издан «приказ № 1» и «приказ № 2», и ещё неизвестно сколько приказов... И ещё, и ещё...— Мануйлов уже бессвязно, но всё горячей выпаливал, выпалился весь — и сел, уже смирно, как бывает со взволнованными коротышками.

И — лучшего повода он дать не мог! Да и сам-то был — типичный выродок дегенеративного российского либерализма, нижняя ступенька лестницы от Герцена, вот по таким и бить! Кончилось ваше время! Нахамкис скрестил большие руки на большой груди, не только что не встал или не переклонился к министрам вперёд, но спокойно откинулся в спокойную кресельную спинку, специально рассчитанную на отдых сановной спины и задницы, и стал тяжёлым басом поламывать:

— Господа. Вы же знаете: в любой момент, стоило бы нам только захотеть, мы беспрепятственно могли бы взять власть в свои руки. И это была бы для России самая крепкая и авторитетная власть. И если мы этого не сделали и пока не делаем, то только потому, из теоретических социалистических убеждений, что считаем вас в настоящее время более соответствующими историческому моменту. Мы — согласились допустить вас к власти, да. На определённых условиях. Но именно поэтому вы не должны забываться. И не смеете предпринимать никаких важных и ответственных шагов, не посоветовавшись с нами и не получив нашего одобрения.

Так, даже рук спокойных не расцепив из скрестья, он уже усмирил их всех четверых, вместе с выдохшимся Мануйловым. Он высказал им уничтожающую вещь — а они держали на губах подобия вежливых улыбок. И всего только таких либеральчиков и смогла выставить русская буржуазия! Что за ничтожества! И как бы они хотели эскамотировать революцию, да силёнок нет.

Но надо было додавливать, надо приучить их раз и навсегда. Сам ещё не уверенный на все 100 процентов, но чтоб увериться до стенки — тем победоноснее внушал:

— Так что, господа, вы всё время должны помнить: стоит нам захотеть — и вы сейчас же исчезнете с русского политического горизонта. Никакого самостоятельного веса и самостоятельного значения вы не имеете. Вся ваша мнимая сила — только в нашем признании, и пока оно есть.

Сказал — и испытал торжество сильного мужчины над женственной тварью. Наслаждение презирать.

Голубые глаза князя Львова опечалились, подёрнулись чуть не слезой. Терещенко покраснел и откинулся, будто по обеим щекам принял заслуженные пощёчины. Мануйлов тихо сидел, надувшись. А Некрасов приопустил голову как наказанный пёс.

И обстановка — сразу очистилась. И уже легко пошло обсуждение, в чём именно будет состоять контроль деятельности правительства. Оно обязано заранее информировать Исполнительный Комитет о каждом своём важном шаге.

Подумайте, правительство согласно! Да правительство даже с самого начала предлагало ввести в свой состав на правах членов — какое-то число членов Исполнительного Комитета. Но Николай Семёнович отказался. А Александр Фёдорович любезно вошёл. Правительство уже приглашало от Исполнительного Комитета и контролёров над расходованием своих средств. Но и правительство тоже хотело бы, для ясности, как-то знать иногда заранее намерения Исполнительного Комитета?

Хорошо, вам будет передаваться сводка бумаг, поступающих в Исполнительный Комитет со всей страны, чтобы вы знали мнение народа.

А что это там, в Москве, началось какое-то сепаратное движение цензовых кругов — устроить Учредительное Собрание в Москве? Петроградский Совет не может допустить созданин какого-то второго центра в России.

Нет-нет, это произвольные несогласованные попытки, правительство не давало им никакого одобрения. Учредительное Собрание будет готовиться в Петрограде, не сомневайтесь пожалуйста, господа!

Не очень Нахамкис им поверил. Но за эти дни он привык к сильным решениям, и сейчас в нём зрело ещё такое одно: через московский Совет рабочих депутатов заставить Москву саму отказаться от своей кандидатуры.

563

И как трудно каждый раз расстаться, невозможно уйти!

Потом кажется: не три часа пробыла у него, а одну минуту. При нём время ускоряется безумно, всё пролетает.

Пришла домой — и тут же хочется опять к нему. Воротясь — завидует сама себе: это — она была?

Так хорошо, как не бывает. Почему, отчего с ним так хорошо — не хочется анализировать.

И страшно: а вдруг всё гинет?..

Сказал: непридуманные влечения — всегда взаимны.

Да, каким-то странным образом и она — ведь создана для него, человека совсем-совсем другой жизни.

Его каждое слово так решающе падает на неё. И — рада, что так. И с каждым его суждением её прежний мир изменяется, поворачивается. И — рада, что так.

Но даже уже и опасно: можно ли так сильно поддаваться?

* * *

Познала девка хмелинку,
Полюбил барский детинка,
С низу низовой купец.

ДВЕНАДЦАТОЕ МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

564

Ещё в прошлый понедельник загомилась Каменка, как прикатил этот слух, что царь нас покинул. Мол, в Питере пе-ре-во-рот.

Да бодай тебя с переворотом, только бы батюшка царь на месте остался.

Однако шёл день за днём, а слух тот не подпёрся. Или там, в Питере, обернулось назад? Никакое новое сотрясение жизни не докатило до Каменки.

И уверялись старики: не могёт такое в наши ворота вломиться. Никак не могёт Расея обезглавиться от царя.

Може так — чегоза какая намутила.

Но и Плужников мужик умозорный — что-й-то же знал, как портреты срывал. И подтверживал: «Так! Так. Без царя теперь.» (Уметнулся в Тамбов усейко.)

А в пятницу батюшке привезли пакет из Тамбова.

Открыл отец Михаил Молчанов, а внутри: ещё раз, уже из газет ему известные, Манифесты отречения Государя и великого князя Михаила. И послание Святейшего Синода к чадам православной Церкви: что переворот произошёл по воле Божьей, так как Господь в своих руках держит судьбы царств и народов, а православные христиане призываются ради миллионов жизней, сложенных на поле брани, и ради многих жертв, принесенных для завоевания гражданских свобод (то есть ради революционеров?..), — к повиновению новому правительству, облегчить его великое дело. И затем распоряжение Синода: объявить громогласно сии Манифесты во всех православных храмах, в сельских — по получении их в первый воскресный день, после Божественной Литургии и с совершением молебствия об утишении страстей, с возглашением многолетия Богохранимой державе Российской и благоверному Временному правительству ея, каковое возглашение и должно отныне войти в ектеньи вместо прежнего императорского.

Отец Михаил у себя в домике читал эти бумаги — и плакал вслух. Совершаемое было — выше его разума и вне пределов его воли. Недосягаемо был вознесен над рядовыми священниками Синод, и сидели же там просвещённые и глубокомысленные иерархи, вот подписалось их два митрополита и шесть архиепископов, и не с лёту же, но по обдуманью и молитве приняли они решение.

Да, как будто так: раз Господь в своих руках держит судьбы царств и народов, надо и этот переворот принять как произошедший по воле Божьей. Хотя изрядно и начитан был отец Михаил, не мог он изыскать в священной литературе довода против этого довода. А сердцем чувствовал — неправоту его в применении к сегодняшнему. Да, вообще — так, а в этот раз — не так! Но — не мог доказать. И — не осмелился бы не подчиниться.

А от тамбовского архиепископа Кирилла, известного твёрдостью взглядов и крутостью нрава, сопровождение было такое: «Спешите делать, пока день есть. Уясните себе и пастве ответственность за целость родины.»

И — всё. Но в этом можно было понять, что и Кирилл не согласен с решением Синода. И тоже не вправе бунтовать, однако что-то указывал.

Этот день весь, и следующий, отец Михаил много молился, ища вразумлении от Господа, и не получал его. И ещё плакал. И бумаг никому не показал, кроме матушки.

И в субботу на всенощной возглашал по-прежнему: «о благочестивейшем, самодержавнейшем великом Государе нашем».

И в ночь на воскресенье решил, что так же прочтёт ектеньи и за литургии. Ведь это будет *до* объявления всех этих гибельных бумаг.

За столько лет службы как хорошо он знал свою простодушную паству. Лишь несколько было, всё мужчины, знатоков службы, ведавших полный смысл её и каждой входящей молитвы. А самые даже верные прихожанки не задавались знать службу, из чего именно она состоит, как что называется и почему оно в службу вставлено. Сотни раз простояв на обеднях — не всегда помнили они заранее, какие будут слова. Но едва эти слова произносились или пелись — они тотчас узнавали их сердечно, и были согласны с каждым, как сами бы их высказали, — все повторенья о Христе, о его страданиях, воскресении и о Богородице. В том и знали они воскресенье, чтоб с утра оттопиться пораньше, обрядиться к церкви, и выстоять службу, иногда отвлекаясь на хозяйственные и семейные заботы, потом снова возвращаясь к молитве, какая поётся. И этим общим молебным стоянием по воскресным утрам воедино связывалась вся жизнь человека, семьи и села — и давала перейти от одной недели к следующей. И в этом устоявшемся порядке была такая цельность, и так нерушимо было всё, что возглашалось веками, — язык священника не поворачивался теперь вдруг сменить возглашение. И прорезать церковную службу клином политического известия.

Но вот вышел отец Михаил на амвон — не с крестом, не с молитвенником в руках, а с бумагами. Не чуя пола под ногами, как бы не упасть. И с горлом пересохшим.

И читал прекрасные и бесповоротные слова царева Манифеста.

Вот как это врезáлось в грýди, обрушивалось на сердце: никаким бы газетам, никаким приехавшим городским не могли бы поверить и подчиниться так, как возгласию с амвона Христовой церкви. Отец Михаил читал миротворные слова синодского послания — и сам ужасался. Начиналось оно обещанием из послания Петра: «Благодать и мир вам да умножатся!» Обещало воззвание — но голосом отца Михаила: «Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит её Господь счастьем и славой на новом пути! И да благословит Он труды и начинания Временного Российского правительства, даст ему силы, крепость, мудрость...»

И всё это обещал теперь своей пастве отец Михаил. И это же самое обещалось ныне всеми священниками по всему российскому лику.

(А — зачем это мы делаем? — содрогался.— Зачем это нашими устами, священства? Наше ли это усердие?)

И вот если бы где в крестьянской массе могло бы вадыбиться противление — оно тотчас же и угашалось церковно. Вослед тому — молебном об угашении страстей.

Спешите делать, пока день есть... Но — что же мог измыслить, как иначе изъяснить прихожанам отец Михаил? Священно царское отречение... Священно временное правительство... Да умножатся вам мир и благодать...

В уморасступьи, в придавленном молчании выходил народ из храма.

Пал царь! и Богом освящённый престол его!

Выходили, в праздничной одёжке,— но не растекались по домам. Лишь чуть разошлись по косогору кучками.

За эти последние дни накатила оттепель. Со стрех нарастали и обрывались сосульки. Повсюду рыхлел снег, легко уплотняясь под ногами и полозьями. Пожелтели дороги, и на них запрыгали первые грачи.

День стоял облачный, мягкий.

В кучках толковали.

Многие бабы плакали, и даже навзрыд.

— Ой-оиньки! — завапливали, бунили.— Да как же будет без цари? Да это ж горя будет?

— Без царя нам не прожить...

Домаха была крепкая баба, а тут — в слезах, Елисею:

— Да что ж он так сразу? Да что ж он на помочь не позвал?

Елисей от самого амвонного возаыва глядел с дикой мрачностью. И усудил теперь:

— Рыба с головы тухнет. Царя — господа предали.

Подошёл дед Баюнн, с палочкой:

— Когда и рой пчёл без матки не живёт — как же вся Расея будет без царя? Да разве мысленно, чтоб хозяйство шло без хозяина?

Подошёл Яким Рожок, скрюченный в спине. Он — верное слышал:

— Прознали господа, что царь обещал после войны по 7 десятин каждому солдату. А это — 70 миллионов. Им — жаль расстаться. И выехали к нему навстречу — Жучков, Разянка и ещё кей-то — и силком отвергли от трона.

— Обдурели городские,— прогудел Елисей.— Государя императора не хотят! А — кого ж им другого надо? Да ведь конь станет на дыбки и узду выпустишь — так убьёт.

Плакала близко старушка:

— Ужо, Бог даст, он пожалеет нас и возвернется.

На всё Божья воля. Поживём — увидим.

— А кто это новое начальство поставил? Ох, не нажить бы с ним беды.

Но и такие пошли толки по кучкам:

— А ведь теперь война должна осотановиться...

— Да неужто солдатушки наши домой воротятси?..

И такое:

— Слышали? Вчера в Волохонщине... Приехал молодой барин, да такой добрый, такой услужливый. И всю землю дочиста мужикам в аренду отдаёт. И за неполную цену. Такого не бывало. Ведь это — к чему-то. Ведь он — там знает...

Потекло, потекло и такое:

— Теперь нам грамоту вышлют насчёт всей помещицкой земли. Разделить по душам, и баста.

— Да! Желаем такое управление, чтобы помещицкую землю раздали.

— А как по части податев теперь будя?

Услыхала Домаха и закорила их сильным воздыхом:

— Э-э-эх, мужики! Не в том одном, буде ли лучше-хуже, а: не было бы перед Богом неправды. О том судите.

Гуторили. Не расходились.

Как при покойнике.

За это время, от выхода из церкви, церковный регент Васька Еграш прошёл мимо толпы беспечально, в сапожках хромовых. Хоть и правил он церковный хор, а с клиром не сроднялся.

За это время седой представительный барин Владимир Мефодьевич, благодетель села, поставивший тут школу и больницу,— вчера он приехал из города, сегодня был у обедни, теперь, потолкоаав с отцом Михаилом, медленно перешёл на ту сторону холма, в больницу, там у него и спаленка.

И на школьное крыльцо вышел учитель Скобенников, он же Судроглаз, да по какой-то новой моде — с большой красной увязью на дрáном пальтишке. И как начали мужики уразумевать — та увязь была теперь как знак новой власти. Кто-то, стало быть, поставил Судроглаза в новую власть.

Теперь он стоял на крыльце, на возвыси,особняком, не сходя сюда к толпе, ни с кем не переговариваясь. И что-й-то подёргивался, потаптывался, как-то ему неймалось.

И тут услышался с верху села, с сампурской дороги — колокольчик. Резво ехали.

Показались. Обшевня, в паре. И сидели в ней тоже двое, под тип мещан. И тоже с красным на грудях.

Спустились сани на мостик — и опять поднимались сюда, по косогору. И пред больницей остановились.

И сошли двое — и хотя в одёжке городской, а перепоясаны они были саблями.

Что это? — ахнули в толпе. Невиданность. Что это, зачем?

Что-то не к добру.

Их-то и ждал учитель — к ним наперерез пошёл бодренько. И — махнул им, повёл в больницу.

Что это? что это? Небывалое. Стали перетягиваться мужики да бабы туда, к больнице ближе.

Доглядеть, узнать.

Полтолпы туда перешло. А другие тут — домой расходились.

Стали перед крыльцом больничным и ждали.

Постояли — и вышел Судроглаз на крыльцо.

Да раньше он обиходлив был с мужиками. Да ведь голощап.

А тут взъерохонился как новый барин и шумнул резко:

— Что собрались? Интересуетесь?.. Распоряжением моим, волостного комиссара, попечитель арестован как за непризнание нового режима!

Арестован? Владимир Мефодьевич? — переахнула, перевздохнула толпа.

И замерла в молчании.

Во-он что!..

Не шу-утят...

Да ведь и каждого могут...

Теперь, знать, подастся наверх всякая шабарша.

А близу, по косогору, громко, весело заливались криками ребятишки, играя в снежки. Больно хорошо снег лепился.

565″

(по свободным газетам, 11—12 марта)

ГРОЗНЫЙ ЧАС

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ. Движение на Петроград. Манёвры Гинденбурга.

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ! Германские полчища решили двинуться к Петрограду. Ещё есть возможность отразить удар, грозящий смертью нашим вольностям. Но если мы упустим последние минуты... за германскими полчищами вернутся свергнутые властители. Они уже втихомолку потирают руки... Объединимся вокруг Временного правительства — это люди энергии, таланта, безупречной честности. Они — представляют всю нацию. **БЬЕМ В НАБАТ!**

...нанести удар столице, которая первая зажгла светильник свободы. Наш долг — прислушаться к призывным словам Врéменного правительства. Под красным знаменем свободы должно быть сделано то, что было невозможно под предательским флагом самодержавия. Объединить всю волю, весь разум народа и армии, чтобы сорвать германское наступление!

Граждане! Вы боитесь реставрации. Вы с тревогой всматриваетесь в лица: а нет ли тут мечты о возвращении Николая II? Вы осуждаете каждого, чей образ мысли кажется вам недостаточно радикальным. Но смотрите: немецкие реставраторы уже шагают, чтобы ввергнуть вас в позорное рабство. Час последний и беспощадный! Или позор или светлая жизнь. Победа Гинденбурга — и застонет Россия... Змея монархии таится под руинами династии, пока Россия не отбросит немцев.

...Грянул гром — страна возродилась и зажигает армию. Большего подъёма нам не достичь. Напряжём силы, чтоб он разгорелся в священный костёр.

ВОЕННЫЙ МИНИСТР ГУЧКОВ НА ФРОНТЕ. ...Встречен нескончаемым «ура». Благодарил войска за службу и блестящий порядок. Указал на опасность со стороны врага. «Вы обещаете доверять новому правительству?» Солдаты подняли министра на руки и внесли в вагон.

Как нам сообщают из совершенно авторитетного источника, поездка военного министра на фронт тесно связана с подготовкой противником наступления на столицу. Прежние министры, кажется, ни разу не удосужились побывать на фронте. Гучков, народный руководитель военного ведомства, человек громадной энергии, подробно ознакомится с обстановкой на месте.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!!

О налогах. Несмотря на революционные обстоятельства или именно благодаря им, правительство призывает нас к аккуратной упате податей и налогов... Русский подоходный налог — самый справедливый и демократический изо всех налогов. Долг граждан — возможно скорей подать заявления о своих доходах.

ВЕЗУТ ХЛЕБ. Крестьяне, охваченные общим восторгом и проникнутые сознанием...

...Для пользы страны пусть и помещики и монастыри засевают свои поля, они тоже обязаны поставлять хлеб.

...Невероятные слухи об изменении состояния нашего фронта совершенно не подтверждаются. Армия — в полной готовности дать отпор врагу.

СТРЕМЛЕНИЕ НА ФРОНТ. В штабе Петроградского округа толпится множество офицеров за пропусками в Действующую армию. Желают отправиться на защиту родины, подъём духа небывалый.

...Достаточно ли понимают большевики ответственность демократии? «Правда», вооружившись марксистским учебником, с апломбом гимназистов младших классов палит по Временному Правительству. Впрочем, милые гимназисты от демократии не так страшны: их передовая призывает обучать солдат хоровому пению «Интернационала». Но эти безответственные призывы «долой войну»? Интересно знать, как смотрит Совет Рабочих Депутатов?..

Крик «долой войну» — чёрная измена, равная сухомлиновской.

«Правда» выступает со статьями, вызывающими негодование... Европа достаточно видела этих эмиссаров кайзеровского пролетариата, Зюдекумов, Парвусов, Раковских, слышала их коварные уговоры оставить свои отечества без защиты, когда Германия куёт новые мечи.

(«Русская воля»)

...Воейков предлагал открыть Минский фронт, а «Правда» своим лозунгом хочет открыть весь фронт.

...Диким кажется стремление каких-то анонимных старателей посеять рознь между солдатом и офицером. Это — работа на Вильгельма. Пусть те, кто преступной рукой расшатывают армию, попробуют сами довести до...

...Смертная казнь отменяется безусловно и навсегда! Наверное, ни в одной стране так, как в России, нравственный протест против этого худшего вида убийства не достигал...

ЖЕНЩИНЫ-АДВОКАТЫ...

Волнение уголовных в Таганской тюрьме... Их волнует весть об освобождении политических. Потребовали представителей министерства юстиции, иначе будут убивать надзирателей. Служащие тюрьмы жили этот день как на вулкане.

СПИСОК ПРОВОКАТОРОВ. В документах петроградского охранного отделения найден полный список секретных сотрудников. Приводим его...

ПОСЛЕ АРЕСТА БЫВШЕГО ЦАРЯ. ОХРАНА НИКОЛАЯ И АЛЕКСАНДРЫ. БУДЕТ ЛИ НИКОЛАЙ ОТПРАВЛЕН В АНГЛИЮ?
Гарантии Англии... Будет содержаться в условиях, которые исключат возможность сношения с нашими врагами.

...Интендантское управление уведомило администрацию царскосельского дворца, что в дальнейшем продукты для царского дома будут отпускаться исключительно по карточкам.

Тайна влияния Распутина на Александру... Как он сделался собутыльником Николая...

ПОРАЖЕНЦЫ. ...Движение на императорских верхах в сторону сепаратного мира пустило более глубокие корни, чем это известно... Уверенно говорят, что найденные документы послужат материалом для гласного народного суда...

Следственная комиссия о злоупотреблениях бывших министров. Как уверяют, министр юстиции склонен к мысли предоставить дела Щегловитова, Протопопова, Горемыкина и др. суду присяжных. Следствие по делу Сухомлинова ведётся ускоренным темпом.

Дворянство. Чрезвычайное собрание объединённого дворянства вынесло резолюцию: «сплотиться вокруг Временного Правительства как единственной в России законной власти, поставившей себе целью защиту государственного порядка и доведение войны до победного конца.»

Отмена национальных ограничений... В учебных заведениях торгово-промышленного ведомства отменяются все ограничения национальные и вероисповедные...

...Иностранные кредиторы воспряли духом, и доверие их к России в дни революции даже возросло. Курс русского рубля на главных рынках поднялся. Иностранные кредиторы сознают, что русский народ исправно будет платить все долги, сделанные ненавистным правительством. Весть об отмене национальных ограничений в акционерном законодательстве встречена в деловом мире с радостью.

Еврейская группа демократического объединения приглашает лиц, сочувствующих объединению еврейских беспартийных элементов...

...Общее собрание евреев-учащихся средних учебных заведений Москвы...

...Собрание московских фармацевтов постановило приветствовать министра юстиции Керенского и делегировать своих представителей в Совет Рабочих Депутатов.

Обер-прокурор Львов заявил представителям печати: Да, я за свободную церковь, но не за нынешних членов Синода... Ещё до Учредительного собрания я решительно освежу Синод. Нельзя оставить старых порядков в православном ведомстве.
У Львова — высшая власть, он может их всех отправить на покой.

...Собрание псаломщиков избрало трёх депутатов в исполнительный комитет духовенства.

...Ускорение бракоразводного процесса.

АМЕРИКА С НАМИ.

УСПЕХИ ФРАНЦУЗОВ. Наступление продолжается.

НЕУДАЧИ АВСТРИЙЦЕВ.

Наша бдительность на рижском фронте не ослабевает.

Революционное брожение в Германии. Германская печать замалчивает...

Первые раскаты грозы в германском рейхстаге. Социалисты угрожают поставить на обсуждение бюджет министерства иностранных дел.

Итоги подводной блокады. Потопление пароходов...

...Из Нью-Йорка по телеграфу сообщают, что там средь местных евреев обсуждается вопрос о посылке на русский фронт добровольческого и санитарного отрядов.

От комиссара г. Петрограда. До сего времени нередко производятся незаконные аресты и обыски лицами, преследующими корыстные и низкие цели.

...Третьего дня вечером у одной из остановок трамвая чёрным автомобилем было расстреляно 7 человек.

Грузинов — командующий войсками. Подполковник Грузинов утверждён Командующим войсками Московского Военного Округа. Его помощником назначен генерал-от-инфантерии... В окружном военном совете чины штаба приветствовали вождя войск. Командующий сказал: «Я кладу в военное дело новый элемент: начала общественности и взаимного доверия.»

МИТИНГ ПРИСЛУГИ. В 7 ч. утра в кинематографе «Европейский» на Тверской-Ямской собралась многотысячная толпа кухарок и горничных. Давка была ужасная, шум, крик. Ораторши забирались на столы, стулья, говорили о злых и добрых хозяевах. Призывали провести ещё одну революцию, чтобы свергнуть хозяйское иго. Проходившие мимо кинематографа две элегантно одетых дамы оскорбительно выразились. Поднялся скандал, дам чуть не избили. Их препроводили в участок. Комиссар вместо составления протокола предложил им пожертвовать 50 рублей в пользу детей, дамы с радостью согласились.
Тем временем мимо «Европейского» прошёл полк солдат с музыкой. Густой толпой вся прислуга бросилась за ним, театр опустел. На Триумфальной площади опять был устроен митинг прислуги... Требовать увеличения окладов жалованья не меньше, чем втрое... Форма правления в России должна быть республиканской!..

...Союз художественных работников приветствует владельца электротеатра «Художественный» Брокша по случаю выпавшего на его долю счастья дать свой театр под помещение штаба революционных войск. Решено прибить на вечные времена при входе в здание на память далёким потомкам о великих днях...

МИТИНГ ОФИЦИАНТОВ. «Интересы рабочего класса требуют сплочения в рядах социал-демократической партии.»

Митинг слепых. Выборы в Совет рабочих депутатов.

...Суфлёр Большого театра привлекает к судебной ответственности Шаляпина за оскорбление словами на представлении 10 февраля.

Киев. На губернском земском собрании... заявил Франкфурт: в моём лице впервые здесь присутствуют евреи. Смею заверить, что еврейский народ отдаст все силы для завоевания лучшей жизни.

...Оратор-крестьянин говорил: «Примите нас в объятия любви. Примите нас, младших братьев. У меньшего брата есть и хлеб, и сало, и молоко, и масло, всего вдоволь. Осторожно, с любовью подойдите к меньшему брату, и он откликнется на ваш зов.» Оратора встречают бурной овацией.

Киев. Совет офицерских депутатов постановил: удалять портреты династии из общественных учреждений.

В училище имени Грушевского вводится преподавание на украинском языке. На собраниях начинает звучать украинская речь.

Одесса. Общественный Комитет выразил недоверие выборной городской думе и решил её распустить. Арестован ряд черносотенцев.

Владикавказ. Временный Комитет арестовал всё отделение Союза русского народа.

Баку. Взбунтовались уголовные арестанты, требующие освобождения.

Рыбинск. У собора манифестация опустилась на колени и трижды пропела «вечную память» павшим борцам.

Ярославль. Мимо Ярославля проехал неизвестный священник, открыто выражавший порицание совершившемуся перевороту. По телеграмме он задержан в Костроме.

Симбирск. Из ряда сельских местностей сообщают, что там царит старый порядок, стражники. О перевороте население узнаёт только по слухам.

Юрьев (Волжский). Крестьяне на базаре чуть не избили местного агронома, обвиняя земство в недостатке продуктов.

Котовская волость. Волостной сход решил оказать доверие Государственной Думе. Тут же урядник сам с себя срезал погоны и объявил себя сторонником нового строя.

...На сельском митинге протоиерей сказал: «Лютого зверя, угнетавшего нас, наконец посадили в клетку.» И текстами из Св. Писания доказывал, что республика — именно тот строй, который завещан Богом.

...Во многих губерниях — Нижегородской, Тверской, Владимирской, Черниговской, Полтавской, население желает решить земельный вопрос само, до Учредительного Собрания.

РЕСПУБЛИКА ИЛИ МОНАРХИЯ? Как бы ни разрешило этот вопрос Учредительное Собрание, **объявления и реклама** останутся основой народно-хозяйственной жизни.

П о п р а в к а. В №... «Русского слова» вкралась опечатка: исправляющим обязанности главного военного прокурора назначен генерал не А. Пушкин, а В. Апушкин.

Барышня просит каких-либо вечерних занятий.

Молодая интересная дама весёлого характера желает быть компаньонкой.

ИЩУТ КРОВАТЬ желательно стиля Людовика XV или рококо.

Полную стоимость плачу за бриллианты, жемчуга, золото, квитанции всех ломбардов и искусственные зубы. Ювелир Фистуль.

Г Р А Ж Д А Н Е!
ВСЕ ДЛЯ ВОЙНЫ! ВСЕ ДЛЯ СВОБОДЫ!

ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТ ПРОРЫВ! ...Военный министр во всеуслышанье заявил, что немцы готовят России страшный удар. Подвозятся миллионы снарядов, тысячи орудий. Солдаты и рабочие! Устремите весь ваш труд — на фронт! Немцы несут на своих штыках трон Романовых! Лозунг «долой войну» — измена родине!

УГРОЗА ПЕТРОГРАДУ. Очевидно, военный министр имеет данные о намерении Германии нанести такой удар. Гинденбург давно лелеял в мечтах поход на Петроград. Отечество и свобода в опасности!

...Если мы поведём войну с такой же гениальной стройностью, с какой провели революцию,— то дело свободы сделано. И с Вильгельмом II будет то, что вы сделали с Николаем II. О чём можно думать сейчас, кроме этого успеха? ...Руские люди! Неужели вас не охватывает дрожь гнева при мысли, что ваша судьба зависит от Вильгельма? Неужели нет в вас священной ненависти к этому Сарданапалу Европы?

СВОБОДА — В ПОБЕДЕ! Нашей свободе внутри страны никто и ничто не угрожает. От финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясённого Кремля до неподвижного Китая вся страна признала Временное Правительство. Но у ворот страны... Поражение врага — это будущее нашей демократии. Без победы не может быть свободы.

...Мы верим в благоразумие русского народа, и потому надеемся, что расчёты Германии не оправдаются.

Князь Львов опровергает слухи о прорыве нашего Рижского участка.

...Умерьте страх! Каждый день плодит слухи об опасностях...

СОЮЗНИКИ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛИ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ПОСЛОВ В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ.

Великобританский посол... Испытываю особую радость... оказать полное содействие Временному Правительству во всём, что касается успешного ведения войны... Необходимо более, чем когда-либо, сосредоточить внимание на войне... Великобритания убеждена, что Временное Правительство сделает всё возможное, чтоб довести войну до победного конца.

Итальянский посол... Дело возрождения России с такими деятелями несомненно будет доведено до конца...

Французский... Желание довести войну до конца воодушевляет вас в вашем благородном подвиге...

Милюков... о твёрдом решении неуклонно соблюдать союзные договоры. Но я скажу больше: великие идеи ныне получают твёрдую опору в идеалах русской демократии... Вся страна убедилась, что при прежнем порядке победа не могла быть достигнута. Это убеждение сделалось даже первым источником совершённого народом переворота. Могу вас уверить, сэр Джордж, что исход этого переворота не может противоречить его причине. Взгляните кругом — рабочие уже стоят у станков, дисциплина восстанавливается в войсках. Наша сила удвоена переворотом.

...Надо разъяснить крестьянам, что они не должны допускать захватов чужой собственности. Крестьяне землю получат, но в законодательном порядке... Надо убеждать крестьян везти свой хлеб для продажи.

СУДЬБА РОМАНОВЫХ. Преобладает мнение, что низложенного царя и его семью необходимо как можно скорей удалить за пределы России. К этому склоняется и большинство министров. Этот вопрос не вызывает сомнений. В ближайшие дни будет выяснен порядок следования их из пределов России.

...Самый снисходительный суд не найдёт для Николая II меры наказания, достойной его преступлений против народа. Его надо изгнать из России и этим запечатлеть конец царизма! Ибо низложенный узник опасен для русской революции, к нему будут тянуться монархические чувства, вокруг дворца-тюрьмы сгустятся легенды. Удалите Николая II из России — и о нём забудут как о ночном кошмаре.

(«День»)

Х о д а т а й с т в о Н и к о л а я Р о м а н о в а. Бывший царь обратился с просьбой разрешить ему чтение газет. Временное правительство не нашло препятствий.

ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА.

МИТИНГ ЕВРЕЕВ. 11 марта в помещении московского цирка Никитина... огромное помещение набито битком... Собрание открыл Фукс, указавший на огромное значение совершившегося политического переворота для судеб еврейского народа. В борьбе со старым порядком немало евреев погибло на плахе и в далёкой Сибири. Затем выступает московский раввин Мазе. Председатель митинга напоминает о роли Мазе в деле Бейлиса. Многотысячное собрание стоя приветствует... Растроганный Мазе плачет. Огромное впечатление производит речь раненого русского офицера: «Я пришёл приветствовать свободных граждан, русских евреев! Еврейское бесправие — это тёмное пятно на совести русской интеллигенции.»

Решено созвать чрезвычайный съезд российского еврейства.

Генерал Лечицкий — Главнокомандующий Западным фронтом.

А н г л и й с к и е о ф и ц е р ы о д и с ц и п л и н е... Дисциплина у нас строже, чем у вас... Отдание чести характеризует полк. Солдат не может обратиться к офицеру без унтер-офицера... Во французской ещё строже, и за побег со службы солдата расстреливают... Наши рабочие на время войны отказались от 8-часового рабочего дня.

Положение в Кронштадте. Получены весьма успокоительные сведения. Солдаты и матросы поняли ту опасность, которая грозит Петрограду, если не водворится немедленно порядок и спокойствие... Матросы отказались отпустить в Петроград арестованных 300 офицеров, мотивируя тем, что моряки-офицеры вскоре понадобятся на кораблях.

...Прошло 2 недели, как существует Совет Рабочих и Солдатских депутатов, а между тем не

только в остальной России, но даже в Петрограде мы, граждане, не знаем точно состава ни Президиума, ни Исполнительного Комитета... Со всех сторон раздаются вопросы и недоумении.

ВЛАСТЬ БЕЗУМИЯ. «Правда» требует власти для демократии, и в каком стиле! Временное Правительство оно называет контрреволюционным! Дальше и цитировать не стоит. Позволительно спросить: да кто ж эти анонимные **борцы за демократию?**

«Правда». В тот день, когда московские большевики посвятили своей партийной газете целый гимн,— во всех больших газетах был опубликован список провокаторов, и на первом месте — Черномазов, главный редактор «Правды». «Всё выше вздымавшиеся волны рабочего движения вынесли на своём гребне»... шпиона, которому охранка платила 200 целковых в месяц. «Вокруг революционных лозунгов большевиков объединилось 4/5 сознательного пролетариата» — посредством провокатора.

«Князья церкви» сделали скачок. Перед Победоносцевым они пресмыкались. Против кощунства Распутина не смели поднять голоса. Черносотенные иерархи, защитники погромов, влачили в грязи не царскую мантию, давно загрязнённую, но крест. А теперь они требуют, чтобы полнота церковной власти перешла к ним. Но свобода церкви не в том, чтоб она была отдана наперсникам разврата и предателям. Их выход — в отставку, на покой. Пусть уйдут — и верующая Русь найдёт пути очищения осквернённого храма.

(«Биржевые ведомости»)

...Покорнейший святейший синод, воспитанный в рабском послушании, вдруг восчувствовал любовь к свободе! Члены синода подняли знамя восстания против прокурора. Захотели ни много ни мало как всей полноты власти по церковному управлению! Какой фарс! Не теперешним членам синода говорить о церковном строительстве... Они запитнали себя рабским служением преступной династии. Обер-прокурору остаётся только устранить всех этих бунтующих епископов... Нельзя не предвидеть, что и для православия теперь наступает эпоха реформации, и внутреннее содержание вероучения должно испытать существенные изменения.

(«Русская воля»)

Обыск в Александро-Невской лавре. Подозревалось укрытие полиции. Выяснилось, что этот стук — от работы могильщиков.

Вопрос... Духовные круги очень интересует вопрос, как отнесётся новый обер-прокурор к пресловутому известному харьковскому черносотенному профессору Остроумову...

Священник.

Киев. Произведены обыски у местных деятелей Союза русского народа. Сняты допросы.

ГДЕ ИЗМЕНА? В окрестностях Москвы произведен чрезвычайно важный арест... Арестован сын председателя всероссийского монархического союза — по заявлению крестьян, которые никак не могли понять, чем занимается дачник...

Разоблаченные враги народа. На ст. Уваровка толпа избила известного черносотенца Киселёва...

...Городовые старше 50 лет не посылаются в армию, но некоторых приходится придержать под арестом.

...В ссылке и за границей — тысячи лучших и смелейших людей России. Пусть их места займут те, кому несладок новый режим.

Ярославль. Трогательная просьба политических об освобождении уголовных: ведь они попали при старом режиме, гнёт старого порядка натолкнул их на преступления!

...В умах запуганных людей революция — это дикое разрушение, беспросветная долгая смута, убийства, пожары, осквернение храмов, изнасилования, толпа упивается вином и кровью, женщины превращаются в гиен, озверевшая чернь носит на пиках отрубленные головы, на площадях гильотины, и шлют на плаху тысячи невинных. Из страха перед этим маревом благородные люди мирились с тиранией. Но да будут благословенны вечнопамятные дни 27-28 февраля! Где же гильотины? где же окровавленные головы? где обезумевшие мегеры? Напротив, новое правительство отменяет смертную казнь. Ах! Революция — вовсе не разрушение. Наша армия — с одушевлением... Рабочие на заводах торопятся наверстать...

(«Новое время»)

...Социалисты-утописты были застрельщики новой жизни и барабанщики её, и кожа на их барабанах была соткана из самых тонких нервов...

...Создан гимн, посвящённый министру-президенту князю Львову. Но почему-то первоклассные композиторы уклоняются от создания гимна революции...

...профессор Бурденко ставит себе первой задачей раскрепощение Военно-Медицинской академии.

...На ст. Торнео немецкие шпионы легко проникают через границу, так как пограничники и жандармы покинули свои посты, лишь только началась революция.

... Упразднённый жандармский корпус вёл наблюдение за агентами немцев. Поэтому теперь, в его отсутствие, все граждане призываются быть осторожными и молчаливыми, сохраняя тайны военных передвижений от безжалостного врага.

Упразднение капитула орденов. Большая часть существующих орденов и знаков отличия будет отменена.

...Французам предоставлены льготы при подписке на новые русские акции.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПЕРЕД ВОЙНОЙ. По всей стране раздаются голоса, чтобы не отсрочивать вступления в войну, но чтобы Германия почувствовала всю силу американской демократии. И недостаточно давать союзникам припасы, но надо послать войска во Францию... Сенатор Рут сказал: «Каждый американец должен испытывать огромную радость, что наконец Америка вступает в войну... Ректор Принстонского университета заявил: «Я как пацифист считаю, что мир должен поддерживаться всякой ценою, в настоящее время ценой войны.»

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. Македонский фронт... Итальянский... Западный фронт... Цель германского отступления — укорочение оборонительной линии. Теперь подготовка союзников к наступлению потеряла значение, всё придётся начать сызнова, на что понадобится несколько месяцев. Отступая, германцы всё разрушают и уводят население. Гинденбург считает, что это отступление было одной из гениальнейших операций войны.

...После расстрела толпы на улицах Гамбурга женщины подожгли город.

Счастливый государственный переворот в России, блестящее наступление союзников на Западном фронте, ожидаемое выступление Соединённых Штатов против Германии,— наше будущее с каждым днём принимает всё более светлые очертания.

(«Новое время»)

...Над могилами жертв революции будет воздвигнута колонна, превышающая все существующие доныне в Петрограде.

...Тщательное расследование выяснило, что все слухи о чёрных автомобилях, стреляющих по ночам, лишены всякого основания. Такой стрельбы не было. Петроградская городская дума единогласно поставила выразить доверие гласному Коаицыну, сожалея о несчастьи, которое случилось с его автомобилем 15-00.

...На митинге прислуги на Кирочной одного солдата так сжали, что его ружьё дало три выстрела. Ранена одна женщина и солдат в ногу.

ЕЩЕ ОДНА СВЕРГНУТАЯ ГИДРА. Тотализатор на ипподромах больше существовать не будет! Сколько было жертв, сколько отчаяния в семьях... Слава Богу!

...Весело прошли в субботу митинги парикмахеров и сапожников... Многолюдное собрание швейцаров... машинисток-переписчиц... служащих бань...

Зубные врачи, собравшись на митинг, горячо приветствуют и поддерживают Временное правительство... и возбуждают ходатайство, чтобы все зубные врачи, призванные на военную службу, были немедленно возвращены обратно.

Собрание чинов министерства внутренних дел. В опровержение упрёков всей массе чиновников в неискренности и быстром приспособлении к новому строю, заявляем: чиновничества, приверженного старому строю, нет и никогда не было. Чиновничество более всех терпело гнёт и несправедливость и ныне искренно приветствует новый строй.

...Администрация московской телефонной сети до революции неизменно отказывала охранке установить подслушивание, отговариваясь тем, что это технически невыполнимо.

Праздник русской революции. Шапки снимите! Сегодня Москва отмечает всех павших в борьбе с произволом. Слава тем, кто смелой рукой сорвал корону с безумной головы самодержца.

РЕЧЬ ГРУЗИНОВА перед солдатскими депутатами... «Рука об руку со мною идти на пользу нашей дорогой родины. Призываю солдат к дисциплине. Вам часто приходится встречаться с плохими офицерами, но я говорю вам: потерпите! Раньше и я терпел и подчинялся, а теперь, как видите, подчиняются мне.» По окончании речи расцеловался с председательствующим солдатом.

Житомир. На армейских знамёнах преобладают надписи: «Да здравствует республика», «Смерть изменникам»...

Астрахань. Неделя торжеств и ликований неожиданно закончилась побегом уголовных арестантов. Собравшаяся близ тюрьмы толпа приняла их за политических и встретила криками «ура». Затем оказалось, что все они вооружены револьверами. Исполнительным комитетом постановлено: арестовать всех чинов полиции без исключения и оставшихся на свободе черносотенцев.

Екатеринослав. Продолжаются аресты полицейских чинов, все помещены в кино-театре.

Баку. Начальник тюрьмы телеграфно заявил Керенскому, что восторженно признаёт новое правительство. Но уволен ввиду отвратительного состояния тюрьмы.

Киев. Уголовные объявили голодовку, требуя своего освобождения. Прокуратура освободила 27 чел., голодовка прекратилась.

Одесса. В некоторых деревнях тёмными личностями начато подстрекательство к аграрным погромам.

Поправка. Во вчерашнем номере «Московского листка»... «близость политических к преступным элементам столицы». Следует читать не «политических», а «полицейских».

Готовится к печати **роскошная художественно-иллюстрированная**
ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ
под редакцией кн. Пав. Долгорукова, в 9 выпусках. Участвуют виднейшие...

500 руб. тому, кто укажет квартиру 8-10 комнат с двумя людскими. Зубной врач Фенхель.

Дороже всех плачу за драгоценные камни, золото...

Благочестивые христолюбцы! К вам обращается с мольбою... Наш деревянный храм существует 200 лет, тесный, убогий, всё разрушается... Прихожане у нас бедны, земля песчаная...

Дедушкин квас. Доставка на дом от одного ведра, в бочатах — до 20 ведёр.

566

В Риге вчерашний день прошёл замечательно. Не только обошлось без всякого покушения (и сразу забылось), не только не болело сердце (и сразу забывалось), но через все свои официальные присутствия Гучков убеждался, что тут, в 12-й армии, ищется верный путь отношений с солдатами. На молебствии в соборе толпились тысячи депутатов от солдат. На параде Радко-Дмитриев произнёс речь о непобедимости русской армии — и последован был восторженным «ура» войск и народа. И члены Думы призывали народ сомкнуться вокруг Временного правительства — и тоже победоносное «ура». Потом войска стройно шли с музыкой по городу. Явно верна была линия Радко на сотрудничество с комитетами! (И это оправдывало линию гучковских приказов по министерству.) Из двух возможностей — давить комитеты (но нет сил!) или поддерживать их — в 12-й выбрали поддерживать. И Гучков в своих речах перед частями, и когда с «Храброго» его выносили в автомобиль на руках (вот вам и флот! на миноносцах он нашёл единение офицеров и матросов), и в приёме военных депутаций — всё увереннее видел правоту этой линии и, обобщая, заявлял уже (и начал верить сам), что ложны слухи о двоевластии в Петрограде, но Временное правительство работает в полном согласии с Советом депутатов.

Так ощутил Гучков этот рижский день как физическое и душевное выздоровление. Да, и в новых условиях — армию можно вести, вот так! И что-то подобное начал делать уже Колчак. И теперь надо бы распространить этот опыт хотя бы на весь Северный фронт, самый угрожаемый от революции. И вчера Гучков телеграммами из Риги назначил на сегодня совещание в штабе фронта и вызвал туда командующих 5-й и 1-й армиями Драгомирова и Литвинова.

Вероятно нехорошо, что так холодно проехал давеча Пскова, не повстречавшись с Рузским. Вообще Гучков не симпатизировал Рузскому и раньше: никакой он не генерал — ни дерзости, ни личной смелости, ни порыва в поход и бой. Да всякая мелочь, даже продолжительное лечение Рузского в Кисловодске во время войны, да и с японской войны заболел — и на фронт не вернулся. И то, что десять дней назад они вместе тут были равными участниками царского отречения, — их не сблизило, но было Гучкову даже неприятно при возникшей теперь субординации.

А сегодня, ответно на вчерашнее пренебрежение, Рузский демонстративно не встречал военного министра, а только Данилов-чёрный, с лицом всегда обиженным.

Были и депутации от войск и населения, пришлось произнести речь. На том самом вокзале, где стояли недавно императорские синие поезда. Но тогда всё обошлось тут же, в вагонах, а сейчас ехали в штаб. (Машу оставил в вагоне. Умница Половцов, всё более необходимый, был при Гучкове неотлучно, записывал мысли и распоряжения.)

Драгомиров и Литвинов были уже в штабе. Сразу начали совещание.

Но всё пошло иначе, чем в Риге. Никаких ни у кого приятных достижений, а настроение ссадилось, скосилось, почти на опрокиде. Оба командующих армиями, по той же ли революционной свободе не выказывая никакого уважения к военному министру, почти яростно накинулись на него, непочтительно когтя и браня в его лице как бы всё безудачливое Временное правительство и весь мятежный Петроград. Они жаловались на мерзость тыла, разъедающего их тылы, диффузии из Петрограда, требовали от Гучкова суровых мер против комитетов и против развала! И что вопрос отдания чести — так и повис в двусмысленности, слово министра не оказано, все понимают по-разному и каждый день оттяжки запутывает ещё больше. А денщики? — будут существовать, не будут? Надо же это ясно решить, офицерско-солдатские отношения и без того напряжены.

Ещё литвиновская 1-я стояла дальше от Петрограда и в глухом краю за Полоцком, а у драгомировской 5-й в центре был Двинск, уже взроенный как чуть ли не сам Петроград,— и не было жизни самому штабу армии. И Драгомиров...

— Да вы не видели Петрограда! — возражал Гучков.— До вас, господа, настоящая революция ещё не докатилась. Идти против общего течения невозможно, а приходится канализировать, балансировать.

А Драгомиров настаивал, что — докатилась. В Двинске и вокруг — аресты, задержания, смещения, выборы офицеров, преследование немецких фамилий,— что же остаётся от армии? В офицерах и генералах упала уверенность.

Он тем напористей это говорил, что сам был генерал довольно отменный, и носил известную боевую фамилию, сын знаменитого военного теоретика Михаила Драгомирова. И этот, Абрам, и брат его, Владимир,— оба генералы на высоких постах, резкие и решительные.

— И как можно терпеть такое вмешательство этих советов рабочих депутатов! И как мы можем мириться с особым положением петроградского гарнизона — не тронь, они воевать не пойдут?

Гучков ещё оправдывался:

— Да поймите, физическая сила — у Совета рабочих депутатов. Запрещать комитеты — это только вызвать огонь. Крутых мер принимать категорически нельзя, от них будет только хуже! Если со временем удастся удержаться и укрепиться — вот тогда и наведём постепенно порядок.

Он высказал это всё открыто, чтобы верней убедить их, но тут же и пожалел, что сокровенничал. Он почувствовал, что и без того он был для Драгомирова и Литвинова — не военный министр, а бунтовщик, захвативший место.

А вот Драгомиров приказом по своей армии вообще запретил солдатским «депутатам» ездить в Петроград. И именно отказался признать ротные и полковые комитеты!

То есть как раз противно правильному пути!

А сухой сдержанный Рузский со своей мордочкой зверька в очках, хотя не поддерживал натиска генералов, но тоже щетинился и принял сторону противную: что политические события отозвались чрезвычайно болезненно именно на Северном фронте. Расстроены продовольственные, вещевые и артиллерийские запасы, а укомплектования перестали прибывать. И — цифры.

— Но что предпринял штаб фронта? — горячился Гучков, всё больше нарастало в нём раздражение к пассивности Рузского.

Рузский — «телеграфировал и писал в Ставку».

Хороший выход! Вообразил Гучков этого сухого, капризного, скользкого и вечно недовольного генерала — в Ставке, на должности начальника штаба Верховного, или даже самим Верховным, как прочили его левые в правительстве и Керенский, во всё сующийся: а куда он будет писать оттуда? Всё правительству?

И всегда Рузский давал своему фронту самую пессимистическую оценку, что он наступать не может (Гурко выражал удивление, отчего ж противник не сообразил и этого фронта не прорвал),— тем более сегодня костенел. А Гучкову бы хотелось именно Северный фронт и отодвинуть от Петрограда.

И для себя он выводы сделал. Последнее время он ни одного разговора ни с одним военным не вёл просто, но с постоянным внутренним примериванием: соответствует ли тот своему посту? Относительно этих трёх ему стало сегодня вполне ясно, что их надо всех снимать. Но не сразу всех трёх, у этих — имя, а Литвинова, к тому же зубра консервативного, снять завтра же.

А пока — он холодно отрезал им: чтобы в борьбе за дисциплину они не рассчитывали на военно-полевые суды и тем более смертную казнь: её не может быть в свободной стране, её отменит правительство со дня на день.

Прервались на обед — натянутый, с нелёгким поиском дружелюбных тем разговора, а тут ещё Болдырева тревожно вызвали от стола и сообщили, что сошёл с ума адъютант Рузского граф Гендриков и хотел застрелить Главнокомандующего. Его обезвредили, но надо было меры принимать и докладывать, и так получилось, что за обедом же.

Всё расстроилось, ну времячко.

Сбили Гучкова с мажорного рижского дня, с уверенности, что открыли выход спасения.

Придумал послать на Северный фронт передового епископа Андрея Ухтомского, пусть он тут поагитирует.

3*

Можно уверенно сказать, что ни один военный министр России ещё не работал в такой обстановке.

Но и ни один военный министр не всходил на пост, окружённый таким революционным ореолом. Ни один не всходил с такой смелой широкой программой реформ. Да, Совет давит, стихия разливается,— но в том и искусство, чтобы в этой обстановке успеть совершить реформу. Все высшие чины армии сейчас разделились для Гучкова на тех, кто сочувствует его реформе и поливановской комиссии — и кто не сочувствует и брюзжит.

Например, в Риге Гучкову подали сообщение, что в Петрограде Военный Совет, составленный из старейших генералов не у дел, в заседании свидетельствовал Временному правительству своё восхищение быстрым восстановлением порядка и законности в нашем дорогом отечестве и свою солидарность с реформами вооружённых сил. Даже эти старые дряхлости, Гучков и не ожидал. Вот какая наступательная сила была у его реформ!

Но его главную подготовляемую реформу ещё никто не знал, кроме самых доверенных, она зрела как скрытый удар огромной силы. Старых, неспособных, сто или двести, снять одним махом! — к ним милосердия быть не может, выбрасывать безжалостно. «Дорогу талантам», не считаясь с иерархией.— на это может решиться только министр от революции. Конечно, могут быть ошибки, но общим ходом омолодительной реформы всё оправдается.

А готовить это Гучков придумал так. Заказал представить ему список всех командиров корпусов и начальников дивизий. Теперь — опросить человек пять-семь из доверенных и хорошо осведомлённых генералов или полковников,— и так против каждой фамилии записано будет пять-семь мнений. А затем в последней графе из этих частных мнений составится среднее арифметическое о каждом: может ли остаться на своём посту? или достоин повышения? или подлежит изгнанию?

На зыбком болоте между Советом и Временным правительством если это успеть сделать — вот и решена задача, спасена армия и выиграна война!

567

Остался генерал Алексеев не только без Верховного Главнокомандующего над собой, но теперь выясняется, что — и без правительства.

На его столе всё лежало и жгло тайное письмо Гучкова в конверте, взрезанном по кромке и с неизломанной посредине ало-красной накладистой сургучной печатью.

Время от времени Алексеев вынимал письмо из конверта и снова с изумлением вчитывался. Жестокая действительность — ладно, отбросить всякие иллюзии — хорошо... Но если правительство само признаёт, через неделю после своего создания, что оно *не располагает какой-либо реальной властью,*— то зачем же они носят название правительства? По военному ведомству, пишет Гучков, ныне представляется возможным отдавать лишь такие распоряжения, которые не идут вразрез с Советом! И только м о ж е т б ы т ь удастся, совместно со Ставкой, принять какие-либо осуществимые меры для спасения армии и государства. Но при этом не ждите: ни пополнений, ни новых формирований, а с техническим снабжением и продовольствием — неизвестно как.

А в оперативных планах, намечаемых с союзниками, советовал Гучков «исходить только из реальных условий современной обстановки».

То есть прямо: от весеннего наступления — отказаться!

Так если б хоть на два дня раньше он это написал! — Алексеев бы не позорился, не врал бы в письме к французам, что задерживают вьюги и распутица.

А это — нечестно. Союзники идут на большое наступление, Нивель пишет, что введёт в бой в с е силы французской армии, будет добиваться решительных результатов. Подводить их — нечестно. Надо сказать им правду.

А как стыдно и тяжело её выговорить!

И достаётся, конечно,— Алексееву...

А в его положении — ничто не изменилось от поста Верховного, и никому не мог он передоверить работу начальника штаба — но все бумаги пропускать только через свои руки. И писать письма, письма нанизанным мелким почерком.

Надо же Гучкову отвечать. Что ж, ваше письмо от 9 марта я принял к сведению...

А — как ещё?.. Это — невыразимо словами...

Навалить на него все армейские трудности (по обычаю рапортов ещё и преувеличивая их)? — может это призовёт их к ответственности. Вот — недоконченная гурковская реформа по переводу пехотных полков в трёхбатальонный состав (чему Алексеев возражал зимой ещё из Севастополя, не мог Гурко предвидеть революции, но вина на нём): теперь и старые и новые дивизии в некомплекте, и перетасован командный состав, не сознакомился с солдатами, и такие полки особенно беззащитны против разложения. ...Хорошо осведомленный противник захочет использовать наше ослабление в результате нынешней пропаганды — и в том поражении неизвестно кого обвинит мнение армии. Вся задача теперь — как отсрочить наши обязательства перед союзниками или совсем уклониться от

их исполнения — но с наименьшей потерей нашего достоинства. А выполнять их мы не можем. Я пока ответил союзникам, что мы будем готовы наступать не раньше первых чисел мая, но теперь, читая ваше письмо, вижу, что и раньше июля они не могут на нас рассчитывать,— только как им это объяснить благовидно, не роняя лица России? Да ведь мы находимся от союзников в материальной и денежной зависимости — и что если в ответ откажут нам?.. Да, нам бы сейчас месяца четыре посидеть спокойно,— ну а если неприятель нас атакует? — мы обязаны драться, и тогда правительство пусть выручает нас из «реальных условий современной обстановки». Если запасные тыловые части развалились нравственно — то может быть отбирать из них лучшие элементы и слать пока на фронт, а мы их здесь доучим при полках? Наконец и продовольствие. В дни таких потрясений питание особенно важно. Хорошо накормленный солдат более склонен слушать голос благоразумия.

Всё — в одну сторону, растянуто, ответ ещё будет ли? — где-то надо остановиться, а то можно писать бесконечно. Гучков поехал в Ригу — а не лучше ли бы ему в Ставку?

Выдохнул тяжело, сник над столом. Утомлёнными очками смотрел на конверт министра, на эту крупную ало-красную печать против своего лица, заползающую закрыть всё поле зрения. В центре сургуча можно прочесть буквы: «военный министр»,— видно, печать не пострадала в перевороте, так и досталась от Беляева Гучкову. Сургучный нашлёпок был почти кругл, лишь по одной длинной дуге выдавалась узкая отдавлина, а в другом месте застыл рельефный острый выбрызг.

Хорошо, ответ Гучкову отдал перепечатывать Тихобразову. А тот подал ему отпечаток секретного письма, отправленного всем главнокомандующим. Это — то письмо, к которому он прикладывал свою переписку с Жаненом о сроках наступления и предлагал им высказаться, какой же самый ранний срок реален? насколько революционное движение уже отразилось на нравственной упругости войск боевой линии? И если степень расстройства уже чувствительна, то не надо обманывать себя — и сократить наши задачи.

Сутки назад написано — а как уже всё недостаточно выражено! Тайное письмо Гучкова — опрокидывало всё дальше.

И порядочность, да простой деловой смысл, да военная общность — требовали также и это гучковское письмо не скрыть от главнокомандующих.

Итак, что ж, вдогонку надо им опять писать. Стал тут же нанизывать привычные строчки.

...С тяжёлым чувством передавая вам письмо военного министра... Можно понять, что до июня-июля нам предстоит перейти к строго оборонительным действиям. Значит, должно быть изменено и расположение наших сил... Сосредотачиваться на опаснейших направлениях возможных атак противника...

И — ещё долго, подробно.

Но не успел кончить этого письма — сообразил, что ведь ещё нужно одно письмо писать Гучкову...

Милостивый государь Александр Иваныч. Чтоб определить наиболее ранний срок наступательной операции, прошу не отказать осведомить меня: насколько можно считать боеспособным флот Чёрного моря?.. И в какой последовательности можно ожидать в Балтийском восстановления подводных, минных, крейсерских, линейных кораблей... Только откровенное изучение состояния...

Нет, этому конца не видно. А — никуда не уйти от нового прямого ответа союзникам, и даже нельзя его задерживать позже завтрашнего дня.

И как стыдно! — с разницей в четыре дня — то писал только о распутице, и вдруг...?

Набрасывал черновик.

...Это всё заставляет внести перемены в соображения о действиях ближайшего времени и повлиять на решения французского Верховного командования... По мнению моему, не истощать до решительного момента французскую армию и сохранить её резервы до того времени, когда мы будем способны совокупными усилиями атаковать врага на всех фронтах...

Внутренне весь изошёл. Неважно чувствовал. Голова покруживалась.

Покруживалась...

...покруживалась красная сургучная печать, почти круглая, так что могла вращаться и катиться.

Вращалась. И — отдавлина резала как лемех, а выбрызг захватывал как лопасть.

568

У революции — невыработанная колея. Разбегается сто колей, и не знаешь, в какую ж именно уставить своё колесо, чтобы покатило. Ещё три дня назад Саше Ленартовичу казалось, что он попал в самую огненную — а вот она вяло разляпливалась в ничто.

Саша, разумеется, и показываться забыл в кавалерийское управление, теперь такие управления летели к чёрту. Он весь был в движении офицеров-республиканцев, но вер-

хушка их Союза (а весь Союз и ограничивался верхушкой) почти целыми днями заседала — в той самой комнате Таврического, где в первую ночь был как бы штаб переворота. Тут они сочиняли и статьи в свой первый номер газеты «Народная армия», отсюда и бесплатно раздавали отпечатанный номер. Но газета плохо пошла по Петрограду.

В среду Исполнительный Комитет постановил послать ораторов в растерявшуюся Петропавловскую крепость (там не знали, кому подчиняться, ошалели от вереницы то арестов, то освобождений, ордера на аресты выписывали кому не лень) — и посланы были два солдата и два офицера-республиканца, среди них Саша. Там он выступил главным оратором перед выстроенной охраной — и ему очень аплодировали. Впервые в жизни он себя испробовал с публичной речью — и великолепно! Легко и плавно складывались фразы (уже отработанные лозунги), голос звенел, как ему казалось. Зубцы знаменитой стены, где повешены декабристы,— придавали оратору трагическое самозначение.

Не успел уложить внутри себя волнение после Петропавловки — на другой же день Масловский взял с собой Сашу в Царское Село. Предстояла какая-то загадочная и мощная операция над арестованным царём! Саша занял царскосельский вокзал, арестовал начальника станции,— приблизился к пламенеющей оси событий! — но на оси не завертелось дальше, или завертелось без него. Несколько часов он напряжённо ждал на станции — но событий никаких не совершилось, а был телефонный звонок от Масловского: отправляться ему со своей командой в Петроград, всё окончено. Только поманило большим, а ограничилось ерундой.

С мукой несовершённости Саша возвращался в Петроград. Разогнанный порыв прошёл впустую, мимо, расслабляющее чувство. Вспомнил, отправился в Дом Армии и Флота, там происходило первое собрание Совета офицерских депутатов. Интересно посмотреть на них, как их цеплять и тянуть.

В этот офицерский дворец Саша в петербургские месяцы ни разу не приходил, из гордости, да не интересен ему был офицерский досуг. А сейчас — впервые, и не мог не поразиться этой прямой мраморной лестнице в несколько маршей, подъём как в бесконечность, а боковые лестницы ведут на галереи с изобилием бронзы, золочёностей, зеркал и дуба, а на третьем этаже разноцветные гостиные,— но сегодня в этой роскоши являлась не пышность, а слабость,— слабость тех, кто собирался под её сенью.

В ненаполненном концертном зале жалось офицерское приблекшее потерянное сверкание. Из их Союза республиканцев один сидел и в президиуме. Уже долго заседал Совет — и не предвиделось конца. Выступали, выступали. Но не было дерзких речей, которые могут обжечь, подвигнуть,— какие-то всё слащавые: о единении с Временным правительством — и доверии ему, с Советом рабочих депутатов и доверии ему, с Советом солдатских депутатов и доверии ему. Всем вместе твёрдо идти к светлому будущему. И — всем совместно бороться с контрреволюцией, откуда б она ни шла. И — война до победного конца.

Саша испытал откровенное презрение. Это был — не Совет депутатов-офицеров, но — потерянное офицерское стадо, тем более удивительное в своей потерянности, чем самоуверенней раньше держались все эти подтянутые усатые молодцы во главе своих частей и строёв. До чего ж они размякли и беспомощны оказались в революции, но — до чего ж и напуганы, где их храбрость? Верное у Саши всегда было предчувствие, что вся их офицерская сила — деланная, а его революционная — настоящая.

Но и сам он был осажен бессмыслицей: если офицеры никуда не годятся, так тогда и Союз офицеров-республиканцев — на что мог надеяться? кого и куда тянуть? И само слово «республиканцы» быстро гасло. Ещё несколько дней назад оно обжигало, но сейчас, когда монархии не предвиделось,— как будто и вся публика становилась невольно республиканской?

А Союз республиканцев обсуждал такие важные вопросы, как отменить марки на письмах в Действующую армию. И — до конца отменить всякую военную цензуру.

Тут ещё вышел на сцену приветствовать собрание картинный казак Караулов. Потом встречали овацией и «ура» вошедшего на сцену сдержанного сухого генерала Корнилова.

Саша ждал — что особенного скажет генерал? Но Корнилов всего лишь сообщил об аресте царской семьи (Саша мог бы сказать дальше и больше) — и эти недавние все монархисты выслушивали с деланно-одобрительным видом. И повторил, что и все повторяют: что возврата к прошлому нет. (Под мундирами, под портупеями ещё у некоторых тут билось надеждой на прошлое?) И призывал офицерство работать на успокоение страны.

Да не от них это зависело.

А вчера было второе собрание Совета офицерских депутатов — в том же зале, и Саша ещё раз сходил на Литейный. Украсил заседание в этот раз — Чхеидзе. Восторгу офицеров не было конца! Вынесли лысого из зала на руках. Но Ленартович, потершись несколько дней в Таврическом, знал, что ничего Чхеидзе не решает и ничего не ведёт.

Нет, Совет офицерских депутатов был пустота без опоры.

Что-то затормошился Саша. Устал. Так внезапно для себя, и так на первых днях успешно двинувшись.

Да чёрт побери, не военная же карьера была ему нужна! И не потому он хотел выдвинуться, чтобы отличиться и все бы знали его (ну, немножко и это), а подошёл момент его жизни — наивысше проявиться! Надо было быстрее и точно найти себе и правильное место, и правильное направление усилий.

Нет, не офицерское звание пригодится ему, это ошибка. Хоть бы и не было его от начала. А у него — опора уверенная, это он знал. Но что-то перестал точно ощущать её ногой.

Вот хоть война. Все офицерские заседания в общем были: за победоносную войну. Если ты офицер-республиканец, то получается: уже не только за республику, но и за войну? И многие резолюции целых воинских частей — уже революционных, уже с выборными комитетами, печатались всё так же: за победу. Но Саша Ленартович как был от начала против этой грабительской войны, так не мог перемениться и от революции: непонятно, почему революция так меняла соотношение, что надо было стать за войну?

П о б е д а — нужна! — но тут, внутри, над реакцией, над контрреволюцией. А чем уж так мешал Вильгельм? Расписывали в газетах про него басни, что он хочет посадить на престол Николая,— да никогда! Его враг и такой войне — зачем бы ему Николай?

Честно, откровенно говорили о войне только большевики и межрайонцы.

Может быть и правильней было — выбирать себе *партию*, это и есть опора. (И тётя Агнесса не уставала твердить ему в короткие домашние часы, что только партия делает человека завершённым. Да она имела в виду затянуть его не в ту партию.)

Эти дни дом превратился в сон — буквально в пересып и короткие получасы до сна и после сна, чтобы поесть, умыться и сонно послушать тётушек или Веронику. Он слышал их — но не вникал, сжигаемый своим.

А с субботы на воскресенье пришёл разбитый, разочарованный, и как в первый раз слушал домашних, перестав ощущать перед ними превосходство.

Тётушки горячо несли своё, сбивчиво спорили. Модная тема у них была: идёт или не идёт ваша революция по нотам Великой Французской, какие черты уже похожи, какие ещё нет. Так же грозило иноземное нашествие в защиту павшего короля. Так же был поначалу доверчив и добродушен народ. Но — что у вас может сравниться со славным, грозным Конвентом? Но — главная непохожесть, по тёте Агнессе: Французская революция потом разрубила гордиев узел старой власти и старых классов — святою гильотиной. А наша — не решается, и не решится, и в своём прекраснодушии попадёт в двусмысленное опасное положение. Однако в том и смысл революции, что кроме неё бывает невозможно ничем расчистить завала. Все учреждения — прогнили, вся государственная машина не годится для республиканского строя,— а Временное правительство, видно, хочет ограничиться малым ремонтом.

Тётя Агнесса много над этим думала, мысли у неё были выношенные, и она не жалела красноречия убедить племянника.

— Революции с их великими общими идеями всегда разбивались об ограниченный рассудок обывателя. Великая Французская победила потому, что отбросила в сторону практический рассудок. Якобинцы лучше угадали, что должно осуществиться,— а не жирондисты с их государственной мудростью. И не наши кадеты.

Да-да-да... Это походило на истину. Не кадеты, Саша согласен, они слишком неповоротливы. Но — кто?

А он — хотел бы быть поворотливым. И — среди таких.

Ещё щебетали тётушки о своём герое Сергее Ционе, бывшем вожаке Свеаборгского восстания: тогда провалился, исчез, и много лет не слышали о нём. А теперь прислал из Лондона выразительную телеграмму: «Молодцы, братцы! Держитесь того, что сделали!»

Пустое пожелание. Чего ж сам не едет? Был прежде Цион и для Саши герой, но те все уже отжили. Пришло время героев новых.

Тут Вероника, неделю избегавшись по благотворительным делам, шла на Петербургскую сторону на какой-то крупный митинг, где будет и Матвей Рысс. Тянула Сашу.

Саша с вечера сказал — нет, буду целый день лежать, устал. А утром проснулся — опять свежий, нет, надо действовать! Время уходит, воскресенье тоже время.

Митинг был дневной. Пошли. Взял Вероничку под руку правой рукой (теперь чести на улицах не отдавать, добро), пошли по Большому проспекту, на Тучков мост, и по другому Большому проспекту, и не видели всей гуляющей толпы, разговаривали увлечённо, как после долгой разлуки: такие невменяемые пронеслись две недели, сегодня первое нормальное воскресенье в новосозданном мире.

Рассказывали, кто что делал, видел, узнал. Обсуждали и тёти-агнессино внушение. Очевидно, дело сводилось к выбору партии. Вероника, вслед за Матвеем, теперь ратовала за межрайонцев.

Может быть, хотя обидно, что Матвей так опередил, а Саша путался по задворкам.

Да, правильная партия — это самая прочная основа. Партия усотернет силу своего члена.

Вероника излагала, что слышала от Мотьки: проект объединения всех социал-демократических направлений. Ведь это стыд: 20 лет партия общая, а единой организации нет. Программа у всех почти общая, а политика разная. Вон, а германской социал-де-

мократии, при самых резких расхождениях,— а единство не потеряно. Никакая группировка не виновата, а это всё — проклятые русские условия, разъединяющая конспирация, никто не может подсчитать истинного большинства, на чьей оно стороне. Но теперь отпало самое тяжёлое разногласие — подполье или ликвидаторство, и все должны сойтись на одной программе.

Так гладко говорила сестра, будто в себе это всё открыла и выносила, сочные тёмные глаза её смотрели назидательно,— Саше стало даже смешно, что это она его учит.

А вот хотелось ему, чтоб сестра его спросила о Ликоне, с ней поговорить о Ликоне. Но так уже раздалились они, и так увлечённо Вероню несло,— не спросила...

Саша мог сегодня и штатское надеть, но пошёл в офицерском, и тем с большим удивлением и одобрением на него смотрели в толпе митинга, в зале. Тут публика была — чернодёжнаи. Но какая же сила всех их свела и набила битком, тысяч десять, сколько в зале могло стоять или не могло,— и за головами только видно было на помосте несколько красных знамён и оркестр, после каждого оратора играющий марсельезу,— а зал подкидывал фуражки и шапки, не боясь спутать с соседями. Говорили с помоста самую простоту: представитель одного, другого комитета приветствует свободных граждан свободной земли. Монархия — символ бесправия и угнетения слабых. Это социал-демократия первая, которая бросила искру, которая...

Что понимали, не понимали из сказанного, но в нужных местах кричали или рычали одобрительно. Хлопали. А оттого что стиснуты все так — ощущение действительно силы, не то что в расслабленных креслах офицерского люстренного зала. Нет, сравнивая тех и этих, надо было признать, что эти — сметут. И среди *тех* — не стоит болтаться даже передовым республиканцем.

Понимали, не понимали,— а вот собрались, сгустились, сами, никто их не сгонял. Да что ж не понимать: вот возгласили с помоста память павших в борьбе — и все мужчины сняли шапки (баб тоже много, в платках), а оркестр играл похоронный марш.

А потом заговорил — большевик? или межрайонец? никто больше так не мог: что мало сбросить прежний гнёт, ещё нужно выяснить физиономию нового правительства:

— ...Разве в эти руки может быть вложена железная метла революции? Нас хотят уверить, что в государстве, где есть классы с разными интересами,— и может быть единая власть? Они хотят, чтоб Россией правили съезды промышленников и каста попов? Не-ет, им не хочется принимать нас в компанию власти. Но и мы им не уступим свою власть! И мы отметём ихнюю войну, война народу не нужна, а хотят нарушить доверие между солдатами и рабочими, что будто только рабочие против войны.

И никто не возражал. Из десяти тысяч.

Потом выступил солдат, простецкий: прекратить братоубийство.

И «ура» кричали, марсельеза опять.

Уж Сашу ли в этом убеждать! — он это всё так и думал, ещё при первых выстрелах этой войны. Но постоявши тут среди митинга — был обратно убеждён ими больше своего: да! кончать войну! — и никак иначе.

Матвея не видели они на трибуне, но после выхода разыскали на улице — в кэпи и клетчатом краснобуром шейном шарфе. Едва сошлись — Вероника открыто переступила на его сторону, взяла за локоть, и вид у неё стал счастливый.

Молодые люди строжились, чуть колко поглядывали: прошлый раз, в ночную встречу у комиссариата, не очень они дружелюбно разговаривали. У Саши было чувство как к сопернику, хотя не видно, в чём соперник, где они пересеклись. За Сашиной спиной был Мариинский дворец, крепость, Царское Село, у Матвея ничего подобного быть не могло. А сила за ним ощущалась — бóльшая.

Спросил Саша: вот этот выступал, про железную метлу,— кто?

Большевик.

Матвей вытер углы рта носовым платком, он перед тем спорил с кем-то, и сказал Саше примирительно:

— Приходи завтра вечером к нам в Свечной переулок. Межрайонный комитет приглашает всех, кто признаёт объединение большевизма и меньшевизма.

Как будто спуск в старое подполье? А может быть и самое дело? Ответил:

— Подумаю.

А сам решил: надо пойти! Да вырос он в социал-демократии — и надо в неё вернуться!

Смотрел, как Вероня, послушна, стояла, к Матвею прилепясь,— и освежило его полосой радости — и ревности.

Радости — что женщина может быть так послушна.

Ревности: а Ликоня когда? И — что с ней за эти две недели? Забросил, не ходил к ней, обиделся,— а ведь и её же швыряли эти волны как щепочку.

Наконец приехали наши из Сибири — Каменев, Муранов и Джугашвили-Сталин. В воскресенье днём Шляпников провёл в Палас-театре первое заседание профсоюза металлистов (к металлистам он продолжал себя кровно относить), оттуда, недалеко, по пути ещё разговаривая с рабочими, пришёл пешком в особняк Кшесинской. А приехавшие трое — уже здесь.

Вот и встреча!

С Мурановым и Джугашвили обнялись. А Каменев осторожно отклонился, подал мягкую руку.

Уселись в белом мраморном залике с пальмами, с окнами на Петропавловку и на Троицкий мост.

Ну что? Как?

Как доехали? А как тут, у вас, в Питере?

Вдруг сразу не получилось простоты, сердечности, не как встречаются старые соратники, взахлёб. Как будто не так уж интересно им друг о друге и узнать. А верней — они не час назад приехали, и уже успели тут проведать помимо Шляпникова. Да и Шляпников уже был предварён, что они там в Сибири нагородили в поддержку Временного правительства.

Вместе-не вместе они там в ссылке жили — но вместе долгой дорогой ехали, сговаривались, тут вместе что-то узнавали,— и теперь расселись если не как трое судей над Шляпниковым, то как три ответственных старших товарища, проверить отчёт.

Да Каменев-то был ему почти ровесник, тоже тридцать с небольшим, молодой человек. А густоволосый, чуть кучерявый Джугашвили — кажется, на несколько лет и постарше. А Муранов-то точно на 11 лет старше Шляпникова и держался с большой важностью, сразу.

А кажется, должны были бы их соединить общее горе и общий стыд от последней газетной публикации, о ней только и разговору было по всему Питеру: по бумагам Охранки печатался один сохранившийся (а сколько ещё погибло в пожаре!) список платных агентов её в рядах революционных партий. И вдруг так подобралось, что по значительности постов и имён — Черномазов из «Правды» и ПК, Шурканов, бывший депутат Думы, и Лущик,— виднее всех в этом списке оказались большевики. Получались большевики — как бы самая опороченная партия,— как же зубоскалят меньшевики всех оттенков! Подрывалась большевицкая позиция в Совете.

А приезжие так держались, будто они этого пятна не разделяли: они ведь были не здесь, это, мол, не мы, мы бы не допустили. Самой своей ссылкой они становились как бы чище неарестованного подпольщика Шляпникова. А Шляпников, в ноябре настоявший на запрете всем партийным организациям вступать в сношения с Черномазом,— Шляпников теперь оказывался как бы виноватым,— и именно он теперь должен был перепечатывать в «Правде» позорный охранный список.

«Правда»! — лучшего детища, лучшей своей гордости не знал Шляпников. А тут — как-то поморщились, чуть не брезгливо: «Правда»?

А — что? Что — плохо?

Мол, слишком грубо ведётся. Мол, слишком резко. Отталкивает.

Да к о г о отталкивает? Кого и надо! Не пролетариат же!

Да дело, кажется, и не в одной «Правде»? Дальше — больше. Каменев с вежливой учёностью, как он весь марксизм вдоль и поперёк изучил за столом, а Муранов надутый, стали поправлять и даже отвергать чуть не каждую меру БЦК, даже самую позицию его и даже, удивительно,— позицию Петербургского комитета, которую Шляпников сам считал соглашательской. Если уж ПК для них — анархически-необузданный, то — каковы ж они сами и как они могли в сибирской крепкой ссылке набраться такого? И, мол, не надо подрывать Временное правительство. И не надо в газете так резко бранить Гучкова, как во вчерашнем номере.

Лучшую затею Шляпникова — вооружить и держать свою рабочую гвардию — тоже не одобрили: против кого вооружать? против кого держать?

Как? — Шляпникова горячий пот пробрал: так что ж, у пролетариата не должно быть своей отдельной армии? Всю силу отдать буржуазии?

По их — выходило так. Известная побасенка: буржуазно-демократическая революция, надо выполнить сперва буржуазные задачи. Но ведь позвольте! но ведь...

Ленин иначе писал-говорил! А эти сидели тут уверенные (да сговорившиеся?). Правда, Джугашвили помалкивал, покуривал папиросу под тёмными усами,— но всё же третий к ним. А Муранов и приехал, и держался с выражением страдальца и вождя: членство в Думе он понимал как вырост на лишнюю голову.

Шляпникову пришлось замяться на вопрос: а чем его выборгская милиция сегодня занята? Пока — ничем, охраны улиц почти не требуется, оружия захватили много, а большинство владеть им не умеет.

Так что, зря заняты люди и кому-то надо платить?

Чутьём пролетарским старого металлиста ухватывал Шляпников, что — оружие своё должно быть непременно, решение спора оружием — нормальное пролетарское дело, обучать рабочих — надо, бои — будут!

Но сегодня отспорить было трудно: с кем бои? когда? ведь контрреволюция поджала хвост.

Кроме большевиков, действительно, ни одна партия не вооружалась.

Да что! — если и резолюцию ПК создать *военку* — комиссию по работе в войсках, постепенно отвоёвывать себе петроградский гарнизон, приезжие тоже осудили! — мол, не надо вносить раздоры в петроградский гарнизон.

Ну, это уж ни в какие ворота! Это Шляпников усвоил крепко: так что ж, отдать вооружённый гарнизон буржуазии? Не-е-ет!!

Но приезжие как будто даже не очень интересовались его мнением. Они не столько выспрашивали, сколько назначали своё: Муранов — думец, Каменев — направляющий член Центрального Органа, никогда оттуда не выводился, а Джугашвили — такой же член ЦК, как и Шляпников.

У Шляпникова уши разгорелись от их обвинений. Вот так приехала поддержка! — а как он ждал новых партийных сил! Замотавшийся тут с революцией, что он вынес тут почти на одних своих плечах,— и всё не так? Вместо поддержки сбивали с ног?

Теперь уже ясно было, что они расходятся и в самом главном вопросе — о войне. А как раз сейчас дело стало особенно неотложно: в Исполкоме суетливо готовили Манифест о войне, чтобы послезавтра утверждать его на пленуме Совета,— и с приехавшими надо было спешно дотолковаться до единой позиции. У БЦК был план: выступить на пленуме со своим контрпроектом. Хоть и нет надежды собрать голоса — но прозвучать, дать себя услышать.

И Шляпников, уже теряя уверенность, рассказал им, каков план. Но бровастый крупнолицый Муранов, яо тихоусый Сталин не поддались навстречу. А в улыбке Каменева выразилось снисходительное сожаление.

Да, в оценке войны как империалистической они конечно сходится. Что войне надо положить конец — да. Ни аннексий, ни контрибуций, да.

— Но,— пояснял Каменев Шляпникову, немного скучая,— у вас не хватает вот какого оттенка: пусть не рассчитывают Гогенцоллерны и Габсбурги поживиться за счёт русской революции. Наша революционная армия даст им такой отпор, о каком не могло быть и речи при господстве предательской шайки Николая Последнего. Тут вот что разъяснить необходимо: война до полной победы, конечно, не наш лозунг. Но «война до полной победы демократии» — наш.

Мурашки забегали у Шляпникова по голове, как от заполза какой-то твари: вот как лозунги подменяют на ходу, вот мастера! Вот это и есть те мастера: между двумя прямыми решениями — вести войну или не вести — находят ещё десять промежуточных и между ними, как меж забитыми кольями, юлят и путают.

Так ловко это оказалось состроено — не нашёлся Шляпников сразу ответить. Но он же знал свою верность! он точно её знал! Сколько раз, лишённый связи с Цюрихом, он воспалённой головой пытался и пытался представить, как бы решал Ильич,— и всё знание повадок Ильича, и своё, какое было, понимание марксистской теории, и светлые подсказки Сашеньки,— всё сходилось, он не мог ошибиться, он не разучился же совсем в дураки! Он делал так, как бы делал Ленин. В наступивших чрезвычайных революционных условиях он вёл и вёл общепризнанную большевицкую политику, как она была десять раз проложена Лениным в «Социал-демократе» и в письмах. А вот, приехали и...

Да не свихнулись ли они в ссылке? Да — большевики ли они ещё сегодня или уже меньшевики?

Так разволновался Шляпников, что стал искать папиросу, никогда не куря.

Горько обидно было не за то, что они не понимают, не согласны,— но за подавляющую их манеру, что одних себя они признавали и приехали занять готовые места.

И Шляпников не решился бы им напомнить, как всю войну он тут на подпольи раздирался один, и пережил отпаденье скольких и извращение скольких, и две сумасшедших революционных недели,— а теперь Каменев вежливо отстранял его белой ручкой, Муранов грубо отпихивал плечом, а Сталин невыразительно покуривал. (И за что его, такого несамостоятельного, сделал Ленин членом ЦК?)

И — как должен был Шляпников выявить им не только свою правоту, но и полномочия, силу, власть? Таких приёмов он не знал. И некрасиво применять их к однопартийным товарищам. Все — уважаемые товарищи, страдали в ссылке.

570

Михайловский театр теперь пришлось возвратить под возобновляемые спектакли — и сегодня днём солдатская секция Совета собиралась опять в Таврическом, снова истаптывая, прокуривая, исплёвывая весь Екатерининский зал, а в Белом — опять где и по двое в депутатское кресло, кто влезет, и сплошь забивая все ступенчатые проходы, и вокруг лож, и ложи, и ещё круговыми толпами не помещаясь в распахнутых дверях.

Но от жары — снимали папахи, фуражки. И под сводами парламентского зала эта тысяча стриженных под машинку голов, уже подсмотренных фотографами,— щурились, кто робче, кто смелей, на самих себя, на зал, на свою новую непривычную власть.

И можно ли было от этих стриженых голов дождаться государственной мудрости?

Предлагали Станкевичу взять сегодня председательство в зале — но он не решился: всё не находил в себе ухватки и смелости положить руки на руль. Вот у Богданова были для этого нужные качества: самоуверенность до нахальства, и категоричность вдалбливать, не стесняясь повторов. Чтобы вести толпу — видимо, и надо быть таким.

Всем уже была известна, никем не оспаривалась, державная воля петроградского гарнизона: ни одной петроградской части на фронт боле не отправлять! никуда сдвигаться не желаем! Но уже зацепляли на днях, а теперь, когда военные заводы начинали работать, выпирало: а как с боеприпасами? Снаряды и патроны можно ли из Петрограда выпускать на фронт или тоже нельзя, чтоб не укрепить контрреволюцию?

Исполнительный Комитет уже знал, куда подталкивал, но размышляли и шершавые, неумелые головы. Оно спокойней бы, конечно, ничего оружейного из Питера не выпускать. Но и армию против немца как-то нельзя же оставить без оружия.

И какой-то серый, а осмотрительный, придумал, подал с места. И согласились постановить: все петроградские части пополнить до двойного боекомплекта — так, чтоб на случай какого столкновения сохранять перевес революционного гарнизона. А уж тогда, что свыше заводы наработают,— выпущать, ладно...

Неуверенного прапорщика Утгофа на председательской вышке сменил оборотливый Богданов, к нему солдатские депутаты уже и привыкли. И как о несомненном, весело бойко стал им объяснять: что вот в войсках начали присягать Временному правительству, а о ч ё м присягать — с нами не согласовано. Временное правительство поспешило присягу разослать, а с представителями солдат, с Советом — не посоветовалось. И что надо было в присягу поставить — защита революции, защита свободы — то ничего не поставлено. А к чему это навязывают крестную клятву или коран целовать? Это не по-революционному! Это затруднит принятие присяги верными сынами отечества и не способствует развитию революции на благо народа. И потому постановляет Совет солдатских депутатов (Богданов всегда вперёд знал, что Совет постановляет, уже и на бумажке выписано): опубликованный текст присяги считать неприемлемым, к присяге пока больше никого не приводить, отставить,— и пускай Временное правительство переработает текст с представителями демократии. А какие части уже успели присягнуть — ту присягу считать недействительной.

Станкевич слушал со сжатым сердцем. Это катилось неудержимым, огромным, давящим колесом, перекатывалось по Петрограду и дальше на все фронты,— и маленькие фигурки под колесом ничего не могли остановить. Он сам — не мог остановить на Исполкоме, и не мог остановить здесь, и даже знал, что Богданов тоже был с этим не вполне согласен — а вот проводил. Это катилось обширным ободом как будто помимо воли людей. А что за суматоха поднимется на фронте? Присяга — тут же отмена присяги,— а дальше? Как быть армии? Как же можно, дав присягу, тут же отменять? Теперь срочно сочинять ещё новую? Так над ней уже будут смеяться.

От законодателей — криков не раздалось. Присяга — не задевала их за шкуру, отменить — так отменить.

Ещё хуже.

И сам же Богданов, перепугавшись лёгкости, спешил объяснить, что отклонение присяги совсем не означает неповиновения Временному правительству! это только — поправка, а новый государственный порядок надо упрочивать!

Упрочивать — но неумолимое кружение передавалось и тысячному сборищу. И какой-то военный врач, повторяя знаменитую реплику Набокова из Первой Думы:

— Власть исполнительная да покорится власти законодательной!

Не поняли, но похлопали.

Закружилась и повестка дня. То и дело лезли с приветствиями представители — от Минска, от Осташкова, от 4-го Донского полка, от каких-то захолустных запасных. А тутошние — лезли поговорить о правах солдата, за прошлые разы не наговорились.

Вот, скажем, ежели офицер допустит превышение власти — то что должен делать ротный комитет?

А — имеет разве право офицер наказать солдата без согласия ротного комитета? Даже и за провинку?

Ну, всколыхнулись, мёдом не корми! Тут — каждому сказать гораздо, у каждого свой, из части, пример. Запотянули руки, запотянули: я! я!

Только успевай им слово давать. А кто не получил — так и с места сам добавляет. Или соседям.

И до того своё наболелое,— хошь оставь нас тут до завтрева сидеть без обеда, без ужина — а только выслухайте, дайте душеньку ослобонить.

И говорили, и говорили. Пройтить туда к вышке не всякому доступно — так у себя тут на столик взлазили и крутились.

Матрос полез: о порядках во флоте.

Ему кричат:

— Нельзя разглашать военные тайны!

А фельдшер:

— Надо утилизировать наш опыт и реорганизовать полковое дело!

— Да ты в новых словах не путайся, как в бабьем платьи! Ты нашими старыми гони!

— Образованным вы не очень верьте, братцы! Им наша свобода не нужна!

— Не, от них тоже поучиться надо! Они книжки читают.

— В книжках, небось, и дерьма много!

И когда б тому конец пришёл — но Богданов окричал, оговорил: следующий вопрос повестки дня!

— Надо признать желательным возвращение из армии на заводы специалистов-мастеровых.

И кто в Исполкоме такую несчастную мысль подал — утверждать это на солдатской секции?

Сразу выперся семёновец неистовый — и давай поливать:

— А что ж рабочие, мать их у...? Значит, нам идти кровь проливать, а они себе 8-часовой рабочий день устраивают? Значит, мы в окопах гниём и дённо, и нощно, и недельно, и пóгоду — и времени нашего не считаем. А они себе — 8 часов рядом с домом отработали, и пошли помылись, и гуляй, и на бабу? Это что ж, братцы, называется равенство? Для чего ж леворюцию закручивали?

И-и-и-их, как подхватились! — забыли про те ротные комитеты, а уж и присягу вовсе, да как завыли со всех сторон:

— Рабочих, мать их перемать!

— Пускай, как мы, работают сутками, не переодёмшись!

— А нет — так заставим! Со штыками — да на завод. Штыком его к станку, да пусть снаряды точит, чёрт ленивый!..

571

Генерал Корнилов не имел привычки читать газеты, и теперешние революционные тоже,— но сегодня поднесли ему в штабе. И он похолодел как серый камень. Какой-то полковник Перетц, и даже не понять так, чтоб из этой Военной комиссии, а просто полковник из Таврического дворца, дал объявление — и не подумав согласовать с Корниловым — что отныне все аресты в Петрограде будет производить штаб Военного Округа,— каково? А производить будет: по письменному или даже телефонному требованию Временного Комитета Государственной Думы (разве он ещё существует?), или министра юстиции (с каких пор штаб Округа служит министру юстиции?), или, уж конечно, Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов, а что эти такое — Корнилов уж посидел там, повидал.

Вот наглецы! У них не стало полиции, так не знают на ком повиснуть. Чёрта лысого вы от меня дождётесь! Пусть сами те умники и арестовывают, кем хотят.

Спросить бы — что же смотрит военный министр? почему у него распоряжаются какие-то полковники из Таврического? И почему он до сих пор не разогнал «военную комиссию» — что она болтается как шест в проруби! Но и военный министр, три дня назад уезжая на фронт, собрал совещание — и что ж опять внушал? Чтобы штаб Округа разрабатывал и дальше: как изолировать царя и царицу от свиты, кого из свиты взять в Петропавловскую крепость, каких служителей арестовать в царскосельскую тюрьму. Вот-вот создаётся какая-то особая следственная комиссия — разбирать дела свиты, царской охраны, прислуги.

Чёрт бы чем ты занимался! — а при чём тут штаб Округа? Ещё и так стоял в груди колом непроглоченным — арест царицы...

А — зачем Гучков поехал на фронт? Фронты — не в ведении военного министра, и нечего ему там делать. И чем такой объезд поможет при его штатской компетенции? А вот тыловые гарнизоны — как раз министру и подчинены. И он бы лучше задумался: каким способом вывести отсюда на фронт приблудные пулемётные полки, два пулемётных полка на всю русскую армию, вся огневая густота её,— и оба празднуют тут революцию!

Во всём этом бардаке, условно называемом петроградским гарнизоном, безукоризненно по-прежнему отдают честь одни юнкера.

Ниоткуда не встречая поддержки, Корнилов и сам принуждён был посылать своего начальника штаба приветствовать от имени армии ещё и городскую думу — и *просить* город выделить представителей в совет при штабе Округа (на кой дьявол они тут сдались?). Так — играли все тут теперь. Это была «демократия».

Корнилов не был аристократом. Но от такой демократии тошно ему пришлось, вот влип так влип. Нахлобучили его сверху на этот подстрёканный гарнизон, как сажают матрёшку на чайник.

От такой демократии толпилось в штабе Округа множество офицеров: получали пропуска на отъезд в Действующую армию! Вот порядки, офицер не может уехать из Петрограда вольно, превратили город в тюрьму для офицеров!

Демократия захлестнула за пределы, где мрачился разум: в самом Главном штабе, в другом крыле того же подковного здания, где и штаб Округа, писаря собрались между собой, создали комитет и постановили: отрешить от должности генерала Занкевича и ещё других генералов, гонителей писарей (кто гонял их в работе и урезывал наградные к праздникам). И, кажется, генералов этих министр увольнял. А офицеры Главного штаба вынужденно создали свой комитет — и слали писарям мотивированные ответы на их запросы.

Вот только этого одного теперь не хватает Корнилову: чтоб и в *его* штабе писаря создали комитет, а он? — а что ж? — придётся призывать писарей к дружеской товарищеской работе...

Но службу — не выбирают, а куда назначат. Старое — рухнуло бесповоротно, и значит надо поддерживать Временное правительство.

Но — как его поддерживать, если оно само себя не поддерживает? Как строить армию, захлёстнутую болтовней? В несколько батальонов — в Волынский, сапёрный, Корнилов ездил сам, надеясь подтянуть своим явлением и присутствием. Был — строй, полковой марш, несколько горячих речей и обещаний приступить к занятиям. Но уезжал командующий, и всё оставалось по-старому, и занятий никаких. В несколько батальонов вызвались съездить генерал Нокс и другие английские офицеры, не меньше Корнилова обеспокоенные тем, что творится в гарнизоне. Повсюду встречали их рьяно (лестно, англичане!), везде гости говорили комплименты (в Семёновском уверял Нокс, что просто мечтал бы командовать такой частью),— и повсюду же англичане толковали, что и в английской и во французской армии ограничения солдата гораздо строже, чем хотят устроить в русской. Эти нотации солдаты пропускали меж ушей и кричали «ура» гостям.

Посетил Корнилова знакомый его капитан Нелидов, теперь охромевший, просил приехать к ним в Московский батальон,— и Корнилов ездил вчера. Что он там увидел — было неописуемо. Батальон встретил его на плацу не строем, но толпой,— ужасное зрелище, не приведи никакому генералу так попасть. И на приветствие командующего отвечали из этой толпы лишь местами и вяло-нерешительно. Нельзя поверить, что две недели назад это была армия. Сейчас — стадо. И не представить, сколько же сил теперь нужно, чтобы вогнать это стадо снова в строй.

А между тем — толклись к Корнилову корреспонденты газет, получать новые интервью для публики: что именно думает и хочет сказать командующий по поводу славного революционного петроградского гарнизона?

И что же? — врать, делать счастливую мину? Разозлись, переступил оглядку на Совет депутатов и сказал «Речи»:

— Выборное начало в армии — нежизненно. Оно не может содействовать силе армии, а скорей породит рознь. На фронте надо не рассуждать, а делать.

А ещё же вливался в служебный день командующего поток приветствий от многих частей со всей тыловой России, от гарнизонов далёких городов и городишек, и все очи выражали восторг от революции, благополучие своего состояния (можно вообразить),— то от конного полка из Харбина, то от гарнизона Вологды, а и штатские не ленились слать почему-то командующему — из Томска какой-то Нахалович, председатель правления печатников, из Липецка какой-то Трунцевский, ото всех городских организаций.

Сегодня, в воскресный день, только и подошёл Корнилов к этому столу, где навалены были приветствия, перебирал и удивлялся.

И вдруг ещё больше удивился, услышав отчётливо через окна — маршевую музыку.

Да кажется волынский марш.

Подошёл к окну — да: на Дворцовую площадь, в бледном солнце, нехолодно, с Невского заворачивала колонна в бескозырках. И со многими красными знамёнами, плакатами на двух палках — и вытягивалась вдоль Зимнего.

Что это? Ещё одна особенность нынешнего гарнизонного положения: не командующий назначал части явиться — а сама часть решала, когда б ей явиться к командующему.

Прибежали адъютанты, объяснили: Волынский батальон, отстаивая своё право считаться в революции зачинателем, ходил в Государственную Думу, а оттуда пришёл представиться командующему.

И что же оставалось командующему? Надо идти и приветствовать.

Надевал свою фронтовую шинель. (Красной генеральской подкладки сроду он не нашивал — так меньше красного было и сегодня.)

Да, с этим первенством. Когда он был у волынцев три дня назад, ему говорили, что есть же *самые* первые, кто начали всю революцию, только спор идёт, кто именно: говорили — старший унтер Кирпичников, другие — будто прапорщик Астахов, третьи — ещё кто-

то. А так как весь выход воспитания гарнизона оставался — льстить и хвалить, так может *первого*-то был смысл — отметить?

Когда Корнилов в сопровождении нескольких офицеров вышел на площадь и по косой пошёл к батальону — тот весь уже был выстроен, лицом к Главному Штабу, и так же повёрнуты все знамёна и плакаты, так что на ходу имел генерал удовольствие и прочесть некоторые: «Готовьте снаряды!», «Войяа до полной победы!», «Не забывайте своих братьев в окопах!». Что ж, надписи хороши, ни одной дерзкой, кроме «Да здравствует Совет рабочих депутатов»,— но есть и в честь правительства.

И эти надписи подбодрили Корнилова. Да не могло измениться русское солдатское сердце! Они — не от зла так распустились, а — от растерянности: военный министр мямлит в приказах, одни офицеры разбежались, другие заискивают,— а солдаты, волынцы и всякие другие, бесхитростно готовы отдать свой долг родине,— откуда бы в них другое!

И Корнилов всё чётче и бодрей подходил к батальонному строю.

Не слишком полным подтверждением заметил, что офицеров — мало. А к нему навстречу спешил с рапортом... прапорщик. И доложил, что он — командир батальона.

М-да-а... Где же их полковники? капитаны?

— Слу-ушай! На-краул!

Подхватили винтовки на караул.

Командующий пошёл вдоль фронта и повелительным хриплым голосом здоровался. Рявкали в ответ — дружно, совсем неплохо.

— Да,— вспомнил Корнилов.— Где тут у вас такой Кирпичников?

— Уже прошли, господин генерал. В учебной команде.

— Ну, покажете во время марша.

Стал Корнилов посередине против строя, достаточно отдалённо, чтобы видели все, и выкрикивал речь. Отчасти по обязанности, отчасти искренно.

— Спасибо, братцы, за то, что вы пришли сюда.— (Без вызова.) — Вашей кровью запечатлелся новый порядок.— (Впрочем, кажется, у них потерь и не было.) — Славные петроградские войска сыграли огромную роль в добывании свободы. У вас — молодецкий вид, образцовая дисциплина.— (Ой-ой.) — С такими солдатами, как вы, никакой враг нам не страшен. Помните, братцы, что дав России свободу, мы не должны забывать о наших братьях в далёких окопах.— (Кто-то же из них написал, значит — помнит.) — Наш долг — дать им помощь людьми. Снарядами. И продовольствием. Спасибо вам за вашу преданность новому правительству. Верьте своим офицерам, они — не враги свободы, но желают родине только счастья.

Корнилов — не был никакой оратор и уже не знал, что б ещё сказать, всё обсказано.

— Да здравствуют ваши начальники! Да здравствует славный Волынский полк!

Последнее — особенно пришлось по душе,— и прогремели «ура» мощные. Подхватила кричать и публика, тем временем набравшаяся на площадь вслед за батальоном.

И на правом фланге батальонный оркестр заиграл эту пакостную ихнюю марсельезу. И так почему-то замедленно играл — получалось вроде похоронного марша.

Корнилов сделал знак командиру батальона, тот — оркестру, оркестр выходил против строя.

Волынцы перестраивались поротно в походную колонну.

Тем временем командир батальона указал Корнилову унтера Кирпичникова в первой шеренге. Невысокий, поджарый, губастый, простой, выправка отличная,— в чём-то он показался Корнилову похожим на него самого.

А не награждать бы его, а — розгами высечь.

Отлично загремел церемониальный марш — и, заворачивая правым плечом, роты равнялись и затем печатали снег перед командующим.

На снисходительный глаз — даже и ничего. Если б ещё подструнить их с недельку.

Но — радостно шли, с открытой душой.

Наши солдаты! Не может быть, чтоб уже ничему не помочь.

Командующий отрывисто благодарил, каждую роту отдельно.

Отвечали — весело.

И с каждой прошедшей, ушедшей, пропечатанной ротой веселье как будто ещё нарастало.

Оно передалось толпе, толпа — хлынула вослед за последней ротой и оркестром — подхватила Корнилова на руки — как две недели назад никто б не осмелился с генералом, и в голову бы не пришло. И — ввысоке понесли его в штаб.

Все кричали, ликовали, доигрывал оркестр.

Корнилов нёсся в неудобном возвышенном положении над толпой и думал: вот так бы и от пулемётных полков отделаться, парадом? Мол, низкий поклон вам от меня как от командующего за великую услугу, что вы оказали делу освобождения, а теперь придётся вам пойти на фронт помочь своим. Готовы ли, братцы?..

Нет, не пойдут, мерзавцы.

Длинные дальние локти свои кусал теперь Николай Николаевич: зачем уехал с Кавказа? Он был Наместником обширной благодарной страны, его любила армия, любило население и даже социалисты почтительно разговаривали с ним,— попробовал бы кто-нибудь его оттуда сместить! Что за несчастная путаница произошла с его назначением в Верховные, зачем Временное правительство срывало его с Кавказа, почему не сообразило, не остановило раньше?

Горечь переполняла грудь великого князя — особенно потому, что больное это было место, смещение с Верховного, уже второй раз.

Вчера он не удержался и пожаловался английскому генералу при Ставке Хенбри Вильямсу, втайне рассчитывая не только на сочувствие, но может быть на обратное воздействие — через английских властей на русские, ведь эти самые иностранные генералы при Ставке привыкли видеть великого князя Верховным, Англия и Франция знали в нём извечного лютого ненавистника Германии — неужели они не хотели бы и не могли...? Но охоложен был великий князь ответом английского генерала: его преданный и бесколебный совет был — отказаться от поста.

И вот, в начале же этой недели оброненная великим князем шутка, что он вернётся жить маленьким помещиком,— к воскресенью уже и сбылась: он только и мечтал теперь возвратиться в своё маленькое поместье, уже не на Кавказ,— уже не имея более никаких военных обязанностей, как если бы война окончилась. Славная дачка его, Чаир под Ливадией, в солнечном голубом Крыму, теперь манила его как видение другого мира, куда не достигают мерзкие революции.

Но унизительнее того: он даже и к себе в Чаир вернуться не мог ни как Главнокомандующий, ни как великий князь, ни как просто свободный взрослый человек,— он даже к жене своей в Киев (ещё гнев Станы предстояло ему пережить!) не мог поехать как независимый взрослый: он должен был ждать теперь каких-то двух неизвестных ему депутатов зачем-то Государственной Думы, и они будут его сопровождать — как арестованного? как сопровождали Ники?

А ведь ещё вчера, приняв присягу, Николай Николаевич проявил избыточную любезность: послал правительству вторую телеграмму: что мол принял присягу новому государственному строю, что выполнит свой долг до конца.

Теперь всем великим князьям из Ставки неминуемо предстояло увольняться: и Сергею, и Сандро, и Борису. И Пете — ничего тут не получить.

И куда же теперь Орлова? И своих адъютантов? И Сергея, Лейхтенбергского, отобранного у Колчака, ну этого с собою в Крым же. И куда — донского атамана Граббе, по пути прихваченного с Дона по просьбе казачьих властей? — тут по Ставке ходил ещё один осиротевший Граббе, начальник конвоя.

И — где же ждать? Оставалось ждать — в вагоне. Случилось так в первый день — Николай Николаевич пренебрег переехать в губернаторский дом,— а теперь оставалось ему ждать в вагоне, без возможности проехаться, даже пройтись,— не по шпалам же шагать.

Томительный замкнутый день, депутаты не успевали приехать раньше чем сегодня к вечеру.

Целых три дня пути в Могилёв, в этом самом вагоне, в этой самой компании, а до Минеральных ещё и с Андреем,— как они оживлённо беседовали, как они возбуждённо рисовали себе славное будущее, целую новую эпоху,— а теперь запечатались уста, и даже с Орловым говорить не хотелось.

В защемлении протянулся день, а к концу его, к обеду, пришли два позванных старичка генерала, преображенец и лейб-гусар, которые и встречали его в этот раз в Могилёве. (Теперь-то понял великий князь, почему такая скудная встреча была, без караула, без штабных офицеров,— лукавый Алексеев уже всё знал и умыслил!)

Сели за грустный полубезмолвный обед. Николай Николаевич сидел вытянутый, как закованный,— предстоящим ли видом ареста? такого же оберега и одиночества в Чаире?

Вдруг лакей вызвал от стола дежурного адъютанта князя Шаховского.

Тот вышел, вернулся и доложил, что у вагона собралась и непременно желает видеть великого князя — депутация фабричных и железнодорожных рабочих. Что они настроены крайне благожелательно,— да к иным депутациям великий князь и не привык за эти дни,— и не хотят верить, что великий князь не желает стать во главе Армии, что есть какое-то письмо правительства? — они хотят знать.

Потеплело сердцу Николая Николаевича, он подобрел. Фабричные?

Он и сам готов был к ним выйти, но, может быть, это было несолидно, к малой группе.

Он пошёл, достал из выдвижного ящика письмо Львова — просил князя Орлова выйти и прочесть его депутации. Ему — нечего было скрывать.

Ход обеда смешался, заволновались, чем это кончится. Один генерал побрёл вслед Орлову.

Депутация стояла на перроне круговой кучкой вокруг вагонной площадки, железнодо-

рожники в своей рабочей одежде, как были кто на местах, фабричные — поаккуратнее, пришли особо, но у всех — хмурый, трудовой, простонародный вид. И почти только пожилые, усатые, были и старики, а молодых не было, ни — женщин. И с красными наколками — никого.

Перед сиятельными генералами двое-трое передних потянулись было снять шапки, но оглянулись — не сняли.

Толстый Орлов стал читать — громко, слышно всем, и от себя добавляя издевательские нотки в местах: «*народное мнение* резко и настойчиво высказывается против...», «Временное правительство не считает себя вправе остаться безучастным *к голосу народа*, пренебрежение которым может привести к серьёзным последствиям...»

И тут один фабричный закричал:

— Знаем мы этот народ! Это — евреи! Мы их в Могилёве только и слышим!

А другой, старик из переднего ряда, рассудительно добавил:

— Рази нас слушают? Петербург усем командует. Пусть великий князь не соглашатси!

В депутации загудели — вперёд и друг со другом. Не стали уже и письма дослушивать.

— А пусть великий князь к нам пожалует!..

Орлов понял момент — ушёл, не дочитывая.

И быстро вослед на площадку вышел стройный пружинный великий князь — в кителе при орденах, в фуражке. Стал на вагонной площадке вытянувшись, неправдоподобно высокий, почти доставая верха вагонной двери. Вид его был — орлиный, как принимал бы парад выдающегося полка.

Ветровым движением вскинуло руки, сняло шапки, обнажились головы густоволосые и плешивые, и седые.

Молчали.

И великий князь молчал. Он только мог порадоваться их приходу. А — сказать? Теперь — что ж он смел сказать?

И вдруг железнодорожник крупный, на полголовы возвышаясь, поднял руку с двумя свёрнутыми путейскими флажками и надунул через головы:

— Ваше Императорское Высочество! Да нас тут — сила, вся дорога в наших руках. Да вы только прикажите — мы чичас рельсы хоть до самой Орши снимем — и посмотрим, как этот *народ* к нам сунется!

И заволновались, ещё загудели, сдвинулись к вагону,— и один старик потянул руку великого князя целовать, а у него перенимали другие.

И даже слёзы увидел великий князь. И ощутил теплоту и колкость поцелуев на тыльной стороне кисти. И — взыграло в нём, взыграло боевое, ретивое! Вот таковы ж были с вагонной площадки — депутации, овации, депутации, овации трёхдневной поездки сквозь Россию.

Ах, как бы сейчас он, правда, им приказал! Ах, как бы сейчас, правда, разобрали рельсы на три версты в петербургскую сторону!..

Но с разобранными рельсами — что же дальше? Начинать войну внутри России? — нельзя было этого взять на себя, нельзя было на это осмелиться. Просто — не хватало и воображения.

Да ведь уже — и сдал он командование Алексееву. И — пылко ответил Львову. И — присягнул Временному правительству. И — вся Ставка присягнула.

И — разве можно теперь это всё повернуть?

А — горько, горько.

573

По последнему снегу, какой ещё оставался,— шёл дождь, всё бурно таяло, в болотных окопах, землянках, блиндажах Преображенского полка опять стояла вода. Потом ветер нанёс на три дня серых низких туч, серой мглы,— и вот висела эта гнетущая тёмная погода.

А неприятель не дремал. Была ночная атака на семёновцев — причём офицеры не ждали её, а солдаты что-то не верили безопасности, простояли всю ночь у бойниц, под утро пошли три немецкие цепи — и им хорошо наклеили.

Этот успешный бой имел в гвардии тот неприятный оборот, что подкрепил солдатские подозрения: настолько ли офицеры против нового строя, что даже будут склонны сдавать позиции немцам? У солдат появилось смутное настроение, что от них скрывают какие-то новые приказы. (Солдаты гвардии были и грамотны поголовно.)

У Свинюхи немцы высылали крупную разведку под прикрытием миномётного и бомбомётного огня. Но наши отбили их, не дали тронуть проволоки. За то они долго бросали потом химическими снарядами.

Ходили и ночные разведки, перекидывались гранатами. По всему Стоходу было неспокойно.

А взяли немца в плен — он говорил: их офицеры убеждены, что через две-три недели на русском фронте будет мир.

Значит, так рассчитывают на нашу смуту!..

Против австрийцев мы выставили большие плакаты, что Америка уже выступает в союзе с нами. Австрийцы не только не стали обстреливать плакат, но кричали «хурра». Гвардейцы даже не поняли. Узнали от следующего пленного: радуются, что, значит, скоро кончится война.

Но ещё когда фронт шевелился, стрелял, угрожал, под разрывы мин и потрескивания пуль о наши укрепления было даже легче: как будто всё по-старому, как будто не случилось Великой Беды.

А когда умолкало, то напротив: все настороженные чувства обращались к тылу, к Петрограду: что — там?

После Кутепова из Петрограда долго никого не было. Потом примчался ещё один отпускник — юный подпоручик, но иёс одну бессвязицу, в состоянии вполне безумном,— и его тут же пришлось отправить в сумасшедший дом, в Киев.

Зато притекали новые тяжкие слухи, мрачнившие душу. Вроде того что: генерал Корнилов — немецкий агент, для того и выпустили его немцы из плена, чтоб он захватил в Петрограде власть.

Тем временем роте Его Величества приказано было снять вензели и называться просто «первой».

Генерал-майор Дрентельн вчера сказал командирам батальонов:

— Сегодня я первый раз подписался без «флигель-адъютанта». Но снять вензеля — нет сил, я ношу их с Девятьсот Третьего. Впрочем, про меня все знают, как я был близок к Государю, они меня долго не потерпят.

У него после ранения неправильно срослась нога, кровообращение стало ненормальным, за последние дни ухудшилось, теперь здоровая нога была в сапоге, а больная в валенке — и так он переступал по брёвнам над набравшейся водой.

— Кому мы теперь нужны? Вот, несём нашу службу нелёгкую,— а для кого теперь? Для блага тех мерзавцев, которым гвардия — только помеха. Мы приняли новый строй против своих убеждений — и мы же должны их защищать! Не удивлюсь, если захотят нас всех уложить поскорей на немецкой проволоке. Чем быстрей нас уничтожат — тем будет лучше для «свободного народа».

Посмотрел, посмотрел на своих испытанных полковников. Все выглядели мрачно. А на лице Кутепова была его отродная осклабленность недоумения,— будто он что-то горькое-горькое узнал, и хотел спросить? возразить? и на том застыл навсегда.

Бревенчатая крыша землянки была приподнята над землёй — и вот слышна была дружная капель с неё.

— А иногда думаю: может быть и хорошо, что не дошли мы с полком до Петрограда. Избави Бог, что б это было!..

Капель.

Кутепов промолчал, но живо помня всё, он думал как раз, что было бы хорошо: одного Преображенского на всё бы и хватило.

Дрентельн ещё в начале февраля такой свежий, помолодевший вернулся из отпуска, из Петрограда,— а сейчас совсем подался в старика, да ещё с этой ногой.

— А — как, скажите, господа, людям наших верований жить в этой новой России? Невозможно. Для меня погибло всё, чему мы молились с детства. Вон, читали: Государь — арестован! Государя везут из Ставки какие-то хамы. Государя хотят судить! Да как это всё преображенцы могут снести? Или в киевской газете грязно распубликована частная телеграмма Государя к августейшей матери: «приезжай к одинокому сыну, всеми оставленному». По отношению к кому, примерим к себе, можно допустить такую бестактность? Только тем спасаемся, что одеревенело сердце. Вот, рассказывают отпускники: в Саратовской губернии начинаются поджоги, убивают стражников. Ясно как день, что будущий строй и наши земли отнимет.

Тут — Кутепов ещё глубже промолчал. За годы в гвардии он привык к этой странной черте сослуживцев: иметь поместья, предполагать, что они есть у всех.

— Вот — подойдёт время,— говорил Дрентельн,— разорвём наше знамя по лоскуточку на память. А древко с вензелем и крестом сожжём. И разойдёмся.

На знамени преображенцев висел георгиевский крест, повешенный собственноручно Александром Вторым. Нет, в такую последнюю минуту этот крест, будь командиром полка, Кутепов бы повесил себе на шею, под рубаху.

А пока что к этому знамени они и все их преображенцы должны будут подходить с присягой Временному правительству,— Дрентельн и собрал командиров батальонов предварить.

И что же, правда, делать гвардии, покинутой своим императором во власть сброда? Кто эти выборные хамы в «советах депутатов»,— тыловые писаря да разные шофёры, да кто укрывался в тылу. По протекции императорской власти эти нынешние «депутаты» и прятались от войны.

— А теперь этот Хам, не зная России и не понимая её исторических задач, будет её вести! Хам — наступает, господа, и самым настойчивым образом. И скоро будет, как это было: на пиках понесут головы дворян и будут бросать аристократов с моста в Рону.

— Не республика, а «режь публику»,— сказал командир 2-го батальона ходившее mot.

Уже везде, и в Преображенском, начинались толки, что надо избирать полковой комитет. И даже предполагалось ещё какое-то худшее безобразие: чтобы делегаты всей гвардейской Особой Армии ехали в Петроград и заверяли свои же негодные запасные батальоны и петроградский Совет депутатов — что гвардия готова с оружием защищать их и Временное правительство.

Но мало того: теперь этому Временному правительству ещё и присягать?

А почему — правительству? Когда, где присягали правительству, сменным министрам? Всегда присягали Верховной власти.

Но — кто теперь Верховная власть? Её нет...

Пришёл и текст присяги. Правда, в этом тексте Временное правительство не очень себя выпячивало, загораживалось Отечеством, а само поминалось без пиетета как «ныне возглавляющее Российское государство впредь до установления образа правления волею народа при посредстве Учредительного Собрания».

Но если так ждут услышать волю народа — то отчего не спросили её при перевороте?

Присяга эта была — как бутафорная подпорка к надсадившемуся вековому зданию.

А ещё было в этой присяге то глумление, что присягающий клялся повиноваться всем поставленным над ним начальникам, чиня им полное послушание,— но именно это же и было в извечной императорской присяге! — а вот же её легко нарушили. А теперь, с новой отданностью, присягать уже — им? Они наверху изменно перешабашили, а теперь кто не подчинится им — уже изменник?

И ещё — осеняли себя крестным знамением, когда правительство всё из атеистов. Притворяются, чтоб завлечь народ.

Но что было делать Преображенскому полку, раз войну надо продолжать? Во имя победы остаётся показать пример долга — и скрепя сердце, и скрипя зубами, принести присягу этому правительству-выскочке.

В одной из соседних армейских батарей, рассказывали, было и хуже: пришло отречение Государя в пользу Михаила Александровича — и командир батареи поспешил в тот же час привести всех к присяге Михаилу Александровичу. А через несколько часов пришло и отречение великого князя. Что остаётся от такой присяги у солдат?

Да впрочем, что и у наших?

Так сегодня, под мглистым небом, в задышливой тёмной ро́звезени — Преображенский полк унизительно и неискренно присягал. Императорская гвардия, не позванная с оружием в грозный момент,— теперь, заподозренная, нелюбимая, присягала какой-то кучке штатских.

Одна только досвечивала им звезда, одна над ними была надежда: что Верховный Главнокомандующий, по какому-то ему одному известному смыслу, одобрил это действие. Он конечно видит лучше, он конечно знает, и помнит про свою гвардию — и в нужный момент ещё кликнет её.

Но всё же — духота и мгла позора весь этот день разнимала преображенцев, офицеров, унтеров: как дожить, дослоняться, пережить до конца этот позорный день?

Но — не пережили. Кутепов ещё не успел уйти в батальон — Дрентельн вызвал его снова к себе.

Он полулежал на постели и стуле, выставив больную ногу в просторном валенке,— и вид его был, как будто его опрокинуло, как будто с ним удар.

И — не сказал, а пробленял жалким голосом:

— Александр Павлович... Великий князь — больше не Верховный. Подал в отставку.

На столе лежала телеграмма.

Дрентельн лежал разбитый.

Кутепов стоял. Стоял. Потом сел.

При движеньи по брёвнам пола под ними чуть похлюпывала вода.

— А ведь мне,— сказал Дрентельн ещё жалобней,— прописаны горячие ваны, сухое помещение, держать ногу в тепле.

Молчали.

— Вы, Александр Павлович, готовьтесь принимать после меня полк. А я... Я — вензелей не сниму... Я... ещё раз, вот, может быть увижу царственный Петербург... Да если буду жив — поеду в Италию... Там, знаете: на самом морском берегу — цветут и благоухают померанцевые деревья...

Кутепов шёл в передовое расположение.

Отставка Николая Николаевича была последним безумием этой безумной революции. Проходимцы и подлецы,— если они хотели продолжать войну — как же могли они сшибать единственного вождя с именем?

Если думать о Петрограде, о Ставке,— всё казалось потерянным.

Но если думать о гвардии, о Преображенском полке,— это потеряно быть не могло. Это было — цельное, отдельное, мощное, сильное.

Если доведётся Кутепову принять полк — ну нет, рано ещё думать разрывать знамя на лоскутки!

Он тихо шёл по окопу — и, не услышав его, стоял к нему полуспиной, а лицом к немцам офицер, на уступе, открыто возвышаясь над бруствером. Он — не напевал, не цедил, а как-то упрямо наговаривал — сам себе, а в сторону немцев:

Твёрд ещё наш штык трёхгранный,
Голос чести не умолк.

Это был молодой подпоручик Юра Дистерло — из правоведов, ускоренными курсами при Пажеском — и в преображенцы, всего несколько месяцев на фронте.

После этой постыдной присяги — и он искал опомниться, оправдаться, и убеждал себя сам:

Так вперёд, вперёд, наш славный
Первый русский полк!..

574

В вагоне 2-го класса Ярослав имел лежачую плацкарту на верхней полке. Но когда на Александровском вокзале он с носильщиком (смешно молодому человеку нанимать старого носильщика, но офицерское положение не дозволяет нести чемодан самому) вступил в купе, то обнаружилась полная неразбериха: на его полке уже лежали чужие вещи, а полка внизу тоже была занята — пухлощёкой полной сестрой милосердия в мятой фуражке Земгора с красным крестиком на околыше. Стали разбираться — у обоих претендентов вполне законные плацкарты на одно и то же место. Сказать бы, что случай невиданный, вызвать кондуктора,— но в этом же самом купе солидный гордый господин в английском пальто при белом кашне ехал с дочерью, успел занять оба места, а к нему с претензией пришла дама и с такой же верной плацкартой. А кондуктора долго было не дозваться, потому что он в другом купе разбирал такой же конфликт.

Просто никогда не случалось, никто такого безобразия не помнил. Но мрачный кондуктор в потёртой шапке-кубанке не удивлялся и не бранился в невидимую сторону, и не звал обер-кондуктора, можно было так понять, что он такие случаи знал. Возмущённую даму он куда-то увёл, а Ярославу ничего предложить не мог. Но круглолицая сестра, очень открытая в обращении и с весёлыми, даже дерзкими глазами,— предложила Ярославу сидеть на её нижней полке, а ночью и уснуть в ногах. Ничего другого и не оставалось.

Вечером поболтали и сдружились с сестрой — очень весёлой Наташей Аничковой, из разорившейся ветви большого дворянского рода, ещё дед её служил в гофмаршальской части Зимнего дворца, а отец-демократ хотел отдать её учиться с дочерьми дворников. Но мать настояла на гимназии Таганцевой, где с 6-го класса уже читались лекции, а не уроки, и учителя здоровались с ученицами за руку, как со взрослыми. Гимназию Наташа кончила уже в войну — совсем молоденькая, а фигура крупноватая, с дородностью, прошла курсы при Крестовоздвиженской общине, и уже поработала с тяжёлыми ранеными в Вильне, а сейчас состояла в банно-прачечном отряде, легко. Она сплошь и болтала одна, Ярослав только успевал слушать, но с большим удовольствием. И как курсы она кончала, обманывая родителей (шла будто в университет, а в портфеле белый халат). И как в виленском госпитале по коридору ездила на велосипеде, за что и отчислили. И хотя был у Наташи любимый жених кавалергард,— вместе с сёстрами чудили, посылали в «Брачную газету» объявление: «Интересная блондинка ищет знакомства». Строгий старый врач, насмотрясь на эту компанию, веселящуюся рядом со смертью и ранами, вручил каждой из четырёх по запечатанному конверту: «Здесь я написал, что будет с каждой из вас через семь лет, к 1923 году. Раньше — не распечатывать.» Но Наташа, конечно, распечатала и прочла: «Вы пропустите семь своих лучших женихов, семь своих счастий — и влюбитесь в чужого мужа до трагедии и стрельбы.»

Ярослав возвращался из отпуска в растревоженном и завороженном состоянии. Он уже и соскучился по фронтовому воздуху — но ещё как будто и не исполнил отпуска своего. Он и вбирал охотно всё, что видел и слышал, всему находя место в себе,— и одновременно почти не нуждался в этом. Он даже как бы не ехал сам здесь — это тело его, перепоясанное ремнями, возвращалось на фронт, и правильно,— а душой он остался позади, в дрёме, ещё бродил по неизойденным тропинкам своей ростовской юности и Новочеркасска, и Москвы, и повторял домашние радости, и московские переброды с Ксаной-печенежкой, а глубже всего — был с Вильмой, ещё сейчас лицом чувствовал густоту её кудрей, и губы её, и полыхал ему пунцовый платок.

Вчера он пробыл у неё дольше, чем думали оба,— и когда уходил — в первой комнате

кроме сестры сидела и пожилая латышка, видно мать, стыд такой — проходил краснел, проваливался. И в этих попыхах — не уговорился с Вильмой на сегодня, а то — зачем он уезжал? он бы перекомпостировал билет, остался бы. И днём сегодня так горевал: как не увидеть её ещё раз? Пошёл на бульвар — но её, конечно, не было. И пошёл в Антипьевский — прямо к ней. Но оказывается вчера, следуя за Вильмой, он не пригляделся, которое из парадных, помнил только, что третий этаж налево. Теперь — не решился доискиваться, ведь он и фамилии её не знал, боялся бросить на неё тень. И вот — уехал. Но углубилось и дополнилось в нём: что какая-то связь повязала его с этой латышкой, и им не миновать ещё встретиться.

Он ехал — счастливо полный, но и растравленный, но и несытый, но и счастливо открытый ко всему. С удовольствием сидел рядом с пухленькой, разбитной, дерзоглазой Наташей — и ничего не пропускал из её рассказов и несходящей вкусной улыбки, сбившихся светлых волос,— но и всё время, пока ещё был достаточный свет,— видел и душой ощущал напротив дочь соседа — молчаливую, тонко-тонко вырезанную, бледную, лет семнадцати. Вот тоже ехала неизвестная и привлекательная своя судьба,— а нашей короткой никогда не хватит, чтоб заглянуть во все.

Уже и стемнело, и чаю попили,— а Наташа всё болтала, и чего только не несла: и как она девочкой, давши честное слово, что с веранды не ступит на землю,— двести саженей шла до озера, перекладывая под ноги книги; и как она в Москве обожает кафе Трамбле на Кузнецком, всегда бросается туда сразу; и как она на ходулях танцевала краковяк. А потом — всё больше о своих предках за два века, которых нельзя было ни разобрать, ни запомнить. Но был там какой-то Руф, основатель масонской ложи в Москве. И какой-то Верещагин, распорядившийся выкупать землемера в холодном пруду за то, что тот недостаточно низко ему поклонился. И какие-то старшие братья выкрали в масках своего младшего, вымогая деньги у мамаши. А кого-то на станции Тамбов из поезда ещё прежняя государыня выделила в дворянской депутации как редкого красавца. Шутники тамбовские дворяне ночами пьянствовали и переворачивали вывески, а в Москве вступали в клуб золотой молодёжи «Червонный валет», орудовали в масках и оставляли карту с червонным валетом. Насаживали митру на голову продавца церковной утвари и грабили кассу. Обманув знакомого мажордома, показывали пустующий на вакациях московский губернаторский дом иностранцам — и в подставной нотариальной конторе оформляли его продажу, брали аванс. По суду преследуемый Аркадий Верещагин на пари с приятелем пошёл в партер Большого театра сесть рядом с полицеймейстером, во фраке элегантный и надушенный, поклонился ему, обомлевшему, а за несколько минут до конца действия — вышел и на рысака. А другой их участник, Шпейер, замаскированный под кучера, сам привёз на суд прокурора Набокова и пожелал ему успеха. А ещё один Аничков, кончая Пажеский корпус при Николае I, умудрился направить зеркальный зайчик на императрицу, и за то лишился гвардии. И ещё один Аничков выстраивал в ряд всех дам и девочек, велел однообразно приподнимать юбки, а руки в кошачьем положении из кек-уока,— и фотографировал вереницу. А какой-то Аничков, убежав от материнских побоев с братом, помогал прачкам полоскать бельё и ночевал в гробу на стружках у гробовщика. А позже проучился на казённый счёт и стал товарищем министра просвещения. И убийца Каракозов тоже с какой-то стороны относился к их роду.

Уже было давно темно, и отец с дочерью спали, а вся эта болтливая вереница закружилась в памяти Ярослава — и нельзя сказать, чтобы доброжелательно.

Хотя и полна, предложила Наташа, что поместятся они на одной лавке валетом, раз уж такие революционные обстоятельства.

Но Ярослав постеснялся и её, и дочки напротив — и остался сидеть спиною в угол, дремля в потёмках вагона при голубоватом слабом купейном свете — сидя спи, как в ожидании атаки, да впрочем по фронтовой неприхотливости даже и спал по-настоящему. А когда и просыпался, то неудобство положения не мешало ему счастливо осознавать себя, так омытого этой поездкой, с напевным чувством своей подтверждённой значимости в жизни.

575

Прерванные революцией, да кажется ещё и каким-то постом, сегодня возобновлялись спектакли в петроградских театрах, также и в бывших Императорских, а ныне — Свободных. И управление этих театров — тоже обновлённые лица (там произошли выборы и тоже был свой комитет) — приглашало новую власть, министров и Исполнительный Комитет Совета, присутствовать на спектаклях, особенно в Мариинском театре, где собран был центр парадно-революционных артистических усилий.

Однако министры не пошли ни один, наверно избалованы были они этими театрами,— но Чхеидзе, но Скобелев, но Гиммер были очень почтены и польщены приглашением. И действительно, забавно посмотреть, и никогда они но бывали в Мариинском театре, приюте придворных шаркунов и бриллиантных дам.

Как раз-то жизнь Гиммера была связана с театром происхожденчески: толстовский «Живой труп» был сочинён по истинной истории судебного процесса его родителей. Отец, потеряв место чиновника из-за пьянства, спился затем до притонов и ночлежек. Мать уже с ним не жила, но консистория не давала развода. Гиммеру-сыну было 13 лет, когда отец, чтоб освободить мать от себя для нового брака, по её просьбе симулировал смерть: написал письмо, что кончает самоубийством, и у проруби на Москва-реке положил одежду со своим паспортом. Тогда мать покинула своего второго, гражданского, мужа, тоже разгульного (Толстой, которому она переписывала рукописи, отговаривал её), и уже законно вышла за третьего, владельца мыловаренного завода. Но через два года Гиммер-отец просил себе новый паспорт, был опознан, и бывших супругов Гиммер за обман обоих приговорили к ссылке в Енисейскую губернию. (Благодаря связям и подкупам приговор не был приведен в исполнение.)

Не всякий может похвастаться, что историей его семьи занялся Лев Толстой и она показывается на русской сцене. Но по социалистическому и революционному образу жизни Гиммер в театрах практически не бывал. А сейчас вот почти завершён Манифест к народам, быть может высшее создание политической жизни Гиммера, послезавтра он обратится с этими сильными мыслями ко всем народам Европы! — так сегодня пожалуй чувствовал себя вправе и отдохнуть, посмотреть на дворянско-буржуазные прелести.

Именно сегодня, первый раз после революции, и в Исполкоме устроили совсем сокращённое заседание, только постановили об отмене присяги, о беспрепятственной посылке агитаторов на фронт и выслушали депутацию батальона георгиевских кавалеров, как старому хрену генералу Иванову не удалась его карательная экспедиция — пол-Петрограда расстреливать, а другую сечь розгами. Но тоже не порадуешься, мрачные краски. Докладывали георгиевские кавалеры, что в Ставке — засели сторонники старого режима, даже и их князь Пожарский, и готовят заговор вернуть царя. Постановил ИК: Иванова арестовать, где б он ни нашёлся, кажется в Киеве, а в Ставку послать депутатов.

Всё ж удалось сохранить праздничное настроение. Но перед вечером ещё надо было поехать в Мариинский дворец в качестве Контактной комиссии — и ещё там напряжённо последить, не попасться в какую-нибудь буржуазную ловушку. Там вся коварная была расслабляющая обстановка — ковры, бархатные драпировки, золочёная мебель, услуги величественных лакеев — и любезные улыбки министров, что-то слишком уступчивых.

Сегодня на Контактной комиссии был у Гиммера большой соблазн: с язвительным замечанием передать Милюкову проект своего Манифеста, ответ на все милюковские хитрости. Но осторожность воздержала: ещё двое суток до принятия Манифеста, как бы Милюков чего не испортил.

Заседание Контактной комиссии затянулось, больше из-за Нахамкиса, не ехавшего на спектакль. И когда втроём в одном автомобиле поехали в театр, хоть тот рядом — а уже опоздали к началу. Предупреждённые по телефону, управляющий императорскими театрами и с ним важные чиновники встретили их у входа, объясняя и показывая,— но в ложу шли уже опустевшими полутёмными коридорами. В прихожей великокняжеской ложи гости сняли свои обыденные пальто и обнажили Гиммер с Чхеидзе свои обыденные пиджаки,— а Скобелев был для театра разряжен в лучший костюм и при ярком галстуке, он оказался мастак в нарядах.

Из-за этого досадного опоздания они упустили предначальное торжество в фойе и в театральном зале. Оказалось, их и министров отсутствием воспользовался Бубликов. Публика жаждала кого-нибудь приветствовать и разочарована была, что не видела высоких лиц (средняя, царская, ложа — просто заперта). Искали, искали глазами, вниманием — вдруг распространился слух: «Здесь присутствует тот, кто арестовал царя! — Бубликов!» — «Где он? Где он?? Покажите Бубликова!!» И победоносный, хотя не удатный ростом Бубликов поднялся ногами на своё кресло в партере, овеянный оглушительными аплодисментами — и ведь всё той же буржуазной публики, она не сильно подемократела от обычного, и наряды дам ещё искрились. Бубликов очень важно раскланивался, раскланивался кругло-воздушно-подстриженной головой во все стороны, и затем произнес короткую речь, что просит не возвеличивать его заслуг, так как они были лишь долгом его службы русскому народу. И публика, ещё захлопав, не возвеличивала далее — и начался спектакль.

А что был за спектакль! Вообще-то была назначена опера «Майская ночь»,— но далеко еще было до неё. Уже перед началом оркестр три раза, один за другим, играл марсельезу. А сцена тем временем была закрыта не мариинским тёмно-синим гербовым занавесом — а белым кружевным из «Орфея». А когда он поднялся — то не оперную сцену увидела публика, а сборный символический дивертисмент. (И вот тут, вскоре, опоздавшая тройка Исполнительного Комитета вошла в ложу, и уже трое своих сидело там.) Задняя декорация изображала лазурное небо, на нём сверкало солнце с отчетливыми отдельными лучами — и в лучах, сразу под солнцем, была высоко поставлена рослая женщина с разорванными кандалами на руках (иногда поднимала руки, чтобы показать): это была, очевидно, Освобождённая Россия. Затем, чуть пониже и полукругом, группировались наши излюбленные писатели: кудрявый уверенный Пушкин, черноусый Лермонтов в эпо-

летах, скромный Грибоедов в очках, тихий, однако жёлчный Гоголь с распавшимися волосами, неуклонный Некрасов с раскрытой книжечкой, скульптурно-черепый Достоевский и в рубахе навыпуск простяга Толстой. А чуть пониже, другою группой, сгрудились Чернышевский, Белинский, Писарев, Добролюбов, сидел лохматый большеголовый Бакунин, скрестив руки стоял кто-то обречённый к виселице, ещё отдельно, опустив голову, глубокую думу думал Шевченко, в чёрном платьи гордо держалась Перовская, а там перемешивались декабристы в мундирах александровского времени, и несгибаемые декабристские жёны, и серые арестантские халаты, и студенты, и крестьяне в лаптях и онучах, и сегодняшние славные рабочие с винтовками, и солдаты и матросы,— и все вместе они то окаменело думали, то вслед за оркестром подхватывали марсельезу и поднимали приветственно руки.

И публика рукоплескала.

И в самом деле — как же это было хорошо задумано и построено! Даже иссушенная политическими страстями натура Гиммера увлажнилась от этой выставленной родословной, где ему особенно дороги были Чернышевский и Толстой. Да и они сами, Исполнительный Комитет в великокняжеской ложе, как будто неизвестно откуда поднявшийся над революцией,— они-то и были прямыми продолжателями этих всех великих, даже и Гоголя, так беспощадно рубивших, и вот срубивших самодержавие под корень. И все великие писатели смотрели сюда в зал, на осуществленье своих надежд.

Теперь опустился ещё новый занавес — красно-золотой. Зажёгся свет в зале бело-золото-голубом, под хороводом амуров и античных девиц в туниках на потолочной росписи. А гербы и короны над царской и великокняжескими ложами были затянуты демократической красной бязью. А капельдинеры, уже не в ливреях с царскими гербами, несли на простых пиджаках белые повязки с новым сочетанием — ГМТ. И заметив новых смущённых вождей революции, разряженная, украшенная публика, избалованная богатством, весёлым обычаем и бездельем, аплодировала, и наводились лорнеты, бинокли,— а вожди, затруженные заседаниями, сидели в ложе, а потом и вынуждены были привстать и поклониться,— наверно, таинственные для них и грозные хозяева их теперешней судьбы.

И какой бы вы ни были непреклонный революционер — но как избежать наслаждения чувства гордости? Чхеидзе, Гиммер смутились, рядом Гвоздев — покраснел как рак. И только Скобелев, выкатив грудь колесом, стоял, будто к этому моменту и приехал.

Между тем — сцена опять открылась, при полном свете,— и на ней стоял весь многолюдный хор Мариинского театра — и запел кантату, ведомую басами:

Не плачьте над трупами павших борцов,
Слезой не скверните их прах.

Затем перед хор выступил драматический артист и прочёл собственного сочинения патетический стих «К свободе». И снова хор, поддержанный оркестром, грянул «Эй, ухнем!». И не дав залу опомниться — тут же вослед и «Вечную память».

Стало неудобно аплодировать, но публика, черносюртучными и обнажёнными руками — требовала марсельезу. А как только оркестр из ямы её исполнил — то с овацией и с новой энергией — снова марсельезу!

И — снова марсельезу, с начала до конца. И — снова овации. А хористки все стали махать платочками в сторону Исполнительного Комитета. И Скобелев рявкнул через барьер: «Да здравствуют товарищи артисты!» И — новый всеобщий восторг!

Наконец сцену закрыли, готовя декорации. И весь театр снова повернулся и изнеженными руками аплодировал революционной новой власти, а потом единовременно впадал в выжидательную тишину, не будет ли речей? И ясно стало, что придётся говорить речи.

А Чхеидзе не надо было долго и просить, он всегда готов был выступать. Поднялся у барьера — и прохрипел цензовой публике о торжестве свободы и пролетариата. Но всё же чувствовал себя неуместно, и получилось у него сердито.

А Скобелев, видя кое-где и исполнителей, вышедших перед занавес, произнёс короткую речь о том, как революция раскрепостила и освободила искусство. Это имело шумный успех, аплодировали с авансцены и из оркестра.

И Гиммер ужасно испугался: получалось так, что сейчас говорить речь — ему? Но он — никак не мог: и от испуга, от падения голоса, и от того, что не было у него контактов и общих тем с этой публикой,— о чём им говорить? Да и берёг он себя и свой голос для исторического выступления послезавтра, от чего будут зависеть судьбы войны и мира.

Он покосился на Гвоздева — но тот сидел распаренно-красный, и явно тоже боялся говорить. И Цейтлин, и Красиков — довольные сидели, а говорить не порывались.

Тут выручил их всех какой-то офицер: он поднялся в глубине партера, а когда его заметили и стихли — заговорил о помощи фронту и о войне до полной победы.

И ему аплодировали бурно.

А за тем — увертюра, и начался первый акт, милая малороссийская идиллия, малороссийские костюмы и венки, можно было отдохнуть от публичного внимания.

А в антракте тотчас появился опять управляющий театрами вместе с именитыми представителями и представительницами артистического мира и жали руки, улыбались (и особенно Скобелев — представительницам, это даже Гиммер заметил и удивился: в такое сложное революционное время!). И в заднем салоне ложи им был подан чай в маленьких чашках, с печеньями. Буржуазная роскошь стремительно наступала и подкупала. И хотелось ослабить вечную свою настороженность, и хоть накоротко отдаться этой приятной жизни — да ведь, кажется, от них не требовали здесь никакой уступки в политической позиции?

А в зале оркестр ещё два раза сыграл марсельезу.

Ещё отдохнули второй акт, а в следующем антракте опять игралась марсельеза — и пришёл управляющий театрами и радушно пригласил депутатов пойти осмотреть закулисный мир. Почётно и интересно! — депутаты пошли.

Управляющий вёл их пыльными полутёмными окольными пространствами, показывал лебёдки, шумовые устройства, где свалены куски домов, фонтанов, садов и моря,— а потом вышли на открытое светлое место, где артисты, в своих костюмах, венках и загримированные, хлынули с большим любопытством рассматривать депутатов вблизи, будто сами они имели натуральный вид, а вот депутаты были существа необычные, противоестественные.

Депутаты смущались, не находились. И только Скобелев один — громко, бодро поздравлял труппу с революцией и занёсся — о демократизации искусства и о стремлении демократии к красоте.

И тогда вышел певец, в малороссийском жупане, и тоже громко объяснял, как настрадались артисты при старом режиме, чувствуя себя почти крепостными у дирекции императорских театров,— и даже никогда не могли осмотреть изнутри царскую ложу, стоявшую под замком.

576

От тоски ли, от непонятности положения, от раздёрганности душ,— офицеры 1-го дивизиона в воскресенье вечером собрались в Узмошьи, при штабе бригады, на вечеринку. Просто — хотелось чего-то другого, как-то переменить, нельзя назад, нельзя вперёд,— но куда-то вбок выйти из этих тягостных дней. Там во флигеле были такие две комнаты общего пользования, не занятые канцеляриями, и кухонька при них. Натащены пара диванчиков, несколько кресел, гостиный столик из главного барского дома. (И до недавних дней висел царский портрет, а вот кто-то снял беззвучно.) Стоял тут и граммофон-модерн, без наставной большой трубы, а звук даже ещё лучше. А пластинки — свои в каждом дивизионе, у всех много: между офицерами был порядок, что каждый, возвращаясь из отпуска, должен три пластинки привезти. Прапорщику Фокину велели придти со скрипкой, а вечеринка устраивалась с возлиянием и закусоном. Хотели и дам набрать, но достали лишь одну сестру Валентину, однако прехорошенькую. Командир дивизиона не пришёл, он заменял сейчас командира бригады, заболевшего (не политической ли болезнью?), и исполнял его должность серо-седой подполковник Стерлигов, он пришёл и был тут старшим. Офицеры собрались не все, не было и подполковника Бойе (говорят, уехал в Петроград), но прибилось двое-трое из 2-го дивизиона и из бригадного штаба.

На сундучке в сенях складывались папахи, вешалка обвисла полушубками и шинелями — а сюда входили, посверкивая орденами, подчищенной сбруей, гренадерскими жёлтыми выпушками, жёлтыми просветами погонов, разрывно-гранатными гренадерскими пуговицами.

Всего лишь вечер один, в ничто не меняется к лучшему — а просто вот эти несколько часов, под музыку, вообразить, что нет ничего *того*. Праздник! — лучший способ переменить жизнь и себя в ней! На столе — скатерть с цветною каймой, уже празднично, сновали с приготовлениями трое поспешливых смышлёных денщиков, и от первых собравшихся уже пел граммофон, кто-то замышлял на после ужина бридж (недавно появясь, он вытеснял винт и преферанс), кто-то постарше вздыхал, что нет биллиарда. Шутливо и повышенно громко приветствовали входящих:

— Разрешите пожать вашу разблагороженную руку! Думали ли дожить до таких камуфлетов?

— Не тронь его, оно разбито...

Все понимали, что надо держаться сегодня как можно веселей и только не вспоминать. Все были так настроены, и наверно бы это удалось,— если б уже на готовый сбор и перед самым ужином не ввалился — только что подъехавший к самому штабу бригады воротившийся из поездки в Минск, высокий, худой, весёлый подпоручик Виноходов. Так и видно было, что разрывало его от впечатлений и, кажется, недурных, рвется рассказывать. Не Петроград, не Москва,— но всё-таки Минск, всё-таки новости, как не послушать! Задержали и ужия.

Ездил Виноходов в служебную командировку, но подстроенную, выпрошенную, чтобы

повидать ему свою зазнобушку. Видно, славно её повидал, такой свежий вернулся, задорный, моложе себя молодого,— и рад был рассказывать всё, что только где слышал, подхватил, и даже бы о своей крале охотно, если б его попросили.

Ну, одно — это смещение Эверта!

Да, прочли в несвижской газетёнке,— но что? но от чего?

Ну, влияние минского совета, не сжился. Потом этот слух, что Воейков хотел через Эверта открыть Западный фронт немцам.

Это — все в газетах читали, и никто не поверил, конечно, и ещё сейчас барон Рокоссовский, стройный, облитой, и лицо облитое, лишь малые усики, в свежем негодовании:

— Какую грязь могут распустить! Неужели мы бы допустили!

Капитан фон-Дервиз побагровел, будто его самого обвинили в чём позорном.

Высокий Виноходов с подвижно-разбросанными волосами был в таком порыве, ему уже жалко было б не рассказать:

— За что купил — за то продаю, господа! Только ради новости! Конечно, всякие мерзости говорят: будто Эверт получил телеграмму за подписью Государя — допустить немцев для подавления восстания, но запросил Родзянку, а тот прислал ему телеграмму противоположную.

— Не всем, что в руки наплыло, надо торговать, поручик! — отбрил Рокоссовский, хоть ростом чуть и ниже долговязого, но зато как стержень.— Нашли патриотов — в Думе!

— А почему бы и не в Думе? А почему вы не предполагаете в Думе патриотов? — забеспокоился штабной интендант полковник Белелюбский, с полненьким круглым лицом, в пенсне и с лихо вскрученными усами, попавший к ним тоже сюда, да он и помог устроить этот вечер.

— Повремените, господа! — успокоил их большой ладонью староватый Стерлигов.— А кто вместо Эверта?..

Виноходов теперь и остановиться не мог, как разнесшаяся лошадь. Всё с той же беспотерьной весёлостью и личной непричастностью он выговаривал новые потрясающие слухи.

Будут расследовать дела императора и императрицы, и возможно даже будут их судить.

Н-невозможно!?!

Фон-Дервиз побурел и шеей.

А впрочем — что теперь невозможно?

Эта Верховная Следственная комиссия как леденила, будто какая инквизиция.

Многие стояли, привстали, застигнутые.

Потом такие новости: Временное правительство посылало войска в Луганск на усмирение непокорных. Были расстрелы, но газетам запрещено что-либо писать.

Несмотря на расстрелы, это уже выглядело для офицеров отрадней: значит всё-таки где-то кто-то?.. Значит, существует не одно мнение только?..

Потом: генерал Иванов после рейда на Петроград подал в отставку. Теперь идёт в монастырь. Оказывается, это его заветная мечта.

Отвлеклись на вечерок, рассеялись! Ужина не подавали, ждали от Виноходова дальше.

— А насколько верно, что в Петрограде солдаты сами выбирают себе начальников? — самый жгучий вопрос спокойно задал самый обстоятельный подполковник Стерлигов, сидевший на стуле боком, но устойчиво обвалясь о спинку.

Фронтовики, боевые воины, в согнутых локтях, откинутых головах, настороженных усах, наганы на боку,— к каким опасностям они не были готовы! Но перед э т о й недоумели...

Кроме Виноходова. Он всё легко подтверждал.

Рокоссовский, осью стоя точно посреди комнаты, оглядывался на всех как на виноватых и грозно спрашивал:

— Да как же это можно было допустить? К а к?! Да что же остаётся от армии?!

И — никто не смел найтись ответить. Все ощущали себя действительно как виноватыми, пригвождёнными.

— И ведь найдутся,— резко презрительно отпустил Рокоссовский, как бы подозревая, что найдутся среди присутствующих,— из офицеров льстецы и угодники, которые так и полезут нравиться солдатам, выскакивать повыше, пока можно захватить.— Он ни на ком не задержался дольше и не имел в виду безвинного Виноходова, но смотрел на него, принять новые удары.

Стерлигов развёл пальцами крупной ладони, держал так:

— Этак — невозможно, господа. Должно быть возглашено воззвание к армии с разъяснением, что все ныне действующие уставы сохраняют полную силу до их законной замены. Иначе — развалится армия, и нас не будет.

Молчали оглушённо.

А фон-Дервиз, хотя ему грозил апоплексический удар, ждал и напрашивался ещё на удар:

— А эта мерзость — не выдавать офицерам оружие? Это как? Одобрится правительством?

Чего не знал Виноходов — он и ответить не брался. Он белозубо улыбался. Он — уже выложил что знал,— а теперь пора б и ужинать? да танцевать? Он посматривал на Валентину.

Никого отдельно не упрекнул Рокоссовский, но полковник Белелюбский с большой вероятностью принял на себя, вся бригада знала его либералом. И ответил уговаривающе:

— Господа! Да ведь это же объяснено! Это — никак не относится к Действующей армии, только к петроградскому гарнизону, чтобы не дать образоваться контрреволюции. Должно же новое правительство как-то себя гарантировать? И надо пожелать только, чтоб у правительства было больше сил в этот грандиозный момент. Подчинимся все новому правительству и не будем ни о чём волноваться. Перевернулась страница истории, господа!

— Да если анархия перекинется в армию — это будет зверь, перед которым не устоит ничто! Уже в нашей Второй устраняют и арестовывают офицеров! Уже что делается в гренадерских полках. А завтра — в нашей бригаде?

— В нашей бригаде — этого не будет,— раздумчиво покачивал Стерлигов широкой головой в серо-седом обводе.— В артиллерии это невозможно.

— Как сказать. Как сказать... Уже и наши солдаты нам не доверяют.

Да, изменилось, это чувствовали. И даже вот над сегодняшним офицерским собранием повисла, как будто, солдатская укоризна или недоверие. В нынешней обстановке такая сходка может вызвать подозрения. С солдатами — не стало прежней простоты.

— Господа-а! — напевал Белелюбский.— В нынешней обстановке и в комитетах есть свои плюсы. Если они будут выбирать себе каптенармусов, кашеваров — так и лучше, меньше повода для недоверия и раздоров. И нам тоже хлопот меньше.

— Да! — вспомнил ещё и не присевший Виноходов.— Ещё вырабатывается проект уменьшения содержания офицерам!

Вот так!.. Блистательное офицерство было нищо все годы, во внешнем виде тянулось из последней ниточки,— и ещё уменьшить содержание?

Да неудобно, разговор-то доносился в кухоньку к денщикам.

— И ещё,— настаивал Виноходов.— Большая часть существующих орденов и отличий тоже будет отменена.

Висели и у него Станислав и Анна, но он выговаривал с радостью настигании, чтобы не забыть.

Набирали! дорожили! гордились! Добытое в пробивном и разрывном огне, чуть не главное в офицерской жизни, переблескивавшее, перезванивавшее на грудях, а у кого-то ещё не полученное, ожидаемое — и...?

— И нашивки ранений тоже, может быть, снимут? Отменят и раны, их не было?

Как пожар, охватывающий так быстро, что не успеваешь и жалеть.

Но, кажется, Виноходов — кончил уже теперь всё. Выдохся. Зарился на стол.

Но он — как перестрелял тут их всех, остальных.

Саня — тоже сильно пожалел награды, георгиевский крест. Кажется — что? Условность. А... Но не это страшно, а: потеря солдат. Вдруг почувствовали себя не во главе своих, а чуть ли не в окружении чужих.

Не быстроумое, не быстроглазое, устойчивое лицо подполковника Стерлигова повело такой печалью и такой мукой. Как пытаясь бровями прорвать плёнку на глазах, он выговорил с трудом:

— Господа! Мы же ни к чему не готовы. Мы же никогда ничего не знали. Я очень был бы признателен, если бы мне кто-нибудь вот объяснил... Например, что вот именно точно значит, какие это такие эсеры? Что за крокодилы, я их не понимаю.

Их — и неприлично было различать офицерам до последних дней.

— Или — что такое со-ци-а-лизм? Если бы кто-нибудь мне объяснил...— потерянно глухо доспросил Стерлигов.

— Да даже,— нервно вскрутил пальцами капитан Сохацкий,— кто бы дал такое объяснение: что такое революция? Такое определение — кто бы дал? Как же нам без этого ориентироваться?

Наступило вялое молчание.

— Да-а-а,— иронически протянул Рокоссовский, всё так же в центре группы и всё так же неослабленный в стане.— Это — вопрос для мудрецов. Или для Белелюбского.

Белелюбский, с прилегающе-прилизанными волосками на лысине, не казался ошеломлённым, он даже охотно взялся бы объяснить. Но чувствовал почти общую недоброжелательность.

— Да почему! — громко вызвался невысокий поворотливый тороватый штабс-капитан Мельников.— Вообще революция — не скажу, но революция во время такой войны — пожалуйста! Это — всё равно как наделать в штаны, не дойдя до стульчака одного шага. Это — трагедия!

Расхохотались, вразлив.

Всё-таки, может быть, вечер ещё не был потерян? Пока они все вместе и пока этот вечер?

Стерлигов кивнул денщикам подавать ужин.

577

А вечеринка закружилась совсем и не плохо. Столько грозного распахнулось перед офицерской жизнью, но и молодое же сердце самое утешливое: такое ли мы уже переносили? Уж хуже смерти — что? А над кем она не разрывалась? Что бы ни ждало их, и никогда не бывалое, а ведь не хуже смерти? А они уже все переиспытаны, и друг на друга могут положиться, и связью их стоит дивизион.

Сперва — выпили в меру. А так как доставалось этого не часто, то испытали потепление, примирение, при которых смягчаются неприятности и сдружливо перекрещиваются взгляды.

И во всяком случае вот в этот единственный вечер — не должна была та шальная неразбериха сюда ворваться, можно было о ней не думать, а отпустить сердце, как оно само тянется.

Много было музыки. На скрипке играл им толстощёкий прапорщик Фокин, всё поёживаясь подбородком, а у глаза принимая осанку. Эту скрипку он возил с собой всю войну, и когда собирались офицеры — всегда играл. Да и солдатам иногда поигрывал, они любили.

А всё, что не Фокин,— то играл граммофон. Мальчиковатый прапорщик Ботнев взял на себя смену пластинок и всё время рылся в запасе. Он ставил всё щемящие, с голосом ли, без голоса, вальсы, песни, романсы русские и цыганские. И хотя все разные, а все кружились вокруг единого, травя сердце и настраивая единственно.

Ещё гитара была, её по очереди перебирали. Саня тоже.

Старшие под эту музыку во второй комнате играли в карты на двух столах — да тоже прислушивались, и над ними эти звуки ещё имели власть. А здесь уже расчищена была середина, и на проступе безостановочно сестра милосердия Валя — все глаза на неё — танцевала с кем-нибудь, а ещё иногда покруживалась и пара мужчин, чаще с маленьким шустрым Яковлевым за даму.

Но аромата цветущих акаций
Нам не забыть, не забыть никогда.

Печальный Краев — тонким сложеньем и долговязостью как Виноходов, однако глубоко серьёзный, медлительный,— пожалел, что нет пианино, а то бы он спел. (В главном барском доме Узмошья, в помещении самого штаба бригады, пианино было, но не идти же туда.) Это совсем было необычное предложение от Краева, он всегда предпочитал молчать,— но действительно веяло в сегодняшней вечеринке что-то разбереживающее.

Валентина была среди них — одна, но прекрасна за десять! Видав её изредка прежде днём и при службе, Саня и не замечал, или только сегодня: какой бронзовый огонь из неё высвечивался. Ещё и — при умеренном недосвете большой керосиновой лампы, подвешенной в середине потолка. Всякий раз, когда она только проскальзывала взглядом по Сане,— она как вспыхивала в него, он так и чувствовал пролив огонька по душе. Но, кажется, она смотрела так и на всех.

Пластинка пела:

Снова пою! песню свою!
Те-бя люблю! люб-лю! —

а казалось, это Валентина и пела, при неразомкнутых губах.

И каждый, кто хотел, за весь вечер хоть раз прокружился с ней, и Саня тоже, испытывая и от взгляда, и от дыхания, и от духов её, и от спины под своей пятернёй совершенную влюблённость, хотя и понимая, что эта влюблённость всего лишь одного вечера,— но как полна! И даже тем особенно полна, что не ждёшь взаимности! И как это он мог, вслед за Толстым, осуждать танцы! что может быть прекрасней танцев!

А Валентина совсем за вечер не отдыхала, себя не щадила, жила для них всех, и хотела всех насладить и всем остаться. И только Яковлев, для того и пошедший в армию, что «военных любят», суетился безуспешно вокруг, а его оттесняли.

— Да ну вас ко всем лешим! — кричал он.— Однако русалки пусть при мне останутся!

А больше всех танцевали с Валентиной ловкие, взлётные и ненасытные Мельников и Виноходов. Счастливо-дурацкая не сходящая улыбка Виноходова выражала непрерывный успех — то у своей минской, а теперь вот у Вали.

Саня раньше долго не отдавал себе отчёта, но постепенно заметил, что некоторые мужчины как-то особенно приспособлены к ухаживанию за женщинами, сразу берут

верный тон и тут же имеют успех, и женщины сразу отличают их и благоволят. А у Сани никогда не получалось лёгкого ухаживания с наскока, а всегда должно было сперва произойти медленное душевное сближение, узнавание.

Но сегодня все женщины, певшие из граммофона, вливались в одну Валентину, и самые простенькие слова вытягивали, выматывали что-то из груди:

С тобою — быть! с тобою — жить!
Те-бя любить! лю-бить!

Скудная жизнь, суровая служба, светло-прохладные рассуждения над книгами,— так месяцы живёшь и как будто самодостаточно. А нужен толчок одного такого вечера — и вдруг видишь, как ты тёпел, слаб, уязвим, и совсем не войне предан. И книгами — тоже не насытить души.

От войны — произошло за эти дни внутреннее освобожденье. Какие ни происходят мировые события, а твоя судьба — одна единственная.

Как будто не повеселиться, а потосковать они сегодня собрались. Как будто в этой тоске и была главная сладость для каждого, старого и молодого. Как будто должны они были каждый потравить себя — и тогда легче им будет продолжать своё стояние.

А жизни нет конца,
И цели нет иной,—

ни на минуту не давали отдыхать граммофону.

У сдвинутого стола при стенке оказались Саня с Краевым. И всегда спокойно-благородный малословный Краев, сейчас, поигрывая пепельницей и зажигалкой,— и не пьяный же, а вот от этой разнимчивости общей,— вдруг, без расспроса, стал рассказывать Сане о своей невесте: какая нежная она, какая единственная, и никакой другой цели не видит он в выживании, как только вернуться к ней. Весь смысл жизни для него в том, чтобы вернуться к ней,— и выше того не бывает смысла.

И хотя в чистом виде и общей формулировке никогда не мог бы Саня с этим согласиться,— сейчас он согласно кивал Краеву и был сражён, за душу схвачен простотой его довода: да! да, именно так! Воюющему мужчине естественно знать ту женщину, к которой он должен вернуться, и весь его военный путь должен быть — к ней.

Он смотрел на вертящуюся счастливую Валентину, на рдение щёк её, выгретое и движением, и внутренним огнём, и ловил те мгновения, когда она пересекала его глазами,— и любил её, любил её в этот вечер, как никого в жизни. Любил в этой отзывной сестре милосердия — ту свою ненайденную, прекрасную, невыразимо-близкую женщину, которую давно должен был найти и для которой жить. А умереть — так чтобы знать, кого потерял.

Саня — не боялся умереть. Но почему-то всегда у него было предчувствие недолговечности. Что не долго ему жить.

Подсаживался Яковлев, что-то тарахтел, как жалеет, что их вечеринку нельзя сфотографировать, света мало,— оторвали бы в редакции. (Он одевал несколько солдат в противогазы и посылал фотографию — «газовая атака». Или в помещичьем залике разбрасывал до беспорядка и подписывал — «после ухода немцев».)

Не мог Саня, как Чернега, пойти к случайной тут крестьянке, лишь потому что хата её оказалась рядом.

Но и как же жизнь его, петелька за петелькой, всё вязалась так, что и на двадцать шестом году — он одинок, и вот ехать в отпуск — а не к кому?

Что ты — одна всю жизнь,
Что ты — одна любовь,
Что нет любви другой.

Полюбить — по-настоящему. Полюбить пока не поздно. Ведь ещё велика война впереди, и немало сложится голов.

Если уж и судьба в эту войну умереть — то хоть оставить позади себя любимую женщину. С сыном бы.

А другого пути утвердить себя на земле и продолжить — нет.

Их беседа с Краевым распалась. А сидели рядом. Каждый, вполне согласный, думал о своём.

Отпуск выйдет Сане, наверно, в апреле. И теперь он поедет не в станицу, нет. Он поедет — в Москву. Ни к кому определённому, смутные, оплывшие нити знакомств. Он поедет в Москву, как в лучшее место, где жил. Где провёл такие счастливые студенческие недоученные годы.

Никогда не жалел, что бросил университет,— а вот в эти дни стал жалеть.

Провести три недели в Москве, да весной,— сейчас перевешивало Сане всю предыду-

щую и будущую жизнь. Сами тёплые стены московских переулков — помогут. В чём-то. Встретить кого-то. Ведь каждому это обещано.

О нет! Нет! Что-то так расширилось сердце его сегодня, что и обняв всю Москву — не могло насытиться.

Даже представив себе любовь свою — единственную, найденную и уже осуществлённую,— уже и на том не могло остановиться.

Да и не может человек известись — на одной лишь только любви, самой я прекрасной. Как в лёгких есть ещё верхушки, так в нас остаётся ещё и ещё высота.

Что-то так расширилась грудь, потянуло куда-то, всё выше. Это уже была не тоска по неохваченному, по нежитому — а просто переполнительно хорошо.

Так растеснило грудь, что мало стало и этих раздражительных песенок, и даже сияющих глаз Валентины. Тесно — в себе самом.

О таком взмывающем чувстве знал Саня одно стихотворение. Как будто сам его написал — так это точно и единственно было схвачено. «Не жди» Полонского.

Тифлисская летняя ночь (как и везде на юге у нас). Изнуряющий, расплавляющий залив луны — но:

Я не приду к тебе... Не жди меня!

Вот это невыразимое переполнение:

Не ты ли там стоишь на кровле под чадрою,
В сияньи месячном?! — Не жди меня, не жди!
Ночь слишком хороша, чтоб я провел с тобою
Часы, когда простора нет в груди.

Ты, мы — созданы для чего-то лучшего, чем мы делаем. Намного лучшего и высшего.

Тесно в себе самом. И в этой комнате — тесно. Такая красота взмывала — потянуло вовне.

Саня тихо всех миновал, в передней насадил папаху, шинель просто накинул. И вышел.

Ах, как хорошо!

Не воздух один свежий после табачного дыма и керосинового нагара, но морозно, хрустально — и ясно. Поместье стояло на небольшой высотке — и во все стороны простиралось мирное полусветное мрение — по порослям, до лесов.

Как раз между двумя высоченными раскидистыми вязами и выше остроголовой еловой обсадки двора — высоко в чистом небе стоял месяц ровно в первой четверти, полукруг.

Но уже довольно было света от него, чтобы на ветках примороженные льдяшки сверкали как драгоценности.

И не настолько ярок, чтобы загасить звёзды. Отступя — висели они там и здесь — в раскатившемся беспредельном млековатом небе.

Нет! Даже женщиной не может насытиться сердце. Ещё дотянуться хочется вот в эту зовущую, невыразимую, загадочную красоту,— зачем-то же распахнута она над нами.

Когда сама душа — сама душа не знает,
Какой любви, каких еще чудес
Просить или желать,— но просит — но желает,
Но молится пред образом небес.

И как нам докликнуться! И как нам дозваться!

Так, замерев, с головою аверх, Саня стоял.

Стоял.

Пока не стало и зябко.

Во дворе поместья никого не было.

Он медленно пошёл, сильно хрустя наледью под сапогами.

578

Уже с месяц не было в бригаде ни одного убитого, ни одного раненого, и никто не звал священника — ни отпеть, ни исповедовать-причастить, ни посидеть у постели тяжёлого, написать письмо домой. Перевязочный пункт, где место священника во время боя, вовсе пустовал. Могилы прошлой осени ещё не поднялись из снега и не звали убрать их. Не было случая для панихид — но и молебна о новой власти отца Северьяна не попросили служить. Бывало, иные солдаты приходили сами в его крохотную пристройку к главному дому Уамошья — посоветоваться о семейном, побеседовать о душевном,— но от дня революции ни единый человек не притянулся, ни от одной из девяти батарей. И на наблюдательные пункты под пули не к кому было идти, пусто и там. Все жили близ огневых позиций или близ лошадей — но только с лошадьми вот и осталась одна ежедневная работа. Приходил туда — а все бродили без дела,— без дела, но в каком-то духовном зараже-

нии, томлении и надежде вместе, как будто опоены каким зельем, не в себе, не полностью слыша и видя,— бродили, и в землянках лежали, томились, читали листки и газеты,— а никто не тянулся к священнику, опалённые этими днями.

Сегодня в передвижном храмике отслужил при штабе обедню — пришли из вежливости два офицера, оба дежурные, ещё были несколько унтеров из штабной обслуги, да вот и всё. Прежде, в тяжёлые дни бригады, отец Северьян измогался, не хватало сил и сна,— сейчас раcсвободилось от всяких занятий время, как будто и не стало обязанностей. Стал отец Северьян писать Асе в Рязань чаще и длиннее прежнего. Всегда отзывно она понимала его состояния, и суждения её были ясные, доброжелательные,— так в наступившем сумбуре он ждал больше узнать от неё, чем мог написать отсюда.

И тоже, как все, читал, читал эти отравные газеты.

Поступая в Московский университет в самые тогда революционные годы — ещё никак не прозревал он своей будущей дороги. Сначала и жарче всего он думал отдать себя русской истории. Он испытывал боль, что широкое обстоятельное историческое повествование у нас оборвалось на смерти Сергея Соловьёва — и в середине царствования Екатерины. И 120 лет с тех пор — может быть решающий век России — не исхожен с терпеливым светильником, а оставлен нам в наследство как полузапретный, полутёмный, лишь местами высвеченный писателями-художниками, да втёмную исколотый шпагами пристрастий и противострастий публицистами всех лагерей. Молодой рязанец нёс надежду на старика Ключевского (и более всего хотел бы попасть к нему в ученики). В университете ещё застал с благоговением его лекции. В огромной «богословской» аудитории нового здания до самых высоких хор было отчётливо слышно каждое его негромкое, но внятное слово. Он был изумительно красноречив, и пользовался этим, и со смаком выговаривал самое удачное. Курс его был — ослепителен, но и он не был терпеливым последовательным фактическим освещением, в котором же так нуждается Россия, это были всё прорезающие лучи, лучи взглядов, выводов, обобщений. И возраст Василия Осиповича уже не давал надежды, что он воспитает иную школу. А ещё постоянно обронял он шуточки с политическими намёками на современность, всегда ехидно-остроумные — они вызывали восторг аудитории. Но попав к нему на повторный курс, молодой почитатель с разочарованием обнаружил, что это вовсе не импровизации, как казалось, а отработанно и дословно они повторялись и на следующий год. И в этом была — недостойность, подыгрывание,— это отталкивало.

Да в те годы, в чудесном новом здании,— столько света и простора под стеклянным куполом центрального холла, открытые галереи трёх этажей, широкие перила сидеть и спорить,— в те годы в этом здании, воздвигнутом для светлых знаний, любви к науке и равноаесия справедливости, студентам приходилось начать с борьбы за права духа — против студентов революционных, а те — ещё поблажка, если только с оглушительными политическими трафаретами, а то *срыватели* врывались в аудиторию в чёрных папахах и с дубинками — разгонять слушателей на принудительную забастовку,— и вот тут было испытание и рост характера: без дубинки и без встречной рукопашной устоять и остаться слушать профессора Челпанова.

Челпанов читал введение в философию — и так читал, что это оторвало искателя от истории — и кинуло в мир философии. Год за годом потекли курсы — у Виппера философия истории, у Попова — история средневековой философии, у Лопатина — история новой философии, а затем — новый поворот — у Ивана Васильевича Попова история патристической философии и сильное в университете даже посмертное влияние Сергея Николаевича Трубецкого, его духовного огня, и кипенье семинаров: есть ли Бог? есть ли нравственный закон? есть ли непреходящий смысл жизни и мира? — а затем можно было взять историю религий, раннее христианство,— и так пролёг путь не кончить на университете, но идти в Духовную академию к тому же Попову.

Второе уже столетие модный всесветный атеизм, потекши в Россию через умы екатерининских вельмож — и вниз, и вниз, до сынов сельских батюшек, залил все сосуды образованного общества и отмыл его от веры. Для *культурного круга* России решено давно и бесповоротно, что всякая вера в небесное или полагание на бестелесное есть смехотворный вздор или бессовестный обман — для того, чтобы отвлечь народ от единственно верного пути демократического и материального переустройства, которое обеспечит всеобщее благоденствие, а значит и все виды условий для всех видов добра.

Дивная особенность либеральной общественности! Кажется: равная полная свобода для всех — и высказываться, и узнавать чужие мысли. А на самом деле нет: свобода узнавать только то, что помогает *нашему* ветру. Мысли встречные, неприятные — не слышатся, не воспринимаются, с невидимой ловкостью исключаются, как будто и сказаны не были, хотя сказаны. А уж в церковь ходить — просто стыдно, говорят: «как в Союз русского народа». И кто не хочет порвать с храмом — ходит к ранней обедне, чтобы незаметно.

Сам себя увёл из попутного ветра, стал против — и не жалел.

Ася, тоже рязанка, кончала высшие курсы, и, женясь, отец Северьян после Академии принял сан, и не стал искать места в сгущённом духовном центре, ни возле Лавр, не ставить себя в искусственно поднятое положение — но разделить жребий общий, чтобы иметь же право и судить о нём, а центр? — духовные центры мы сами должны создавать, а России, право, не так уж, не так уж велика, чтоб не дать сорока и восьмидесяти таким центрам связаться воедино, одним светом.

Перед войной в первый военный год отец Северьян служил в Рязани в старинном малом храмике Спаса-на-Юру. Юр, по которому назывался в народе этот храм, был дуговатым высоким обрывом над неоглядной роскидью окских лугов. Почти вплоть подступал сюда древний город, верхний Посад, введалеке, отделённый рвом, уплотился рязанский Кремль с Олеговым дворцом, собором и многими церковными куполами,— но сразу за храмом Спаса всякое жильё обрывалось крутью, и всё было — воздух, да ветер, да вид на разливы, и лишь за многие вёрсты виднелись непоёмные сёла. Это был свой

Венец, тут любили рязанцы гулять, особо сталпливались в солнечные разливные дни глядеть, как вода затопила, поднялась к домикам нижнего Посада, так что ставили дебаркадер под самым холмом Кремля, и подходили сюда катера в последние дни Поста и на Пасху.

И отец Северьян тоже любил тут гулять — по самому краю излучистого обрыва, мимо храмика своего в одну сторону и потом в другую, почти до златоглавой кремлёвской колокольни. Только гулял он здесь, один или с кем беседу вёл,— когда прежде утрени, когда за всенощную, уже и во тьме. Даже больше чем для прогулок — это место он любил как главное для себя место всей России и всей Земли, здесь думалось ясно, просторно, как нигде.

С первых своих шагов отец Северьян примкнул к тем в русском духовенстве, кто хотел бы вернуть Церкви место — возродительницы жизни. Чтобы она ответила на тупик современного мира, откуда ни наука, ни бюрократия, ни демократия, ни более всех надутый социализм не могут дать выхода человеческой душе. А прежде всего — вернуть каждому приходу живую жизнь изначальной Церкви.

В самом расположеньи этого тёмно-кирпичного, стройно сложенного, скромно достойного храма над необъятным окоёмом поймы, где с массивами незаливаемого леса, где с купой столпленных деревьев и домиков (там узкоколейка затапливалась, а станция — нет), и дальними крутыми взлобками окских берегов,— самим расположеньем напоминалось исконное тяготение православия к незыблемой и просторной красоте, как если бы никакой вечной высшей истины нельзя было понять иначе, как напоясь этой красотою и только через её струение.

Русь не просто приняла христианство — она полюбила его сердцем, она расположилась к нему душой, она излегла к нему всем лучшим своим. Она приняла его себе в названье жителей, в пословицы и приметы, в строй мышления, в обязательный угол избы, его символ взяла себе во всеобщую охрану, его поимёнными святцами заменила всякий другой счётный календарь, весь план своей трудовой жизни, его храмам отдала лучшие места своих окружий, его службам — свои предрассветья, его постам — свою выдержку, его праздникам — свой досуг, его странникам — свой кров и хлебушек.

Но православие, как и всякая вера, время от времени и должно разбредаться: несовершенные люди не могут хранить неземное без искажений, да ещё тысячелетиями. Наша способность истолковывать древние слова — и теряется, и обновляется, и так мы расщепляемся в новые разрознения. А ещё и костенеют ризы церковной организации — как всякое тканное руками не поспевая за тканью живой. Наша Церковь, измождясь в опустошительной и вредной битве против староверия — сама против себя, в ослепленьи рухнула под длань государства и в этом рухнувшем положении стала величественно каменеть.

Стоит всем видимая могучая православная держава, со стороны — поражает крепостью. И храмы наполнены по праздникам, и гремят дьяконские басы, и небесно возносятся хоры. А прежней крепости — не стало. Светильник всё клонится и пригасает, а жизнь верующих вялеет. И православные люди сами не заметили, как стали разъединяться. Большинство ходит по воскресеньям отстоять литургию, поставить свечку, положить мелочи на поднос, дважды в год принять елей на лоб, один раз поговеть, причаститься — и с Богом в расчёте. Иерархи существуют в недоступной отдельной замкнутости, а в ещё большей незримой отделённости — почти невещественный Синод. Каждый день во всех церквах России о нём молятся, и не по разу,— но для народной массы он — лишь какое-то смутное неизвестное начальство. Да и какой образованный человек узрел его вживе, Синод? В крайнем случае, только светских синодских чиновников. А высокие праведники одиночными порывами ищут вернуться к пустыням, скитам и старчеству, ожидая когда-нибудь поворота и общества за собой. Но — не их замечая, нетерпеливые и праздные экзальтированно ищут *углубить* свои ощущения, с ненасытностью знамений, чудес, откровений, пророчеств, а без этого им вера не в веру. И как ещё никогда, роятся и множатся секты, уводя от православия уже не сотни, а тысячи. А учёные богословы замкнуты в своих отдельных школах. А грамотеи-энтузиасты разных сословий собираются отдельными тесными кружками в низких деревянных домиках слобод и провинциальных городков, неведомые далее пяти-семи людей и двух уличных кварталов. А в деревне? Среди сельского духовенства есть святые, а есть опустившиеся. И вековая его необеспеченность и зависимость от торговли таинствами — не помогает держаться его авторитету. А тем временем подросло молодое деревенское поколение — жестокие безбожные озорники, а особенно когда отдаются водке. Старый, даже простодушный, мат приобрёл богохульные формы,— это уже грозные языки из земли!

Но гармония, со столетьями уже как бы наследная,— выжила и сквозь Раскол, и сквозь распорядительные десятилетия Петра и Екатерины,— отхлынула от верхов, покинула верхние ветви на засыхание, а сама молчаливо вобралась в ствол и корни, в крестьянское и мещанское несведущее простодушие, наполняющее храмы. Они ошибочны даже в словах молитв (но их пониманию помогает церковный напев), только знают верно, когда креститься, кланяться и прикладываться. И в избе на глухой мещёрской стороне за Окою, дремучий старик, по воскресеньям читающий *Евандиль* своим внукам, искажая каждое четвёртое слово, не доникая и сам в тяжёлый славянский смысл, уверенный однако, что само только это чтение праздничное унимает беса в каждом и насылает на души здравие,— по сути и прав.

Для того немого, бесколышного, для тех глубинеющих корней отец Северьян и считал себя призванным поработать.

Т о л ь к о всего и нужно было: возродить этот прежний «святой дух» Руси, дать выйти ему из дрёмного замиранья.

«Только»!..

Малочисленные единомышленники отца Северьяна рассыпаны были розно по пространству России, не имея единого стяга, ни места выражения,— только встречами, да письмами, да редкими проникшими в печать статьями перекликаясь и знать давая друг другу, что каждый из них — не вовсе один. (Перед войной в столицах их стало больше, но не священники.)

В этом их малочислии, в этой их окружённости равнодушными и враждебными, была, однако, не только слабость их, но, если гордыне не поддаться,— и надежда. Всякое движение истины всегда трудно, истина при своём рождении и укреплении окружена бывает насмешкой и отвратна для окружающих. Идти по лезвийному хребту почти сплошь среди чужих или врагов — необходимое условие рождения истины. Хотя — и не достаточное.

Да мысли о церковном преобразовании пробивались, тянулись ещё с середины прошлого века, когда начали строить новое общественное здание и сразу же загремели револьверы террористов, чтоб это развитие опрокинуть. Мысли были, что нездоровье общества — от нездоровья Церкви, и даже удивляться надо, что народ ещё так долго держался. И если мы, духовенство, допустили до этого упадка, то мы же должны и поправить. Преобразование ждало своих призванных деятелей. К 1905 году почти уже был разрешён Собор, первый после двух столетий! — и тут же остановлен уклончивым пером императора: «...в переживаемое нами тревожное время... А когда наступит благоприятное для сего...» А *когда* наступит благоприятное, если мы сами его не придвигнем? Приняли запрет за «радостную надежду» — и так удалось созвать Предсоборное Совещание. И выработали превосходные рекомендации, публиковали их, подавали *наверх*,— и всё завязло снова.

Нашлись у реформы и могущественные противники, и на высоких церковных оплотах. Труднейто всего: как убедить благорасплывшихся водителей Церкви? Высоковластные мужи её и государственные чиновники, поставленные как бы содействовать ей, надменно уверены, что никакого иного *добра* от нынешнего искать не следует, всё — лживость понятий, дерзость заносчивая, едва ли не революционерство. И при своей уставленной длани над маленьким приходским священником имеют право не противопоставлять ему и доводов, но во всяком заносе его мечтаний остановить беструдным для них ударом,— и он осажен как жерновом на ногах, во взлёте — ударом, вытягивающим хребет, и возвращается к осмотрительным земным движениям. Была ли то косность, тупость, нехоть или лукавое извращение слова Господня,— но за ними были власть и решение.

Да не только давили, но и возражали умело: что Церковь не есть учреждение человеческое, и потому не нужна в ней внешняя перемена и не должна к ней прикладываться человеческая энергия. Что писатель Достоевский оболгал её, будто она де парализована, а она — организм вечной жизни, и вхождение в ту жизнь никому не закрыто. Что все эти преобразовательные проекты суть социальные утопии, а поборники их — некие *церковные эсеры*.

Всё это был древний вопрос: вмешиваться в мир или отрешаться от мира. Всё так, христианство — это не устроение социальной жизни. Но и не может оно свестись к отмётному отрицанию мира как зла. Нет! И всё земное есть Божье, пронизано Божьими дарами, и это наша добровольная, обёрнутая секуляризация, если мы сами удаляем Бога в особую область священного. Не может Церковь, готовя каждого к загробной судьбе, быть безучастна к общественному вызволению, отписать народные бедствия на Господни испытания и не силиться бороться с ними. Не уходить нам в затвор от земных событий. Замкнуться в самоспасение и отказаться от борьбы за этот мир — страшное искажение христианства.

Да не какая-то сотрясательная измышленная реформа требовалась, не излом, не поиск новейшего,— но вернуться в прежнее засоренное русло, восстановить, как оно было, и с чего начиналось христианство вообще. Процветание Церкви — не в роскошном украшении храмов, не в дорогих окладах и не в сильных хорах с концертными номерами. Нет, восстановить и укрепить навык христиан самим угадывать себе духовных вождей: духовенство должно быть выборным. Только выборный священник и сгущает в себе дух общины. (А и — не так уже легко вернуться к выборным: сегодняшний мирянин не может, без духовного образования, сразу взять себе на плечи и усвоить двухтысячелетний опыт Церкви.) Разве случайно нет похвальных русских пословиц о попах? Но и кто на Руси униженней священника? Церковь должна перестать быть государственным ведомством. Восстановить весь воздух раннего христианства,— и где мешающая тому стена, кроме наших потерянных сердец? Под общей крышей отмолились, кивнули друг другу как знакомым и разошлись. Нет, оживить формальный приход в деятельную христианскую общину, где храмы открыты и светятся для встреч и бесед не только в часы служб; где дети воспитываются как равные христианские, независимо от состояния и положения родителей; и где безошибочней всего и необидно передаётся помощь нуждающимся, что недоступно для гражданских комитетов, да ещё приезжих людей. Ведь истинная бедность только тут и откроется, когда знает, что к ней стучится не надменная рука. Дар принимается как бы от Бога и принимающий не испытывает унижения, а приносящий дар — приносит во имя Бога, и не испытывает гордыни.

А там разразилась война. А вот — и петербургская революция! Во взмёте общих опасений, сомнений и надежд зажглась у отца Северьяна и своя отдельная яркая надежда: не принесёт ли эта революция свободы и церковному развитию? — хотя помощь христианскому делу от физического переворота жизни угрожает быть коварной. В новых условиях — что будет с церковной реформой? Не мог он тем поделиться ни со священниками Гренадерских полков, ни с дивизионным благочинным, ни с армейским проповедником. Но вот добывал газет, газет сколько мог, и из груды недоговоренных неясных революционных новостей выискивал, вытягивал каждый оттенок, по которому мог бы судить о церковной жизни в столицах.

Одного митрополита силой сместили тотчас, другого усиленно выталкивали. Из опалы возвратился в Москву страстный реформатор священник Востоков, отчасти единомышленник отца Северьяна, и вот метался по Москве, ежеденно что-то совершая. Профессор богословия Кузнецов возгласил, что теперь очищено место для церковной реформы и не будут больше архиереи духовными губернаторами. Думец-протоиерей Филоненко звал очищать белоснежные ризы Церкви. По всей Московской губернии происходили уездные собрания духовенства — да не докатилось ли и до Рязани? — вот когда жаль, что на фронте.

Невесть откуда взявшийся обер-прокурор Львов каждый день заявлял что-нибудь

освободительное и вызвал из Уфы опального епископа Андрея Ухтомского, известного реформатора, прочa его в петроградские митрополиты,— а тот уже по пути делал заявления, что свершился суд Божий, все обманы теперь обнаружены, открыты величайшие возможности в истории русской Церкви, в государственной жизни отныне будут соблюдаться только нравственные принципы и душа замирает от радости.

Так ли?.. О, так ли?.. Слишком хорошо и легко, чтобы так всё сразу.

Замелькало упоминание о кружке (ещё Пятого года) 32 священников вокруг о. Григория Петрова,— и они сразу же создавали «Союз демократического духовенства» — партия, что ли? — требовали упростить состав богослужения, чтобы приблизить его к народному пониманию, и — «привлечь духовенство к участию в политической жизни страны». А секретарь их, священник Введенский, требовал ещё и светского костюма вне богослужений, разрешения бриться, стричься, и спешил возгласить эстетику — родной сестрой религии.

Спеши-или. Так спешили, что самые лучшие замыслы в первых же движениях начинали искажаться. Уж в отце ли Северьяне не было долголетнего напора деятельности? Но когда в России всё, в с ё вихрилось — можно ли так вырывать в суматошьи церковную реформу? Завлекало их в вихрь как-то всё одним боком. Слишком много разговаривали с газетами. Востоков высказывался всё развязней, протоиерей Цветков склонялся в политическое буйство. Епископ Андрей легкомысленно объявлял о социалистах, что они в глубине души истинные христиане, честнейшие натуры, алчущие и жаждущие правды, но просто не знают церковной жизни, а всё по вине победоносцевского ведомства.

Да как можно сказать такое? Социализм? — он основан не на любви, а на борьбе.

Такой призвук улавливался, да даже уже не призвук, что реформа и сама будет ломать как ураган.

А прокурор Львов всё громче говорил о *хорошей метле*, которою он прометёт Церковь. Истинно ли свободу предлагали Церкви — или только право освятить революцию, новую присягу, воодушевлять солдат на продолжение войны — и услуживать во всём новому правительству?

Кажется, именно так, потому что вот уже Синод подавал в коллективную отставку: он хочет определять сам свой внутренний порядок, и даже при старой власти всегда имел свободу назначения архиереев — а теперь её отнимают.

А харьковский Антоний заявил, что под «реформой прихода» сейчас понимают: ограбить церковное достояние и выбирать себе распущенное духовенство.

Да вон уже, там и сим, местные исполнительные комитеты брали на себя лишить священников сана.

Мчаться бы отцу Северьяну туда, в действие! Но безмолвный ночной фольварк Узмощье замыкал его малую пристройку, с малым столиком, кивотом, походной раскладной койкой да двумя стульями, а на чёрной суконной постельной застилке при керосиновой лампе — газеты, газеты.

Как неясны и непрямы пути к истине. Может быть, и было что-то верное подмечено в той кличке «церковных эсеров»? Как это сегодня закружилось вокруг реформы...— перестраивать? или ломать??

Страшно.

Обречены мы всегда тосковать по дальней правде. А обращаться с ней — не умеем.

От нас требуют признать «новый строй» совершенным? Но Евангелие — не разрешает нам так. Но ни в какие временные общественные формы — глубины Церкви не вмещаются.

В этих быстрых решительных жестах — издали не угадываешь молитвы.

Если мы ещё усилим наши церковные болезни? — да в этом общем урагане по стране ещё увеличим наши заблуждения? — то к чему придём?

Какая ещё новая расплата будет нам за то?

ТРИНАДЦАТОЕ МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

579

Таких сложных культурных хозяйств, как Лотарёво Вяземских, было немного, считая и по всей России. Такого имения не найти во всей Тамбовской губернии. Особенно развил его, вложил душу отец, князь Леонид, бывший глава Управления Уделов, после того как в Девятьсот Первом году получил выговор от царя за поддержку студенческой демонстрации и уехал жить в Лотарёво. После его смерти имение принял старший сын Борис, всего тогда 25 лет, но исключительно разумный, уравновешенный, практичный и настойчивый.

Теперь у них был конский завод, рысистый (из самых знаменитых, выигрывали многие скачки) и рабочих лошадей, питомники, рассадники, каждое поле в пятирядной кайме деревьев против мятелей, луговое хозяйство, молочное (стадо швицких коров), птичье, крупный содержанный парк, сад, цветники. Князь Борис не упускал использовать в животноводстве даже и новейший менделизм. У него были и познания и любовь к флоре и фауне, и он ещё мечтал выделить в тамбовской полосе несколько сот десятин целинной земли, чтобы сохранить на них естественные виды растений, птиц и отчасти животных. Лотарёво, и при управляющем, требовало круглогодичного присутствия внимательного хозяина, также и зимой, с быстрыми решениями при инфекции или сложных случаях на конском заводе, а этой зимой небывалые мятели нарушали и подвоз кормов.

Но именно этой зимой события всё держали князя Бориса вне дома. К Новому Году поехали в Петербург с Лили (детей у них ещё не было), встречали его у тестя, во дворце Шереметьевых на Фонтанке. (Князь Борис успел расписаться и в Мраморном дворце по случаю высылки великого князя Николая Михайловича, похоже на высылку отца.) А через десять дней у Шереметьевых ещё торжество — серебряная свадьба родителей Лили. А через ещё пять дней нельзя было не поехать на годовщину смерти графа Воронцова-Дашкова, тестя Адишки-брата, но и дедушки Лили по матери (три брата Вяземских были женаты на трёх двоюродных сёстрах), ездили большой семьёй, заказным вагоном. В двадцатых числах января вернулись в Лотарёво как раз на полосу мятелей, заносило дом выше перил бельэтажной веранды, прекращалась подача электричества и работа водокачки, откапывали в снегу траншеи в полтора человеческих роста. В конце февраля был первый солнечный пригрев, 1 марта опять мороз и небывалые уши и яркие радуги вокруг солнца. (Как заведено во многих помещичьих имениях, князь Борис вёл «книгу судеб» — такой дневник, где записи через год возвращаются на лист того же числа, и так можно потом проследить многолетнюю судьбу каждого дня.) А 3 марта пришла с задержкой телеграмма, что Дмитрий ранен, ещё через два часа — что скончался. Выехали на станцию Грязи, но опоздавшего московского поезда пришлось пережидать полную ночь и ещё полдня, всё расписание нарушилось,— съездили к знакомым Бланкам в соседнее имение, и только от них узнали, что в Петрограде как будто революция. И действительно, ещё через день Москву застали всю в красных флагах,— неоглядимое зрелище. А поезд из Москвы в Петроград ещё снова сильно опоздал, так несчастно всё — приехали через два часа после отпевания Дмитрия в Лавре. А Адишка с фронта в этот раз вовсе не приехал.

Затем оставалось четыре дня подождать — и будет девятый день, обедня в Лавре. А тогда стал Борис задумываться: не остаться ли на кадетский съезд, вот в конце марта? (Лили тоже хотела посидеть на съезде, она была из верных жён, делящих все интересы.) А там — и на Пасху, сразу за тем? А там вскоре и митин сороковой день? Так застрял князь Борис в Петрограде, кажется и ещё на один месяц. За это время и передал Академии Наук зверинец, устроенный Дмитрием в Осиновой Роще.

А хоронить Дмитрия, как он и сам просил, да как уже и требовала традиция рода, надо было в коробовской лотарёвской церкви. Для того поместили его в цинковый гроб, запаяли, и пока держали в левашовском (матвринском родовом) склепе в Лавре. А повезти гроб, так получалось, не раньше начала мая: чтоб и Мама было легче ехать, ещё при нынешних расстроенных путях, и у Дильки младенец будет постарше.

Незапланированное своё пребывание в Петрограде, да ещё в столь необычайное время, князь Борис, уездный усманский предводитель, имел поводы использовать для посещения новых правительственных лиц: по сельскохозяйственным делам — Шингарёва, по делам местного суда — Керенского, по делам местного управления — князя Львова, а с Гучковым повидались почти как с родственником. Надо было ещё и хлопотать, как бы достать на этот сезон военнопленных в имение, или же китайцев, или сартов. А ещё, по партийным кадетским делам, посетить перед съездом и Винавера.

Вообще, за военные годы петроградская атмосфера стала ненавистна князю Вяземскому своим постоянным судорожным алармизмом, мрачностью всех выводов и предположений. Он говорил Лили: эта проклятая «общественность» нас доведёт, но мы обязаны с бодрым видом спасать, что можно. А сейчас, после революции, он находил, что в Петрограде быстрей всего и разливается всё больное.

Керенский произвёл на него болезненное впечатление, какой-то прыгающий вздорный оптимизм. Князь Львов — отвратительное: при ясном взоре — на самом деле хитрит, вертится, никакой власти у него нет да и нет желания править, зачем он это место занял? Гучков, напротив, чрезвычайно и неоправданно мрачен. Шингарёв — куда бодрей.

Шингарёва Вяземский знал лучше других: его Грачёвка — в Усманском уезде, хоть и маленький, а свой земленладелец. Да и вообще он был открыт, в разговоре прост. Обсуждали с ним, но что же это может вылиться в деревне, и Вяземский уверенно ему говорил:

— Повторение Пятого-Шестого года в деревне сейчас невозможно. За 10-12 лет утекло много воды. Тогда мы были политически окружены, сейчас мы — видная часть целого, перед которым всё будущее. Тогда — нас всё застало врасплох, внутренне мы были в потёмках, а теперь уже невозможны ни прежние погромы, ни целая катастрофа. Через успешную земскую деятельность, через местное самоуправление мы в лучших крестьянах

разниваем чувство совместной ответственности за свою судьбу и судьбу отечества — и тем революционная пропаганда становится беспочвенной. Хотя всё ещё какой-нибудь щёголь публикует «Деревню», вывалинав из неё прочь всякий трудовой смысл жизни, рисует пасквиль, чтобы подмазаться к общественности. В России — много непочатых здоровых сил, и среди них дворянство — тоже ещё не рухлядь, поверьте. И я считаю жестокой ошибкой паническое настроение некоторых помещиков — скорее сдаваться и всё сдавать.

Как он за эту неделю наблюдал в Петрограде кой у кого из приезжих.

— Нет, мы, дворяне, ещё поборемся, выстоим и войдём в будущее.

580

Кажется, немногое только изменилось: не стало железнодорожных жандармов, этих саженных красавцев, как будто и безучастно встречавших-провожавших поезда, а ведь остались и дежурные по станциям в красных фуражках, и те же станционные колокола с часто-коротким вызваниванием «повесток» о вышедших смежных поездах, и те же звучные отправные в один, два и три удара, и те же стрелочники с вылинявшими до жёлтости зелёными фуражками, пропуская поезда, так же ставили ногу на гиревой противовес стрелки и дудили в медный рожок,— и поезда шли, станции не рассыпáлись, а как будто лопнула удерживающая застёжка, о которой раньше и не догадывались, что она держит.

Утром в Смоленске Ярослав вышел на перрон — и революция напомнила о себе как хлестнула. Что больше всего разило военный глаз — это вольно расхаживающие солдаты, без поясов, с расстёгнутыми шинелями, открыто куря на виду офицеров, и никто не отдавал чести. Ничего хуже они не делали, ну ещё семячки свободно лускали, ну ещё двое вели девку под локти,— но намётанному офицерскому глазу уже хуже и быть не могло: это и был развал, а не армия. И над всем этим опускалась благожелательная разрешённость, признанность: ни отсутствующие жандармы, ни прошмыгивающие смущённо армейские офицеры, ни поручик Харитонов среди них не были вправе повысить голос, одёрнуть, остановить, заставить. Расхаживали какие-то новые наблюдающие штатские и даже гимназисты, одни с белыми, другие с красными повязками на рукавах, но они ни во что не вмешивались, и при чём тут гимназисты? — их никто и не замечал. И если шёл по перрону высокий почтенный старик в хорьковой длинной шубе, а за ним носильщики несли шесть мест и бонна вела двух девочек,— то даже нельзя было поручиться, что за поворотом вокзала расхристанные эти солдаты не прикажут старику шубу снять, а вещи поставить на просмотр — и всё так будет, и никто не вмешается в защиту. Да Ярослав бы конечно вмешался! — но эта всеобщая разрешённость, уже впитанная им из московских дней, обессиливала его.

Странная жизнь.

В буфете 1-2 класса обычный белоснежный повар в халате и колпаке хлопотал у стойки, возглавленной грандиозным самоваром. И, как обычно, в мельхиоровых блюдах на синеватом огне спиртовок подогревались дежурные кушанья. И в обход искусственных пальм на белоснежные скатерти столов разносились пассажирам на подносах тарелки и чай. Однако и в этом зале наступила чужеродная настороженность: от набравшихся сюда солдат, никак не пассажиров 1-2 класса, однако некому теперь было ие впустить их или их отсюда вывести, и только явно сторожились буфетские, как бы эти солдаты да не взяли со стойки, не платя,— тоже помешать им некому.

Но: разве эти солдаты не умирают вместе с нами за Россию? Да они-то и умирают! За что же мы их держим каким-то неразрешённым сортом, не допускаемым в чистые места? Ярослав двоился.

За одним из столиков одиноко завтракал поручик. А против него присел, развалясь, с несомненным вызовом — «вот, сгони меня!» — солдат. Он ничего не ел, и сидел не как принято за столом, а разваленной позой, вытянутой ногою вбок,— нахально поглядывал на поручика и лускал семячки — на пол, но иногда попадая и на скатерть, на свой угол стола.

А поручик? Продолжал есть — и не показывая, чтобы поспешно. И так шёл между поручиком и солдатом беззвучный поединок.

Ярослав представил себя в положении этого поручика — и похолодел: а что, правда, делать? Встать и уйти — бегство. Продолжать есть, не замечая,— унижение. Строго крикнуть — вряд ли поможет, после всех возглашённых газетами солдатских вольностей. Применить силу? — ввяжешься в унижение хуже.

Ничего и не придумаешь.

Ярослав ли не тянулся к этим нашим мужичкам! Ярослав ли не был сочувствен к младшему брату, слиянен с ним! Да у себя в роте, у себя в батальоне он никогда б такого не встретил: солдаты приёмисты были к нему, солдаты его любили! Но вот так сейчас, без своих, оказаться на отлёте?

Не без опаски он занял место за столом. И ел быстро.

Ярослав ли не любил народа! А чем же он ещё жил? Офицерская должность и за три года нисколько не вскружила ему голову. Но всё же сейчас он понял: это правильное было распоряжение не пускать солдат в буфет 1-го класса. И не разрешать им курить в общественных местах. И требовать с них отдания чести.

В чём сила армии — в том, вероятно, её и слабость. Она невероятно сильна беспрекословностью подчинения. Но если офицеров перестают слушаться, то разваливается хуже, чем у штатских.

По второму звонку Ярослав вскочил в свой жёлтый второклассный вагон, когда хмурый проводник — чёрная застёгнутая куртка, брюки в сапоги, даже более военный, чем эти разнязные солдаты,— доругивался с двумя из них и не пускал, а всё-таки те впёрлись в неположенный вагон.

О, да тут уже и в коридоре стояли солдаты, куря, а двое сидели на полу, загораживая проход,— и как-то надо было протесниться через них, не обидя и не унизя.

О, да и в самом купе уже были они! Как раз на диван сестры, на пустое место, и сели двое, и один напротив,— расставили колени, руки опёрли, и задевали сестру, ухаживали. Как раз место Ярослава и заняли. И как было теперь их согнать? И неловко, и не знаешь — уйдут ли.

Наташа быстрыми глазами увидела его — но не пригласила. Уже подтолкнутая к углу, к окну,— она, однако, уверенно справлялась с положением сама. Откуда у этой дворянской девушки была такая простота? — весело разговаривала с солдатами и угощала их конфетами.

Соседний господин, куда весь его англоманский гонор, засадил дочку за себя, вглубь к окну, собою загораживал её, но не мужской силой выглядел, а жалко, с осунувшимся по шее крахмальным воротничком, ошейником бессилия.

Но не сильней оказывался и поручик Харитонов. Стоял в коридоре против открытой двери.

И — что же нужно было делать? Над их вагоном, над их поездом, надо всеми железными дорогами, надо всей Россией была как будто кем-то прочтена разрешительная противомолитва — не от грехов, но ко грехам, отпущенье делать худое и запрет защищаться.

Солдаты всё подталкивались к сестре, она всё тараторила и задабривала их, ещё достала угощение,— а Ярославу послала взглядом не только не призыв о помощи, но успокаивающий знак не вмешиваться.

Тогда сосед положил ей ногу на колено. Она так же запросто сняла его ногу, не рассердясь, не закричав.

Ярослав не мог на это смотреть, обожгло его! Но что делать? Это было бессилие, какое может опеленать во сне, когда хочешь защититься, ударить — и не можешь. Он — не мог применить оружие, и бесполезно кричать команду, а что ж? — уговаривать тоже?

Он стал так же беспомощен, как тот поручик на лусканье семячек чуть ему не в тарелку.

И он обернулся к окну в коридоре, так же закуренном незваными солдатами.

Он понимал, что солдаты — не по задумке, но по инстинкту — вот так надвигаются, кладут ноги,— проверяют сейчас их: их, офицеров, и их, дворян, занимавшихся балами и играми «Червонного валета»,— и всё будущее зависит, остановят ли их благоразумно в этой проверке. Но — как?

Но и — что же такое наша родина, если не наш народ? вот эти самые солдаты? И как же можно увидеть в них врагов?

За двойными запотелыми стёклами мелькало заснеженное чернолесье, сосняк да ельник, да проплешины болот. Недалеко уже до половодий.

Всё это, конечно, осядет, отстанет, всё это — временные изъяны народного сотрясения. Но жить среди этого мучительно даже каждые лишние пятнадцать минут. И хорошо, что отпуску конец, скорей в батальон, где такого не случится. Не опоздать бы на пересадку в Полоцк, тогда сегодня можно добраться и до штаба армии. Как он радовался, едучи в отпуск! — а теперь ещё порывней рвался в свою часть.

Промелькнул опущенный шлагбаум, у него стояла замотанная в платок баба-сторожиха, выставив зелёный флажок.

Поезд замедлялся к станции.

В начале перрона был высыпан на землю обычный базарчик: распростанные мешки, корзины, жбанчики с молоком.

А сестра в купе всё дальше угощала солдат: есть у неё и сахар, и печенье, и заварка — кто сбегает за кипятком? Один солдат побежал с чайником.

Ярослав теперь уже и из вагона не шёл: пожалуй, и без чемодана останешься.

А с перрона несли золотистых цыплят, переложенную в кружки хрустливую квашеную капусту, перелитое коричневое топлёное молоко.

И ещё новые солдаты набирались во 2-й класс через кондукторскую ругань, но тоже осмотрительно.

И не было никого выше кондуктора, не было гордого обера с серебряно-красными галунами, чтоб их задержать.

4*

— А что тут такие за купы́? — спрашивали солдаты друг у друга с любопытством, проходя и пристукивая винтовками по полу.— А кто тут по купам?

А почему они ехали с оружием, но без команды?

Ярослав не понял вовремя знаков соседа, приглашавшего его сесть рядом с собой и так оберечь последнее свободное место. Теперь туда ввалились ещё двое солдат, плюхнулись на тот диван, через папашу совсем уже втискивая дочку в стенку.

И Ярослав остался стоять в проходе, отмахиваясь от чужого дыма, глядя на уходящую землю.

Миновал перегон, другой. Расчёт сестры оказался верен: солдаты подобрели, не хамили, размягчились чайком, рассказывали о своих семьях. Наконец, ласково звали и поручика идти с ними попить.

А тем временем, оказалось, два новых солдата потребовали с англомана 15 рублей, на одной станции сбегали принесли полный окорок. И теперь резали его на коленях большим ножом, всех угощая.

581

Отходили дни революции — и всё больше оглядывались казаки на себя, и радовались себе. Ковынёв, ещё свободный от института, занятия не начинались, много тёрся среди донцов, захаживал и в казармы. Он был везде кстати, хоть в 1-м полку, хоть в 4-м, и довольно войти и заговорить с первым встречным, как по выговору, по донским словечкам, по взгляду на дело они опознавались и могли гутарить, внятно обоим до души.

У 4-го Донского была своя история этих дней, ещё прежде революции, город её не знал, а полк теперь гордился. Ещё в январе, за месяц до всей заварухи, два казака 2-й сотни, Хурдин и Сиволобов, прижелили двух солдат, задержанных в трамвае без увольнительных,— напали на комендантский патруль, прапорщика ударили тупеём шашки, солдат выручили — и сами унеслись. С этого удара, теперь гутарили казаки, и началась революция. Тогда выстраивали весь полк, шёл прапорщик по рядам — и опознал обоих. Арестовали, судили военно-полевым, с лишением казачьего звания, прав и состояния,— но посидели Сиволобов с Хурдиным месяц в петроградской тюрьме — и сами ж казаки освободили их вот.

И в Колпине 5-я сотня не стала разгонять рабочих нагайками,— тоже ещё до заварухи,— съехала мирно. А в самом Питере, на Забалканском проспекте, все казаки перед лицом толпы пошвыряли свои нагайки на мостовую — и кричала им толпа «ура», и сотника качали. И столько радости, что толпа на них не плюётся, не проклинает! А на Знаменской казаки и в атаку пошли на полицию, сдунули её с площади! И до того радовались, что народ их хвалит,— ещё по вечерам, расседлавши коней из наряда, бегли в город — самим позиркать, уже как вольные.

Да, в этот раз казаки смыли пятно Пятого года, уже никто не может попрекнуть их подавительством. И с родного Дона передали: спасибо, станичники, благодарим за честь. И ходил казачий полк к Думе,— «в крови германской искупаем своих лошадей»,— и сам Чхеидзе признал, что в революционные дни казаки нанесли смертельный удар самодержавию. Правда, часть донцов, напротив, вечером 27 февраля ушла отсюда, из бунтованного города, вместе и с обозными двуколками — пересидеть в 12 верстах, в Ново-Саратовской колонии, пока подойдёт генерал Иванов «разгонять эту сволочь». Но он не подошёл. И те земляки вернулись сюда, к этим, которые в городе: донское сродство выше всего.

Среди своих охватывался Ковынёв этим отдельным донским чувством, никому здесь, в северной столице, непонятным,— взглядом как с казачьего кургана. Чем большей громадой продвинулась через Петроград эта революция — тем отдельней воздвигалась скала казачьей тоски и жажды. Здесь, среди дончаков, меньше всего было разговоров о Временном правительстве и Совете рабочих депутатов, Дону это всё ни к чему. И война с Вильгельмом тоже изрядно отсторонилась. А набухало своё: донская весна подступает — и когда же домой? И какие вольности от тутошней революции они довезут до своего Дона? Коли такая свобода т у т настала — то уж какая должна распахнуться на вольном Дону? А какой если тут зачался непорядок — так такого нам на Дон не нужно, ни к чему. Вместе с Питером порадовались казаки революции — однако ж на этом судьбы их и разделялись явно. И теперь, доживая тут, в тёмной столице, ещё сколько-то и довоёвывая на фронте, не уставали донцы промеж себя гундорить о своих хуторах, о своих куренях, левадах, оврагах, конском разгоне и рыбных сетях,— это вечное было, стояло под резкими донскими ветрами, ждало весны и своих дончаков назад.

Прежде поговорка была: «Хоть жизнь собачья, да слава казачья». Теперь возникло всеобщее: «Казакам хуже не будет!» — чем было.

И под ногами Фёдора Дмитриевича уже мертвел петербургский тротуар. Он и раньше-то, все годы, если разобрать,— никогда не любил Петербурга. Что тут? — всегда суетная, чадная, торопливо-жадная жизнь. Эти последние дни натура дончака в нём переимывала петербургскую литературную.

И — что же, что же там деется? в Новочеркасске? и по всему Дону?.. Не сразу сведенья

доходили, сейчас прервётся и от донской распутицы. От сестры Маши сегодня получил первое послереволюционное письмо, от 8 марта. Писала она (но, может быть, отчасти и подделываясь под дух брата?), что петроградские события встречены в Усть-Медведицкой повсеместным громовым ура, была манифестация учащихся и учащих, всё прошло тихо-мирно, но все возмущаются окружным атаманом, что он цензурированием искажал телеграммы, только от почтмейстера узнали подлинные тексты. (И сегодня же — письмо от брата Александра, с лесных заготовок из-под Брянска: никак не ожидал такого быстрого и счастливого разрешения революции, а его 7-летний Митька, вот будет революционер! — прямо горит над газетами. И с обычной пылкостью желал Саша Феде быть избранным в Учредительное Собрание, как и был в 1-й Думе, и возрождать нашу разорённую родину.)

Кто-то с Дона и приехал за эти дни, вот бурный доктор Брыкин, за ним ещё присяжный поверенный,— добиваться от Временного правительства легализации Донского исполнительного комитета. Но тот комитет — чудоватый, не казачий, никаких выборов от округов и станиц, а там у них профессора, адвокаты, судьи, врачи и торговцы, много из военно-промышленного комитета, на Дону земства нет,— а где ж коренные казаки? кто ж правит Доном? И атаман — не выборный, а поставленный от того ж комитета — никому не известный войсковой старшина Волошинов, воспитатель кадетского корпуса,— не нашлось боевого генерала на всё Донское войско? И не слышно от них о главной нужде: об облегчении казачьей службы.

Приезжали в Петроград и первые вестники от фронтовых казачьих частей. Тут были голоса тревожные. Среди разгулявшейся солдатни громко раздаются проклятья, что казаки поддерживают «чайнья буржуазии» и «контрреволюцию». Безопасно цельным казачьим дивизиям, но тяжелее полкам, разбросанным по нуждам пехоты малыми командами и конвоями для охраны, связи, разведки, ещё тяжелей раскинутым по фронту отдельным сотням, а теперь командование стало их привлекать на службу борьбы с дезертирством,— и окружены они злобой, угрозами солдат — «подождите, доберёмся и до вашей землицы! довольно поцарствовали!»,— и вот шлют теперь свою тревогу в Питер и в Новочеркасск.

А в России — не одно донское, но 12 казачеств, и всего казаков до 4 миллионов. И при Главном Управлении казачьих войск, на Караванной у Симеоновского моста, теперь зародился Совет Союза всех казачьих войск — взяли туда и «перводумца Ковынёва», как его теперь называли в газетах, «перводумец» стал его главный чин. По этой несущейся с фронта тревоге решили ещё в конце марта, до Пасхи, собрать в Петрограде общий казачий съезд — и в подготовительную комиссию опять-таки выбрали Ковынёва, хоть и штатского, а всё равно природного казака. На съезде и будет обо всём галда, и каждое казачье войско усилится сплоченной силой остальных, и попробуй солдатня не посчитаться!

А Федю Маша звала приезжать в марте, и сам он рвался, конечно, на Дон,— но всероссийский казачий съезд стоил того, чтоб и задержаться тут. А дальше — Горный институт (ректора переизбрали, и со студентов уже не требовали всех зачётов) этой весной кончит год раньше, хоть и не возвращайся с Дона.

И Зинаиду уже звал весной в станицу.

На одни и те же недели приходило решаться всему: и семейному, и донскому.

Но чем потерянней становилась для Феди его петербургская покидаемая жизнь — тем и приятнее последние деньки больше потолкаться в литературных кругах, ещё надышаться, чего уж не будет скоро. И теперь, посиживая над матерьялами к съезду в Управлении казачьих войск, да гутаря с казачьими тут старшинами,— не упускал Федя, что близко — через Фонтанку, Литейный да на Басковой — редакция «Русских записок». Да и потянулся сегодня туда.

В Петрограде наступила оттепель, чуть ли не первая за всю зиму. Сразу небо стало жёлто-мутное, и под ногами жёлто-серое снежное месиво, даже снег тут не похож на снег. От извозчиков, от автомобилей летят в пешеходов брызги — никогда Петербург не бывает такой отвратный, как в зимнее слякотное время. А трамваи — все облеплены гроздьями, на передних и на задних подножках. Гражданских зевак сильно поменело от первых дней революции, но солдат гуляющих полно! — не кончается праздник у них.

И месил Ковынёв по раскислым улицам, сразу превратясь из казака в беспомощного горожанина в тяжёлом ватном пальто и в галошах.

Близко-то близко, но за этот пяток кварталов надо было перемесить ногами совсем в другой мир, и самого себя перемесить — опять к интеллигентному, литературному.

В редакции — своя прелесть. Сидит за столами и скучают дружелюбные любопытные женщины, всегда рады своему автору, посидишь около них, пошутишь, они расскажут, ты расскажешь, ещё узнаешь что-нибудь остренькое или полезное — та особая редакционная непринуждённость, какой не бывает в обычных учреждениях... Так Владимир Галактионыч всё в Полтаве? Болеет? А что Алексея Васильича не видно? Да он всё никак не разделается с комиссариатом, теперь сдаёт его. А ваш, Фёдор Дмитриевич, февральский очерк прочёл Венедикт Александрович, хвалил. Значит, идёт? Да уже в наборе.

Покалякали, много новостей вот каких — театральных. Театры эмансипируются,

везде автономные советы из ведущих артистов, предсказывают золотой век искусств, в Александринке начинают репетиции запрещённого Сухово-Кобылина и «Павла I» Мережковского. На всех афишах бывших Императорских театров везде орлов заменяют лирой. Сегодня и завтра идёт «Маскарад» по тем билетам, что пропали в дни революции. Вчера в Михайловском — учредительное собрание Союза Искусств, масса художественных проектов.

Да, художественный, артистический мир всегда кипит, и здесь особенно чувствовал Ковынёв своё неисправимое провинциальное отставание. Как ни теснился в писательскую среду, но сознавал, что остаётся вахлаком, казаком, не успевал за этой тонкостью угнаться ни ушами, ни глазами, ни вкусом.

Тут ещё один автор зашёл на минутку — Гусляницкий, торопился, увидел Ковынёва и стал зазывать его с собой:

— Тут всего два квартала... к Пухнаревич-Коногреевой. У неё сейчас публика занятная собралась и приехал доктор из Ярославля, рассказывает, как там революция прошла, очень интересно, это вам нужно всё знать, пойдёмте!

Ну, пошли.

Действительно рядом. (Федин глаз и по дороге не пропустил: тянулись сани с дровами — стали в город подвозить, цена упала, а то за революционные дни подскочили дрова.)

Дама эта, Пухнаревич-Коногреева, известная кадетская дентельница, оказалась толстенькая, сбитая. И с очень уверенным выражением круглого, не слишком умного лица.

Доктор из Ярославля ещё не пришёл, вернее — уже вчера был, рассказывал, а сейчас опять придёт, вот ждали. Ждали, сидели, болтали, не стесняясь будним днём,— как впрочем и солдаты же гуляли по улицам. А пока, до доктора, во главе беседы сидел писатель Гнедич — уже изрядно пожилой, и лицо со складкой артистизма.

Из кресла, скрутив колено на колено, Гнедич говорил:

— Я — только писатель, всего лишь. Но я теперь — свободен! Наконец нам дали возможность жить, дышать и мыслить! Мне позволено называть чёрное — чёрным. А раньше — нельзя было, сорок лет меня кто-то запрещал. На меня посылали доносы, обвиняли в возбуждении общества. Мы хотели только добра, а нам говорили: холопствуйте. О, неужели же прошло время шутов и прихвостней, евнухов правды?

Поразился Федя, как он закруглённо говорит, «евнухов правды», и как это язык легко складывается? — а это он статью подготовленную читал, статью для газеты, листок у него на коленке лежал, а коленка на коленке, сразу и не заметишь.

— О, неужели на месте рухнувших капищ заклубятся новые алтари? Предоставленные своей воле, о, мы будем теперь ещё строже к себе. Теперь наше сильнейшее оружие — свободное слово! Мы — накануне великого расцвета сил. Душа готова любить и верить. Подумайте: русская печать свободна! — а нам даже некогда порадоваться, так погоняет нас время. А Пушкин, Белинский, Тургенев — сошли бы с ума от радости.

> Богомольная русская дура,
> Наша чопорная цензура! —

кончилась ты наконец!.. Господа! — Гнедич так проникся и разволновался, что, видно, выходил из своей статьи, вставлял от себя и обводил всех чуть не со слезами: — Да сознаёте ли вы полное счастье, что мы живём в такую эпоху? Радость так огромна, что даже жутко становится за её прочность! Люди были в цепях, но ведь и идеи были в цепях! И вот — звучит колокол свободы! Сейчас можно только работать, радоваться и молиться! Было стыдно называться русским — при этом царе. Впервые быть русским — не значит стыдиться своего государственного строя. Мы выросли в собственных глазах — и европейского общественного мнения. Есть зрелища святые, перед которыми не может не обнажить голову даже враг. К таким зрелищам принадлежит русская революция! В какой-то чудесной гармонии решатся её конфликты. В тайниках своей оскорблённой души русский народ всегда носил эту красоту, которая теперь вышла наружу. Как нам не расплескать этого нектара! Снова преломилась плоть и пролилась кровь! Это будет всенародная, вневероисповедная литургия! И теперь, на обломках самовластья, Россия напишет имена!

Федя даже съёжился весь: ведь вот умеют писать! вот умеют говорить!

Хоть и печатал Ковынёва столичный журнал — а Фёдор Дмитрич и по сегодня робел перед каждым петербургским писателем, и особенно перед ними всеми вместе: что они знают и умеют — куда ему, донскому опорку.

582

И ничего такого ярославский доктор не рассказал, чего б они уже не прочли в газетах — о всяких вообще городах: как сперва несколько дней ничего не знали, а потом узнали, и сперва поверить не могли, а потом ликовали, создали общественный комитет и ходили с красными знамёнами — такие люди, которые никогда раньше под красным не

ходили. И как губернатор и полицмейстер пытались скрыться, но их схватили. И как, и как...

Доктор был маленького роста, белесый, смешной, симпатичный и почему-то внушал доверие, что врач хороший. Он жмурился от собственных речей, как бы не вынося всего этого хлынувшего света. И не столько рассказывал о событиях — их, видать, в Ярославле и не было, сколько задыхался, выдыхивал из себя свой собственный и общественный ярославский восторг: что в душе — половодье, что несёт туда, где вечно весна, к вершинам человеческого счастья.

Гнедич ушёл прежде, а на доктора пришли ещё два-три человека, среди них в крупных тёмно-роговых очках очень обстоятельный молодой приват-доцент с тяжёлым портфелем.

Но скоро доктору стал возражать длинный, узколицый Гусляницкий с веретённою бородкой. Вытянув ноги как палки из своего углового кресла, а сам в полусумраке угла прищурясь, он взял на себя роль духа-искусителя:

— Да, господа, мы видим красивую сказку, и я хочу верить в эту сказку со всеми вами,— но в глубине души меня точит червь. В эти дни скептицизм может показаться смешным, да, но я так всё время и боюсь, что явится Некто в сером и объявит, как в «Ревизоре»: приехавшая История просит вас всех к себе!

— Каким же вы это представляете образом? — прибоченила круглые свои локотки Пухнаревич-Коногреева.

— Да каким? В такие подвижные минуты демократия может легко превратиться в охлократию. Есть опасность даже опорочить дело свободы в России...

Ну уж! ну уж! — спохватились, всполошились все, как бывает захлопает крыльями домашняя птица на базу.

— А вот вообразите: у кого будет власть в том же Ярославле? Нашего доктора оттеснят или не позовут. А придут какие-нибудь сильные уверенные люди...

— Власть будет только у народа, и у него одного!

— Народ-то народ, но не забывайте, что вместе со свободой вышли на волю и всякие старые обиды, старые счёты, мстительные чувства, а у кого и жажда власти, да. Это естественно, но в этом великая опасность.

— Ах! — отмахнулись от него.— Вы только не волнуйтесь и не путайтесь под ногами у народа. Русский народ за неделю справился с мировым злом — справится он и со строительством!

— Из вас ещё не вышли призраки прошлого! — присудила хозяйка с круглой, но и язвительной улыбочкой.— Бутылка раскупорена — и надо пить её смело! Большего ряда жертв, чем погубил царизм,— уже не будет. Теперь мы держим твёрдой рукой светильник свободы. И теперь мы приобщены к великим демократиям мира! — это делает нас ещё более твёрдыми.

— Так-так,— посмейчиво настораживал Гусляницкий.— Но есть уроки истории. Сейчас, конечно, прилив. Но такую фазу мы уже переживали и в Девятьсот Пятом. А потом — отлив, реакция, общество отступило — и взял нас голыми руками Столыпин, который России не любил.

— И дело Столыпина закончили Распутин и Протопопов,— поддали ему.

Да б ы л и ли они все? Да б ы л ли сам Николай? — восклицали.— Вот сейчас пронёсся, как всегда, тенью,— Псков? Царское Село? Заперли его — и как будто не было.

— Но какой теперь возможен отлив? — бурно не соглашалась хозяйка. Её толстенькие руки так и тянулись в боки, будто она и подраться была не прочь.— Самодержавия — уже нет. И все самодержавные лакеи шлют телеграммы «присоединяюсь». Все видят нашу победу! Нельзя ж и допускать примата опасностей, господа! Чрезмерная тревога создаёт нездоровую обстановку. Теперь все чего-то боятся: кто немецкого наступления, кто продовольственных трудностей, кто контрреволюции, анархии, грабежей...

— Да нет,— отмахнулся Гусляницкий.— Немцев я боюсь меньше всего.— Бояться надо самих себя.

— Я понимаю вас! — поддержали.— Герою Леонида Андреева, знаете, было страшно, когда он видел зевающего жандарма. Когда общество отольёт — эти жалкие люди станут опять страшны.

— Да не-ет,— медленно вился на своём Гусляницкий, ещё подзакручивал и так завитую бородку.— Меня беспокоят разногласия между общественными течениями.

А приват-доцент, несмотря на свою отменную молодость, отличной выдержкой обладал. Пока хлопали крыльями и возмущались — он сидел за дубовым старым столом опёрто и совсем даже не шевельнулся. Он выжидал, он мелко не спорил. Но вот пришёл момент — и он вступил густым, приятным голосом:

— Тревога нашего коллеги — вполне понятна, господа. Ведь только ещё вчера разрушилась крепость народного рабства. Такая восприимчивость к страхам лишь показывает, как дорога народу завоёванная свобода. Сама по себе наличность тревоги не отрицательна, но положительна. Опасность — не опасность, если мы её осознаём. Но и не надо воображать в испуге уже занесённый нож Пугачёва. Его нет. Всякая междуусоби-

ца — да, это смертный грех перед делом свободы. Но в наших руках — не допустить разлада.

У него был, очевидно, свой план. Все головы обратились к приват-доценту. Он прочно опирался на стол, как бы читая небольшую лекцию, сам видимо наслаждаясь звучанием и строением своих фраз, и это чувство передавалось слушателям.

— Тут нужен ряд мер. Нужно всячески популяризировать благость переворота, ценность его и какие он открывает перспективы невероятного расцвета России. Надо же стать в положение народных масс, этих пасынков культуры,— как же им успеть разобраться в хаосе понятий?

От этих «пасынков культуры» — тронулось, защипало сердце Фёдора Дмитриевича: представил себе своих земляков-станичников,— правда ведь пасынки! Как сказано!

— Конечно, всё цепенение и гниение романовского двора не могли не отпечататься на народе. Народ предал и нашу мечтательную Первую Думу, и атакующую Вторую. Простим ему. Земля покорных хлеборобов спала угарным сном, но полным кошмаров бесправия. И вдруг толчком свобода! — каков переход! Наша обязанность теперь — помочь деревне выбраться из того тупика, куда её загнал Николай II. Надо остановить крестьян от самовольного дележа земли, а иначе пойдут с кольями деревня на деревню. И надо спасти их от самогонного запития, которое может разлиться в революционное время. Надо собирать сходы крестьянок и узнавать, кто тайно торгует самогонкой. И через народную милицию — конфисковать.

Как два несовпадающих камертона дают свой тон друг другу, и звук начинает биться, так в двух ушах Феди зазвенело по-разному. А тот не останавливался:

— Надо действовать энергично и очень широко. Нужно, по сути, немедленно организовать новое «хождение в народ». Надо привлечь студенчество, земское учительство — и теперь они понесут литературу уже не запрещённую, но которую мы свободно будем печатать.

— А город? — спрашивали его.— А образованное общество?

— Да, конечно.— В приват-доценте была такая основательность, большие локти он разложил на столе как два ухвата, ничего не собирался проминуть, всё загрести.— Даже и образованное общество растеряно. Всюду и всем нужны лектора. Всех коснулась анархия умов. Со всех сторон — лозунги, партийные страсти, воззвания, резолюции,— а обыватель в недоумении. Да, конечно, одной политической революции мало, нужна революция общественного правосознания. Не преграждать лаву, вытекающую из вулкана,— но приготовить ей ложе. Революция — это хаос, но хаос — творящий! — казалось, он пошевельнул отдельно от очков роговым надбровьем.— Как мы жили! —

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.

Но после государственного переворота никто в России не вправе чувствовать себя обывателем, мы все теперь граждане. «Государство — это мы», державный народ, живая вода общественной энергии. Для России наступает эпоха самодеятельности и великого законодательства.

Федя даже подивился: и что ж этот доцент тут сидел, на них слова тратил? Отчего такие люди — да не во правительстве?

— Не надо нервно жаловаться, а — строить! — упречно водил приват-доцент очками на всех, а больше на Гусляницкого.— Из разложения мы создадим организацию. Да умолкнут все разногласия перед задачей закрепить свершённое! Были у нас раздоры с прежними правительствами — довольно! Теперь мы должны поддерживать Временное — всеми силами. Конечно, против всякой власти легко возбудить массы,— но теперь надо отложить гражданскую рознь! Правительство ведёт нас по пути права. М-может быть, м-может быть,— видел он на лицах и возражения,— правительство и допустило какие-нибудь ошибки в суматохе первых дней. Но теперь всё выправляется.

— А если они повторятся?

— Н-ну,— смягчился приват-доцент,— тогда мы предъявим Временному правительству — запрос. У нас должна создаться республика хорошего французского типа. Совершенных правительств и не может быть, пока не станет совершенным сам народ. А пока правительство вправе требовать от нас всех жертв и всех усилий.

Может быть и убедил, но не Гусляницкого:

— А Совет рабочих депутатов? — ехидно завивал он локонок своей бородки.

Тут и хозяйка вдруг, тряхнув локотками, поддержала:

— И меня тоже очень беспокоит Совет рабочих депутатов.

Приват-доцент изумлённо к ней повернулся и спросил густым вкусным голосом, явно полушутливо:

— Да чем же это он вас, матушка, так беспокоит?

— Политической незрелостью,— поджала хозяйка круглые решительные губы, образуя две симметричные ямочки на щеках.— Недостаточным образованием. Случайностью членов. И известным влиянием пораженчества.

— Что поделать! — развёл и свёл рычаги локтей приват-доцент. (Его ручищи вполне были бы в сельской работе хороши.) — В конце концов, кто сверг царизм, если не солдаты и рабочие? И кто восстановил работу на фабриках? Так они имеют право и контролировать власть. Совет рабочих депутатов — реальная сила, как раз охраняющая новый строй. Клокотание этого котла грозно только для упавшей реакции.

— Но не сбивать же Временное правительство! — нахмурила хозяйка светленькие брови и говорила сердито.— Но не расстраивать же нашу народную армию! Сознают они, что творят?

— Но оставьте же Совету и право защиты пролетариата!

— А что может потребовать пролетариат? — поморгал глазками ярославский доктор, о нём и забыли, а он слушал очень внимательно.

— Да ничего особенного,— повёл доцент твёрдыми плечами.— Не надо населять призраками левое крыло Таврического дворца. Все эти конфликты между Советом и правительством — неглубоки, они скоро пройдут. Все искусственные причины разлада у нас от кошмарного прошлого: нас злоумышленно разделяли, чтобы над нами властвовать. А нынче у нас произошла революция общенациональная, не классовая, и буржуазия не противостоит пролетариату. Пролетариат и так отлично понимает, что свободу надо сохранять в содружестве с другими классами. Что всякое самоуправство сейчас было бы самодержавием наизнанку, всякий частный захват — вмешательством в права всего народа. Конечно, не время бы сейчас рабочим думать о сокращении заводских часов. Мы все работаем, себя не щадя.

— Ну, а большевики?

— О господи! — вздохнул приват-доцент, расслабляясь.— Достаточно одной статьи в «Правде», чтоб зашевелились волосы на головах пугливых людей, и уже бы замерещилась борьба внутри нас, которая де откроет двери контрреволюции. Будто уж пролетариат только спит и видит, как захватить власть над цензовыми элементами. По-олноте, господа,— густоуспокоительно тянул он богатым своим голосом.— Большевики — составная часть революционных сил, и надо же относиться к ним с уважением. Это прописная политическая наивность — напоминать азбуку политической борьбы тем, кто шёл во главе этой борьбы. Демократическая «Правда» никак не может нарушить стройного хора свободы. Опасны — холопы Николая, когорты Вильгельма, а большевики наши товарищи, пусть в заблуждении. Пацифистские лозунги? Так у нас всё сейчас звучит раскрепощённо, звонко. Их беда — что они не чистые марксисты и от этого несколько упрощённо смотрят на вещи.

— Я боюсь,— извинялся Гусляницкий,— для них всё человечество делится на большевиков и подлецов.

Горничная внесла шумящий самовар.

— Ну, попьём чайку! — примирила хозяйка.

Всю эту беседу Федя не решался встревать, молчал. А очень бы он хотел местами записывать — и высокий ход аргументов, и этого приват-доцента по чёрточкам срисонать,— но невозможно, неприлично было бы тут записывать.

Между тем разговор тёк и тёк, потерявши остроту спора.

— А вы замечаете, господа, ведь март — это месяц революций? Убили Юлия Цезаря, Павла Первого, Александра Второго, и мартовская революция в Германии, и мартовская в Австрии, и Парижская Коммуна!

— Нет, господа, вот — более знаменательный счёт. Пять войн Двадцатого века: бурская, японская, итало-турецкая, балкано-турецкая, междуусобная балканская — и шестая Великая Мировая. И пять революций: наша Пятого года, персидская, турецкая, португальская, китайская — и шестая Великая Февральская.

Они ещё долго, долго сидели и говорили так, и неудобно было Феде уйти. Как гурманы собираются тонко посмаковать еду и вино — так свела их непреодолимая потребность высказаться друг перед другом,— обговорить, выговорить, проговорить, переговорить, изговорить все возможные оттенки текущего.

— Без веры в Россию в такие дни жить нельзя.

— Для того чтобы уметь любить, надо прежде уметь ненавидеть. Россия освобождена, но не очищена.

— Революция всегда кратковременна. Благодетельный вихрь налетает, сметает всё нежизнеспособное — и после бури озаряет мир солнце свободы. Так и теперь. Недолго придётся ждать — вырастет на наших глазах стройное, красивое здание, в котором все мы будем себя чувствовать уютно, радостно и свободно.

* * *

КРАСНО СОЛНЫШКО ВСХОДИТ — КАКОВО-ТО ВЗОЙДЕТ?

* * *

583

Стыдно досталось Пешехонову возвращать кинематограф «Элит» его владельцу-бельгийцу. За минувшие дни глаз комиссара присмотрелся зрением революционным, но сейчас, обходя пустеющее помещение вместе с хозяином, Пешехонов мучительно застыдился, как будто это он сам наделал: мебель зрительного зала была отвинчена от пола и вся свалена в кучу; пол — измызган, измазан чернее, бурее всякого вообразимого; стены исцарапаны надписями инициалов и лозунгов; шёлковые занавеси захватаны, испачканы и порваны. Но и этого мало: кто-то потрудился слямзить бронзовые части с чугунных статуй, там и сим стоящих по кинематографу. И как же? и когда это всё произошло? — в круговороте этих дней не замечалось. И кто ж как не Пешехонов был во всём виновен? — ведь это он издумал забрать под комиссариат кинематограф.

Они — шли с осмотром, и Пешехонов то и дело извинялся, сам поражался, и оговаривался об обстоятельствах:

— В моём распоряжении, увы, нет сумм, из которых я мог бы возместить ваши убытки. Но может быть Временное правительство?.. Если я обращусь к нему с ходатайством? И особенно если ваша бельгийская миссия поддержит ходатайство? У нас очень считаются с союзниками.

Но хозяин кинематографа, пожилой полный еврей с выкаченными печальными глазами, озирался на всё, кажется, даже с большим терпением и бесстрастием, чем Пешехонов. Если удивление было в его зраке, то скорей, кажется, тому, что стены всё-таки стояли и лестница не обрушилась. И он ещё сам произнёс комиссару благодарственные слова — Пешехонов сперва думал, что в насмешку, нет! И только просил написать ему официально комиссарскую благодарность за то, что он добровольно предоставил кинематограф органу революционной власти, а уж он вделает благодарность в рамку.

И он, пожалуй, был прав: в революционные недели это значило больше денег. А ремонт ему оплатят зрители, для которых уже на этот первый вечер была объявлена фильма «Джиоконда».

Сдача «Элита» не означала, что комиссариат перестал действовать: только сократился объем его функций и они разделились по нескольким мелким помещениям. Комендатуру, сборный пункт для отсталых солдат и для бродячих уголовников отправили в биржу труда, на Кронверкский. Жители перестали тесниться во множестве, ища комиссара по каждому вопросу. Но чего стоила одна оставшаяся забота — избыть, скачать куда-нибудь 1-й пулемётный полк! Уже несколько раз они окончательно уходили, уже и прощальный митинг был, собирались идти на прощальный смотр к Корнилову — но Пешехонов и по сегодня не верил, что они когда-нибудь уйдут. Хотя б удалось их переправить а другую часть Петрограда, на Выборгскую сторону, что ли.

И другие благоначатия февральских дней требовали скорейшего уничтожения — например бесплатные чайные. Они превратились в ночлежки и базы бродяжничества для солдат, не желающих возвращаться в свои части, и других темно-пьяненьких типов. (Но ещё найди силы разогнать этих солдат или уговорить.)

А теперь на Петербургской стороне избирали ещё и районную думу, районную управу — и комиссариат превращался при них лишь как бы только в полицейский центр. Остывала революционная магма, и Пешехонову уже нечего тут было делать, он готовил свой уход. Хотели избрать его головой районной управы — он отказался. Во всякую минуту ждали его и в Исполнительном Комитете Совета, и всё это время числили там, однако Пешехонову когда и приходилось появляться там по делам, попадал и на заседания,— он подчёркивал свою к ним непричастность: наростом виделся ему и этот Исполнительный Комитет, самоназначенный, никем не выбранный и лезший перебивать работу правительства.

Какая несомненная обязанность тяготела на Пешехонове как признанном — вместе с Мякотиным — вождём народно-социалистической партии,— это стягивать свою не слишком многочисленную и маловлиятельную партию, собирать её съезд (уже назначили на 20-е числа в Москве) и выявлять прежнюю партийную программу воззванием к новым обстоятельствам. Своя партия всегда кажется самой правильной. И насколько же это особенно верно было о партии «эн-эсов» — единственных сегодня сохранившихся чистых народников, отколовшихся в 1906 году от эсеров из-за их террора, огрязнившего народничество. Самая правильная партия: «всё — для народа, всё — через народ», этот лозунг и сегодня звучал уместно и точно. И когда сейчас, в общем февральском головокружении, возникли переговоры об объединении эсеров, трудовиков и энэсов в одну партию,— Пешехонову жалко было портить чистую народническую линию.

Уже немало лет Алексей Васильевич вёл жизнь петербургского обывателя-литератора, а отзывчив был к течению высотных струй, тех, что ещё только над нашей головой или глубоко под нами, ещё не вмешались в нашу обычную жизнь и никто их не замечает. И в эту третью революционную неделю он почувствовал по тем струям-завихрениям, что не может тут помочь объединённый социалистический пластырь, нет.

Несомненным и благородным было, кажется,— готовиться к Учредительному Собранию? Но уже почуял Алексей Васильевич, что это движение — слишком медлительное, и оно отстаёт от движения тех струй.

Уж кажется, эти две недели Пешехонов прокрутился с наибольшей быстротой, энергией и отдачей — и вдруг из состояния волчка понял, что — опаздывает!

Мы — все опаздываем!..

А — в чём?

Да деревня же! Необъятные, загадочные, тёмные пространства русской деревни, закипающие в неведомом бурлении от петроградской воронки. Деревня, которой Пешехонов отдал свои лучшие годы и труд, которой только и служили все они, энэсы,— чтоб освободить её из-под самодержавия. Бедная, покинутая, беспредельно-страждущая, погибающая, в разъеме своих грунтовых непроезжих дорог, в хилости своих недоухоженных, недоосправших полей, в неухиченности и покренении своих старых изб, почти немая для жалоб и сама не знающая, чего лишена,— и тысячи изобретателей, техников, учёных, ораторов, поэтов и мыслителей, как зарождаются там, так и доживают неразвёрнутыми, сами себя не узнав.

Туда, в эту тьму, и пришло теперь самое время кинуться спасать и просвещать. Но эти пространства были — уже не клочок мостовых, и туда не могло хватить никаких петербургских интеллигентов. Да разве их там ждали? Их там заранее подозревали как «бар». И невозможно так просто кинуться.

Тут, в Петрограде, уже спорили о видах республики — просто демократической, или социальной, или социалистической,— крестьяне ещё неизвестно когда поймут эти споры, ещё не близко ощутят, как они смогут составить четыре пятых Учредительного Собрания (если их не обманут при выборах) и направить Россию, как захотят. А пока, ежедневно и ежечасно, они ждут от революции не политических вольностей, не прав государственного управления, им такое невдомёк,— а только землицы измечтанной, где-то в обилии лежащей, незасеваемой, до сих пор не разделенной. И если революционный Петроград не поспешит с решением, то крестьяне поспешат сами: уже доносятся первые слухи о погроме помещичьих имений. И Россия только горше останется без хлеба. Нужны энергичные действия на местах — поля, засев-незасев, пастбища, инвентарь, лесные заготовки,— кто этим всем распорядится?

К счастью, эсеры, которые были в Петрограде (самые влиятельные, вроде Чернова и Натансона, ещё только где-то катили из эмиграции), как будто отказались от своих прежних крайностей, из поджигателей деревни на погромы перенастроились ждать Учредительного Собрания, и даже опасались самовольной организации деревни: отдельное крестьянское объединение, да ещё всероссийское, может стать опасным: это будет отдельная крестьянская власть в России — и сметёт все партии? Поэтому на народнических переговорах эсеры предлагали теперь не допускать постоянно-действующих крестьянских советов, а губернские крестьянские съезды допускать только по партиям, разделяя крестьянскую массу.

Теперь, когда пришла самая острая пора протянуть крестьянству руку,— защитники крестьянства уже обдумывали, как его обойти.

А теперь-то и видно было, как мы все опоздали с организацией крестьянства! Самые невинные благие проекты — дополнить церковные приходы кредитными обществами и кооперацией — опоздали! И волостное земство, протасканное, прополосканное через десяток лет думских прений,— опоздало!

А между тем надо всеми пространствами как раз и не стало никакой власти, какая бы могла защитить права и земельные границы — хотя б до Учредительного, внушить всем: ждать. Всё сдвинется — вот с а м о, прежде всякого Учредительного.

Продолжение следует

Александр Кондратов

Я мало знаю современную русскую непечатающуюся поэзию. Поэтому мне трудно сказать, как будут выглядеть стихи А. М. Кондратова на ее общем фоне. Вероятно, найдутся общие признаки, вероятно, найдется даже какой-нибудь коллега, продолжающий традицию, идущую от общего истока — малоуважаемого Алексея Крученых. Заведомо найдутся многие, разделяющие основную эмоцию этих стихов — иронию (нередко трагическую): ирония в наше время есть вещь, не выходящая из моды. Но я решаюсь утверждать, что в любом окружении стихи А. М. Кондратова будут представлять интерес для читателя и будут выделяться (прошу прощения за банальность) «лица необщим выраженьем».

Особенность творчества Кондратова — систематичность. Если Крученых был романтик крайней левой позиции, то Кондратов — ее классик. Открыв прием, он не ограничится тем, что блеснет им, отбросит и погонится за новым: он будет разрабатывать его во всех направлениях до полного исчерпания. А так как Кондратов — не только поэт, а и ученый, причем с широким кругозором в очень многих науках, то «все направления» разработки приема будут многочисленны и путь по ним далек. Отсюда самое заметное в его стихах: четкая циклизация. Каждый цикл заканчивает отдельную формальную тему и ставит точку. Если чтение полного собрания стихов А. М. Кондратова может чем-то утомить или раздражить читателя, то именно полнотой и законченностью: на «домысливание», или «сотворчество», или «угадывание» не оставляется ничего интересного. Я думаю, что в наше невротическое время это — достоинство, а не недостаток.

Читателю журнала не грозит такое утомление или раздражение: перед ним проходит не вся кондратовская плэрома, а лишь ее избранные образцы. Как было трудно отбирать эти образцы — ограничиваться демонстрацией «направлений», а не «исчерпанности»,— может оценить только тот, кто знаком с полным собранием стихов Кондратова (с его книгами, разделами, циклами и подциклами) — собранием, увы, неопубликованным.

М. Л. Гаспаров,
член-корреспондент АН СССР

ДОГАММНОЕ

(Из цикла «Гаммы»)

Нырну в соединенья — «-нье» и «-нья»:
сознанья —
сочетанья —
полынья...
Нырнешь, а вынырнешь,
держа обломок рифмы.
Все остальное — лишнее! Тариф мой:
«Стань музыкою, живопись стиха!»

...И гамма, то охальна, то тиха,
то обезьяной бесится, банальна,
то одномерна, то многоканальна,
то сдвинет с места смазанные смыслы,
то их переиначит вверх ногами...

Сгинь, здравомыслия срамное коромысло!
Да посрамят тебя нагие гаммы!

Поэзия — святое ремесло
(кто с этим переплетом не согласен?),
— но в никуда ведет его весло,
и этот путь отнюдь не безопасен.

И все-таки я волю дам ногам,
и зазвучат сквозь гомон сотни гамм!

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА

Княжна Алина.
А. Н. Оленин.
Элен
(Наина)
«Песнь об Олеге».

А там, на сцене,
Ея колени...
Балет. Тальони.
В лейб-батальоне!

Стихов куделью
Языков (Дельвиг).

Салонов лоно.
Клинки. Колонны.
Устои.
Старцы.
Уста.
Испанцы.

Не надо
яда:
ОНЕ — пленда!
Имен Васек,
тут каждый —
классик!

ПИСЬМО ТУРГЕНЕВА

(Из «Толстовок»)

В лосины бедрышко
не вденет Левушка.
Мохната бровушка.
Тайгой — бородушка.

Бушует кровушка.
Мужает силушка.
Дорос до небушка!
Сам сеет хлебушко.

Сам пилит бревнышко.
Сам — доит телушку!
Сам учит в школушке
— за так! — ребятушек.

Сурова долюшка...
Тургенев, лапушка,
забыв обидушки,
что красна девушка,
токует:
«Солнышко!

Неси ты, батюшка,
нам правду-матушку.
В романах — светушко,
не в малых детушках.

Не станешь — вдовушкой,
оставишь любушку,
Россию-матушку...
Пойми ж ты, братушка,—

по доброй волюшке
транжиришь силушку.
В сырую землюшку
идет талантушко.

Тебе — да варежки?
Начхай на полюшко!
Возьми, брат, перышко —
на кой те бревнышко?

Романа правдушку
пуховым перышком,
с твоей-то силушкой,
подымешь, батюшка!»

...А он, махинушка,
молчит, старинушка,
взъярив бородушку
на Соню, гулюшку.

И — думу, думушку,
свою дубинушку,
таит обидушку...
Живя в неволюшке...

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА

Прель.
Трель.
Лель.
Акварель.
Мережковский и Бунин.
Свирель
(в апрель).
Декаденты —
под тентом.
Мигрень.
Шагрень.

А. П. Чехов
(тщательно выдавливает из себя раба).

Книппер-Чехова
(эхова).
Судьба.
Татьба.

На снимке слева.
Влево —
простые...
Застыли.
Без гвалта.
1901-й год.
Ялта.
30 сентября.
...Замря.

БИБЛЕЙСКИЙ КРУГ

(Из сборника «ПМЛ»)

Буров родил Вурова
Вуров родил Гурова
Гуров родил Дурова
Дуров родил Журова
Журов родил Зурова
Зуров родил Курова
Куров родил Лурова
Луров родил Мурова
Муров родил Нурова
Нуров родил Пурова
Пуров родил Рурова
Руров родил Сурова
Суров родил Турова
Туров родил Фурова

Фуров родил Хурова
Хуров родил Цурова
Цуров родил Чурова
Чуров родил Шурова
Шуров родил Щурова
Щуров родил Урова
Уров родил Юрова
Юров родил Ярова
Яров родил Арова
Аров родил Эрова
Эров родил Ёрова
Ёров родил Ерова
Еров родил Орова
Оров родил Борова!

ПЛИТА ОБЕРИУТАМ

За что Господь их покарал,
анкету жизни замарав?
Никто из них не умирал
своею смертью в номерах:
кому — расстрел, кому — тюрьма,
где той же смерти кутерьма.

И лишь один из них отступник,
перед самим собой преступник,
собственноручный вивисектор,
нашел в душе особый сектор —

увечно стих переинача,
поставил главною задачей
смиренной мыслию осмыслить
ход ежедневной черной мессы...

И среди шавок разномастных
его почтили лестным местом
за то, что больше не юродский,
а наш, болотный,—
Заболотский.

ИЗ «СТИХОВ К СЫНУ»

Стелется пухом тебе земля,
сла-адко поет манок...
В царстве голого короля
ты родился, сынок.

В царстве голого короля
каждый из граждан — наг!

В царстве голого короля
дерзость — ходить в штанах.

В царстве голого короля
пыл превратился в ноль:
в полном наряде стоит у руля
гол
как сокол
Король.

РЕКВИЕМ В КРЕДИТ

Я немцу завидую —
Гете.
Манирлих творил в фатерланде!
А я
проживаю в болоте,
задействован зондеркомандой.

Был ум,
и стремленья,
и совесть...
Задатки, совсем как у Гете!
...Но эту печальную повесть
в моем некрологе прочтете.

ТРЕТИЙ СФИНКС

Когда тоска заела остро
и кажется — в чужом бреду,
пешком, к Василию, на остров
ополоумевший
бреду.

Они приветливо-спесиво
на остров разрешают вход:
знакомых встретить, выпить пива
и ощутить
весны приход.

Сплошные игреки да иксы
прохожих лица... Но уже
аменхотеповские сфинксы
видны в гранитном неглиже.

Перечеркнувши черным иксом
тоску, любя народ честной,
я ощущаю третьим сфинксом
себя —
пьян пивом
и весной!

КРЕДО

Пора б понять,
приплыть,
пристать...
Определиться вроде бы.
Не царь,
не псарь,
не поп,
не тать —
поэту брат —
юродивый.

А речь юродивого жжет.
Горящий уголь родины!

...Обряд тантрийский —
красный чход [1] —
творю,
поэт-юродивый.

Отдам всего себя чертям.
Сожрите мозг, уродины!
(Эстет причмокнет, боль учтя:
«Наварист был юродивый».)

Будь человечен, Человек,
коль не с чертями в роде был...
И знай:
НЕ МОЛИТСЯ ВОВЕК
ЗА ИРОДОВ —
ЮРОДИВЫЙ!

ВЕРУЮ...

Иосифу Бродскому

Тучных туч небесная блокада
снова солнце взяла в оборот.
Перебьемся! Выдюжим блок ада —
вычислен Земли круговорот.

Маревом кишат кошмары Мары —
суеты сансары, слепоты.
Но велят мне лира и дамара
оставаться с истиной «на ты».

Истиной, что проповедал Будда
Шарипутре:
«сущность дхарм пуста».
...В пустоте ж Вселенной да пребудут
ПРАВДА —
КРАСОТА —
И ДОБРОТА.

Триптих их — аршином не измерить.
Скай [2] стиха спасительную нить.
Сколько поэтических Америк
можно с этой троицей открыть.

...Небосвод как финкою пропорот
(щучит тучи солнышком Господь).
Ты еще вернешься в этот город:
не навек от Ирода исход.

Воскресают снова россияне!
В двухтысячелетие Креста
Троицей рублевской
да синют
ПРАВДА —
ДОБРОТА —
И —
КРАСОТА.

---

[1] *чход* — тибетское слово, обозначающее йогическую практику медитации над трупом *(примеч. автора)*.
[2] *скай* — глагол, образованный от слова «сканье» — ювелирная работа кузнеца *(примеч. автора)*.

Глеб Горбовский

Остывшие следы

Записки литератора

Расскажу о своей первой публикации в официальном печатном органе, коим стала для меня районная газета города Волхова, называвшаяся тогда «Сталинской правдой». Сразу же оговорюсь, что никогда, ни до, ни после этой публикации, в данном городе я не бывал. Ни одного дня. Я к тому, что в некоторых городах и впрямь приходилось бывать всего лишь по одному дню, скажем — в Ялте, Калуге, Николаевске-на-Амуре, Милане, Секешфехерваре, Саратове, Сызрани, Пензе и ряде других, а, к примеру, во Франкфурте-на-Майне — и того меньше: какой-то час. В международном аэропорту...

Повесть, по страницам которой плыву я в данный момент, прежде всего — результат переживаний, а уж затем — раздумий. Не правда ли, признание не из выгодных? Зыбкая у него подоплека, шаткая. Из тех, что на руку оппоненту.

«А есть ли они?» — вправе усомниться скептики. Достанет ли оппонентов у человека, опирающегося, к примеру, не на цветущее дерево, а всего лишь на аромат, источаемый его цветами? Есть ли завистники у человека, бредущего во тьме или тумане и добровольно отказывающегося от компаса? Но скажите мне: для чего компас... в туннеле? Направление задано раз и навсегда. Может, для того, чтобы не повернуть обратно? Не пойти вперед затылком? Но жизнь все-таки не кинематограф: не отмотаешь вспять ленточку. Да и не сподручно пятиться. К тому же, кто знает, может, туннель-то по кругу ведет? Как московская Кольцевая в метрополитене?

А что касается первой публикации, то до нее, признаться, была еще одна, как бы... минус первая. В многотиражке «Горняцкая правда». Безгонорарная публикация, потому — и со знаком минус. Как сейчас вижу эту тщедушную полоску бумаги и немногочисленные тексты на ее поверхности, оттиснутые почему-то синей типографской краской. Синяя шапка вверху полосы, синяя передовая, синие заметки, синие фотографии, синие стихи и даже синий кроссворд на закуску. Поэты нашего кружка очень любили этот сине-белый печатный орган. Быть оттиснутым на его нешироком, как бы заснеженном голубом поле — всегда воспринималось как праздник, как милость жестокого времени, внезапно расщедрившегося на улыбку. Стихотворение, опубликованное в «Горняцкой правде», называлось «Муха», и в нем рассказывалось, как жизнерадостная муха отравилась красотой мухомора, то бишь — его внешностью. Этакая лирическая басенка из десяти строчек. На другой день кем-то из наших поэтов была написана пародия на «Муху». Одним словом, тогдашняя творческая жизнь кипела и бурлила.

Параллельно с жизнью, которая клубилась внутри и вокруг литературных кружков и синеглазых печатных органов, текла и по-своему завихрялась еще одна жизнь, гнездившаяся в коммунальных квартирах Васильевского острова, где проживали мои школьные и просто уличные, дворовые друзья, с коими временно разлучила служба в армии, но связь — не оборвалась. Да и как ей было оборваться, если обвивала она опять же сердца, а не умы, зиждилась на всевозможных трепетах и сантиментах юношеской дружбы послевоенного выпуска, а — не на прагматических выкладках и комбинациях озабоченных мужчин, коим нынче — несть числа.

В тридцатой школе, чья башенка с флюгером и ныне возвышается неподалеку от станции метро «Василеостровская», в тысяча девятьсот пятидесятом году учитель словесности Кукушкин организовал литературный кружок, куда вошли ныне покойный

Продолжение. См.: «Звезда», 1991, № 4.

Володя Шапиро, Владлен Кузьмин, знавший наизусть всего «Золотого теленка» и выборочно — «Двенадцать стульев», писавший юмористические устные романы, то есть писавший их не пером или карандашом, а как бы — в уме, без применения достижений современной канцелярской техники; далее — я, сочинявший стишки одновременно под Маяковского и Есенина, а также — Виктор Бузинов, прирожденный репортер, газетный и радио-хват, кажется, с рождения своего мастеривший всевозможные фельетоны, репортажи, очерки, реплики, и, что немаловажно,— веселый человек, не занудный. Не столько жизнерадостный, сколько жизнестойкий, искристый, отчетливый, нацеленный, умевший не забывать о деле не только за письменным, но и за дружеским столом, а то и в более безвыходных обстоятельствах.

Примерно тогда же, на последнем году обучения в школе, Бузинов умудрился подхватить туберкулез легких. Болезнь по тому времени роковая. Но ее вовремя обнаружили и довольно быстро справились. Но, боже мой, сколько было вокруг нее трагического шепота, мрачных предначертаний, предсмертных тостов и речей, торжественно-клятвенных монологов, вообще какого-то особого, «чахоточного» шарма, даже стихов, посвященных «умирающему» собрату—Бузе. Воистину захватывающая страничка перевернулась тогда в анналах нашей веселой компашки. А в стихах, если не ошибаюсь, были такие строчки:

Витя, друг, жили-то, помнишь, как!
А теперь по барабану легких — палочки Коха!

Помимо немногочисленных, преимущественно прозаичных достоинств, которыми я тогда располагал, имелось у меня нечто реальное, существенное, а именно — тридцатиметровая комната в доме на 9-й линии, в квартире с еще только одной взрослой соседкой — тетей Женей Усатиной, тихой, сговорчивой матерью-одиночкой, невероятно доброй и неуклюжей, ходившей как-то по-медвежьи, по профессии физкультурницей, преподававшей сию подвижную дисциплину в одной из ближайших школ. Ребята нашего круга весьма ценили это мое достоинство, так как жил я без родителей и комната служила нам убежищем, пристанищем, вертепом и райским уголком — одновременно. Естественно, что ко времени моей первой публикации книг в домашней библиотеке значительно поубавилось: искусство, как известно, требует жертв.

Однажды, начитавшись Достоевского, ходили мы с Виктором Бузиновым по густо-зеленому Большому проспекту Васильевского острова, и нам очень хотелось убить старушку-процентщицу, коих в Ленинграде к тому времени было уже не густо. Всем своим видом, внешним и подспудным, заявляли мы окружающему нас обществу протест за то, что в стране по-прежнему тихо, скучно, вяло, в газетах, по радио и в кино жуют бесконечную жвачку из трех десятков «государственных» слов и что вот нельзя даже убить старушку-процентщицу; и вообще, Сталин уже год, как помер, а небо над нами не раскололось, земля под ногами не треснула, Нева все так же течет из Ладоги к Финскому заливу — скучно! Именно в эти, мучительно-однообразные, так нам казалось, вялые деньки обманутых надежд вызревали в наших головах резкие, ворчливые стихи вроде нижеприводимых.

ПРОКЛЯТИЕ СКУКЕ

Боюсь скуки, боюсь скуки...
Я от скуки могу убить.
Я от скуки — податливей суки,
бомбу в руки — стану бомбить!
Лом попался — рельсу выбью,
поезд с мясом брошу с моста.
Я от скуки кровь твою выпью,
девочка, розовая красота...
Скука, скука... Съем человека.
Перережу в квартире свет.
Я — сынок двадцатого века,
я — садовник его клевет,
пахарь трупов, пекарь насилий,
виночерпий глубоких слез...
Я от скуки делаюсь синим,
как от газа!.. Скука, наркоз.
Сплю, садятся мухи. Жалит!
Скучно так, что — слышно! Как пение...
Расстреляйте меня, пожалуйста,
это и прошу — поколение.

Тогдашнее наше с Бузиновым шествие по Большому проспекту обращало на себя внимание прохожих. Причиной проявленного интереса послужила не столько наша протестантская наэлектризованность, сколько эпатирующие наряды, в которые мы облачились в тот день. Во-первых, яркие женские шляпы. Старомодные, из довоенных материн-

ских залежей. Шляпы с вуалетками, перышками и полями. В своей шляпе я проделал ножом отверстие и выпустил наружу залихватский клок волос. На спинах у нас алели бубновые тузы, нашитые на жилет и кофту, опять же — не из нашего с Бузиновым молодежного гардероба. На штанах — вызывающие заплаты, которых в послевоенные, отнюдь не джинсово-хипповые годы почему-то все жутко стеснялись. В таком виде, держась на людях как можно невозмутимее, заявились мы в библиотеку имени Льва Толстого. И потребовали выдать «Дневник писателя» Достоевского, чем еще глубже повергли своих зрителей в уныние и трепет, ибо «Дневник писателя» слыл тогда чуть ли не запрещенной книгой. Получив отказ, мы запросили брошюру критика Ермилова «Достоевский — мракобес и реакционер», которую предусмотрительно взяли из дому и держали до поры до времени — за пазухой.

Получив из трепетных рук молоденькой библиотекарши брошюрку (а надо сказать, что в районной библиотеке был я записан еще с доармейских времен), мы откровенно накинулись на нее и с диким рычанием, на глазах изумленной публики порвали ее на мелкие клочки. Дело подходило к вызову милиции, когда из-под полы кофты была извлечена копия, и мы, извинившись за причиненное беспокойство, покинули заведение. Не знаю, что о нас подумали библиотечные работники, а также читатели, и почему все-таки не была вызвана милиция? Должно быть, в действиях наших, а также в словах и выражениях лиц публика уловила нечто осмысленное — не откровенно хулиганское, а — затаенно-взыскующее. Нами как бы была нарушена щемящая скука, взбаламучены некие застоявшиеся осадки, слегка помят и даже помассирован нравственно-психический отек, набрякший не только в помещении библиотеки, но и за ее окнами.

Возвратясь домой и сняв шутовские наряды, мы погрустили над бутылкой дрянного фруктово-ягодного вина, которое лет через двадцать в нашей стране нарекут странным, ворожейно-колдовским словом «бормотуха», и я пошел провожать Витю с Девятой на Первую линию. По дороге попалось объявление, говорившее, что производится набор учащихся в Полиграфический техникум, и Бузинов ткнул в объявление пальцем:

— То, что нам нужно! Учти, старик, никто стихов твоих при Советской власти издавать не будет. Но печатать вирши необходимо. Иначе превратишься в графомана. Есть такая разновидность тихого помешательства. Окончишь Полиграфический, станешь работать в типографии, скажем — на «Печатном Дворе». И сам преспокойненько оттиснешь стишки. На отходах от лучшей, скажем, веленевой бумаги. В двух экземплярах: тебе и мне. Годится? Тогда пошли в храм науки.

Таким образом, с легкой руки Бузинова, поступил я в Ленинградский полиграфический. После службы в армии брали туда без экзаменов. В группе на переплетном отделении, куда меня, двадцатичетырехлетнего мужика, определили на обучение, было сорок девочек и один мальчик, и все они, как на подбор, оказались моложе меня ровно на десять лет.

В аудитории сидел я на первой парте (близорукость), и по утрам преподаватель математики Коган, подозрительно принюхиваясь ко мне, изрекал, втягивая голову в плечи и одновременно выпрастывая в моем направлении указующий перст:

— Он весь пяный! — Причем в последнем слове всякий раз обходился без мягкого знака.

Туда же, прямо на адрес техникума, пришло однажды письмо из города Волхова: в конверт были вложены два экземпляра «Сталинской правды» с моими стихами. А «устроил» публикацию все тот же расторопный Виктор Бузинов, к тому времени обучавшийся на факультете журналистики и побывавший в редакции газетки на практических занятиях. Решимость опубликовать стихи, то есть взять на себя политическую, юридическую, моральную и прочие ответственности за этот акт, отважился работник газеты по фамилии Зырянов Ю. М.

Стихи в подборке были безобидные, даже наивные. Тот же «Ослик на Невском проспекте», та же «Муха», отравившаяся красотой, стихи про зеркало, которое отражает действительность без цензуры, стихи о почтовом ящике, телефонной будке и еще — про столовую...

У студента суп с грибами,
пахнет суп сосновым бором,
рыхлым пнем... Лови губами
с ложки суп с грибным набором.
Ешь, студент, не торопись,
в ложке, друг, не утопись.

Вот бухгалтер, он небрит.
Ест бухгалтер суп молочный.
Он, бухгалтер, худосочный,
у бухгалтера — гастрит.
Ешь, бухгалтер, поправляйся,
сил молочных набирайся.

А рабочий любит щи.
Для него в тарелке — мелко.
Для таких, как он, мужчин —
огород бы на тарелке!
Ешь, рабочий, ешь плотней,
будешь лошади сильней.

Стихи как стихи — студенческие, даже бодрые. Бытовые, заземленные. Но вот — последняя строчка... Беда в том, что подобных стихов в «Сталинской правде» никогда прежде не печатали. Помещали стихи к Первомаю, к Ноябрьским, Дню Военно-Морского Флота, а тут... И разразился скандал. Местного значения. Один почтенный стихотворец, теперь уже покойный, руководивший в городе Волхове литкружком, написал разгромную статью об этой подборке. Зырянову дали выговор. Затем сняли с работы. Человек заболел. Карьера его как бы наскочила на мель. Поговаривали о душевном расстройстве.

Есть в Ленинграде неподалеку от Московского вокзала небольшая улочка с таким значительным, а для детей России, для духа их — венчающим названием. Как попал я на Пушкинскую улицу, каким образом удостоился этой чести? Об этом теперь речь. Потому что не только об элементарном переезде речь, не о перемене адреса всего лишь. А как бы — еще о чем-то, более значительном, мировоззренческом. Жить на Пушкинской улице — это ведь как бы продолжать его, Пушкина, святое дело.

Чисто внешне возникновение мое на Пушкинской улице выглядит весьма прозаическим, примитивным, даже унизительным: менялся, причем — все время «на понижение», чтобы получить мзду за утраченные квадратные метры: с тридцати начальных на четырнадцать промежуточных, по возвращении с Сахалина — на девять окончательных, «пушкинских». Кстати, о Сахалине, связанном в моей биографии с Пушкинской улицей как бы прямым проводом...

Уехал я туда по приглашению женщины и провел там два ни с чем не сравнимых года. Сахалинских впечатлений и приключений хватило бы на отдельную книгу (фрагменты этих впечатлений пронизали и напитали одну из моих повестей — «Свирель на ветру»). Но речь сейчас не об этом. К тому же — с сахалинской женщиной я поссорился, с Сахалина сбежал, как тот бродяга, о котором поется в песне. Только бежал я не «звериной узкою тропой», а железно-транспортной тропой середины XX столетия, для разбега и приобретения минимальных средств подавшись в грузчики в портовый поселок Москальво, что на северной оконечности острова, где и отстоял навигацию 1959 года под вьючным седлом «бича». Заработав средства для перемещения на материк, переехал через Татарский пролив не на бревне, а на морском трамвайчике. Далее — от Николаевска Амурского колесным пароходом до Хабаровска. На пароходе под горячую руку спустил почти что все заработанные каторжным трудом рубли. За исключением заначки на железнодорожный билет, спрятанной столь тщательно, что не смог ее обнаружить несколько дней, проведенных в Хабаровске на вокзале (деньги оказались зашитыми в козырек кепки, меж двумя его картонками, не прощупывались вовсе). Билет пришлось брать самый примитивный, в общий вагон, и сразу лезть на третью, верхнюю, полку — подальше от любопытных глаз и языков. Питаться было не на что. Решил терпеть. Восемь суток. Лишь бы не унижаться перед попутчиками. Для чего прикинулся больным, потерявшим аппетит. Рассчитывал продержаться на здоровом сне и туалетной воде (не в парфюмерном смысле, а по месту ее, воды, нахождения). Волосы, взявшиеся на разгрузке муки колтуном, пришлось тогда же, на побережье, состричь под нуль, и в вагоне попутчики принимали меня за освободившегося зэка, разговаривали со мной с неестественным почтением, приглашая на коллективные перекусы, от которых я до поры неизменно отказывался.

Где-то на четвертые сутки пути, исследуя дрожащими от голода руками запасные брючата, взятые для прикрытия дыр на первых, основных, и временно служившие мне подушкой, обнаружил я в одном из карманов сплющенный конус кулька с остатками соевых «Кавказских» конфет, твердых, как бетон, и принялся их употреблять, в основном не зубами, а языком. Среди спекшихся конфет наткнулся я на красную денежку, червонец! Многократно сложенный в квадратик, каким-то образом оказался он среди окаменевших сладостей. Отмыв дензнак в туалете и там же просушив его на встречном ветру в окне, пошел я в вагон-ресторан и заказал первое блюдо — солянку. Ел ее с дармовым хлебом. Хлеба умял не менее килограмма. От второго блюда отказался, так как на оставшийся рубль рассчитывал закомпостировать в Москве билет до Ленинграда. Остальное время пути действительно проболел. Животом. От хлебного перебора. Но — обошлось и это.

При себе имел я тогда рекомендательное письмо к одним москвичам, которые будто бы меня накормят, напоят и спать уложат — солидарность островитян. Адресок оказался отдаленным, уводящим куда-то за шоссе Энтузиастов. Шел я туда часа три пешком. Денег на трамвайный билет или на метро спросить у прохожих постеснялся. Украсть — не догадался, да и не умел. Когда пришел по адресу, выяснилось, что нужный мне дом не так давно снесли. Налицо — остатки фундамента. И строительная техника. Чувства при этом испытал — ни с чем не сравнимые. Редкостные. Пришлось двигать пешком обратно, к трем вокзалам. Спасибо, один шоферюга продуктовый сжалился. Возле магазина. Я ему помог ящики-тару погрузить. Он меня в кабину посадил и поближе к цели подбросил. При этом шофер спросил: «Чалился, корешочек?» И я ему ответил утвердительно, чтобы не разочаровывать человека. Да, мол, чалился, срок тянул на Сахалине. От самой бывшей каторги пробираюсь-де. Поиздержался вот. И так далее.

Зато уж в Ленинграде адресок у меня имелся надежный. И даже — не один. Помимо собственного, весьма призрачного адреска, по которому тогда квартировал одинокий военный подполковник (я сдал ему четырнадцатиметровую на время своего дальневосточного странствования), располагал я адресами друзей. Друзей, которые писали, читали или просто любили... стихи. А располагая в молодости адресами подобных восторженных людей, можно забыть не только печаль, но и собственный адрес.

Сойдя в Ленинграде с поезда, я даже в записную книжку не стал заглядывать в поисках пристанища, вспомнил: в двух шагах, на Пушкинской — Штейнберги! Так я впервые прошел мимо этого странного, кстати, тоже опекушинского, памятника Пушкину, затиснутого в щель узкой улочки, какого-то потаенного, прячущегося и весьма низкорослого, чуть ли не в «натуральную величину», сооруженного в Петербурге замечательным скульптором, автором московского Пушкина, а также — пятигорского Лермонтова, петербургской Екатерины II и новгородского монумента «Тысячелетие России». Так я впервые прошел еще и мимо дома, в котором через полгода стану жить на законном основании, так как еще раз сменяюсь... на понижение.

Штейнберги, братья Штейнберги, жили высоко, под самой крышей старинного семиэтажного дома. Лифт, конечно, не работал. От старости. Время на дворе — дачное, предки Штейнбергов наверняка за городом. Один из братьев запросто мог находиться в экспедиции, другой — в командировке. Так что в отдельной их квартире могло никого не оказаться. А я, мягко выражаясь, устал. За месяц пути. Силенки мои подыссякли. Вера в светлое будущее — затуманилась. На лестничной площадке имелся обширный подоконник, и я уже оценивающе присматривался к нему, рассчитывая там растянуться, но дверь на звонок отворилась, на пороге стоял старший из братьев — Генрих, знаменитый в будущем вулканолог, истый супермен (с пеленок), в бытность свою пионером поднявший на спор тяжеленный «взрослый» лом тысячу раз — против ста разков соперника, человек, о котором известный писатель Андрей Битов напишет затем ироническую повесть «Путешествие к другу детства».

Родителей в городе не оказалось, но Генрих в квартире был не один. В гостиной на диване, вольготно, по-купечески широко развалясь, сидел молодой человек с необыкновенно самоуверенным, «московским» выражением красивого лица. Весь его пренебрежительно-насмешливый вид, нагло-открытый взгляд серо-голубых, ницшеански-раскрепощенных глаз говорил мне, что передо мной еще один супермен, что в квартире не иначе, как — сходка доморощенных суперменов, сверхчеловеков с клеймом «Сделано в СССР».

Покаюсь, что мысль о надменном суперменстве ребятишек с Пушкинской пришла ко мне чуть позже, а тогда, на пороге очередного зигзага в лабиринте бытия, мне было не до того, да и Генрих встретил меня радушно.

Человек, барственно восседавший на диване, оказался московским художником Михаилом Кулаковым, приехавшим поступать в Ленинградский театральный институт на оформительское отделение к Н. П. Акимову, тогдашнему театральному авангардисту, привечавшему художников левого толка, изгоняемых из консервативных заведений типа Академии художеств. Михнов-Войтенко, Кубасов, Шемякин, Кулаков, Олег Целков, чей «Автопортрет на унитазе» потряс воображение многих тогдашних поклонников раскрепощенного искусства. Список художников, изведавших покровительственное крыло Акимова, можно продолжать, но речь идет лишь о тех из них, кого я знал и запомнил.

О Кулакове хотелось бы рассказать подробнее, но подпирают другие проблемы и образы, а потому — вкратце. Отрывками. Выборочно. Под настроение. С ним я впоследствии весьма сдружился, и Миша оказал мне любезность, оформив два моих поэтических сборника — «Спасибо, Земля» и «Тишину». Каюсь, что суперобложкой от «Тишины», которую Кулаков рисовал довольно старательно и гораздо дольше, нежели какой-нибудь очередной холст, поливаемый нитрокрасками из распылителя, а то и просто из клизмы, так вот — суперобложкой пришлось пренебречь ради тиража, то есть — для денег. Директор Лениздата Попов поставил тогда суровые условия: или суперобложка и мизерный к ней тираж тысяч в пять экземпляров, или — без супера, но — пятьдесят тысяч оттисков! И лишние сто процентов гонорара вдобавок — за массовый тираж. И я выбрал последнее. Денег всегда не хватало, то есть — не было их постоянно. А тут — замаячили. И я променял на них творение художника, его воображение и, пусть абстрактную, мятущуюся мысль.

Генрих Штейнберг представил мне Кулакова, который вдруг резко поднялся с дивана и пошел на меня, и я вынужден был метнуться в сторону, чтобы пропустить художника, который как бы прошел сквозь мою сущность, и не прошел даже, а прошествовал с выра-

жением лица ожесточенно-серьезным и даже аскетическим, если бы не его, Кулакова, при этом розовато-холеная кожа на лице и весьма добродушные толстые губы-нюни, как бы слегка раздутые от обиды на весь мир. А ведь я его тогда и за художника-то не принял. Для меня тогда художник без бороды — не художник. А прошел он тогда с вышеописанным апломбом, скорей всего, в туалет по нужде. И вообще, театрален Миша был всегда до крайности, во всех своих проявлениях. Человек жеста. Подозреваю, что он и в Рим-то перебрался не без эффектного порыва, не без того, чтобы покрасоваться. Хотя бы — перед саоим зеркальным отражением, если не перед шедеврами эпохи Ренессанса.

К моменту моего появления «нибелунги» с Пушкинской собирались принять второй завтрак, что неизменно вот уже неделю совершали в близлежащем кафе ресторанного типа «Универсаль». Мне а ожидании их возвращения предложено было принять ванну. Что я и сделал безо всякой охоты, ощущая вялость в членах и волчий аппетит в желудке. На подоконнике ванной комнаты обнаружил я привявший, как бы заржавленный кочешок капусты. Лежа в чудесной мягчайшей ладожской воде, с упоением грыз воскрешающий душу овощ. Там, в огромном эмалированном корыте, я и уснул. Вода медленно уходила сквозь щели неплотно прилегающей затычки, и только благодаря этому обстоятельству я остался живым, не утонул. Вулканолог с художником обнаружили меня спящим на дне емкости, как на дне кратера, из которого по канализационной трубе ушла жидкая лава (обратно, в глубь планеты). Я молча спал, в руке была зажата капустная кочерыжка, на лице — блаженство человека, уцелевшего при кораблекрушении.

Люди, подобные Генриху Штейнбергу, Михаилу Кулакову, Наполеону Бонапарту, а из ныне прославленных — Евгению Евтушенко, отчасти Владимиру Высоцкому и в какой-то мере глазнику Станиславу Федорову,— не только порывисты духом, энергичны в излюбленных деяниях, талантливы, одержимы, честолюбивы до крайности, неповторимы и непреклонны, они еще и движут телегу прогресса, да, да, везут на себе новь, пробивают бреши, раздвигают завалы, проламывают стены, точат плотины обывательско-бюрократического уклада. Они — уникальны. Их мало. И слава богу. Иначе — мир треснул бы и развалился. От их суперэнергии. Они есть в любой среде, не только в кругу поэтов или художников, вулканологов и артистов. Это из их числа так называемые «прорабы перестройки». Наверняка они кого-то раздражают, а кто-то им поклоняется, не вундеркинды, а вундерлюди.

Один из них — Генрих Штейнберг. Он не только обшарил все вулканы Камчатки и Курильского ожерелья, не только ломал себе кости, а начальству — самолеты и мирное течение жизни чиновников от науки, он еще и заманивал в эти свои разлюбезные, обожаемые экстремальные условия товарищей и друзей, меня, грешного, Андрея Битова, даже сибарита Иосифа Бродского, который в последний момент скиксовал, и вместо него на Камчатку прилетел другой человек по фамилии Мейлах.

Вулканы Генрих любил, да и по сию пору любит, неподдельно. Стал бы он фотографировать извержения, от нутряного тепла которых пленка в кассете кукожится, фотографировать и дарить эти цветные фотографические извержения художникам-абстракционистам, подтверждая тем самым, что их устремления не напрасны, что красота цвета, энергия линий, пластика разлиты всюду, но более всего — в ночном полыхании огнедышащего вулкана.

До поры до аремени Генриху в самоутверждении везло: о нем писали в газетах, его снимали на пленку документального кино, вставляли героем в повести, он защитил кандидатскую, написал докторскую, мечтал слетать в космос, но именно здесь, на звездной дорожке, поджидало его не только разочарование, но и — сильнейшая подножка в карьере, подножка, от которой он еле оправился лет через десять, а когда приподнялся с вынужденных четверенек, годы были упущены, вера в справедливость надломлена, в орлином прищуре иронических глаз появилась неавтухающая искорка обиды — то ли на судьбу, то ли на людей, то ли на фортуну, которая выше Ключеаской сопки в небо не подняла.

Подножка будто бы случилась во времена испытаний некими специалистами тележки лунохода. Залитые извергнутой и застывшей лавой подножия вулканов якобы представляли собой идеальный полигон для подобных испытаний, почти копию лунной поверхности. На какой-то стадии испытаний у специалистов кончилось горючее для вспомогательной техники. В лунных условиях. Достать топливо в камчатской глубинке, в непроходимой тайге, прорезанной горными цепями и резвыми реками, а также дышащими аммиаком и серой болотцами вулканического происхождения,— и впрямь задача не из легких, все равно что доставать горючку непосредственно на Луне. И тут вспомнили, а вспомнив, поманили Штейнберга, человека горячего, даже ретивого, насквозь пропитанного таежно-скитальческой солидарностью экспедиционного братства романтически настроенных людей. Поманили, попросив Генриха постараться и раздобыть, обеспечить. Попросили как начальника одной из вулканологических экспедиций и как просто восторженного человека. И Генрих клюнул на приманку. А клюнув, достал, обеспечил. Что само по себе было чудом: выложить на краю света энное количество металлических бочек с топливом. Так сказать, маленький хозяйственный подвиг. Уж не знаю, что луноходные спецы пообещали

Генриху взамен, скорей всего, космосом искушали, суперпрофессией. Стоило уехать космической команде восвояси, как на Генриха тут же полетел донос в инстанции: расхищение народного добра, преступная самодеятельность, авантюризм. В итоге — подсудное дело завели на героя. И никто, повторяю, никто не защитил человека. Ни одни специалисты, ни другие, ни земные, ни небесные. Пришлось защищаться самому. Пришлось уйти из института, работать электриком в кочегарке ЖЭКа, смирять гордыню, гасить орлиный взор, а главное — не сгибаться до степени раба, ходить по земле в полный рост.

Да, Генрих Штейнберг остался действующим вулканом. Совсем недавно в дверь комнаты Дома творчества в Комарове, где я пыхтел над этими «Записками», постучали, вошел Генрих, которого я не видел много лет. Он был все такой же резкий, легкий, обезжиренный, на плечах несносимая куртка-кожанка, по-моему, та же, что и пятнадцать лет назад. В глазах — улыбка нашей молодости. Оказалось, что он по-прежнему дружит с аулканами, только летает теперь чаще над Курильской грядой. Скоро защитит докторскую. Куда-то его вноаь приглашают, он собирается к зарубежным аулканологам на симпозиум, кажется, на Гавайские острова, куда прежде не пускали... Словом, устоял человек. Хотя и поостыл. Чуть-чуть. Самую малость. Я не стал его расспрашиаать, доволен ли он жизнью, я знал, что многое из того, что он любил, исповедовал,— ему безжалостно отсекли, испохабили, разграбили. Однако не в правилах Генриха жалоааться. Да и что произошло, собственно? Ах да: две трети жизни миноаало. Только и всего.

А Миша Кулакоа прислал письмо. Туда же, в Комарово. Письмо из Италии. Откуда-то из-под Рима. На цветной фотографии он позирует возле какого-то грота, отнюдь не камчатского, не всамделишного, а, пожалуй, декоративного, увитого садовым плющом. Стоит Миша по пояс обнаженным. Показывает свое все еще красиаое тело. Слегка располневшее. Праада, самую малость. Чуть-чуть, в меру. Взгляд все такой же демонический. Мышцы напряжены. Дошли слухи, что в Риме он подрабатывает ведением курсов по обучению каратэ, что у него уже — профессиональный пояс определенной степени. И что картины он пишет по-прежнему в авангардной манере. И за это — спасибо: не переметнулся на Западе во что-либо конъюнктурное, вышеоплачиваемое, к примеру, в какую-нибудь матрешечную «а ля рюс». Знай ищет себя в новизне. А ведь было времечко — чуть ли не иконы писал. Кричал Всевышнему — «Ау!» Но, видать, не докричался. Однако за внешностью своей следит. Хорошая у Миши внешность. Отчетливая. А вот картины саои живописует туманно, расплывчато, но именно так, как считает нужным. А выглядит, наверное, потому хорошо, что за долгие годы живописания стерженек наработал, на котором вся духовная конструкция по сию пору держится. Без опорного стерженька выглядел бы иначе.

Когда-то в давнишней своей поэме «Зал ожидания», в одной из главок, пытался я изобразить некий собирательный абрис друга-художника. В бормотании тех строк я и поныне улавливаю для себя нечто кулаковское.

Ровно в полночь трагично
появляется друг.
Он одет неприлично, невесом его стук.
Спросит: «Можно?» — чуть слышно.
Кашлянет и войдет.
Его кепка, как крыша жестянан,— гудёт.
Он приносит картинку, и прекрасна она.
Он снимает ботинки и стоит у окна.
Я впиваюсь в творенье, что кричит на стене!
Я горю, как поленья на кудрявом огне.
Появляются молча два стакана... И вот:
«Знаешь, холодно очень... Знаешь, я — идиот».
А затем только песни, только — с ног кувырком.
И соседка как треснет по стене утюгом!
...Дураки мы, дурашки. Разве нам обмануть
то, что бьется в рубашке, не желая уснуть?
Глянь, летает картинка! Не желает полати...
Он залезет в ботинки и не сможет уйти.

Есть, есть а этих словесных размывах нечто кулаковское, хотя одно обстоятельство этому весьма противоречит: Миша Кулакоа никогда не одевался неприлично. Даже а самые бедственные периоды своего российского местопребывания. Ни он, ни поэт Виктор Соснора. Хорошее, здоровое тело помимо хорошего, добротного духа подразумевает еще и хороший, во всяком случае, приличный гардероб.

Незадолго до переезда с Васильевского острова на Пушкинскую, в самом начале шестидесятых, лютой зимой, по совету Миши Кулакова, квартировавшего временно на полу моей четырнадцатиметровой (спал он за шкафом на спинке от дивана), и не без моего молчаливого согласия — сожгли мы в печке полное собрание сочинений Гете, к несчастью, изданное на родном автору языке (готический шрифт!). Но — как издано! Один

том из двадцати пяти каким-то образом уцелел по сию пору. Время от времени я снимаю его с полки и принюхиваюсь: не потянет ли дымком юности?

Тогда же, в суровую зиму, извели мы почти всю мебель, неделями не выходя на улицу. Крошили ее, как сейчас помню, старинным литым утюгом. Вслед за Гете пошла на костер «История XIX века» Лависса и Рамбо. Близился переезд на «понижение» в девятиметровую комнату, и нам хотелось избавиться от лишних вещей, которым на Пушкинской улице как бы уже не место.

Примерно тогда же, перед самым переездом, в ожидании транспорта была написана песня «На диване». Во утешение тоски по уходящей молодости.

На диване, на диване
мы лежим, художники.
У меня, да и у Вани
протянулись ноженьки.

В животе снуют пельмени,
как шары бильярдные.
Дайте нам хоть рваных денег —
будем благодарные.

Мы бутылочку по попе
стукнули б ладошкою.
Мы бы дрыгнули в галопе
протянутой ножкою.

Зацепили бы в кино мы
по красивой дамочке.
Мы лежим, малютки-гномы,
на диване в ямочке.

Уменьшаемся в размерах
от недоедания.
Жрут соседи-гулливеры
жирные питания.

На диване, на диване
тишина раздалася...
У меня, да и у Вани
сердце оборвалося.

Имущество перевезли на микроавтобусе-рафике, его выделил поэт-геолог, семеновец — Леонид Агеев, работавший начальником партии. Солидарность обреченных (на муки стихослагательства)...

Комнатка на Пушкинской оказалась мизерной, с одним окном деревенских размеров, выходящим на третий двор. Лежак под окном да ломберный столик у стены (писчий станок), над ним — пара полок с книгами. С остатками книг. И старинное глубокое кресло.

Кресло-яма. Для обдумывания мировых проблем. Из кресла клочьями пробивалась то ли болотная сухая трава, то ли звериная шерсть.

Почему, спрашивается, столь подробно, с таким размахом — о девятиметровой на Пушкинской улице? А потому, что в этой комнатушке перебывало много людей, отверженных и отрешенных, гонимых собой и внешними силами поэтов и художников, чьи творческие усилия были самостоятельны. Сообщество уникальных людей напоминало убогую лавку древностей — настолько каждый экспонат отличался от другого неповторимостью и своеобразием. Общим для всех являлась разве что высокая, антикварная цена каждого в отдельности. А всех вместе сподручнее, конечно же, окрестить словом «богема». Это ежели с официальной точки зрения. С точки зрения истории российской изящной словесности и художеств уникумы сии имели право на почетное звание... живых душ, пытавшихся на закате деспотизма, а затем и в разгар догматизма сказать свое непродажное слово в поэзии, прозе, живописи, а также — во времени и пространстве.

Это вам не фешенебельная «стрит» —
Наша улица бандитами пестрят...

Таким вот распевным двустишием, помнится, начиналась поэма о Пушкинской улице, славившейся до революции своими привокзальными притонами, всевозможными хазами и красными фонариками борделей,— сказывалось соседство со знаменитой Лиговкой, «улицей дна», о мазуриках и вообще о веселых жителях которой ходили, да и по сию пору ходят легенды.

Пушкинская коммуналка, хоть и насчитывала шесть или семь самостоятельных семейств, безобразной не выглядела; всего жильцов или съемщиков существовало в ней не

более десятка, семьи были компактными, в два-три человека, а в некоторых комнатах ютилось по одному обитателю. Впечатление было такое, что все друг другу доводились родственниками. Обедали, а также играли в шашки и шахматы — на кухне. За общими столами. Там же — выпивали. Мужчины и женщины. С одинаковой неизбежностью. Самой заметной личностью в квартире смотрелся благообразный, еще румяный и сдобный старичок, передвигавшийся осторожно и молча в постоянном кухарочьем переднике, так как до последних своих дней стряпал на кухне шикарные обеды чуть ли не на весь коммунальный клан. Позже от этих обедов время от времени перепадало и мне. И даже моим гостям. Савельич был неподражаем. О нем ходили легенды. В прошлом — высочайшего класса и ранга шеф-повар, руководивший готовкой в лучших ресторанах Петрограда — Ленинграда, овеянный пожухшей славой чуть ли не бывшего царского кухмейстера. К восьмидесяти годам сохранил он свою плоть мужественной, взлелеянной отборными харчами и приправами, но утратил дух. А может, его, духа-то, в нем и не было никогда. В достаточном количестве. Старичок имел в квартире жену, тощую даму лет сорока. И я отчетливо различал их семейную идиллию, так как перегородка меж мной и кухмейстером была возведена при советской власти.

Там же, в пушкинской коммуналке, проживали бывший спортсмен, чемпион Европы времен нэпа (вид спорта не упоминался за давностью состязаний), бывший моряк, не снимавший тельняшку даже в бане, а также — бывший милиционер из псковских крестьянских детей, к тому времени спившийся и уволенный из органов. Однажды, глядя в уставшие глаза экс-милиционера за игрой в шахматишки, сочинил я нехитрую песенку о пропащем постовом, которую спустя тридцать лет услыхал, сидя в такси, звучащую с магнитофонной ленты шофера.

У помещенья «Пиво-Воды»
стоял непьяный постовой,
Он вышел родом из народа,
как говорится, парень свой.

Ему хотелось очень выпить,
ему хотелось закусить.
Хотелось встретить лейтенанта
и глаз падлюге погасить.

Однажды ночью он сменился,
принес бутылку коньяку
и возносился, возносялся —
до потемнения в мозгу...

Деревня древняя Ольховка
ему приснилась в эту ночь,
сметана, яйца и морковка,
и председателева дочь.

Затем он выпил на дежурстве,
он лейтенанта оттолкнул!
И снилось пиво, снились воды,
как в этих водах он тонул...

У помещенья «Пиво-Воды»
лежал довольный человек.
Он вышел родом из народа,
но вышел и... упал на снег.

К проживанию в очередной коммуналке был я хорошо подготовлен житейским опытом. Помимо многолюдных бараков, серых и сырых землянок, зловонных камер, пятидесятиместных воинских палаток, десятиместных больничных палат и экспедиционных будок-балко́в — классическая коммуналка на Малой Подьяческой, затем такая же на Двенадцатой линии, далее — на Девятой, последовательно две квартиры, и вот еще одна, похоже, последняя — на Пушкинской (не считая конечной коммуналки на одном из кладбищ России).

О том, что коммуналку познал я в достаточной степени и мере, что она отложила на моем «внутреннем мире» свой несмываемый отпечаток, а правильнее сказать — свое тавро, или клеймо, говорит тот факт, что этому социальному явлению посвятил я немало стихов и даже поэм, одна из которых — «Квартира № 6» — была в конце пятидесятых годов весьма популярна среди литературной молодежи и даже ходила в списках. Печатать подобные стихи было трудно, и они, за малым исключением, пролежали до нынешней благословенной поры — мертвым грузом.

Существовала договоренность: постоянные посетители девятиметровой, чтобы не будоражить воображение жильцов, в дверной звонок не звонили, а бросали в мое окно спичечный коробок, или медную монету, или еще что-нибудь по мелочи, благо окно распо-

лагалось на доступной, бельэтажной высоте. Причем преимуществом посещения обладали те из пришельцев, кто, посигналив коробком, предъявлял в смотровую щель окна дополнительный пропуск, а именно: торчащую из кармана металлическую белую головку бутылочной пробки. В квартире помимо меня проживало множество пьющих мужчин и женщин, способных угадывать по глазам и другим признакам — с чем пришел посетитель, и тогда, а самый неподходящий, ответственный момент разлития драгоценных капель, в дверную щель могла протиснуться посторонняя, дрожащая от алкогольной усталости рука с граненым стаканом уличного происхождения. И нужно было скрепя сердце, с кровью отцеживать в этот стакан пару капель, потому как соседи — живые люди, и на их улице бывает праздник, и тогда они тоже не скупятся на жертвоприношения. «Торчит сосед, торчит бутылка водки...» — это из рубцовского стихотворения «В гостях», которое он написал, побывав у меня в «салоне».

Там, на Пушкинской, как в зале ожидания, нередко останавливались приезжие люди из Москвы, Дальнего Востока, Молдавии, нечерноземного Севера и прочих мест необъятной родины. Иногда, по престольным праздникам, а также в дни чьих-либо рождений, в мою девятиметровую набивалось до сорока стоячих гостей. Но чаще всего возникал посетитель-одиночка, посетитель-уникум со своими стихами, картинками, молитвами и проектами. Возникая, долго не задерживался, уступая место другим надеждам, другим прожектам, иллюзиям.

Мог объявиться веселый человек по имени Темп, по фамилии Смирнов. Темпуля, как все мы его звали. Желтозубый куряка-красавец с Невского проспекта, стиляга и завсегдатай ресторанов, застенчивый сочинитель юмористических рассказов, о которых ходили слухи, но которых никто из нас не читал, сезонный работник изыскательских экспедиций, с греко-римским профилем, несколько припухшим после «вчерашнего», там, у себя на Невском, не скупящийся на залихватские жесты и слова и женственно сникающий при слушании посторонних его разуму стихов, погибший на Кольском полуострове при аварии экспедиционного вертолета, когда будто бы пытались подняться в воздух, чтобы сдать десяток ящиков бутылочной стеклотары в ближайшем приемном пункте, а вертолет, едва оторвавшись от земли, рухнул и загорелся (или грозил загореться). Все успели выскочить, кроме замешкавшейся собаки, любимой всеми лаечки, и Темпуля вернулся в дымящуюся машину, и когда открыл дверь и вошел — грохнул взрывом топливный бак. Орденов за такие подвиги не дают.

Мог наведаться величественно-простодушный, гнусаво-басовитый поэт Евгений Рейн, трезвый и, в отличие от Темпули, насквозь пропитанный текстами изысканной, труднодоступной (жильцам коммуналок) поэзии Запада и российского декаданса, сам слывший к тому времени одаренным стихотворцем, обладавший бурлящим произношением слов, этаким медвежьи-косолапым косноязычием; устоявший в пустыне тридцатилетнего непечатания, поддерживаемый проницательным Евгением Евтушенко и, наконец, издавший книгу своих заиндевелых стихов, как будто внезапно вспомнивший по прошествии этих неумолимых глухих десятилетий некий пароль, по которому пущают в область литературного признания и процветания.

Швырял свою вопрошающую песчинку в мое окно (за неимением спичек, а значит, и монетки) вечный скиталец городских чердаков и подвалов, исторический драматург Гера Григорьев, ни одна из пьес которого так и не увидела театральных подмостков, не говоря о журнально-книжных страницах. Гера, окрещенный этим престижным именем кем-то из сомучеников на Невском проспекте, а на самом-то деле — не Гера, а всего лишь Георгий, умудрившийся тридцать лет (из пятидесяти) прожить в Ленинграде без прописки, так как не просто любил или обожал этот город, но и буквально не мог без него жить, трижды за эту свою сентиментально-лирическую провинность судимый, прошедший лагеря и тюрьмы, но вот чудо — ни разу не укравший, не обманувший — сохранивший себя неразбавленным, цельным, не опошлившимся на нарах, где, за неимением воздушного (читай: духовного) пространства, сочинял не объемные драмы и трагедии, но всего лишь складывал в голове стихи, которые, если их издать, имели бы куда более отчетливый успех, нежели успех доброй половины писательской организации великого города. Гера, имевший внешность стопроцентного цыгана, черно-курчавую шевелюру, карие, искрящиеся подспудным, труднообъяснимым весельем глаза, упрятанные в кипящий прищур жизнерадостных морщинок, бесшабашный нос и широчайший, некогда белозубый рот губошлепа-добряка. И прозрачная, а значит, безвредная плутоватость во всем облике, нажитая в гонениях и увертываниях, но абсолютно чуждая его натуре. На днях он опять освободился, отбыв очередной срок, как бы съездив в неизбежную командировку. Позвонил, похвастал свежим паспортом. Договорились встретиться. Я долго размышлял перед нашей встречей, что бы мне такое сказать ему — утешительное и одновременно разумное, действенное (письма в милицию, хождение к следователю, прошение в Прокуратуру РСФСР и в прочие инстанции не помогли), а когда встретил его на комаровской платформе — ничего не сказал, только беспомощно ткнулся в его лохматую, излучающую немеркнущее мужество физиономию и замер на миг, словно машина, избежавшая на дождливом осеннем шоссе столкновения с беззащитным зверем.

Мог оповестить о себе монеткой, и не обязательно медной, некто, одетый во все заграничное, экстравагантное, в руке подразумевающийся стек или предполагаемая трость — всегда тощий, всегда изящный, всегда юноша — Виктор Соснора. Не теряя королевской осанки и врожденной гусарской выправки, он пройдет через кухню среди играющих в шашки или разливающих ароматную фирменную селянку, замастыренную Савельичем, пройдет, словно сторонний наблюдатель, словно бессмертный Вергилий в дантовом аду, просквозит, бросив его обитателям что-нибудь отвлеченно-безобидное вроде: «Будто будет будка Будде — Будде будет храм на храме, а тебя забудут люди со стихами и вихрами». И никто не оскорбится его выправкой и его фразой, потому что сигналы сии органичны их испускателю, присущи орлиному носу поэта — как бы пришельца из других, более симпатичных, античных времен, совершенно случайно заглянувшего на коммунальный огонек, а на самом-то деле — работавшего на одном из ленинградских заводов слесарем и одновременно изобретателем восхитительных рифм и ритмов, напоминающих разговор инопланетян, оставшихся на Земле по доброй воле, то есть — возлюбивших земные красоты и обычаи.

Приходил не такой, как все, пожилой уже человек, опиравшийся на вполне реальную палку, и не бросал в окно коробок, а вытягивался в струнку и стучал своей бородавчатой клюшкой по железному подоконнику, а когда у него зажила нога и отсутствовала в руках палка, приводил с собой спутника помоложе, чтобы тот швырял за него коробок или взметывал ввысь оторванную пуговицу, ибо у самого Георгия Викторовича Мельникова физических сил постоянно недоставало. Внешность его была впечатляюща, даже потрясающа: лицо ходячей мумии, причем на голове ни волоска, кожа туго обтягивает дыньку головы, на коже — струпья, последствия облучения радиоактивной пушкой, потому что у Жоры застарелый рак кожи. Щеки из-за худобы лица, похоже, касаются друг друга изнутри, зубы не препятствуют касанию щек, потому что зубов нет. Худоба объясняется язвой желудка, удаленного на две трети. За глаза многие из нас, даже искренне любящие Мельникова, зовут его «Черепом». При первом взгляде на Черепа в вашем сердце неминуемо возникает тревога: человек этот обречен, дни его сочтены, но проходят годы, десятилетия (с Мельниковым я знаком уже более тридцати лет), а феномен ходячей мумии, слава богу, не разрушается, наоборот, с годами как бы крепнет. Это — снаружи. Внутренняя сущность Черепа не менее стойка, несгибаема: в годы сталинизма, застоя, а по инерции — и в нынешние дни он — молчаливый протестант домашнего диапазона, коммунальный диссидент, поклонник поэтического экстремизма и декаданса, а также лагерной лирики, собиратель редких книг и рукописей, отдающий предпочтение литературе так называемых «сидельцев», то есть людей, некогда репрессированных и реабилитированных, ставящий «Один день Ивана Денисовича» выше «Поднятой целины», лично знававший писателя Юрия Домбровского, друживший с ним как сиделец с сидельцем, а правоверному Льву Кассилю доводившийся дальним родственником и в какой-то мере стыдившийся этого родства из-за благополучной, весьма далекой от лагерных условий биографии совклассика.

Такой, как сказали бы в прежние времена, нездоровый интерес Черепа к творчеству бывших сидельцев объясняется довольно просто: Мельников Г. В. сам из репрессированных. В тридцать седьмом году на одном из литературных вечеров, официально посвященных столетнему юбилею со дня убийства Пушкина, Георгий Викторович выступил с чтением стихов своего любимого Гумилева. По окончании вечера в вестибюле клуба или Дворца культуры к нему подошли двое в штатском и попросили не дергаться, спокойно выйти наружу: там, дескать, его ожидает машина. То есть — была оказана честь прокатиться в черном лимузине до подъезда Большого дома. В итоге — восемь лет лагерей. За несколько романтических стихотворений расстрелянного метра петроградских акмеистов. Дорогая цена у стихов Николая Степановича. Но Мельников, заплатив ее, не почернел душой. Он даже гордился под настроение своей щедростью, граничившей с мотовством. Думается, что и все его физиологические знаки и отметины, такие, как отсутствие желудка, волос, вообще мяса на костях,— не что иное, как производное той высокой цены, плоды-ягодки тех «Романтических цветов» (название одного из сборников Гумилева), чей аромат не просто кружил Георгию Викторовичу восторженную дыньку, но и являлся для него ароматом судьбы. Ходит легенда, что Череп сам когда-то писал стихи, что к моменту рокового выступления в клубе у него вот-вот должен был выйти собственный сборничек, который и задробили моментально в связи с арестом автора, что имелся будто бы сигнальный экземпляр... Никто не знает, какими они были, стихи Черепа, но одно известно доподлинно: за чтение оных никто, кроме их автора, не пострадал. То есть, что цена у этих его стихов несколько иная, нежели у обожаемого метра.

На пару с юным художником и будущим поэтом Олежкой Григорьевым, как Гомер с поводырем, мог пожаловать художник и будущий прозаик Виктор Голявкин, автор знаменитого лозунга «Привет вам, птицы!», писавший в то время на языке нарочитого примитива короткие рассказики, не чуждые невинного эпатажа и дурашливого парадокса, которые именовал птичьим словом «скирли», и в то время окончательно еще не решивший, быть ему живописцем (заканчивал Академию художеств) или переквалифициро-

ваться в писатели, причем не в замечательные детские, что с ним в итоге и произошло, а минимум — в писатели бальзаковского масштаба, так как всем и каждому на полном серьезе заявлял тогда, что пишет свою «Человеческую комедию» двадцатого века, что написано-де уже больше половины и что получается намного интереснее, нежели у француза-классика. До того, как была задумана «Человеческая комедия», Виктор Голявкин не менее серьезно занимался боксом, был чемпионом города Баку, имел мощную шею, массивный корпус и «отбивное», без признаков художественной утонченности лицо, что не мешало ему ненавязчиво, хотя и постоянно, в разумной мере, интеллигентно — острить; тем самым создавалось впечатление, что разум этого человека помещен Создателем в некий иронический рассол и, плавая в нем, насквозь пропитался изящным сарказмом. Люди, подобные Голявкину и Олегу Григорьеву, долгое время как бы не жили, а — шутили. Год шутили, два, десять... И вдруг — не смешно. И тогда Голявкин написал чудесную повесть, умную и теплую, серьезную и ласковую — «Мой добрый папа». А неизрасходованные запасы юмора плюс боксерская закалка помогали и помогают ему выстоять в приливные часы отчаяния. Однажды, когда от прежнего веселья, похоже, ничего уже не осталось, Голявкин, сам того не предполагая, весьма позабавил поклонников своего таланта, да и не только их. В журнале «Аврора», в самый разгар дремотно-воровской эпохи, в дни, когда отмечалось семидесятипятилетие Брежнева, напечатали рассказ В. Голявкина «Юбилейная речь» — из прежних голявкинских, весьма насмешливых запасов. Внешне, то есть в отрыве от государственного юбилея, рассказ совершенно невинный. Типичная придурковатая невнятица «примитивного» Голявкина, где речь идет о каком-то псевдописателе, продукте эпохи. Рассказ как рассказ. И вдруг — снимают с должности главного редактора журнала Глеба Горышина, вдруг — шум, шорох, шепот и гомерический смех в окололитературной среде, а в высоких сферах — форменный переполох. И смотрите, дескать, как все хитроумно сработано: семьдесят пять лет Главному юбиляру, чей портрет в панцире из орденского металла на вклейке, а рассказ — на семьдесят пятой странице, и называется рассказ «Юбилейная речь», тогда как всем известно, что главный юбиляр недавно выпустил очередную книгу, получив за нее Ленинскую премию, и готовился к вступлению в Союз писателей... Заглянем в рассказ — что в нем? А в нем, ясное дело,— юмор. Хоть и не злая, но — ирония и застарелый лирический сарказм. На птичьем языке скирли. То есть все то, что делало голявкинскую прозу неповторимо-забавной.

Одинокий Олежка Григорьев сигнальный коробок в мое окно бросал гораздо чаще семейного Голявкина. Григорьев тоже начинал как художник, прилично рисовал, лепил и раскрашивал маски, учился в средней художественной школе (СХШ) при Академии художеств. Вместе с даровитым Эдуардом Зелениным был отчислен из этого заведения за треклятую левизну и насмешливость. Иронический дар у Олега Григорьева был поэтичнее и даже как бы отчетливее голявкинского, но и — дурашливее последнего. Его книжка стихов и коротких прозаических, в пять-шесть строчек, историй «Чудаки» была подлинным событием в литературном Ленинграде, а затем и в Москве. Спрашивается, почему тогда — «загубленный талант»? А именно так судят об Олеге многие из тех, кто знал его в конце пятидесятых. Роковое стечение обстоятельств? Определенная жидконогость натуры? Не без этого. Оглядываясь и оценивая, необходимо нам сыскать виновного. Чтобы успокоиться. Чтобы при случае отпарировать: ну, знаете ли, мы-то тут при чем? А мы-то, оказывается, еще как при чем! Среди нас, уцелевших, звездочка-то погасла, в нашем молчаливом окружении. Наблюдали, как гасла, и ничего не смогли предпринять существенного. Вздыхали, ахали, суетились даже — «по поводу». Однако — не помогли, не спасли. И я в том числе. И на моей совести сия печаль. К тому же успокаивал обманно-веселый, искристый дурашливый свет, который до поры до времени излучала эта звездочка: чтобы такой завзятый юморист отчаялся — да ни в жисть! Попивал Олежка водочку? Так и мы попивали. Только мы вот — бросили, завязали с Божьей помощью, а патентованному весельчаку в той помощи было отказано. А затем и вовсе невероятное событие стряслось: в один из треклятых дней постучался Олежка в стандартную, типовую дверь в новостройках, рассчитывая попасть к приятелю, и... промахнулся, не к приятелю попал, а к врагу, к злым незнакомым людям, у которых имелись свои неприятности, свои проблемы. Эти люди, предварительно избив пришельца, а также исцарапав себе физиономии ногтями, вызвали милицию, составили акт на хулиганские действия незваного гостя, и поехал Олежка в места не столь отдаленные. И оказалось, что далеко не все в нашем светлом обществе в ладах с юмором, не все склонны иронизировать и умиляться чудачествам взрослого ребенка. Детям его улыбчивые стихи были понятны и приносили радость. Взрослые распорядились иначе. Еще в конце шестидесятых, придя как-то в трущобную коммуналку, где в узкой комнатушке-кишечке, увешанной ироническими масками и рисунками, ютился Олег Григорьев, моя молодая спутница Светлана разглядела на дне продавленного дивана спящего тяжким, отравленным сном Олежку, неожиданно и совершенно безутешно заплакала, словно предчувствуя печальную участь веселого человека, так и не сумевшего сориентироваться в этом не всегда улыбчивом, грешном и обреченном мире.

Следом за Олежкой или одновременно с ним на Пушкинскую могли заявиться самые

неожиданные, подозрительные и даже подозреваемые люди, чаще всего из Москвы, самостоятельно пишущие стихи или, на худой конец, поэтически мыслящие.

Однажды приехал Художник. Настоящий. Чьи картинки, а также рисунки, если на них глянуть впервые, действовали на всех как наркотик, как чары, и не выборочно, а буквально на всех так действовали, располагая той самой магией, помеченные печатью Творца, чего сплошь и рядом не хватает превосходным мастерам своего дела для того, чтобы стать великими художниками. Я знал, что Художник этот, как говорится, влачил жалкое в материальном смысле существование. И вдруг он влетает в длиннополом, до пят, кожаном пальто, в руках три бутылки шампанского, на дворе под окном не просто машина — огромный, с откидным верхом кабриолет — то ли «Зим», то ли «Зис» (имелись тогда в ленинградских таксопарках подобные кареты для увеселительных прогулок, свадеб и просто коллективных пьянок). Ну, думаю, наконец-то заметили Художника, раскупили его творения, и вот теперь, как в старые добрые времена, началась для их создателя полоса прижизненных восторгов и душевных отдохновений. Не тут-то было. Обладателя кожаного реглана, можно сказать, уже разыскивали. Оказывается, Художника в той местности, где он жил, каким-то образом оженили, видимо, в момент, когда он растирал краски или, по выезде на так называемую натуру, писал этюды. Во всяком случае, очнувшись от свадебных восторгов, тянуть семейную лямку ему расхотелось, верх брала потребность изображать на холсте происходящее вокруг и вызревающее в сердце, то есть изображать мир сквозь призму своего мировоззрения и умения, чтобы люди-зрители не столько угадывали и узнавали себя в изображенном, сколько, наоборот,— забывали бы себя и свои треволнения, питая мозг и воображение красотой и мечтой. Как-то, проснувшись среди ночи на тещином тюфяке, Художник ощутил... отсутствие правой руки; не успев испугаться, подумал, что рука затекла, сомлела, что он ее отлежал, и вдруг догадался, что рука попала в прореху, в некий изъян, имевшийся в тюфяке. Выдернув руку из скважины, Художник обратил внимание, что в скрюченных пальцах у него зажата какая-то бумажка. При тусклом свете нарождающейся зари удалось определить, что бумажка не простая, а — денежный знак. Причем — сторублевого достоинства. Рука самопроизвольно занырнула в дыру еще раз и, нашарив с десяток подобных знаков, возвратилась на поверхность. Выйдя из дому за хлебом, Художник устремился на Ленинградский вокзал, и вот он здесь, под окном, на Пушкинской. В руках у него шампанское, а карете еще один художник — Миша Кулаков, зовут меня: поехали! Садясь в лимузин, я не придал значения фразе, брошенной удачливым Художником в виде неуклюжей остроты: «Граждане, храните деньги в сберкассе!» А через какое-то время понял, что был неправ: спать на денежных знаках, хотя бы и на тещиных,— весьма небезопасно (спанье на гвоздях куда безопаснее), тут соблазн куда обширнее, а я ситуации хронического безденежья и — пронзительнее.

О самом Художнике (вне меркантильной ситуации), о его чудесных картинах, о его тайне (таланте) расскажу я в следующей книге, в главе, посвященной Москве. А покуда — о Пушкинской улице, о том, как еще один невообразимый человечек заявился ко мне в девятиметровую.

В тот день сели пить «Волжское». За ломберный столик. Решили отмежеваться от кухонной коммуны. Сэкономить на затворничестве. Не получилось: сосед Крашенинникова, бывший спортсмен, не входя в комнату, протянул в дверную щель стакан. Пришлось плеснуть. И тут заезжий, из Москвы, Олежки Григорьева приятель по фамилии Горохов расстегивает огромный бухгалтерский портфель и достает из него какую-то невзрачную, потускневшего фаянса кружечку. Правда — необычную. С этакой откидывающейся, серого металла нахлобучечкой. Поднимает он сию покрышечку церемонным жестом и наливает в сине-белый подержанный сосуд порцию «Волжского». А на кружечке, между прочим, рельефная дата обозначена, чудом сохранилась: 1489 год! Пятнадцатый век, стало быть. Ну, думаю, имитация очередная, подделка искусная. Выясняется: ничего подобного! Подлинная дата, всамделишная, пятнадцатого века утварь. Причем кружечку, оказывается, уже вовсю разыскивают. Люди из Эрмитажа. А также — люди из специальных органов. Выясняется, что кружечка на Пушкинскую пришла прямиком из-под заградительного, охранного стекла. И предлагает мне поднять сей заздравный кубок ее новый, весьма временный владелец по фамилии Горохов. После повторного тоста Горохов решил продать мне реликвию за пятьдесят рублей. В вечное пользование. Выручило тогдашнее мое перманентное безденежье. Иначе — сидеть бы мне самому где-нибудь под стеклом, а точней — за решеткой. Обладатель кружечки тем временем постепенно сбавляет цену. И тут меня осенило: позвольте, позвольте, кружечке почти пятьсот лет! Спрашивается, сколько же лет могут за нее отвалить, случись делу дойти до суда? Приблизительную цифру произнес я, по-видимому, вслух. Временный владелец кружки, допив бормотушку и уловив тревогу в моих глазах и голосе, обернул чашу какой-то портянкой и сунул обратно в портфель. «Отнеси на прежнее место,— посоветовал я ему.— В пятнадцатый век. Подойди сегодня ночью к Эрмитажу и поставь кружку на крыльцо или на подоконник. А сам уезжай в экспедицию. На остров Врангеля». Не знаю, так ли он поступил, во всяком случае, кружка спустя какое-то время вернулась под стекло. Да и куда ей было деться,

уникальной, никому конкретно не принадлежащей, несущей на себе илеймо неумолимого времени, как бы сгустившегося на дне ее незримым осадком?

Или такое незабываемое явление, начало которого не было ознаменоаано ударом в окно спичечного коробка или монеты. На этот раз решительно позвонили в общественный звонок. На кухне жильцы ненадолго прекратили играть в шашки, варить украинский борщ и вообще насторожились. Входят сотрудники милиции. За их широкими спинами — хрупкая девушка, как выяснилось чуть позже, получающая в консерватории музыкальное образование и проживающая в общежитии этого учебного заведения. Сотрудник милиции сразу же интересуется: «Гражданин Горбовский Глеб Яковлевич здесь проживает?» А я тут же на кухне нахожусь, в толпе соседей. Вдыхаю вкусные запахи, идущие от варева Савельича. «Ну,— думаю,— что-то неординарное стряслось, некаждодневное. Наверняка аукнулось что-либо — из прежних времен. Какая-нибудь ниточка дотянулась, которая, как ни вьется...» Делать нечего, признаюсь, дескать, вот он я — Горбовский. Чего угодно? Не пройти ли нам в комнату, потому как люди варят борщ и вообще? И тогда в сгустившейся атмосфере раздается музыкальный голосок хрупкой девушки. Будто ангел в создавшуюся ситуацию вмешался, впорхнул и меня одним своим присутствием защитил, беду отвел.

— Ой, чепуха какая-то! Никакой это не Глеб Горбовский. Во всяком случае — не тот.

— Как вас понимать? — обратились к ней милиционер и я, почти одновременно.

— Да нет же, не Глеб это Горбовский...— краснеет девушка, наливаясь обидой и растерянностью.

— Вам что, документы предъявить? — спрашиваю.— Да вот и соседи подтвердят,— киваю в сторону шашистов, прервавших игру.

В результате выясняется, что некто, назвавшийся моим именем, вошел в доверие к девочкам и занял у них энную сумму. Составленную из нескольких нежирных консерваторских стипендий. Занять занял, а возвратить рублики не догадался. Деньги псевдо-Горбовскому были выданы в связи с его «трагически безвыходным положением». Пожалели на свою голову. А все — музыка, экзальтированное восприятие действительности, близорукий мир искусства, представителями которого собирались стать девушки. Добрые девушки.

Получив разъяснения, я тут же догадался, с чьими проказами имею дело. Кто — мой дублер. Меня с этим человеком неоднократно знакомили на выступлениях, где я по молодости читал стихи. Он, то есть дублер, громче всех аплодировал и вообще искренне был расположен к моей рифмованной продукции. Но вот беда, Толя, к сожалению, не имел достаточных средств к существованию, тем паче к ведению богемного образа жизни, когда не распить хотя бы одну бутылочку «Волжского» за день считалось неприличным, противоестественным. Самое удивительное, что Анатолий даже отдаленно не напоминал меня. Приземистый, ниже меня на голову, широкоплечий, лицом красный, как бывает у альбиносов и рыжих, словно только что вышел из бани; зубы у Толи давно испортились и частично утрачены, вместо них он прилаживал какие-то парафиновые заменители-протезы разового употребления, которыми пользовался в момент знакомства с очередной девушкой, способной слушать стихи. Заменители сии напропалую тогда выскакивали у него изо рта прямо на пиджачные отвороты.

Положа руку на сердце, я не только не чувствую обиды на Анатолия за его опрометчивые поступки, но даже считаю себя перед ним в какой-то мере виноватым; ощущение такое, будто оба мы выбирались в свое время из ямы или болота; вместе из одного, и я выкарабкался и потопал, не оглядываясь, не подав напарнику руки.

До того, как оконфузиться перед девочками из консерваторского общежития, Толя действовал на улицах и скверах Ленинграда, делая ставки по маленькой. Знакомясь с очередной любительницей поэзии, как правило, просил он трешку, не более. Предварительно отрабатывая вознаграждение пятнадцатиминутным чтением стихов раннего Горбовского. По нынешним меркам — ничего особенного: организовал, так сказать, поэтический «кооператив», причем — передвижной. Только и всего. Попадались на Толину удочку девушки, ничего, естественно, не знавшие обо мне. Но порой происходили незапланированные казусы: так однажды, где-то возле Русского музея, Толя представился моей жене Светлане и, не обращая внимания на ее ироническую улыбку, читал ей стихи, которые она знала не хуже его. «Закадрил» он таким образом и младшую сестру Светланы, приехавшую из Витебска погостить, и кое-кого еще из моих знакомых. А лет десять или пятнадцать спустя, когда Толин «кооператив» наверняка перестал быть рентабельным и, вероятнее всего, самораспустился, проходили в Доме работников искусств на Невском проспекте какой-то очередной вечер, организованный, кажется, «Лениздатом», то есть — Хренковым Д. Т., где принимали участие постоянные авторы издательства, в том числе и пародист Ал. Иванов. После выступлений все перешли за столики тамошнего кафе. Я очутился за одним столом с Ивановым, его будущей женой, балериной Ольгой Заботкиной, и с кем-то еще четвертым, не помню, с кем. Улучив момент, Заботкина решила мне кое-что напомнить. И рассказала историю с занятием у нее мной трешки. На улице Маяковского. В скверике перед больницей. Трешка — в обмен на стихи. «Неужели не помните?» — изумилась артистка. Я было начал оправдываться, что никакого отношения к вымогательству не имею, что... и т. д. и т. п. И вдруг понял, что ничего доказать не сумею, что прошло много лет и я, потеряв осанку и частично зубы, наверняка сделался похожим на Толю. Поразмыслив недолго, протянул я обманутой женщине три рубля, от которых она с презрением отказалась.

Недавно прошел слух, что Анатолий выиграл в спортлото много денег, чуть ли не десять тысяч. С тех пор о нем — ни слуху ни духу. Зачастую мы даже не подозреваем, что единственный способ избавиться от кого-либо — это обеспечить его тем, в чем он долгие годы нуждался: нищего — деньгами, заключенного — свободой, нелюбимого — любовью, причем — в неограниченных количествах.

Безо всякой натуги мог бы я теперь составить отдельную книгу из одних только кратких описаний многочисленных визитов, нанесенных мне замечательными людьми в момент (длиною в пять лет), когда проживал я на Пушкинской улице в девятиметровом «зале ожидания». Если кто-то из читателей решит, что бросание спичечного коробка в окно — всего лишь литературный прием, скажу: ничего подобного. Значит, неубедительно рассказываю, только и всего. Десятки, многие десятки людей-друзей забредали тогда ко мне на огонек. Не то, что теперь, когда поколение мое, так сказать, остепенилось.

Некоторые дарили себя единожды. Какая-то группа гостей — постоянно. Не все бросали именно коробок или монетку. Взлетали к небу и другие предметы, оказавшиеся под рукой, например, шапки, пробки, огрызки яблок. Иные из прихожан предпочитали подавать голос, крича в колодце двора: «Гле-еб!» И мощное эхо уносило этот прозаический блеющий звук в блистающие или моросящие дождем выси небесные. Не правда ли, красиво? И — щедро. Такое не забывается.

На пару с Черепом мог прийти Саша Морев, о котором я уже упоминал и вспоминать не устану, так как был он не просто друг (друзей у Саши хватало!), но еще и потому, что был он сердцу моему по-настоящему мил, желанен. В нем таилась задиристая прелесть, он редко хвалил, но когда хвалил, значит, было за что, при этом бородка его воинственно, трагикомично выпячивалась, толстые на сухом лице губы презрительно или надменно складывались в брезгливую гримасу, на коротком носу обозначалось седло, весь облик напружинивался, словно перед прыжком, и вдруг — улыбка! Точно судорога отпускала. А похвалу не произносил, а как бы выцеживал сквозь зубы. Необычайно мужественно получалось. И одновременно — по-детски наивно. Даже комично. Оглядываясь ему вослед, словно заглядывая в ствол многометровой шахты, на дне которой было обнаружено его хрупкое тельце, помимо всего прочего могу теперь сказать: Саша умел держаться. Живя. Потому-то столь неправдоподобно прозвучала весть о его гибели. О его посмертной записке. Будто жил один человек, а умер — другой.

Приносил и оставлял на стене комнаты очередную свою картинку Эдуард Зеленин, Эдик, щедрый и весьма яркий художник, сибиряк родом, невысокого роста крепыш, плечистый, ладный, весь подобранный, на шее изящный шнурок или «бабочка», на голове котелок или складной цилиндр, раздобытый у театралов, модернист-авангардист с открытым лицом провинциала, рисовавший лицо Тани Кернер, художницы, покончившей с собой (бросилась в колодец двора с седьмого этажа общежития); было в этих холодноватых зеленинских портретах что-то якобы от вездесущего Модильяни, хотя вряд ли от него, скорее — от воздуха времени. Одна такая Таня, зеленая, леденистая, с трубкой во рту и цилиндром на голове, смотрит на меня со стены по сию пору, хотя сам Эдик давно уже в Париже, рисует иных Тань (а может, все еще ту, незабвенную?). Зачем он уехал в Париж — не знаю. За славой? Или — в поисках себя? Во всяком случае — не за изящными шнурками и головными уборами, каких в Париже великое множество. Должно быть, сказалось любопытство провинциала, а также — перспектива подучиться у великих мастеров, да, кстати, и подлечиться: от постоянной сухомятки обозначилась язва желудка. Ну, да и краски там, «у них», качественнее, и... да мало ли что. Париж он и есть Париж. Для художников — Мекка. А все-таки жаль, что не увижу больше Эдика, того самого, свежелицего, загородного. Хотя опять же — не обязательно уезжать в Париж, чтобы стать другим. Годы-разлучники наверняка постарались над каждым из нас. И случись теперь встретиться нам, хотя бы и в Париже, а то и в Новокузнецке, откуда Эдик приехал в Ленинград, ведь можем и не узнать друг друга — чем жизнь не шутит?

На днях, когда вышесказанное об Эдике было уже написано, Зеленин объявился в Ленинграде. Звонил ко мне, разыскивал. Однако — не застал. Что-то не позволило нам свидеться вновь. Что-то уберегло от неизбежного разочарования друг в друге. Сохранив прелесть былых встреч и неприкосновенности.

А то еще приходила на Пушкинскую неразлучная троица — Володя Уфлянд, Миша Еремин и Леня Виноградов, тоже приверженцы «левостороннего движения» в искусстве. Может, и по отдельности приходили, но мне почему-то сподручнее видеть их объединенными в некую упряжку. В душу запали стихи одного из них — Володи Уфлянда — живые, переливчатые, подчас презрительно-ироничные, насмешливые, подчас безалаберные, шутейные, словом, все та же обэриутская школа, только с вкраплениями отчаяния, насланного тогда на всех нас неумолимым, одетым в диагоналевые галифе и во френч

с накладными карманами, временем. Из всей троицы только у Володи вышла книжка стихов. Да и то — где-то за границей. Далеко от дома, от улицы Пестеля, где, между прочим, и поэт Иосиф Бродский когда-то был прописан. И — далеко от молодости: к пятидесяти годам.

Миша Еремин будто бы писал стихи умнее, сложнее, интеллектуальнее Уфлянда, но усилия его рассосались, и где же он? Тогда как Уфлянд на слуху. А Еремин — выпал... Хотя, позвольте, и от Еремина строчка осталась в памяти, вот она: «Боковитые зерна премудрости». И все-таки — выпал. Даже — буквально: вывалился однажды по пьяному делу из окна. На дно каменного двора. Сломал ногу. Сломал судьбу. А ведь все трое ездили на свидание к Пастернаку Борису Леонидовичу, имели аудиенцию, были допущены. Читали метру отсебятину, задорную и бессвязную. И он их якобы слушал. Наверняка внимательно слушал.

Третий, Леня Виноградов, был самый из всех красивый внешне, а значит, и не приспособленный к труду на ниве изящной словесности. Бывало, войдет, брякнет что-нибудь вроде: «Марусь, ты любишь Русь?» И ухмыльнется многозначительно. Или выскажется более обширно, целыми двумя строчками: «Мы фанатики, мы фонетики — не боимся мы кибернетики!» И улыбнется еще знаменательнее.

Помню, как еще до моего переезда на Пушкинскую сняли эти ребята комнатуху на Васильевском острове, недалеко от моего дома, и на какое-то время взялись за дело артелью: подрядились пьесы писать для театра. Чтобы затем купаться в ванне, заполненной шампанским, и натирать обувь шоколадом. Вместо гуталина. Так они шутили во всеуслышание. Хотя шампанского наверняка желали искренне. Они рассуждали примерно так: в театрах успешно идут фальшивые, конъюнктурные пьесы бездарных авторов, тогда как мы, люди одаренные, свежие, востроглазые и остроумные, сидим сложа руки. Короче, мужики,— за работу! И закипело. Каждый день ранним утром все трое стекались в комнатуху и, засучив рукава, создавали свою собственную драматургию. Случалось, на стук их артельной пишмашинки заглядывал я в надежде совершить традиционный обряд сбрасывания на бутылку и с удивлением пятился за дверь, натыкаясь на их деловито-виноватые улыбки и закатанные рукава рубах. «Вот погоди ужо,— шептали мне все трое, выпроваживая за дверь.— Ужо заживем! В ванне с кагором... баттерфляем! Соловьиными языками закусывать будем. А покеда — не замай. Недосуг».

Но время бежало, а пьесы деловитого триумвирата на театрах не шли, никто не ставил почему-то. И вдруг — слух: с настырными ребятишками заключили договор! И — кто: Большой драматический имени Горького, сам Товстоногов! Василеостровская богема слуху этому вначале не поверила. И только когда в одной из газет города появился фельетон о молодых драматургах, в котором комментировалось эксцентрическое поведение в социальном быту трех авторов, получивших денежный аванс в театре и по возвращении своем на Васильевский остров посшибавших на улице несколько телефонных будок и урн, вследствие чего заночевавших в отделении милиции, стало ясно, что многомесячное творческое вточение моих друзей сдвинулось с мертвой точки и дало некоторые плоды или цветочки, предвещающие виды на урожай. Правда, конфуз с перевернутыми урнами повлек за собой для молодых авторов временные неприятности, с ними даже расторгли договор, но они тут же взялись за пьесу о молодом Ульянове-адвокате и — не прогадали. Давно уже распалось их тройственное театральное содружество, а пьеса сия, по-моему, и сейчас идет. Во всяком случае, совсем еще недавно, проходя мимо Горьковского по Фонтанке, на стеклянных дощечках репертуарного анонса, пусть к апрельской дате, но пьеса их все ж таки функционировала. И я растерянно улыбнулся не столько ее названию, сколько фамилиям ее авторов, как чему-то родственно-дорогому, незабвенно трогательному, хотя и далекому, почти потустороннему, словно пришедшему из какой-то другой, параллельной жизни.

Самым популярным двустишием в «дупле» (так была прозвана пушкинская комната гостями), звучавшим как пароль, как девиз, как поговорка, служили нам строчки турецкого поэта Назыма Хикмета: «Если они не дают нам петь, значит — боятся нас!» Чуть реже повторялись две строчки Веры Инбер: «Мы, конечно, умрем, но это — потом, как-нибудь, в выходной день». Повторялись, несмотря на то, что пожилая поэтесса перед этим зарубила первую стихотворную рукопись хозяина «дупла», начертав на ее страницах многочисленные фразы вроде: «Это философия 1912 года!» Склонялась и всем известная эпиграмма на поэтессу: «Ах, у Инбер...» и т. д. Почти каждый Божий день восторженно декламировались блоковские «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал»), цветаевский «письменный стол» («Вас положат на обеденный, а меня — на письменный»), что-нибудь из лирики Маяковского («А если не буду понят страной...» или «Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова»), гумилевский «Заблудившийся трамвай» («Остановите, вагоновожатый, остановите скорее вагон!»), что-нибудь пастернаковское («Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»), тютчевское («Молчи, скрывайся и таи...»), обэриутское («Голубая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, что была вчерась?»), слегка отредактированное есенинское («Что ты смотришь так синими брызгами, али в морду хошь? В огород бы тебя на чучело, пугать ворон!»), даже — из Безыменского («Жила бы Совреспублика, а мы-то прожиаем»). И уж всенепременно, с затаенной бравадой — из Хлебникова, из «поэта для поэтов», но — понятное, вроде: «Эй, молодчики, купчики, ветерок в голове! В пугачевском тулупчике я иду по Москве!» Из уст в уста ходили модные словечки. Одним из самых популярных, а потому и застрявших в памяти, оказалось тогда иностранное словечко из разряда научных — «сублимировать». И чаще всех нажимал на это словечко Миша Кулаков. Он и вел себя соответственно, демонстрируя непредсказуемые превращения из одного состояния, скажем, благодушия — прямиком в остервенение, минуя промежуточную сосредоточенность. Модным (так как художники в нашей среде преобладали) являлось тогда и словечко «супрематизм», изобретенное художником Казимиром Малевичем на заре века, которое мы выворачивали в разговорную речь для лихости интеллекта.

В «дупле» до поры до времени, покуда ей не переломили позвоночник, имелась семиструнная гитара. Под нее пели авторские шлягеры того времени: «Стою себе на месте, держусь я за карман, и тут ко мне подходит...», или — Окуджавины «Шарик улетел», «Она по проволке ходила...», или белогвардейско-дальневосточную «Лягут синие рельсы от Москвы до Шанси», магаданскую «Будь проклята ты, Колыма», хозяйскую «Когда качаются фонарики ночные» и вдруг, благоговейно, как становясь на молитву, где-то даже картинно: «Выхожу один я на дорогу...»

Годы, проведенные на Пушкинской улице, всплывают в памяти как самые многолюдные, разноголосые, восторженно-обреченные, великодушные, откровенные, суматошные и одновременно успешные, потому что тогда писались стихи, нужные людям, отвечавшие настроению эпохи; а залах, где мы читали эти стихи, нам не просто аплодировали, за нас держались как за идущих впереди.

Обстоятельства сложились таким образом, что институтского образования я не получил, в студентах никогда не значился, моими университетами было общение с людьми, и одним из своеобразнейших факультетов считаю — житие на Пушкинской. Случалось, что и там писались светлые и даже восторженные стихи, видимо, потому, что и туда время от времени на огонек забредала Ее Величество Любовь, но, как правило, стихи Пушкинской улицы не отличались умильным благодушием, да и с чего бы им этак-то? Вот характерные ритмы той поры.

А я живу в своем гробу.
Табачный дым летит в трубу.
Окурки по полу снуют.
Соседи счастие куют!
Их наковальня так звонка,
победоносна и груба,
что грусть струится, как мука,
из трещин моего гроба.
Мой гроб оклеен изнутри
газетой «Правда»... О, нора!
Держу всеобщее пари,
что смерть наступит до утра,
до наковальни, до борьбы,
до излияния в клозет...
Ласкает каменные лбы
поветрие дневных газет.

Хотелось бы назвать поименно всех, кто вместе со мной кормил свое сердце надеждой на лучшие дни и годы, кто рядом со мной не просто унывал, томился безвременьем и, казалось, безысходной печалью духа, но, прорастая сквозь эти обманувшие наши надежды шестидесятые, продолжал не только мыслить в своем направлении, но и любить, прощать, верить — в направлении бездонных небесных высот, всех скорбей и радостей, всех предстоящих свиданий с премудростями Бытия. Но... иных уж нет, а те далече, да и память, как решето,— многое порастрясла. Однако лица всплывают, обозначаются все контрастней, отчетливей, как снимки в ванночке с проявителем, и хочется поскорее зафиксировать изображение, чтобы оно не потускнело, не потерялось, вызванное как бы из небытия, не распрощалось с тобой, и, кто знает, может, на этот раз — навсегда.

Вижу кричащее болью одиночества, преждевременно изможденное ребячье лицо прозаика Рида Грачева, эрудита и умницы, бредившего сочинениями француза Экзюпери, переводившего и комментировавшего прозу этого поэта-летчика; Рида Грачева, успевшего издать тоненькую (три четверти из представленного им в редакцию — было изъято) книжечку выстраданных рассказов и в дальнейшем не перенесшего надругательства над разумом; Рида Грачева, которому было посвящено выше приведенное стихотворение «А я живу в своем гробу» не потому только, что он, как и я, жил тогда в крошечной комнатенке, торча занозой или спсоя бельмом в глазу у всех нормальных, твердых душой обитателей коммуналки, но еще и потому, что он, Рид Грачев, попав под молот религии рационализма и корчась на общественной наковальне, был безжалостно расплющен: слишком хрупкой оказалась конструкция сего насмешливого в фантазиях мечтателя, над

которым насмеялась действительность, объявив душевномятущегося — душевнобольным. Последняя встреча с этим человеком была у меня... в сумасшедшем доме, куда я попал с белой горячкой. Как сейчас помню, по коридору бывшей женской тюрьмы идет мне навстречу Рид Грачев и, несмотря ни на что,— улыбается. Не мне — всему миру.

Дима Бобышев, Костя Кузьминский, Вова Марамзин, Игорь Ефимов, Леша Хвостенко... Обозначил ряд имен и спохватился: где эти люди? Неужто умерли все? Почему не вижу их столькие годы? Ни в городе, ни в деревне? Так ведь они все уехали, улетели. Будто птицы по осени. Только не на юг. На запад. Веселые были ребята. Вот и не захотели стать грустными. Лететь вниз головой — в глубь земли, как Саша Морев в ствол шахты,— не пожелали. Да и не каждому даны такие способности — лететь в глубь...

А вот, скажем, Боря Тайгин — не улетел. Ни вглубь, ни вкось. Уцелел. Смирил гордыню. Остался жить у себя на Васильевском острове. Неподалеку от Смоленского кладбища. Удивительно стойкий, хоть и не оловянный, солдатик — этот Боря Тайгин, принявший отпущенные судьбой муки и радости с улыбкой ребенка, а не с ухмылкой закаленного в коммунальных битвах страстотерпца. Известно, что зло в человеке — это болезнь, тогда как добро — норма. Зло в себе необходимо лечить каждодневно, ежесекундно. Но есть люди, к которым эта хворь как бы не пристает. Иммунитет. Мне думается, что Боря Тайгин из этого ряда неподверженных. В старину их именовали блаженными. В наше время тем же словом их не именуют, а — обзывают. Такие люди уникальны. Но — не единичны. Скажем, в Москве — Юра Паркаев... Но о нем — в московской главе. А сейчас о василеостровце Тайгине.

Вот уж кто всегда любил поэтическое слово, и не только любил, но и любит, но и служит ему бескорыстно по сию пору, поклоняется и преклоняется, и хоть сам пишет стихи — никто или почти никто про это не знает. Пишет, как молится, по ночам. Во времена, когда молиться днем было небезопасно. И стихи у Бори Тайгина есть красивые. Но все они — потаенные. Как невидимые миру слезы.

А ради стихов своих товарищей Боря Тайгин, можно сказать, шел на костер, то есть — на известный риск быть взятым под стражу. Вообще-то Борина подлинная фамилия — Павлинов, но ради поэтического слова не пожалел он, как говорится, своего имени и после лагерной отбывки в глухих сибирских лесах принял фамилию Тайгин, как бы совершил поэтический постриг. А посадили его за то, что нарезáл современную музыку на самодельные пластинки (было такое выражение после войны — «музыка на ребрах», то есть — на рентгеновских снимках). И еще за то, что... издавал стихи своих друзей тиражом в пять экземпляров — ровно столько, сколько брала его старенькая, дореволюционная пишмашинка «Ремингтон».

Отбыв четыре года в лагерях, Боря не сделался хулиганом или вором, крикливым блатняжкой, он как был поэтом, так им и остался. Еще до принятия окончательной фамилии-сана Тайгин, то есть до отсидки, писал он стихи под псевдонимом Всеволод Бульварный. Должно быть — из протеста и самоутверждения. Из временного протеста. А первую книжечку своих стихов назвал по-киплинговски решительно — «Асфальтовые джунгли». Экземпляр этого сборника таскал я с собой по Якутии, и самиздатские страницы его насквозь, до прозрачности пропитались парафином походной свечи, при свете которой в таежной палатке читал я стихи своего друга.

Но музыка на ребрах, быт, скитания, даже писание кровных стихов было для Тайгина не самым столбовым, вернее, столпным делом жизни. Таким делом явилось для него многолетнее, аж с самых послевоенных времен, бесстрашное и бессребреное издание «посторонних», но весьма им почитаемых стихов. Как правило, в нескольких нумерованных машинописных экземплярах — о чем, кстати, неизменно сообщалось в выходных данных. Издательство именовалось довольно сухо (если вспомнить экстравагантные псевдонимы издателя), сухо, но отчетливо: «Бе-Та». То есть — Борис Тайгин. Издавались там преимущественно сочинения современных, непечатающихся или печатающих далеко не все поэтов, в первую очередь — ленинградских, реже — иногородних. Еще реже — стихи из прошлого: Гумилев, Ходасевич, Бальмонт, Цветаева, Северянин, Мандельштам...

Отец Бори Тайгина, Иван Павлинов, делатель революции, перепоясанный пулеметными лентами, принимал участие в аресте Максима Горького в Петрограде, когда великий писатель печатал в газете «Новая жизнь» свои «Несвоевременные мысли», когда в один из дней было отдано распоряжение доставить Горького на Шпалерную. В этих своих «Несвоевременных мыслях», отпечатанных затем отдельной брошюрой в типографии на Лиговке (1918 г.), пролетарский писатель говорит о своем горьком разочаровании в революции, цена которой, как выяснилось, слишком дорога и зачастую оплачена невинными жертвами. Горький потом «очнется» от минутной слабости и заявит нечто противоположное, а бывший революционный морячок И. А. Павлинов станет за участие в Великом перевороте персональным пенсионером союзного значения. Я хорошо знал его. Человек этот прожил более девяноста лет и умер, можно сказать, случайно, вследствие ложного диагноза, поставленного врачами спецлечебницы. Несварение приняли за воспалительные аппендицитные колики, тогда как аппендикс у Павлинова был удален еще в царское время корабельным врачом, то есть — не разглядели профессионалы давнишнего шва и резанули повторно. Не зажило. К тому же — больничное воспаление легких. И — финал. А поставили бы клизму, и старик, глядишь, до ста лет дотянул бы. И здесь я вовсе не случайно отклонился от сына к отцу, от производного — к целому, так сказать. Сын революционера читает, перечитывает и даже переиздает стихи Гумилева, расстрелянного революционерами, а сам революционер умирает в клинике для ветеранов революции из-за неправильного диагноза.

А в бурной деятельности Борис Тайгин продолжал водить по ночным улицам Ленинграда грузовой трамвай, работая вагоновожатым.

Борис Тайгин издавал стихи своих сверстников, и зачастую только его самиздатскими страницами ограничивалась жизнь этих стихов. Вот список некоторых авторов-сверстников, чьи книги издал Тайгин: Яков Гордин, Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Евгений Рейн, Елена Тагер, Геннадий Алексеев, Владимир Корнилов, Виктор Соснора, Генрих Сапгир, Игорь Холин, Наталья Горбаневская, Юрий Паркаев, Олег Тарутин... Почти все, написанное мной за годы, когда я не печатался совсем или печатался не слишком часто, более тридцати миниатюрных сборничков,— издания «Бе-Та». Но, пожалуй, самое замечательное произошло со сборником Николая Рубцова «Волны и скалы», тоже увидевшим свет в издательстве Тайгина и нигде более.

Рубцов представил книжку вместо рукописи, когда поступал в Литературный институт, и многие, глядя на обложку сборника, решили, что в руках абитуриента — государственное издание, столь искусно был сымитирован шрифтовой набор на обложке. Об этом тайгинском сборнике ранних стихов Н. Рубцова пишут уже в официальных трудах, посвященных творчеству замечательного стихотворца, который не раз бывал у меня на Пушкинской и даже посвятил тамошним дворам и квартирным трущобам одно из ярчайших своих (и редчайших) городских стихотворений, редчайших потому, что лирику Рубцова никак нельзя назвать городской, хотя и сугубо деревенской — тоже.

Трущобный двор, фигура на углу,
Мерещится, что это — Достоевский...

Нельзя сказать, чтобы Николай Рубцов в Ленинграде выглядел приезжим чужаком или душевным сироткой. Внешне он держался независимо, чего не скажешь о чувствах, скрывавшихся под вынужденным умением постоять за себя на людях, умением, приобретенным в детдомовских стенах послевоенной вологодчины, в морских кубриках тралфлота и военно-морской службы, а также в общаге у Нарвских ворот и возле литейки Кировского завода, где он тогда работал шихтовщиком, то есть имел дело с холодным ржавым металлом, идущим на переплавку. Коля Рубцов, внешне миниатюрный, изящный, под грузчицкой робой имел удивительно крепкое, мускулистое тело. Бывая навеселе, то есть по пьяному делу, когда никого, кроме нас двоих, в «дупле» не было, мы не раз схватывались с ним бороться, и я, который был гораздо тяжелее Николая, неоднократно летал в партер. Рубцов не любил заставать у меня кого-либо из ленинградских поэтов, все они казались ему декадентами и модернистами, пишущими от ума. Все они, как правило, с высшим образованием, завзятые эрудиты, невольно отпугивали выходца из низов, и когда Николай вдруг узнал, что я — недоучка и в какой-то мере скиталец, бродяга, то проникся ко мне искренним уважением. Не из солидарности неучей, что опровергает его дальнейшее поступление в Литинститут, а из солидарности неприкаянных, причем — неприкаянных сызмальства.

Зато, обнаружив кого-либо из «декадентов», сидел внутренне сжавшись, с едва цветущей на губах полуулыбкой, наблюдал, а не принимал участие, и как-то мучительно медленно, словно из липкого месива, выбирался из комнаты, виновато и одновременно обиженно склоняя голову на ходу и пряча глаза. А иной раз — шумел. Под настроение. И голос его тогда неестественно звенел. Читал стихи, и невольно интонация чтения принимала оборонительно-обвинительный характер.

Занимался Николай в литературном объединении «Нарвская застава», там же, где и Саша Морев, Толя Домашев, Эдик Шнейдерман (о котором в стихотворении Рубцова «Эх, коня б да удаль Азамата», в строчках — «... мимо окон Эдика и Глеба, мимо крика: „Это же — Рубцов!“»). И здесь необходимо сказать, что тогдашний Рубцов — это совсем не то, что Рубцов нынешний, хрестоматийный, и даже не тот, явившийся в Вологду прямиком из Москвы по отбытии лет в Литературном институте. Питерский Рубцов как поэт еще только просматривался и присматривался, прислушивался к хору собратьев, а главное — к себе, живя настороженно, внутренне и снаружи — скованно, словно боялся пропустить и не расслышать некий голос, который вскоре позовет его служить словом, то есть делом, служить тем верховным смыслам и значениям, что накапливались в душе поэта с детских (без нежности детства) лет и переполняли ему сердце любовью к родимому краю.

Помню, как приехал он из Москвы, уже обучаясь в Литинституте, и, казалось, ни с того ни с сего завел разговор о тщете нашего литературного труда, наших эстетических потуг, о невозможности что-либо найти, или осветить, или доказать поэтическим словом в наши столь равнодушные ко всему трепетному, иррациональному времена, времена

выживания, а не созерцания и восторга. «Ну зачем, кому теперь нужна вся эта наша несчастная писанина?» — спрашивал Коля, одновременно с чрезвычайной настороженностью всматриваясь в меня, в мои глаза, движение губ, жесты рук,— не совру ли, не отмахнусь ли от поставленного вопроса, не слукавлю ли и тем самым не обману ли его ожидания, нуждающиеся в каких-то подтверждениях? А я, помнится, и сам тогда был не в духе, болел от вчерашнего переутомления и на Колины сомнения ответил какой-то резкостью, потому что не поверил в искренность его сомнений, а решил, что Рубцов, подавшийся в Москву, набивается теперь на комплименты и уговоры остаться на поэтическом пути «ради всего святого» и тому подобное. И предложил ему что-то литературно-расхожее вроде: можешь не писать — не пиши. А Коля, теперь-то я понимаю, оказывается, был на своеобразном мировоззренческом распутье: в Литинституте он насмотрелся на конъюнктурщиков от стихоплетства, в Ленинграде — на всевозможных искусников и экстремистов от пера, и не то чтобы не знал, что ему дальше делать, а, видимо, еще раз хотел убедиться, увериться, что путь через Тютчева и Фета, то есть не столько через прошедшее, минувшее, сколько — через вечное, истинное, избран им правильно, путь как средство, единственно утверждающее его в правах российского стихотворца.

В Ленинграде, примерно тогда же или чуть раньше, прошел своеобразный, единственный в своем роде, а потому — запомнившийся на долгие годы Турнир Поэтов. Не помню, кто организовал его во Дворце культуры Горького, чья конкретно заслуга, что под одной крышей на целый вечер собрались тогда все лучшие молодые поэты Ленинграда? Но... собрались. Как в эпоху «Бродячей собаки».

Выступали поэты всех направлений и крайностей, интеллектуалы и социалы, формалисты-фокусники и натуралисты-органики, такие, как Евгений Рейн и Леонид Агеев, Владимир Уфлянд и Олег Тарутин, Иосиф Бродский и Николай Рубцов, Дмитрий Бобышев и Саша Морев, Александр Кушнер и Виктор Соснора, Глеб Горбовский, и еще, и еще, и весь зал, как какой-нибудь итальянский парламент, делился на эксцентрические сектора и секции, аплодируя локально, выборочно, то есть — тому или иному направлению в стихописании. Чем-то прелестным, наивно восторженным пахнуло от этого кипящего и бурлящего сборища, повеяло чем-то давним, утраченным, казалось, безвозвратно, и вместе с тем — вечным, непреходящим, в том числе и заключающим в себе ответ на рубцовские сомнения — нужны ли кому наши поэтические потуги? Нужны, нужны. И не только поэтам пишущим, но и — поэтам читающим. Ибо мятущаяся мысль юных писателей и философов, а также образная вязь художников, изобразителей всех времен и народов,— растворены в этих самых народах, и отменить или запретить биение их пульса никто не вправе. Да и — не в силах.

О поэтическом братстве того времени говорит и тот факт, что все участники Турнира Поэтов рано или поздно пересекались у меня на Пушкинской. Одни чаще, другие реже, но все мы бывали друг у друга. И не только участники Турнира. Андрей Битов и Юра Шигашов, Володя Бахтин и Борис Вахтин (сын Веры Пановой), Давид Дар и Глеб Семенов, Игорь Ефимов и Кирилл Косцинский, Владимир Максимов и Владимир Марамзин, Владимир Британишский и Саша Кушнер, и Штейнберги, Штейнберги... Даже Станислав Куняев наведался как-то из Москвы или оттуда, где он тогда обитал. А вот Иосифа Бродского у себя почти не помню, хотя наверняка заглядывал и он. У Бродского был свой круг друзей, свое «дупло» имелось.

Гораздо позже, где-то перед самым приездом в Россию американского президента Никсона и перед самым отъездом-выдворением из России поэта Иосифа Бродского, заглянул я в очередной раз на улицу Пестеля, где рядом с действующей православной церковью Преображенья жил будущий нобелевский лауреат. Мне тогда срочно потребовалось прийти в душевное (а также вестибулярное) равновесие, а ресурсы для оной цели оказались исчерпанными, а все средства, ведущие к немедленному исполнению желания,— использованными. И тогда, очутившись на Литейном, с секунду поозиравшись и с полсекунды поколебавшись, решил я подняться к Бродскому, чье окно, расположенное в фонаре старинного многоэтажного дома, призывно мерцало, ничего, кстати, существенного не обещая, ибо сам Иосиф жил тогда крайне бедно, официальные организации стихов его не только не печатали, но и как бы не терпели, о чем говорит тогдашнее гнусное распоряжение — объявить поэта тунеядцем, судить и выслать его из сиятельного города в промозглую глушь. К моменту, когда я решил небескорыстно навестить Иосифа, поэт из вынужденных дебрей уже вернулся, мы с ним уже неоднократно виделись, и наши с ним стихи были напечатаны где-то в Италии — под одной обложкой сборника русскоязычных поэтов. У Бродского в фонаре обнаружил я тогда еще одного непременного участника подобных, западноевропейского производства, стихотворных сборников, а именно — Сашу Кушнера. И сразу понял, что визит мой, деликатно выражаясь, некстати и что вообще о своем явлении все-таки необходимо предупреждать заранее, и т. п.

Ребята сидели при моем появлении скованно, как птицы на жердочках. Я и не знал, что они... прощались. Перед отбытием Иосифа на другую сторону планеты. Вдруг показалось, да и по сию пору сохранилось такое впечатление, что фонарь, в котором все мы сидели в тот миг, походил на клетку с птицами, которые неожиданно оказались певчими, неожиданно для обитателей клетки, и что птицы поют, но песни их далеко не всем нравятся, тем паче — ласкают слух.

Что же касается восстановления равновесия — на бутылку вина мы тогда все трое определенно сообразили, наскребли. Но распивать ее направился я один — в ближайший парадник. И не потому, что мной пренебрегли или побрезговали, а потому, что в атмосфере фонаря назревали события более масштабные и непоправимые. В птичьих сердцах бушевала тревога земной, прижизненной разлуки с городом, улицей, фонарем, почти такой же непоправимой, как и разлука со всем пространством жизни. К тому же в ресторане «Волхов», расположенном под соседним зданием Литейного проспекта, обитатели фонаря предполагали в ближайшие часы организовать скромную отвальную, а значит, и в отношении собственного равновесия все у них было впереди.

Сегодня вечером, когда я осваивал эти страницы «Записок», после двадцатилетнего перерыва я вновь увидел Бродского живым — все таким же нервным, грассирующим, улыбчато-настороженным, с остатками рыжих волос на расползшейся голове. Бродского «давали» по телевидению в программе «Взгляд». Нажал кнопку приемника, и... вот он, Иосиф, словно и не было меж этим нажатием и нажатием тем (кнопки звонка в его дверь на улице Пестеля) — двадцати лет. И первое, на чем я себя поймал,— это улыбка, раздвинувшая мне губы, ответная улыбке Иосифа. И тут же подумалось: «А хорошо все-таки кончилось! С Бродским. И вообще... выстояли».

Примерно тогда же (перед отъездом Бродского в Штаты) состоялось между нами (Кушнер, Бродский, Соснора, я) как между стихотворцами — отчуждение. Произошло как бы несогласное отлучение меня от клана «чистых» поэтов, от его авангарда, тогда как прежде почти дружили, дружили несмотря на то, что изначально в своей писанине был я весьма и весьма чужероден творчеству этих высокоодаренных мастеров поэтического ремесла. Прежнее протестантство мое выражалось для них, скорей всего, в неприкаянности постесенинского лирического бродяги, в аполитичном, стихийно-органичном эгоцентризме, а правильнее — в ненаправленном, нетрезвого происхождения словесном экстремизме, с которым рано или поздно приходилось расставаться, так как сознание, вызревая, перерастало горизонты «зубовного скрежета», безрассудства разума; душенька моя неизбежно мягчала, органично предпочитая «реакционную», закоснелую службу Добра расчетливо-новаторской службе конфронтации и мировоззренческой смуты.

Правда, моему не всегда деликатному стуку во врата поэтического храма и прежде не все доверяли — как официальные органы, так и негласные хранители поэтического огня в стране. Оглядываясь теперь с улыбкой, вижу, как производились над поэтическим веществом моего изготовления умозрительные и литературоведческие анализы, как наводились символические справки, составлялись консилиумы, дескать, а есть ли вообще повод-причина для размышлений, не блеф ли вся эта поэтическая конструкция, занимающая у бедных интеллигентов тройки, а то и сдающая во утоление жажды их послепраздничную стеклотару?

В негласных экспертизах и расследованиях принимали участие тогдашние ленинградские спецы от поэзии, такие, как Ефим Эткинд, Наум Берковский, Виктор Мануйлов, Тамара Хмельницкая, Владимир Орлов, профессор Максимов, профессор Борис Бурсов, привели меня даже на дом к Л. Я. Гинзбург, которую я напугал, а вернее — шокировал, показали лицом к лицу Анне Андреевне Ахматовой, Борису Слуцкому и даже Евгению Евтушенко. Кое-что из прогнозов, как ни странно, подтвердилось, а кое-что — развеялось. Чего и следовало ожидать. Смешно? Пожалуй. Никто, понятное дело, не собирался делать из меня подопытного кролика. Тогда что же — мания преследования? С моей-то стороны? Ее симптомчики? Что ж. Хотя — почему бы и не мания очищения? Мания освобождения от себя прежнего, безбожного, беспозвоночного?

По телевидению как-то давали в записи на Союз встречу редколлегии журнала «Нева» с читательской аудиторией Ленинградского института физики им. Иоффе, и я, не вылезающий из своего многомесячного деревенского добровольного отчуждения, с жадностью наблюдал эту встречу, тем более, что за столом президиума сидели хорошо знакомые мне замечательные люди — писатель Виктор Конецкий, поэт Александр Кушнер, главный редактор «Невы» Борис Никольский, прозаик Житинский, сатирик Мишин, а также известный писатель из Москвы В. Дудинцев, автор давнишнего одиозного романа «Не хлебом единым», отдавший «Неве» свой роман «Белые одежды». Разговор писателей с читателями, как всегда, напоминал разговор двух иноязычных граждан, к тому же тугоухих и подслеповатых. К проблемам друг друга. Никакого пресловутого взаимопонимания в зале и в помине не было. Хотя всех присутствующих как бы объединяла одна общая идея.

Что ж, думал я, поджав губы от бессилия и невозможности вмешаться в беседу, с жадностью наблюдая за происходящим на экране дачно-садоводческого «списанного» телека, что ж, борьба мнений, расстановка акцентов, неистребимая жажда конфронтации — все это закономерно, присуще, свершается все как бы по извечному сценарию противостояния двух сакраментальных сил — добра и зла. Тогда почему я волнуюсь, с какой стати потерянно озираюсь, будто повинен в нелепой разобщенности людей, не

имеющих возможности покорно обнять друг друга и, отрешаясь от гордыни, простить разом всех, а о себе, грешном, забыть поскорее? Не тут-то было! И волнуюсь я оттого, что сам живу телесно, плотоядно, что сам не отрешился, не простил, не очистился, хотя и пожелал очищения, как, скажем, через час пожелал... чаю. Сделав в направлении раскаяния каких-нибудь полшага. А разволновался — на целую милю. И не оттого ли разволновался, что смотрю на происходящее как бы из прошлого, а точнее — из небытия? На экране все тот же Саша Кушнер, только какой-то приободрившийся, разгоряченный, приветствующий перемены в стране, какой-то, я бы сказал, незнакомый, деловитый, гражданственный Кушнер, в гнёве на тех, кто в прошлом обвинил его поэзию в камерности, призывающий в свидетели собственной социальности Мандельштама и Пастернака, нападающий на огорошенного наскоком старика Дудинцева, имевшего неосторожность заявить, что Раевский в «Войне и мире» подставлял под огонь вражеских батарей своих кровных сыночков, что, дескать, так оно и в жизни происходило, на что Кушнер стал выговаривать Дудинцеву горячо, де все это басни, мифы и легенда — о сыночках Раевского, а на самом-то деле никто добровольно под вражеские пули и осколки снарядов никого не подставлял, и что версия Толстого на его писательской совести, и старик Дудинцев вжал голову в плечи, притих, был смят, и почему-то хотелось крикнуть Саше Кушнеру: помилосердствуй, пожалей старика... А на экране редактор объявляет, что в числе предстоящих публикаций в журнале будут обнародованы документы приснопамятного процесса, когда в Ленинграде судили Иосифа Бродского за тунеядство. Словом, ничто, достойное восхищения, не исчезает в этом мире бесследно, рукописи не горят, тем паче — истинная поэзия, и что никакой такой непоправимой разлуки в поэтическом фонаре-клетке на улице Пестеля много лет тому назад не происходило, просто вышли все из этого времени малость проветриться, и опять все стало на место. А может, и впрямь — ничего не было? Ни жертвенного трояка никто не вручал, и никакое дрянное винцо в парадняке не распивалось?

Я пишу эти строчки в десяти метрах от сельского кладбища, на котором примерно раз в месяц кого-нибудь хоронят. Иногда — с так называемой музыкой, с оркестром. И пьявенький барабанщик невпопад ухает колотушкой в отсыревшую кожу своего «струмента». Голосят незнакомые женщины. Причем незнакомый, посторонний плач по чужому покойнику все реже вызывает у меня страх или глухое раздражение и все чаще — смиренную оторопь. И сидя в избе за пишущей машинкой, отбиваясь от назойливой осенней мухи, начинаешь сдержанно сходить с ума, вглядываясь в эту муху и одновременно задавая вопрос: почему она садится на меня, на мое теплое еще тело, а не на шкаф или пластиковый абажур?

И почему все-таки гневаемся мы на оторопелых гуманистических старичков, отмахиваемся от них порой, как от назойливых мух, топаем на них ножкой, почему призываем собратьев не к созиданию, а к разрушению, не к воспитанию, а к восстанию, не к постепенному очищению, а к скоропалительному перевоплощению? Не оттого ли, что закваска у нас всеотрицающая, а поведение — общинно-стадное, ясельно-детсадовское, дружинно-школьное, что организм нашей жизни обезвожен — по аналогии с обезвоженным, то есть обреченным, организмом?

И все-таки... как сказал бы непридуманный, неподдельный гуманист Владимир Галактионович Короленко, представитель редчайшей категории людей с мужественной, незамутненной совестью, все-таки впереди — огоньки! Огоньки неизвестности, огоньки вероятности, огоньки Веры. И, значит, кому-то нужно, чтобы на бруствер рядом с отцом, пусть в мифе, пусть в очередной легенде, вставали и его сыновья, способные любить, причем не только себя, но и других.

* * *

Теперь о внутреннем писательском «иностранстве», которое правильнее будет именовать как-нибудь иначе, скажем, гипер- или суперинтеллектуализмом. То есть речь о тяге некоторых писателей к сверх- или над-искусству, в отличие от писателей традиционных, не имеющих оной тяги, пребывающих как бы на постоянно обусловленном уровне творческих возможностей.

Речь идет вовсе не о людях, ставших по переселении в другие страны «новоязычниками», не о Соломоне Белове, ныне Соле Беллоу, не об Айзеке (Исааке) Азимове или об армянине Уильяме Сарояне, даже не о Набокове, писавшем часть своей жизни на английском, и не об Иосифе Бродском, сочиняющем на том же английском свои статьи (стихи-то он как писал на русском, так и пишет их на ленинградско-петербургском), и уж, конечно, не о Гоголе, перебравшемся из Малороссии в «кацапские» столицы, я здесь — о другом, скорее — о некоторой как бы несвоевременности отдельных талантов, изъясняющихся с читателем как бы из будущего, не наступившего, а значит, и фантастического времени, то есть не на языке предков и потомков, и даже не на современном жаргоне, а как бы на неведомом нам языке грядущих поколений. Так что и речь идет, пожалуй, не об иностранном, а всего лишь — о стравном, иновременном. Причем впечатления зиждятся больше на субъективных ощущениях, нежели — на обоснованном умоанализе.

Повторяю, конкретный пример хочется привести не из литературных анналов, а непосредственно из живой жизни, благо на моих глазах возникали, мужали интеллектуально и даже становились известными писатели, ныне признанные критикой, с которыми я — как бы с одного поэтического подворья, из одного литературного детства.

Назову хотя бы того же Андрея Битова. Прозу Битова можно было бы поименовать «пищей для интеллектуалов» и на том успокоиться. Но феномен битовского словомыслия, магия интонации битовских словосочетаний вот уже четверть века не дают моему воспринимающему устройству не только относительного читательского умиротворения или покоя, но и не отпускают от себя, держа и обволакивая незримыми чарами мое сознание, мое честолюбие, мои вялые возможности пробиться к битовской истине или хотя бы — правде, расслышать мотивы его претензий к миру или к идеальным его аналогам и моделям.

Когда я вчитываюсь в прозу Битова, в том числе и в прелестные ранние рассказы с Аптекарского острова Петроградской стороны, а также вслушиваюсь в его устную речь, мне кажется, что я перестаю улавливать логику происходящего и только слушаю музыку слов, а порой — как бы и вовсе схожу помаленьку с ума, и тогда мне сдается, что умный Битов становится умней самого себя и, похоже, заговаривается, а в моем мозгу происходит захлеб и удушье битовской фразой, сдается, что вообще писатель постепенно перебирается на другой, непонятный мне способ мышления, приглашая уже не столько на беседу, сколько в следующую, еще не свершившуюся действительность.

Битовский способ видеть окружающее и наполняющее сквозь свою обволакивающую прозу, его непридуманная манера мыслить размазанно, пластически-вязко, даже неотвязно, с давних пор представляется мне движением одинокого пловца среди волн житейской пустыни, когда пловец вот-вот захлебнется, но вновь и вновь голова его маячит над поверхностью; одиночество для таких пловцов — не трагедия, не печаль вовсе, а почти мировоззрение, даже религия — религия для неверующих интеллектуалов, лжевера, чье экзистенциалистское облако, как смирительная рубаха, способно преждевременно окутать бунтующую душу, не посулив взамен ничего существенного, кроме одиночества запредельного, внеземного — потустороннего.

И такому вот сосредоточенному, с головой ушедшему в себя человеку, как Андрей Битов, пришлось однажды пуститься в длительное путешествие из Ленинграда на Камчатку — на пару со мной... В двух словах расскажу теперь, что из этого вышло.

Началось неудачно, с постоянно ожидаемой и всегда почему-то нежданной подножки Аэрофлота: в память прочно впечаталось многосуточное сидение в аэропорту, в тогдашнем, начала шестидесятых, тесном аэровокзале под Ленинградом, устланном измученными, повергнутыми наземь людьми. Согласитесь: в лежачих, валяющихся человеческих фигурах, особенно когда их много, очень много, есть что-то противоестественное, даже трагичное, даже если над павшей, униженной толпой не свистит пули или нагайки,— все равно жутко, ибо человеку до́лжно стоять.

Россия — очень длинная страна. Покрыть ее многотысячекилометровую протяженность предстояло нам под покровительством Союза писателей: правление оплатило расходы на командировку двум молодым авторам. Общие, на двоих, командировочные денежки, с обоюдного согласия в целях сохранности на время поездки, решили держать в бумажнике прозаика, в ком, неизвестно почему, подразумевался более трезвый взгляд на жизнь и практические навыки. До сих пор при воспоминании об этой поездке у меня дрожат руки и мне хочется причинить себе какую-нибудь неприятность в возмещение морального ущерба, причиненного мной задумчивому, сосредоточенному человеку, хочется покраснеть, и нет для этого былой возможности: подача крови ослабла, сосуды побледнились, энергия раскаяния подыссякла.

Трое суток муторного томления в аэропорту явились для нас обоих своеобразной пыткой еще и потому, что каждые час-полтора принимался я выклянчивать у Андрея очередную рублевку на порцию буфетного коньяка, причем занимался этим не столько от нечего делать, сколько от действительно скверного самочувствия, вызванного застарелым, дополетным упадком сил.

Андрей в рублях не отказывал, так как знал мои тогдашние навязчивые способности хорошо — и психологически, и в быту, и буквально по книгам, которые по моей инициативе неоднократно приходилось умыкать ему из родительского дома, из семейной библиотеки, когда мы прятали что-нибудь тонюсенькое, но дорогостоящее под брючный ремень и относили в букинистический, чтобы затем воздать авторам этих книг по силе возможности.

А тогда в аэропорту Битов лишь старался регулировать мои действия, с жадностью прислушиваясь к голосу дикторши, с отвратительным спокойствием объявлявшей об очередном переносе нашего сверхдальнего рейса. В буфет меня не сопровождал. Терпел, держался. А я, из благодарности за его стоицизм, покупал ему крошечную бутылочку лимонада. На сэкономленные пятаки. Как сейчас помню ярко-пунцовую окраску того дипломатически-примиренческого напитка и нестандартных размеров бутылочки, в которых этот напиток содержался, тревожно сигналя о том, что дорога предстоит затяжная, дальняя и что хорошо бы не надорваться еще до старта.

Трудно предположить, что Андрею тогда было легко со мной, что ему нравилась моя озабоченность или стихи, сварганенные прямо на вокзале, которые порывался я декламировать, желая подбодрить граждан-пассажиров, распростертых на холодном бетоне действительности. Чей-либо прилюдный кураж может развлечь, но — не убедить.

Но вот что удивительно: когда десять лет спустя я напрочь отказался от спиртного, многим из наблюдавших меня в роли непросыхающего шута такой крутой поворот дела не понравился, а многих даже весьма разочаровал. Теми, кто делает окололитературную погоду, был моментально вынесен приговор, что стихотворец кончился, потому что писать стихи в трезвом состоянии духа, вне бродяжьей печали, ночуя не на вокзальных скамейках, а на диване в собственной квартире да еще под наблюдением трезвой жены,— противоестественно, а стало быть, и противопоказано. Расхожая догма, навязанная респектабельными литературными рассудителями и негласно ими проповедуемая, велит писать где-нибудь под забором или под запором, голодая или замерзая, томясь или бесчинствуя, пьянствуя или нищенствуя, а то и с петлей на шее, то есть — в состоянии униженном, а не возвышенном. И рассуждают об этом люди, как правило, благоустроенные, одомашненные, предпочитающие вийоновской или есенинской петле благонадежный фирменный галстук. А подзаборным — не до того-с. Оно, как говорится, конечно,— страдать художнику необходимо, да и чья, пусть даже самая прохладная в художественном смысле, судьба обходится без отпущенных на ее долю разнообразных, неповторимо-индивидуальных переживаний, страстей, а то и — мученичества? Задача, на мой вгляд, не в подсчете и квалификации выстраданного, а — в постоянном высвобождении из паутины этих страданий, то есть все в том же неистребимо-необходимом самосовершенствовании. Не погрязать в сладчайших муках самолелеяния, как бы горьки эти муки ни были, а, поднявшись над ними хотя бы на мгновение, оценить обстановку, соразмерить душевные силы с силами противоборствующими и непременно, хотя бы на микронную долю смысла, возвыситься над собой прежним, определиться, сориентироваться на путеводную звезду.

На Камчатку влекло тогда отнюдь не любопытство, не гончаровско-обломовская любознательность петербургских сибаритов, у которых не было своего фрегата «Паллады», не экзотическая Долина гейзеров; нацелились мы туда не за стихами и рассказами — псевдоромантической перевозбудимостью не страдали. Виновата была опять-таки звезда-ориентир, имя которой... Генрих Штейнберг. Под его научным наблюдением на полуострове, словно стадо вымирающих бизонов, находилось энное количество действующих, спящих, а также окончательно окоченевших, потухших вулканов. Пасти скотинку менее внушительных размеров наш друг-супермен не находил нужным.

Ошибались думающие, будто Генрих любил всего лишь прихвастнуть своими вулканами. Он ими гордился. Как родители гордятся своими красивыми здоровыми детьми. Гордился и желал, чтобы на его красавцев взглянули многочисленные друзья детства, юности, а также более зрелой жизненной поры — сотоварищи.

В Петропавловске, отметившись где положено, поспешили мы под опеку вулканологов, и все бы обошлось, не поступи в наш адрес сколь радушное, столь и коварное предложение от местного телевидения — принять участие в передаче «Наши гости». Теперь-то мне ясно: от лукавого предложение исходило. Колебнувшего в нас честолюбивую струну. Приключился соблазн.

Необходимо теперь добавить, что, оказавшись у подножия Авачинской сопки, мы сразу же окунулись в теплые (термальные!) волны вулканологического гостеприимства и напрочь позабыли о призрачном телевидении. Работники оного разыскали нас в общежитии перед самым выходом в эфир, минут за тридцать до начала передачи. А телестудия в Петропавловске располагалась тогда на сопке Любви. И вот, прямо от стола, то ли свадебного, то ли деньрожденческого, мы понеслись в гору, подталкиваемые в спину наиболее устойчивыми спутниками-добровольцами. Передача объявлена по радио и в газетах, пойдет на экраны живьем, без предварительной записи, так что взлететь в гору к началу теледейства нужно было во что бы то ни стало. И — взлетели. Страшно запыхавшиеся, раскрасневшиеся. Режиссер поблагодарил нас за усердие, слегка припудрил нам физиономии, и мы поместились на стульях перед камерой, теребя машинописные тексты своих сочинений.

Андрюша отчитался благополучно. Его стеклянная проза мельчайшими брызгами просыпалась на отдыхающие, расслабленные после трудового дня органы восприятия телезрителей, как марсианская музыка, аранжированная обстоятельствами жизни, то бишь — местными телеумельцами, до определенной степени доступности: никто ничего не понял, однако все что-то такое ощутили. Да и как же иначе: задумчивый, сосредоточенный человек делился своею тайной — тайной творчества. Отдавал свое кровное на растерзание потребителей. Как сказал в «Чевенгуре» Андрей Платонов, «беседовать самому с собой — это искусство, беседовать с другими людьми — забава».

Итак — Андрюша отчитался, и камера поехала на меня. Стихи, которыми я собирался вернуть граждан Камчатки из области битовских грез в русло суровой действительности, выпархивали из моих разгоряченных уст одно за другим, и тут я на всем скаку остановился в чтении, едва не вылетев из седла, то бишь — едва не упав со стула, с запозданием сообразив, что никто меня в эфир давно уже не транслирует, что милая девушка-дикторша

успела шепнуть в микрофон: «Передача „Наши гости“ отменяется по техническим причинам», что во время чтения стихов из моего рта вместо очередной рифмы вылетела рыбная лососевая чешуйка (закусочно-свадебный сувенир) и опустилась на телеобъектив, сделав изображение волнисто-морозным, заиндевело-непотребным. И что на студию поступили возбужденные звонки от зрителей, в том числе и от одной влиятельной дамы, чьей-то высокопоставленной супруги, которой передача «Наши гости» показалась несколько странной и своеобразной, особенно после того, как я прочел стихотворение «Навеселе».

Навеселе, на дивном веселе
я находился в ночь под понедельник.
Заговорили звери на земле,
запели травы, камни загалдели!
А человек — обугленный пенек —
торчал трагично! И вне сознанья,
как фантастично был он одинок,
заглядывая в сердце мирозданья...
Навеселе, на дивном веселе
я спал и плакал, жалуясь земле.

Примечательно, что тогда же, в начале шестидесятых, этому стихотворению досталось и от «Вечернего Ленинграда». Фельетонист, проверяя функции одного из свежеиспеченных «Кафе поэтов» (угол Невского и Полтавской), наткнулся на сии аморальные вирши в книге автографов, я начертал их однажды на страницах гроссбуха по просьбе администрации заведения. В том же фельетоне, помнится, приводились выдержки из стихотворения-автографа Виктора Сосноры: «Пошел я круто — пока, пока! — прямым маршрутом по кабакам».

Короче говоря, камчатская передача «Наши гости» потерпела в Петропавловске шумное фиаско. И, главным образом, из-за того, что ее прервали на полуслове. Именно это и насторожило всех. А так ведь поди-разберись, кто у нас пьяный, а кто просто ненормальный или трезвый. И пошли толки: «Видели вчера по телеку: настоящие пьяные люди выступали?! Один со стула упал, а другой — в телекамеру плюнул».

Последовало официальное решение: гражданину Г. и гражданину Б. в двадцать четыре часа покинуть пределы Камчатки. Решение было категоричным, хотя и устным, исходило от секретаря по идеологии области. До милиции дело не дошло: вовремя улизнули.

Вероятно, заметили, что в своих «Записках» я совершенно не изображаю «окружающей обстановки», в частности — не выпячиваю камчатских красот природы, коих не счесть? За подобными деталями отсылаю вас к повести Андрея Битова «Путешествие к другу детства». А в мою задачу входят не столько объективные подробности, сколько субъективные частности, такие, как прозаик Андрей Битов и экстремальные условия жизни, вулканолог Генрих Штейнберг и саморегуляция научного честолюбия, стихотворец Г. Г. и отсутствие мировоззрения, а также немотивированное пьянство как следствие вышеупомянутого «отсутствия». И кое-что еще в том же духе. Но именно — в духе. Словом, книга сия вовсе не копилка примет, а скорее — коллекция признаков (не путать с призраками).

Скажем, на днях, придя к отцу, обратил я внимание на то, как захламлен его письменный стол. Стол бывшего учителя-педанта, дотошного некогда аккуратиста, на столе которого в свое время каждая бумаженция, карандаш или перышко, резинка или календарик, не говоря уж о книгах, коим всегда особые привилегии, все знало свое, строго им отведенное место, и вот, правда, на девяностом году,— беспорядок, запустение, насланное на всю обстановку в комнате отца недавней его болезнью. И только девять томов Владимира Соловьева высятся неровной лохматой стопкой у изголовья постели, переложенные закладками, испещренные восклицательными знаками и подчеркиваниями,— в них, в этих томах философа — судорожный поиск отцом Последней Истины, занесенной в мир Иисусом Христом и Его учениками-апостолами, апологетами и прочими исповедователями и толкователями, очарованными и разочарованными, воспарившими и тонущими в догадках и ощущениях, в сомнениях и надеждах, в опыте посторонних, давно исчезнувших с лица земли существ. Книги и еще... лекарства, которые будто бы необходимо принимать, но которыми отец чаще всего пренебрегает, как бы откладывая впрок. Остальное на плоскости стола — в состоянии хаоса. Время от времени отец извлекает откуда-то старинные фотографии, мятые, с обломанными углами, беспризорные — альбомов отец не признает. Достает фотографии и раскладывает их на столе поверх прочего праха. Своеобразный пасьянс из отгоревших и все еще тлеющих людских судеб.

И вот, придя в очередной раз к отцу, я застаю этот пасьянс неубранным. Мое внимание привлекла фотографическая карточка-визитка, на ней — лицо незнакомой девушки с темной косой, на лице вместо улыбки — тень страдания.

— Кто это,— поинтересовался я у отца,— вот эта... грустная?

— А-а,— улыбнулся он тотчас же после того, как я поднес портрет к его очкам.— Это Наташа. Моя довоенная ученица. Наташа Мандельштам. Погибла в блокаду. Или нет... Ее,

кажется, вывезли. Умерла где-то в Сибири. Кто-то сообщил, что умерла. Умница была необыкновенная. Однако приглядись: у нее лицо чахоточной. Не жилица. Сразу видно. В классе, когда все шумят или умничают,— не разобрать. А на фотографии обреченность сразу проступает, обозначается.

— Фамилия у нее известная,— замечаю.

— Она поэту Осипу Мандельштаму родная племянница,— уточняет отец.— Дочь брата. А как она читала пушкинский «Анчар» на встрече с Маршаком! Диву все давались... Кстати, с поэтом Заболоцким я вместе обучался в Герценовском. Только Заболоцкий на курс старше меня шел. Но все уже знали, что — поэт, хотя и не похож. Пушкин похож, Есенин похож, Блок... А Заболоцкий — больше на учителя. На простого человека.

Вот такие призраки своего времени, такие призраки с захламленного стола одной частной жизни.

Отважный Штейнберг, тайком от консервативно настроенного начальства, посадил нас в приданный его отряду биплан и переместил из Петропавловска в глубь Камчатки, к подножию Ключевской сопки. Там в распоряжении вулканологов помимо станции имелись жилые помещения, в том числе — маленькая гостиница, где мы сразу же стали играть на бильярде. Время от времени происходили землетрясения. Одно-два в сутки. К той поре мне уже доводилось живать вдали от так называемой цивилизации с ее дымными городами, например, я уже хаживал с геофизическим прибором по обгоревшим сопкам и мерзлотным болотам Северного Сахалина или в горах Верхоянского хребта Якутии, где якобы не ступала нога человека, поди проверь; и вдруг на самом краю континента, у входа, можно сказать, в трубу дымоходную Преисподни или в утробу земную, у врат, ведущих в пылающее лоно планеты, обнаруживается... бильярд! Правда, с металлическими стальными шарами, вроде подшипниковых, каких сейчас уже нигде не увидишь.

Вначале мне просто нравилось находиться в подобных малообитаемых местах, затем я совершенно искренне полюбил время, отпущенное судьбой для проживания среди этих остатков земной первозданности. Особенно восхищали безлюдные горы Якутии. Летом гребни их не слишком высоких гряд освобождались от снега, и тогда обнажались звериные тропы, утрамбованные миллионами бараньих копытц, топтавших на протяжении тысячелетий базальтовую твердь. По тропам можно было ездить на велосипеде или мотоцикле, если эту технику, скажем, сбросить туда с вертолета. Мне доставляло необъяснимое удовольствие — подобрать на тропе лежку покрупнее, этакую вмятину, осмысленный бараньим бытием горельеф, где снежный красавец с антеннами рогов отдыхает в своих переходах с одной горной цепи на другую, подобрать и вдруг самому лечь туда, хотя бы на несколько минут, свернуться клубком, поджав под себя ноги и руки, и так лежать, прислушиваясь к матери-земле, к небу, к прозрачным потокам, бегущим с водоразделов среди многочисленных каньонов Верхоянского хребта. В эти никем не нарушаемые мгновения сверхпокоя, когда разумные существа находятся от тебя достаточно далеко, а причисляемые нами за неразумных — помалкивают, занимаясь своим извечным делом, необъяснимый восторг причастности к чему-то торжественно-божественному, непреходящему проникал в клетки моего существа, пронизывая мозг, сердце, кровь, нервы радостью вечной жизни, и страх земной тщеты и бессилия отступал, уходя в глубь горы, тонул в ее недрах и гас в душе. Свистел ветерок над головой, маячили поодаль вершины, покрытые нетающими шапками, и вдруг, принимаемый за большую птицу, пролетал в стороне самолет, возвращая тебя к жизни сиюминутной. И ты почему-то не злился на этот самолет — нарушитель покоя, а правильнее — разрушитель твоих иллюзий, ты молча, с покорной улыбкой поднимался над тропой, чтобы идти дальше, твое сердце делалось на крупицу беспредельности мудрее, а значит, и добрее.

Иногда на тропе попадалось что-нибудь вещественное, не горное, а как бы постороннее, из иной субстанции сотворенное, скажем, обломок бутылочного стекла, втоптанный в тропу, будто вбетонированный в нее или впаянный, вваренный, и тогда я становился на колени и рассматривал это чудо, заглядывая в него, будто в глазок или окошко горы, а затем строил догадки, каким образом попало стекло на вершинную ниточку горного хребта, и проще всего было предположить, что порожнюю бутылку выбросил летчик из пролетающей «Аннушки», а если поднатужиться, можно было и допетровского землепроходца представить, и что стеклышко не социалистическое, не просто бутылочное, а штофное, и что землепроходец пил из квадратной емкости не лимонад, а нечто более экзотичное, литературное... Но проще всего было представить на тропе такого же, как я, современного работягу, геолога или коллектора, техника-взрывника или повара экспедиции, из чьих рук выскользнул на камни тривиальный сосуд. В выемке тропы, как в лотке старателя, если приглядеться, можно было обнаружить и другие приметы сторонних, отдельных от недвижно-молчаливого существования горного камня жизней. Так однажды я нашел зуб. Выпавший или выбитый. Бараний или человеческий. Желто-белой окраской выделялся он на серой поверхности пути. Поддев острием ножа, я извлек зуб из тропы: на утрамбованной глади образовалась характерная мизерная выемка. И чтобы не нарушать царившей вокруг отрешенно-возвышенной горной гармонии, я тут же присыпал выемку мельчайшим каменным прахом.

В том-то и дело, что сейчас уже нет на планете клочка земли, где было бы невозможно обнаружить отходы человеческой деятельности, на планете и в космосе — тоже. Мы искренне печемся о спасении Волги, Байкала, Ладоги, африканских джунглей и даже Антарктиды, а спасать, оказывается, нужно... всю Солнечную систему, а может, и Вселенную. От нас с вами.

Газеты сообщают, что в Китае рождаются дети-старички, которые за год жизни проходят весь цикл земного существования: болеют, вянут, теряют зубы, волосы, покрываются морщинами и сединой. И быстренько умирают. Скоростной, двадцатого столетия путь судеб, мини-бытие, кристаллизация функций, вытеснение, путем сжатия, механики духовности, деградация желез внутренней (мораль, совесть) секреции. Газеты сообщают об истончении охранного озонного слоя вокруг Земли, о засорении космоса астронавтами... И мы готовы сваливать и сваливаем вину за обрастание планеты гибельным мусором на эпоху научно-технической революции, на развитие научной мысли, а не на... распад в человеке совести, не на личностное одичание, не на обезбоживание морали в нашей среде, массах, исповедующих правила проживания командированных, как в какой-нибудь заштатной гостинице, правила, а не священную миссию Человекобога.

ПЕРЧАТКА КОСМОНАВТА

Потерянно я безучастно,
в астральной тьме вокруг Земли
плывет забытая перчатка —
одна в космической дали.
И мимолетные частицы —
пыль звездная, остывший жар,
нетленной вечности крупицы —
в нее втекают, как в ангар.
...Когда-нибудь заполнит небо
всю глубь ее,
отформовав
людской руки посмертный слепок,
Рукой Возмездия назвав.

Можно подумать, что, начав во здравие, кончаю за упокой в том смысле, что речь в начале главы шла о сверхискусстве, о верхолазах разума, об Андрее Битове, но ведь... и завершается сия речь в высших слоях: пусть в захламленном, униженном, однако же — в космосе!

У художников, подобных Битову, ярко выраженная тяга к суперискусству, у меня — тяга к этим художникам, ибо чары восхождения прелестны и манящи не только для восходителей, все еще обладающих крылатостью, но и — для тех, кто эту крылатость как бы утратил.

Взятые на поруки деловым, энергичным суперученым Штейнбергом, мы тогда еще долго блуждали по Камчатке и над нею, летая над вулканами в лабораторном биплане, заглядывали с незначительной высоты прямо в «дыхалку» очередного действующего и, помнится, пролетая над Карымским вулканом, полной грудью вдохнули пахнущий серой и чем-то еще замечательный выброс. Я даже стишок соответствующий сочинил, там же, на металлическом откидном сиденье отважной «Аннушки». И Андрюша Битов молча и сосредоточенно подивился моей вездепишущей способности, ибо где ему было знать, что утверждаюсь — в высших слоях, там, где ему уже не привыкать.

И все ж таки экспедиционные странствия сами по себе являлись для меня прежде всего продлением потребления свободы телесной, глотанием живительной влаги из того же ручья, из которого отхлебнул я на войне, как ни странно — в колонии, в бегах от начальства (армейского в том числе), от семьи, от себя грешного. И здесь — не издержки молодости, не ее пьянящие излишки, а нехватка поэтической убедительности в восприятии мира. Нехватка оправдания (средой, близкими, общественным строем) неиссякающего в крови восторга, нержавеющей, хотя и тускнеющей постепенно чистоты восприятия и вызревающего бескорыстия Любви ко *всему* вместе и через Любовь — *к каждому* в отдельности.

Именно через сию трудноутолимую жажду сверхсвободы, отрешенности от тривиально-повседневного, улично-конторского, служебно-иссушающего по прошествии некоторого времени вернусь я на Камчатку, где стану, с любезного согласия и позволения вулканологов, работать на отдаленной сейсмостанции, то есть — не просто забавляться стишками, но трудоустроиться и сосуществовать в пару с неизвестным мне человеком в бревенчатой избушке возле речки, битком набитой лососевыми: кетой, горбушей, неркой, кижучем, чавычей, гольцом, не говоря уж о кумже и хариусе, речки, по берегам которой ходили косолапой развальцей коричневые медведи, а рядом в долине пробивались из кипящей утробы земшара термальные ключи, образуя аккуратные ванночки и бассейны с подогретой минеральной водицей разновеликой температуры. Иногда в долину, где оборудована взлетная площадка, опускался вертолет или «Аннушка», из летательных аппаратов вы-

скакивали вулканологические девушки и юноши, а также начальство, мигом все раздевались и принимали ванны, не стесняясь ни медведей, ни лососей, ни оленей, приходивших из тайги к ключам полакомиться солью, ни, естественно, нас с напарником, кипятивших в таких случаях чай на всю купальню. Девушки плавали в теплых прозрачных водах, навевая мысли о счастье.

«Неизвестный» человек, с которым я вынужден был обитать в долине, являлся техником-сейсмологом и к стихам, которые я, отвернувшись от него к бревенчатой стене, то и дело писал, относился с прохладцей, а иногда — с раздражением. У него и своих забот хватало. Все правильно. Однако — пришлось объясниться. На кулаках. После чего стали друзьями. До конца сезона. Могли бы стать друзьями и на более долгий срок, но я уехал на материк. И посвятил ему стихи, не помню уже, какие именно. Во всяком случае, житие с неизвестным человеком несет в себе неизъяснимую прелесть открытия, куда большую, нежели посещение неведомых доселе материков и континентов, долин и вершин. Меня спасло именно то обстоятельство, что я уже неоднократно живал в условиях барачных, камерных, общажных. Поднимаясь на близрасположенную сопку, я как бы невзначай посматривал на юг, туда, где юго-западнее Камчатки лежал (или плыл?) похожий на ископаемую рыбину остров Сахалин, где принял я экспедиционное крещение, живя в землянках или кочуя в деревянной будке-балке, укрепленной на металлических санях, где на двухъярусных нарах плотно, кильками в банке, лежали мои напарники, в основном люди, что-либо утратившие,— профессию, семью, молодость, память, а иногда и фамилию. Их величали «бичами», бывшими людьми, а они по-прежнему умели плакать, улыбаться, жалеть, обижаться, постоять за себя и даже петь, хотя и теряли помаленьку способность читать, писать письма, размышлять «категориями», верить во всеобщий праздник земного рая, не переставая думать и заботиться о дне сегодняшнем, а также о чем-то еще... неясном, призрачном, таящем в себе какие-то все еще предполагаемые перемены и возможности. Вот «срез» поэтического впечатления тех лет, а точнее — 1958 года.

БЫВШИЕ ЛЮДИ

На тряских нарах нашей будки —
учителя, офицерье...
У них испорчены желудки,
анкеты, нижнее белье.
Влетает будка в хлам таежный,
все глубже в глушь, в антиуют...
И алкоголики тревожно
договорятся и запьют.
На нарах — ёмкостей бездонность,
посудный звон спиртных оков.
На нарах — боль и беспардонность,
сплошная пляска кадыков!
Учителя читают матом
историю страны труда.
Офицерье ушло в солдаты,
чтоб не вернуться никогда.
Чины опали, званья стерлись.
Остался труд — рукой на горле.
И тонет будка в хвойной чаще,
как бывшее — в происходящем.

Окончание следует

К 70-летию А. Д. Сахарова

А. Д. Сахаров

ЧЕТЫРЕ ИНТЕРВЬЮ

Два интервью из этой подборки не совсем обычны для Андрея Дмитриевича, особенно интервью Жанне Ависай. Она позвонила впервые ранней весной 1988 года. Я не отказала бесповоротно только из-за своей еще детской, из Коминтерновского дома, в котором росла, привязанности к болгарам. Это долго сейчас объяснять — мы росли интернационалистами, и имена Димитрова, Танева, Попова были так же близки нам, как собственные. Я сказала ей «когда-нибудь потом». Жанна звонила регулярно, и я все кормила ее этим «потом». За это время мы стали как бы знакомы. Она узнала мне адрес моей подруги детства — болгарки, живущей в Варне. Однажды она, чуть не плача, сказала, что срок ее пребывания в СССР кончается и она не может уехать, не повидав Сахарова. Я поняла, что уже нельзя отделываться «потом», и сказала «приходите».

В доме шел ремонт. Посреди комнаты стояла ванна, которую когда-то потом (тоже «потом») должны были ставить. На кухне сам по себе, приткнутый к стене, красовался умывальник. К столу можно было протиснуться только с одной стороны. И мы с А. Д., умученные ремонтной бесконечностью и нестерпимой жарой, не имели сил сопротивляться журналистской настырности. Может, поэтому в этом интервью А. Д. в каких-то личных областях оказался более раскрытым, чем обычно. Пили чай. У нас не было сил двигаться. Но говорить А. Д. еще мог. Да и Жанна как-то неожиданно, как и в телефонных контактах со мной, оказалась своей. Интервью оборвал приход Ковалева и Лары Богораз. Мне вспоминается, что они на фоне нашей грязи и усталости были какие-то свежие, отдохнувшие. Может, так и было. Летом же не у всех и не всегда — ремонт.

Второй раз Жанна пришла с какими-то самодельными, болгарской кухни плюшками, очень вкусными. Ванна уже стояла, где ей положено. Я после чая и плюшек почти отсутствовала. Что-то терла, мыла, скребла. Почувствовав, что ноги уже не стоят, а из рук все падает, я сказала «все». У меня осталась красивая болгарская пластиковая коробка с плюшками, которые на следующий день доедала зарождавшаяся тогда на нашей кухне «Московская трибуна».

Третьей встречи не было. Мы куда-то уехали. А потом уехала и она. Из СССР. Хороший человек Жанна Ависай. Теперь я счастлива, что пустила ее в дом и у меня есть пленки, где А. Д. усталым голосом рассказывает что-то, чего нет в его книге.

Интервью Марку Левину. Мы сидели на солнечной веранде высоко над морем. Вокруг были горы. Первый раз после Горького. У А. Д. было помолодевшее загорелое лицо (он всегда легко загорал). И я видела, что ему интересно говорить с молодыми людьми. Два часа были скорее отдыхом, чем работой.

О четвертом интервью — «Пятому колесу» Ленинградского ТВ — после Фридмановской конференции, проходившей в Ленинграде.

Андрей Дмитриевич был очень огорчен этим интервью, когда увидел его в эфире, потому что главным поводом для него было сказать о проблеме Карабаха — и именно эта часть была изъята. Только в наши дни эта тема стала как-то пробиваться в средствах массовой информации, но все равно с перекосами и недомолвками. Однако проблема Карабаха остается важной и актуальной до сих пор не только потому, что там гибнут люди, но и потому, что в ней начало всех трагедий национальных конфликтов, которые принято называть «периферийными»,— Нагорный Карабах, Абхазия, Фергана, Ош, Узень, Осетия...

Я рассказала, где и как давалось интервью. И мне кажется, что обстоятельства «места и времени» отражаются не только в их тональности, но и в содержании. Была теплынь. Была вера в пе-ре-строй-ку. Был 1988 год. До первой перекройки брежневской Конституции. И до того, как начались бдения в попытках разобраться в новом избирательном законе, который принимал старый Верховный Совет — под себя! Под себя!

Сегодня таких интервью не было бы. Сегодня...

16 января 1991 года

Елена Боннэр

ПЕРВОЕ НА СОВЕТСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ ИНТЕРВЬЮ ПРОГРАММЕ «ПЯТОЕ КОЛЕСО», ЛЕНИНГРАД

(эфир — 14 июля 1988 года, автор и режиссер Н. Л. Серова)

(Голос за кадром): Июль 1988 года. Гостиница «Ленинград». Академик Андрей Дмитриевич Сахаров дает интервью журналистам «Пятого колеса».

Сахаров: Мне довелось быть на конференции в Ленинграде, посвященной 100-летию со дня рождения Александра Фридмана. Это человек, который совершил выдающийся научный подвиг. С его именем связано возникновение концепции нестационарной Вселенной, нестационарности Вселенной. Это, так сказать, высший уровень динамизма материального мира, который стал доступен человеку после того, как в XIX веке мы узнали о том, что животный мир развивается, эволюционирует, что облик Земли меняется; были первые теории возникновения Солнечной системы и Земли, но Вселенная еще рисовалась как что-то постоянное. Даже Эйнштейн, создавший общую теорию относительности, применяя ее ко всей Вселенной в целом, считал, что с Законом сохранения энергии совместима только стационарная Вселенная, и поэтому он сначала посчитал идею Фридмана неправильной. Но он сумел понять, что на самом деле эта идея истинна, и публично в этом признался. Это признак его собственного внутреннего величия.

(Голос за кадром): В сборнике «Иного не дано», который выходит [1] в Москве в издательстве «Прогресс», опубликована статья Андрея Дмитриевича Сахарова «Неизбежность перестройки». Мы спросили у него: касался ли он в ней вопросов перестройки в науке?

Сахаров: Нет, я не касался вопросов перестройки в науке просто потому, что эта тематика освещена в некоторых других статьях, опубликованных в этом сборнике, в частности, в статье академика Гинзбурга и Франк-Каменецкого; последняя статья особенно острая и яркая, содержащая ряд очень интересных идей. Я как-то отделил себя от этих проблем, потому что мне казалось, что нельзя уже *все* написать. Я писал о других вещах. Я писал,— если говорить о том, чего нет в этой статье,— в «Книжном обозрении» [2], я писал о проблемах, связанных со свободой убеждений, освобождении узников совести. О необходимости изменения законодательства с тем, чтобы не было возможности преследования за убеждения. О необходимости изменения законодательства в отношении свободы выбора страны проживания. Писал также о необходимости гуманизации нашей системы мест заключения, пенитенциарной системы, которая является, с моей точки зрения, очень суровой, калечащей жизнь и нравственность людей, и нуждается, по-моему, в законодательном улучшении. Это относится не только к узникам совести, я надеюсь, что их не будет, а вообще ко всем заключенным.

(Я писал о двух очень острых национальных проблемах, о проблеме возвращения в Крым выселенных оттуда в 44-м году крымских татар и о проблеме воссоединения с Арменией Нагорного Карабаха, древней армянской области, которая по-армянски называется Арцах) [1].

Больший плюрализм экономики, большая самостоятельность государственных предприятий, более глубокая гласность. (Она хотя и существует, но по-прежнему, хотя бы потенциально, существует над ней контроль, какие-то отборы.) И больший идеологический плюрализм и шаги к большему политическому плюрализму — все это мне представляется очень важным.

[1] Иного не дано.— М., Прогресс, 1988, 680 с. (Сборник тиражом 50 000 экз. вышел к XIX Партконференции, июль, 1988 г.)

[2] Книжное обозрение, № 25, 17 июня 1988 г.

[1] Этот фрагмент не вышел в эфир 14 июля 1988 г., потому что руководство Ленинградского телевидения изъяло его перед выпуском. Сознавая, что цензурные правки нацелены на долгие дискуссии и затягивание времени — возможно, для выпуска компрометирующих А. Д. Сахарова материалов,— авторы программы пошли обдуманно на компромисс ради своевременного выхода интервью.

ИНТЕРВЬЮ БОЛГАРСКОЙ ЖУРНАЛИСТКЕ ЖАННЕ АВИСАЙ. МОСКВА

Интервью первое, июль 1988 года

Вопрос. ...Ваши друзья?

А. Д. Вы знаете, тут сложно. У меня, в общем-то, не все хорошо было в этой области, потому что я был очень замкнутым. В детстве, конечно, были друзья, мальчик, с которым вместе я учился,— я первые несколько лет учился дома, а не в школе, родители меня отдали в такую группу... ну, в домашнюю группу.

Вопрос. Это в каком городе было?

А. Д. В Москве, я родился в Москве, мой отец — преподаватель физики, и жили мы в Москве, в старом доме. Квартира раньше принадлежала родителям отца, то есть не принадлежала, а снимали они ее, а потом она стала коммунальной, но... много комнат разным семьям сахаровским принадлежало. И вот в одной комнате среднего размера и одной очень маленькой жила наша семья.

Вопрос. Вы были единственным ребенком?

А. Д. Нет, у моих родителей двое детей, два сына,— второй младше меня на четыре с половиной года, он сейчас жив. И меня родители отдали в группу, товарищем у меня был очень хороший мальчик, Олег Кудрявцев, он потом стал историком, он в детстве очень увлекался историей и как-то меня в гуманитарный мир ввел, в дополнение к миру физики и математики, который был более близок моему отцу. Большую роль в моей жизни играла бабушка — она была совершенно удивительной женщиной, у нее шестеро детей было, она такую огромную семью вела, после смерти мужа была центром семьи, но она и при жизни мужа была центром семьи на самом деле. Очень светлая, замечательная женщина... Семья была — трудовая русская интеллигенция, с очень четкой ориентацией на труд, на профессиональное высокое качество, на то, чтобы быть предельно честным, очень высоко ценить семью, свою родню, помогать друг другу. Один из моих дядей был очень активен политически, ну, не очень, а относительно; его одноклассники уговорили идти на юридический факультет, хотя на самом деле он очень был склонен к инженерным делам. У него судьба дальше была такая: один из его товарищей сбежал за границу, и он ему в этом помог (или же только не сообщил об этом) и был арестован в конце 20-х годов; через два года был освобожден, но уже на прежнюю работу не вернулся; стал чертежником. Жена его стала машинисткой, они жили в одной комнате в этой же квартире. Так что первый арест в этой квартире был в конце 20-х годов или в 30-м году. Потом его второй раз арестовали, и он был в ссылке, на Волге, работал на станции, измеряющей расход воды, и бакенщиком. (**Вопрос.** Вы были привязаны к нему?) Я его очень любил, он был совершенно замечательный человек, очень талантливый, бесконечно честный, романтичный, образец человеческой природы. Это мой

любимый дядя. Умер он таким образом: его потом арестонали во время войны еще один раз, и он умер в Красноярской тюрьме — от голода, по-видимому, умер. А жена его, любимая папина невестка, умерла уже в 74-м году.

Вопрос. И вы еще тогда осознали жестокость, несправедливость...

А. Д. Ну конечно, но это и кругом было, масса других случаев известна, и со стороны маминой семьи тоже были аресты, репрессии — все было. Там даже больше этого было: один из дядей погиб во время следствия, мы это знали; мамина сестра была арестована... а вот брат погиб. Много было...

Вопрос. А как шла жизнь в вашей семье, в вашем доме? Какие традиции?

А. Д. Традиции были такие, что папа все время работал. Он, кроме того, что был преподаватель, вел физпрактикум в Педагогическом институте, он все время писал. Он был автор замечательных книг: и научно-популярных по физике, и задачника, и учебника. Потом этот учебник, уже после его смерти, я вместе с одним из его друзей подготовил к новому изданию — это было уже в 62-м году. А еще через десять лет мы с ним же, с этим же человеком — его зовут Михаил Иванович Блудов,— подготовили новое издание, но оно уже не было принято к публикации, потому что в это время началась кампания против меня — в 73-м году. Традиции были — работа, работа папина. Мама не работала,— она раньше очень недолго работала, в молодости, а потом перестала. Папа все-таки по тем временам довольно много зарабатывал, но уже купить радиоприемник, например, мы не могли, или мотоцикл. (**Вопрос.** Не могли?) Нет, не могли, на это уже денег не хватало, но семья выезжала каждый год на дачу, это было очень радостно и хорошо.

Видел я — слышал, конечно, а не видел,— о голодающих, которые с Украины и из Центральной черноземной области пробивались в Москву; мальчишки, забивавшиеся в ящики для инструментов. Одного из таких мальчиков моя тетя, Татьяна Юрьевна,— с отцовской стороны,— подобрала, усыновила, у нее своих детей не было, потому что ее муж был душевнобольной; и она его воспитала, теперь он уже дедушка, этот мальчик, которого совершенно больного и умирающего она нашла где-то возле Курского вокзала,— тогда на улицах просто, в окрестностях вокзала, люди умирали, и по утрам собирали трупы.

Вопрос. Это вы видели сами?

А. Д. Я не видел, но я знаю об этом. И вот одним из этих мальчиков был Егор, потом у него нашлись родители, они остались живы, но он был практически все-таки одновременно и сыном моей тети. Он стал прекрасным электриком, механиком... Теперь очень старый человек.

Вопрос. Ваши родители были строги, наказывали вас?

А. Д. Меня просто совсем не приходилось наказывать, я так не хотел их огорчить, чтобы они резко со мной не говорили, что как-то... я был ужасно... не то чтобы послушным, но очень старательным мальчиком. Но вот приятелей у меня было мало, отчасти из-за того, что первые годы обучения были не в школе. В 5-й класс меня отдали... (**Вопрос.** Сразу в 5-й класс?) Да, сразу в 5-й класс,— первые четыре года я с Олегом и своей сестрой домашним образом учился. Вся наша семья очень любила художественную литературу, и моя бабушка читала нам всем книги с детства — мне и моей двоюродной сестре, которая жила в этой же квартире, она была старше меня на два месяца,— читала всю ту литературу, которую надо, наверное, читать юношеству, детям вернее. Я очень хорошо все это помню.

Вопрос. А что за школа была?

А. Д. Школа? Нормальная школа, хорошая школа. Сначала меня отдали в одну школу, в 5-й класс, но мои родители считали, что я по своей подготовке, да и по возрасту могу быть уже на класс старше, поэтому меня на второе полугодие взяли домой, и я полгода занимался с учителями за 6-й класс. И вот за полгода, очень интенсивно и на самом деле с очень большой пользой для меня, учителя меня выучили, и я сдал экзамен за 6-й класс и начал уже в следующем году учиться в 7-м классе.

Вопрос. И сколько вам лет было в 7-м классе?

А. Д. Это был 34-й год, мне было 13 лет. Папа со мной занимался физикой и математикой, по остальным предметам — учителя, некоторые из них стали большими друзьями нашей семьи. Ну вот одна из учительниц... такая одинокая,

несчастная женщина, нет, не несчастная, а одинокая женщина была... (**Вопрос.** Ну, одинокая и счастливая — вряд ли...) Не знаю, у нее была какая-то душевная жизнь, душевные стремления, так что несчастной ее тоже нельзя назвать, несчастные — это вообще люди без стержня в жизни, без какого-то духовного смысла. Она пыталась бежать из Советского Союза, мы об этом узнали, потому что она прислала откуда-то нам письмо. Она была схвачена на границе и осуждена на 10 лет без права переписки... Письмо было, видимо, выброшено из окна эшелона — такой треугольничек без марки, и больше от нее никаких сведений не было. Вот судьба моей первой учительницы. (**Вопрос.** Так что и с этим столкнулись?) И с этим столкнулся. Она хотела бежать по религиозным причинам, она была очень верующая.

А с Олегом я потом как-то связь потерял, а в 55-м году он умер от рака пищевода. Уже после войны мы с ним общались, но не очень часто, редко, к сожалению,— это моя вина, я не очень поддерживал связь с человеком, который должен был быть моим другом на всю жизнь. Несколько дней тому назад мне позвонила женщина, его жена,— он был женат, поздно женился и рано умер. Ну, конечно, были друзья дома, во дворе. В то время в жизни всех детей огромную роль играло общение двора...

Вопрос. А в каком краю вы в Москве жили?

А. Д. В центре, в районе... знаете такую Спиридоньевскую улицу, которая теперь улица Алексея Толстого, и рядом переулок Щусева... (**Журн.** Да, там Дом архитектора...) Там Дом Союза архитекторов, и там вот дом, в котором жили мои родители и я. Во время войны этот дом был разрушен немецкой авиацией, и мои родители были переселены на соседнюю улицу — улицу Алексея Толстого. Вот этот район — это самый центральный район, очень хороший, тихий довольно... (**Журн.** И одновременно в центре...) Тихий, в центре, очень мало движения, в детстве можно было подбегать к окну на каждую проходящую мимо автомашину.

Вопрос. Я хотела спросить, вы имели возможность шалить, играть вообще... (**А. Д.** Ну конечно.) Обычное детство было?

А. Д. Детство в этом отношении было обычное, хотя я не был очень шаловливым.

Вопрос. И какие у вас увлечения детские были? Игры какие-нибудь...

А. Д. Ну, игры, игры двора. У нас тогда были игры, в которые сейчас уже мало кто играет,— другие игры. Коллективные игры, с делением на две группы,— это была общая схема почти всех игр, в которые мы тогда играли: казаки-разбойники, флаги, лапта — вот такого типа игры были наиболее популярны тогда. Вообще двор играл огромную роль — это был такой мир... который был важнее, чем школа, в смысле детского социального общения... Там был у меня мальчик, началось, конечно, с того, что в первый день мы с ним подрались. Вообще я очень мало дрался... Вообще не дрался практически... (**Вопрос.** Это почему?) Да так, не получалось, вроде меня никто никогда не задирал, я был, видимо, довольно покладистый мальчик, ко мне всегда хорошо относились, как-то никто меня никогда...

Вопрос. Ну, наверное, они видели ваши способности?

А. Д. Ну, даже не поэтому, тут способности большой роли не играют, тут играют роль какие-то психологические особенности, я думаю. Способности у меня, конечно, были, но я был все-таки не первым учеником, а, скажем, вторым, третьим. Я сидел вместе на одной парте... сменялись, конечно, мои соседи по парте, но один из них был — сейчас стал известным кинорежиссером... (**Вопрос.** Кто это?) Михаил Швейцер. Он, например, поставил не так давно серию фильмов по «Маленьким трагедиям» Пушкина.

Вопрос. А вы с ним дружили или просто...

А. Д. После школы — нет, в школе дружили, но не очень, у меня другие друзья были, с этим мальчиком как раз не очень.

Вопрос. А тогда ваши литературные пристрастия уже определились?

А. Д. Я очень много читал, русскую литературу классическую — это больше всего от моих родителей, всю русскую классическую литературу, всю ее я любил, от Пушкина до Чехова, вот в этом интервале,— почти всего Пушкина наизусть знал, Некрасова очень любил. Поколение моего отца Блока очень высоко ценило,

я тоже его, конечно, любил, но для меня XIX век был ближе, чем XX. А совсем современную поэзию я не знал: Ахматову не знал, Пастернака не знал,— вот как-то из мира моей семьи эти люди, эти поэты выпадали, и я их уже как следует узнал тогда, когда стал мужем второй моей жены. Я учился на физфаке, потом, когда возникла угроза Москве, то нас эвакуировали в Ашхабад. Сам переезд был очень большой школой жизни психологически, и жизнь в Ашхабаде... это было трудное время, психологически трудное — и одиноко, и ничего я не знал о своих родных, и все не знали. Товарищ у меня был, еврейский мальчик, у него родители из западных областей, он ничего о них не знал, я думаю, что они погибли. Другой еврейский мальчик был у меня приятель со двора — он погиб во время войны... (**Вопрос.** На фронте?) На фронте, да, на фронте. Вообще вот мы нашли фотографию нашего двора, так там больше половины мальчиков погибло, которые сняты на этой фотографии,— почти все погибли.

Вопрос. А люди вам какими показались в Ашхабаде во время войны?..

А. Д. Они не очень дружелюбно относились к нам, речь идет, между прочим, о русском населении Ашхабада — туркмены вообще очень замкнуты, и мы с ними почти не контактировали, очень мало. Прямого контакта не было, так что как они относились, мы не знали. Я думаю, что не очень хорошо относились, но для них все русские, и приезжие, и неприезжие,— все это было чужое. Ну, кое с кем из туркмен я потом общался, прекрасные люди... это были высококультурные туркмены, желающие как-то поднять свой народ,— в каждом народе есть такие подвижники.

Вопрос. Учеба там шла напряженная?

А. Д. Всю зиму 41—42-го года там провели, прибыли туда в декабре, как раз в дни, когда началось наступление под Москвой. Все было внутренне напряжено, война была в такой трагической стадии, возникла надежда... я, собственно, с самого начала никогда не сомневался, что война кончится победой. Война очень большой патриотизм вызвала в стране, реальный, настоящий... и ощущение, что война кончится победой, по-моему, было у всех. Ну, теперь мы понимаем, что война вызвана... началась, в основном, из-за того, что наше общество представляло,— оно как бы вызвало огонь на себя, помогло приходу к власти фашизма, за счет того, что противопоставило коммунистам социал-демократию и не поддерживало ее... Кроме того, репрессии в нашей стране, голод... Это вызвало такой ужас во всем мире, раскололо антифашистскую коалицию.

Вопрос. А о размерах репрессий вы тогда отдавали себе отчет, что они такие огромные?

А. Д. Мы знали, мы понимали, что они большие, но размеры репрессий даже в 68-м году, когда я писал «Размышления о прогрессе», я еще не вполне представлял себе. Только вот уже в 70-е годы окончательно мне стал ясен весь масштаб репрессий,— ну, я так считал, что миллионы, конечно, все время считал, что миллионы... несколько миллионов, десять миллионов. Теперь уже называют гораздо бо́льшие цифры. Мне трудно сказать, я так и не знаю до сих пор — на самом деле чисел-то нет. Репрессии, жертвы от голода — все это вместе очень много. Голод — это ужасное преступление, мы знали о голоде, конечно, и знали, что людям ничем помочь нельзя. Но как они были изолированы умышленно, этого мы не знали.

Вопрос. И сколько человек от голода погибло?

А. Д. Мы и сейчас не знаем этой цифры, она не названа. Это опять миллионы — сколько миллионов, никто не знает. Но голод был на Украине и в Центральной черноземной области, и голод был в Средней Азии одновременно...

Да, ну так вот... во время войны я кончил университет в Ашхабаде, мне предложили идти в аспирантуру, по теоретической физике, но я хотел как-то более активным быть и попросился на военный завод, война была... Это практически был мой выбор, что я не пошел в аспирантуру.

Вопрос. А почему такой выбор сделали?

А. Д. Я считал, что это нужно, что это какой-то вклад — такая была логика. Но на том заводе, куда я сначала был распределен, меня не взяли и направили в Министерство обороны в Москву, где мне выписали направление на патронный завод в Ульяновск. В Москве я увидел своих родителей, они из разрушенного дома были переселены в ясли и жили там в одной комнатушке, вместе с другими

людьми из этого и других разрушенных домов. Потом им дали комнату в большой коммунальной квартире...

Папа был, как я сказал, физик, преподаватель физики и автор книг по физике. Наибольшую известность получил его задачник по физике, он огромное число изданий выдержал, но последнее его издание было в 73-м году, и все было обрезано — новое переиздание, тем, что моя фамилия стала не... фигурирующей, ее нельзя было выпускать. И эта тень упала уже на книгу моего отца, не только на ту книгу-учебник, где я участвовал в переработке, но и на задачник, который целиком был отцовский. Он тоже перестал издаваться. Но кроме того, что мой отец был физик, он еще был музыкант, он кончил Гнесинское училище, в Москве это очень известное музыкальное училище. В консерваторию он не пошел, но он очень много играл для себя, и сочинял музыку в молодости, и вновь вернулся к музыке в самые последние годы своей жизни.

Вопрос. И не занимался физикой?

А. Д. Нет, он физикой продолжал заниматься уже и будучи на пенсии. Он делал опыты, и даже в журнале «Успехи физических наук» была его статья незадолго до смерти. И он опять начал заниматься музыкой. Отец был, по-видимому, очень хорошим пианистом...

Е. Г. Он кончил Гнесинское училище с золотой медалью, и там, во всяком случае, до Горького, висела доска за многие годы существования училища, и в числе их отец Андрея Дмитриевича. Это до Горького мы видели...

Вопрос. Как — до Горького?

А. Д. Ну, до того, как нас сослали в Горький.

Е. Г. До ссылки. После Горького мы просто не выбрались туда. И точно так же на физическом факультете Педагогического института есть такая памятная доска: бывшие профессора там, фотографии со студентами... (**А. Д.** Да, мы там тоже видели...) И там тоже отец Андрея Дмитриевича.

А. Д. Он огромное количество лет преподавал в этом Педагогическом институте.

Вопрос. А мать имела на вас влияние какое-то?

А. Д. На меня максимальное влияние имел отец: есть семьи, где матери имеют большое влияние, а есть — где отец.

Вопрос. Обычно сыновья как-то с матерью больше...

А. Д. Да, это я знаю, это обычное явление. Но у меня как-то не так получилось. Тут также, наверно, играло роль... профессиональное. Меня отец учил — в тот период, я говорил, когда я переходил через класс, он был преподавателем физики и математики, вот тогда, наверное, я — или раньше — понял, что я способный человек к физике и математике, и как-то само собой получилось, что я поступил на физический факультет, хотя у меня были и другие какие-то интересы — микробиология (книга Поля де Крюи «Охотники за микробами» страшно увлекла), но это, наверное, было не так серьезно, как физика и математика.

Вопрос. Когда началась работа, среди каких людей вы оказались?

А. Д. Работа у меня очень поздно началась. Обычно люди начинают свою научную работу еще на студенческой скамье,— те, которые далеко пойдут. У меня это не получилось, первая моя научная работа не получилась, а уже в годы войны, когда я работал на заводе, я начал сам писать первые научные статьи — ни одна из них не опубликована, некоторые из них я послал в Москву Игорю Евгеньевичу Тамму в ФИАН, но они тоже не были поняты... наверное...

Вопрос. Вы в чем-то опередили?..

А. Д. Не то что опередил, просто это был поворот, такой поворот, который был далек от научных интересов тех, к кому эти работы попали. Ну, другого типа.

Вопрос. А поворот к чему это был?

А. Д. Ну, поворот в тематике, что ли,— в этом смысле. В последние месяцы войны я приехал в Москву и поступил в аспирантуру к Игорю Евгеньевичу Тамму, совершенно выдающемуся ученому, поразительно яркой личности, очень хорошему человеку, огромное влияние на всех своих учеников оказывающему, и психологически делал он из людей ученых — это совсем особый психологический склад, который требует особого настроя. Может быть, просто глядя на него... Игорь Евгеньевич всю жизнь работал, работал даже тогда, когда у него был рассеянный склероз... Он начал задыхаться, ему сделали трубку в горле...

(Е. Г. Трахеотомия.) Трахеотомия... и присоединили ее к аппарату искусственного дыхания, искусственных легких... и вот даже в этом состоянии, лежа на кровати, прикованный к дыхательной машине последние три года, он продолжал работать очень интенсивно, хотя, может быть, и не так продуктивно — в старости вообще это не всегда получается...

Е. Г. Он в это время, уже будучи парализованным, получил премию имени Ломоносова и доверил принимать ее... (**А. Д.** И выступать с докладом, который он сам написал...) Андрею Дмитриевичу.

Вопрос. Видимо, он очень любил вас?

А. Д. Он меня очень любил...

Е. Г. Это тоже последний жест такого большого доверия...

А. Д. Да, это уже незадолго до смерти. Но он и раньше меня очень любил. Совсем недавно мне переслали письмо... В нем говорится об одном из его первых учеников, к которому он был очень близок. Этот первый ученик был арестован и погиб в 30-е годы, как написали: «умер от охлаждения кожных покровов».

Вопрос. От охлаждения кожных покровов?

Е. Г. Ну замерз где-нибудь в лагере...

А. Д. Так вот, в этом письме родным этого человека он пишет: «...после у меня уже не было такого близкого ученика и такого выдающегося... Может быть, исключение составляет Андрей Сахаров». Это написано было в конце 40-х годов.

Вопрос. Это кто написал?

А. Д. Игорь Евгеньевич Тамм, академик Тамм. С ним я был очень близок с 45-го года до его смерти — она наступила в 71-м году.

Вопрос. Вы согласны рассказать что-то конкретное о ваших отношениях? Дистанцию он все-таки сохранял как-то?

А. Д. Нет. Нет, сейчас я скажу... дистанция была, но она связана с возрастом — это возрастная дистанция была. Это не то что он ее сохранял... она просто объективно существовала. Он старше меня на 26 лет... Он был примерно той же среды человек, трудовой русской интеллигенции, со всеми ее признаками характерными... Мы с ним были особенно близки и откровенны в период с 50-го по 53-й год: дело в том, что в 48-м году я был включен в его группу, уже после защиты диссертации (защита диссертации была в 47-м). Игорь Евгеньевич возглавил в Физическом институте такую специальную теоретическую группу, и я был туда, в числе нескольких других его сотрудников, включен. Это была группа, занимавшаяся термоядерным оружием. А в 50-м году нас, меня и его, перевели на так называемый «объект». Это совершенно секретное место, город, в неназываемом месте расположенный, где занимались работами по ядерному оружию — по атомной бомбе и по термоядерной бомбе. По термоядерной мы только начинали тогда, и вот период, когда мы были там,— это был период наибольшей близости. Весь день мы были вместе: утром завтракали вместе, вместе шли на работу, вместе обедали, и вечером вместе тоже проводили время, и разговаривали много, и играли в шахматы, в измененные шахматы. Игорь Евгеньевич был большой выдумщик в этом отношении, то есть он, может быть, просто знал разные варианты шахмат...

Вопрос. Вы любите, наверное, играть в шахматы?

А. Д. Нет, я не люблю играть в шахматы. Я играл раньше, а вот последние двадцать лет вообще не играю, мне это как-то стало тяжело... (**Вопрос.** Почему?) Ну, нагрузка такая психологическая и умственная. И, кроме того, я плохо играю — я еще поэтому перестал играть. Например, вот сын Люсин, Алеша, очень хорошо играет, но мне с ним просто... играть ни к чему.

Вопрос. А у вас была уже семья, когда...

А. Д. Да, я женился, когда на военном заводе работал, на лаборантке химической лаборатории. Она была из местных,— семья... городская, конечно, но с какими-то связями с деревней, отдаленными... Моя первая жена умерла в 69-м году от рака... У нас трое детей родилось — две дочери, а потом сын, в 57-м году, младший родился.

Вопрос. Где они — все здесь?

А. Д. Они все в Москве. Обе дочери получили высшее образование и обе работают. Сын не смог получить высшего образования, у него этого не получилось по ряду причин. Проделал несколько попыток: раз на физфак поступил, через полтора года был оттуда вынужден уйти; потом в медицинский институт поступил, но опять же... тоже не смог заниматься,— ну, это, наверно, ошибка была. Потом он опять вернулся на физфак, даже не на первый курс, а продолжение того, где он прервал, как-то ему там это удалось, я даже не знаю, но тут он совсем недолго продержался — несколько месяцев — и вынужден был опять уйти. Так что он не получил никакого высшего образования. У него также плохо с работой — это трудный случай, и помочь ему почти невозможно. Но посмотрим, как будет развиваться: если он будет работать, на любой работе, только работать, то я был бы этим счастлив. Конечно, обидно, что у него нет высшего образования, и ему обидно — это его как-то немножко и социально... ущемляет, что ли, но... я считаю, что это все-таки не самое главное, самое главное — это работать реально, зарабатывать на жизнь — все это, в конце концов, очень важно для семьи, тем более что он женился, у него мальчик родился в 81-м году. Потом он с женой развелся, и так он не работает... все сложно у них, плохо.

Вопрос. А вы дружны со своими детьми? Есть такой контакт, как у вашего отца?

А. Д. Нет, у меня контакт с ними плохой получился. Тут какие-то разные причины сыграли роль, но это, я думаю, результат каких-то ненормальностей предыдущей жизни. Ну, в общем, я не знаю,— плохой контакт... тут разные аспекты имеются с каждым из троих детей, они все друг на друга не похожи... Так что все это проходит совершенно по-разному: в разных формах, и разные причины, и разные содержания, но результат один и тот же — контакт, общение очень слабые, поверхностные.

Вопрос. А их мать была вам опорой в вашей работе, научной деятельности?

А. Д. Их мама, моя жена первая? Тут трудно сказать... Я был очень, так сказать, самоутвержденный человек, опора мне не очень-то была нужна, поэтому тут скорее обратная ситуация должна была быть, и она была в какой-то мере... Мы прожили двадцать шесть лет... Слово «опора» вообще тут неверно... У нас довольно трудные условия были, особенно в первые послевоенные годы — тогда они у всех трудные были, и были мы молоды в то же время...

Вопрос. Я из «Московских новостей» узнала, что вы в какой-то институт подарили значительную сумму?

А. Д. Да, я в 69-м году, в год смерти моей жены, подарил часть своих сбережений, ту, что у меня не в Москве, а в другом городе была,— это бо́льшая часть была — передал в Фонд Красного Креста и на строительство онкологической больницы, той, где теперь Онкологический центр, на Каширском шоссе, поровну...

Вопрос. Такую странную архитектуру имеет это здание, необычную...

А. Д. Необычную, да... это огромный онкологический центр...

Вопрос. И как далека наука от того, чтобы могла спасти человека от рака, очень далека...

А. Д. Ну, почему, наука очень сильно продвигается... вернее, медицина...

Вопрос. Нет, моя мама тоже умерла от рака... мне все это знакомо.

А. Д. Да, это вообще ужасная смерть и ужасная болезнь, но... все-таки жизнь больных очень продлевает своевременная операция и своевременные рентгено- и химиотерапия.

Вопрос. А скажите, вы человек очень равнодушный к бытовым вещам... (**А. Д.** Нет, не совсем, не совсем.) Вы как-то выработали это в себе?

А. Д. Нет, я не выработал...

Вопрос. Обстоятельства заставили?

А. Д. Нет, я не считаю, что я очень равнодушный... Например, я вполне доволен и для меня это небезразлично — то, что моя жена создает мне определенные условия и комфорт, и питание хорошее, она хорошо готовит и гордится этим...

Е. Г. По-моему, ты еще больше гордишься.

А. Д. И я горжусь.

Вопрос. А какая у вас кухня — армянская?

Е. Г. Нет, вы знаете, и не армянская, и не еврейская... (**А. Д.** И не русская.) и не русская — все вместе... (**А. Д.** Все вместе.) средняя российская еда.

(**А. Д.** Да, но причем не жирная...) Я хорошо готовлю, могу сказать... (**А. Д.** Не жирная и не острая.) Это признано всеми, по-моему. Я не люблю особенно острого... (**А. Д.** И особенно жирного) И жирное не очень люблю, и как-то так все в семье у меня приучены.

А. Д. Да, и дети, и я тоже к этому очень склонен...

Е. Г. Мы любим овощи... (**А. Д.** Оба.) Любим молочное — творог, сметану... Мы оба очень спокойно относимся к мясу, много мяса нам не надо... (**А. Д.** Я сам по себе считаю, что его почти может не быть.) Но ешь ты его хорошо.

А. Д. Ну конечно, ем, я не отказываюсь от него!

Вопрос. Что-то вы очень усталый...

Интервью второе, конец 1988 года

Вопрос. ...Как сформировалось ваше решение бороться с ядерными испытаниями?

А. Д. Тут много разных факторов было. Вообще в секретной работе я начал участвовать с начала лета 48-го года. До этого меня вызывали к какому-то начальнику, который находился в гостинице, соблазнял меня всякими хорошими условиями на этой работе, но я отказался, а потом Игорь Евгеньевич Тамм мне сказал, что ему поручили возглавить секретную группу и в эту группу также включили меня. Это было, по-моему, в июне 48-го года. С апреля 50-го года я уже работал не в Москве, а в специальном городе, и там же жил, и туда же Игорь Евгеньевич приехал, мы много общались, там такая у нас душевная близость возникла в этот период. И с самого начала было два, так сказать, противоборствующих настроения: с одной стороны, главным было то, что работа, которая нам поручена, необычайно важная, и она нужна для нашей страны, для того, чтобы было в мире равновесие сил; с другой стороны, все более и более нарастало ощущение того, какой это ужас, как это все страшно...

Вопрос. Ужас от того, что происходило в стране, или в перспективе?

А. Д. Нет, не в стране, а оттого, что оружие страшное, что страшная вещь ядерная война. Кроме того, мне стало ясно — не совсем самостоятельно, а под влиянием мировой печати,— что сами ядерные испытания тоже очень вредная вещь. Как известно, кампания против ядерных испытаний во всем мире началась после того, как японских рыбаков осыпали радиоактивным пеплом,— до этого, еще за полгода, в августе наше испытание проходило, оно тоже сопровождалось большим выпадением радиоактивных осадков, и эвакуация населения была проведена на большой территории,— это была очень тяжелая, трагическая операция... И я стал сторонником прекращения испытаний. Как известно, в начале 58-го года было принято решение... СССР односторонним образом прекратил свои ядерные испытания, а затем их возобновил осенью 58-го года. Я выступил за то, чтобы этого возобновления не было и чтобы советский мораторий на ядерные испытания 58-го года послужил бы началом всеобщего запрещения испытаний. С этим я поехал к Курчатову. Он уже был болен, у него перед этим был инсульт, он жил в своем домике на территории Института атомной энергии, который теперь носит его имя... Он меня очень внимательно выслушал, согласился со мной и поехал — полетел, вернее, хотя ему запрещалось летать на самолете,— в Крым, где в это время отдыхал Хрущев, и предложил Хрущеву не возобновлять испытаний осенью этого года. Но Хрущев очень на него рассердился за это, и с тех пор как-то усложнились отношения у Хрущева и Курчатова, а испытания были проведены. В 61-м году был эпизод, когда я во время совещания в Кремле обратился к Хрущеву с запиской не проводить ядерных испытаний, которые опять было решено возобновить, хотя в это время был мораторий, которого придерживались как Советский Союз, так и США и Англия... Но Хрущев считал необходимым возобновить их, и на мою записку ответил очень раздраженной речью. В 62-м году я вновь добивался того, чтобы не было испытаний очень крупного изделия,— считал их излишними с технической точки зрения. Там была

такая сложная история: должны были проводиться сначала испытания другого изделия, потом этого, и в случае удачи предыдущего это испытание можно было отменить, но его не отменили. Я звонил по этому поводу Хрущеву, Хрущев поручил разобраться другому члену Политбюро, Козлову. На другой день утром мне позвонил Козлов, но в это время срок испытания был перенесен на несколько часов, и когда я разговаривал с Козловым, самолет с этой испытываемой большой, очень мощной термоядерной бомбой на борту уже летел по направлению к цели. Остановить ничего было нельзя. Таким образом, я проиграл эту... битву, это было очень большое потрясение для меня, я почувствовал такое бессилие... В том же 62-м году мой сотрудник Виктор Адамский предложил мне воскресить старое предложение Эйзенхауэра о том, чтобы испытания были запрещены только в воздухе, в космосе и на воде. А под землей испытания оставались разрешенными. Это снимало проблему контроля подземных испытаний, которая тогда была еще более серьезной, чем сейчас. Ну вот, я с этим предложением поехал к министру, незадолго до этого эпизода с большим испытанием. Министр обещал это довести до сведения высшего начальства. Идея эта понравилась, и действительно, примерно через год было заключено соглашение о запрещении испытаний в трех средах. Так что я явился как бы одним из участников этого соглашения, передаточным звеном.

Вопрос. Вы сказали: «Я потерпел поражение, самолет с этой бомбой на борту уже летел». Я не могу себе представить, потому что далека от всего этого, но очень мне интересно, что испытывает ученый, когда знает, что потерпел поражение, а при этом он продолжает работать в направлении, которое усугубляет опасность. А вы сами как?

А. Д. Я продолжал работать, и работал по-прежнему очень интенсивно — это с 62-го года. А кончил я работать потому, что меня отстранили от работы — летом 68-го года, после того, как я опубликовал свой первый открытый политический трактат «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Эти шесть лет я работал, и в то же время у меня усиливались политические опасения, сомнения. Дело в том, что в нашем учреждении основные исследовательско-технические задачи на том этапе были решены — сейчас, наверное, какие-то новые вещи делаются,— но тогда мы считали, что некий этап завершен: была создана конструкция термоядерного оружия, создавались только его разные варианты, а центр тяжести был перенесен на военно-стратегические вопросы. Это очень страшная тематика, но для меня она была очень важной в смысле осознания того, что такое термоядерная война и чем она грозит человечеству. Кроме того, в это время происходили определенные политические события, мне предложили подписать письмо XXIII съезду КПСС против реабилитации Сталина,— это было письмо, подписанное двадцатью пятью деятелями науки, искусства, литературы. (Я там, между прочим, оказался в одной компании со знаменитой балериной Майей Плисецкой. Она тоже подписала это письмо.) Я ездил (это было в 66-м году) подписывать это письмо к академику Колмогорову, известному математику, но он отказался подписать, потому что... (**Вопрос.** А мотивы какие?) Его мотивом было то, что Сталин сыграл огромную роль в войне.

Вопрос. А из крупных академиков кто-то подписал, кроме вас?

А. Д. Сейчас я не помню. Я забыл список. Были, да, были крупные. Я не помню фамилий. Потом, все-таки это давно было — 66-й год. У меня где-то записано...

Вопрос. А вы тогда уже были трижды Героем Соцтруда?

А. Д. Да, я получил первую свою звездочку в конце 53-го года, в связи с испытанием в августе 53-го года. Вторую звездочку — в 56-м году — за подготовку испытания 1955 года. И третью звезду я получил в 1962-м году за то самое испытание, против которого я возражал, когда произошла стычка с Хрущевым. Вскоре после этой стычки было совещание, и Хрущев спросил, изменил ли я свою точку зрения о необходимости проведения испытаний, вернее, необходимости не проводить испытания. Я сказал, что я остался на прежней позиции, но я выполнял прямой приказ, таким образом участвовал в подготовке этого испытания 61-го года. И вот за эту свою работу я получил третью звезду Героя Социалистического Труда, мне ее вручал лично Хрущев уже в 62-м году.

Вопрос. В личной вашей судьбе тогда уже произошла та драма — болезнь супруги?..

А. Д. Нет, она заболела в 64-м году, а умерла в 69-м году. Тогда, когда я был отстранен от секретной работы. Так что писал я свое первое произведение при ее жизни. Я не знал, что у нее рак, мне сказали только в конце января 69-го года. Осенью 68-го года мы хотели поехать вместе с ней в санаторий и перед этим проходили подробное медицинское обследование, и у нее ничего не нашли. Это было в октябре 68-го года, а в конце декабря наступило резкое ухудшение, и она должна была лечь в больницу. В январе она лежала в больнице, и вот 25-го января мне сказали, что у нее неоперабельный рак. Я ее взял домой, и она еще была некоторое время дома... К ней приходила сестра, делала ей обезболивающие уколы, но этого было мало, боли все нарастали, стало очень тяжело ей, и в самых последних числах февраля я опять отвез ее в больницу, она уже понимала, что это что-то очень плохое, и тут ее состояние резко стало ухудшаться, и 8-го марта она умерла.

Вопрос. Значит, у вас совпали эти трудные периоды в вашей жизни — и в работе, и дома...

А. Д. В работе трудного периода не было, потому что в это время у меня работа кончилась... Я уже считал, что буду чем-то другим заниматься, чистой наукой, и я очень хотел заниматься чистой наукой. В последние четыре года работы на объекте я, так сказать, делил свое время, и это было у меня очень плодотворное время. В конце июля или в начале августа 68-го года мне сказали, что я не должен больше ездить на свою работу, а оформили меня потом на новую, в Физический институт Академии наук, то есть это была фактически не новая, а старая работа, потому что я там работал, а до этого учился в аспирантуре с 45-го по 50-й год. И формально там за мной сохранялось рабочее место, штатная должность, я считался как бы в командировке эти 18 лет... (**Журн.**— Длинная командировка!) Да, с апреля 50-го года по апрель 69-го года. Но фактически я уже перед этим полгода не работал. То есть у меня был такой период, что я нигде не работал,— с августа или с июля, с последних чисел июля 68-го года до апреля 69-го.

Вопрос. Я не хотела вас перебивать, но было бы интересно,— вы упомянули, что на этой секретной работе вы очень интенсивно работали. Что для вас значит — интенсивно работать?

А. Д. Интенсивно — это не означает, конечно, очень много времени. Я все время думал о научных, а в тот период не о научных, а, наоборот, о технических, изобретательских вещах. Так что просто я очень много сил этому уделял, и душевных, и физических — все, что было, так сказать...

Вопрос. А спали сколько?

А. Д. Спал я тогда вполне нормально: я довольно рано ложился, а вставал в семь часов, как положено, чтобы к девяти быть на работе.

Вопрос. А разгружались каким образом?

А. Д. Никаким. Это был период очень интенсивной работы. Ну, отпуск бывал, но как-то я не очень хорошо умел его использовать... Сил было очень много.

Вопрос. У вас было много поводов узнать людей, ситуации сложные...

А. Д. Да, сначала школьная, университетская среда, потом... для меня школой жизни была эвакуация...

Вопрос. Да — Горький...

А. Д. Нет, эвакуация из Москвы, когда во время войны университет перевели в Ашхабад. Затем завод, даже два завода: сначала меня направили в Ковров, а потом в Ульяновск, это такой своеобразный мир, большой мир... Еще в начале работы в Ульяновске я на какое-то время был послан на лесозаготовки — это уже деревня военного времени, очень страшная, такая тоскливая, убогая, никаких мужчин нету, бедность страшная... Потом работа на заводе, потом вот быт рабочего поселка, полудеревенского, затем Физический институт Академии наук: это аспирантура — такая яркая научная среда, яркие люди. Затем секретная работа, объект. Затем время общения с людьми общественно активными, как теперь говорят, диссидентами, причем я застал еще лучшее время, полное надежд и энтузиазма — это 70-й год, 71-й. Потом возникли разные психологические и прочие трудности в этом движении, что-то вроде раскола произошло, но это было потом. Потом период все нарастающих репрессий против диссидентского движения, очень много арестов, суды... люди очень себя по-разному показывали...

Вопрос. Это очень интересно — как себя показывали люди, какие у вас наблюдения?

А. Д. В основном, те, с кем я общался, героически себя вели.

Вопрос. Вы могли бы, не называя даже фамилий, просто поконкретнее...

А. Д. Ну почему не называя фамилий? Я познакомился еще в 70-м году почти со всеми основными диссидентами того времени, московскими, а потом и с украинскими, литовскими. Некоторые из них и сейчас около нас, наши друзья большие, вот, например, Юрий Шиханович [1]. Он принимал участие в «Хронике текущих событий» — такой был самиздатский журнал. Еще Сергей Ковалев [2]...

Вопрос. Это тот, который был в прошлый раз у вас, с женщиной,— не он?

А. Д. Да, с Ларой Богораз [3],— это тоже замечательная женщина, она вдова Анатолия Марченко [4]. Все это удивительные люди. Ковалев — он биолог, занимался приложением математических методов к биологии, потом устройством и функционированием клеточных медпрепаратов; у него много научных работ — около шестидесяти, но пришлось ему расстаться с научной карьерой, потому что он подписал письмо... я думаю, что в 69-м году... против психиатрических репрессий по отношению к математику Есенину-Вольпину [5]. Это письмо очень много народу подписало, и все, кто это сделал, столкнулись с репрессиями. Ковалеву пришлось уйти из университета, где он работал,— потом он работал уже на рыбоисследовательской станции, совсем не по специальности, и продолжал заниматься общественной деятельностью. В частности, когда был арестован один из диссидентов и ГБ объявило через него, что за каждый вышедший номер «Хроники текущих событий» будут обязательно арестовываться люди, Ковалев объявил, что будет издавать «Хронику текущих событий». Он это действительно делал около восьми месяцев, а затем в декабре 74-го года был арестован, осужден на семь лет заключения и три года ссылки и отбыл весь этот срок.

Вопрос. Отбыл полностью?

А. Д. Отбыл полностью, все десять лет. А потом находился под Москвой, работал пожарником, ночным сторожем. Вот сейчас он вернулся в Москву, получил разрешение вернуться в Москву. Его судили в Вильнюсе как раз в тот момент, когда мне должны были вручать Нобелевскую премию, но меня не пустили туда. К этому времени жена находилась на лечении в Италии — ей глаза лечили там, делали операцию, и она прямо из Италии поехала в Норвегию и там принимала Нобелевскую премию. Ее поездка в Италию — это тоже очень драматическая вещь, это вынужденная поездка была, потому что ее никто не хотел лечить здесь, и когда она легла в больницу, ее подруга предупредила ее: если ты здесь останешься, с тобой что-то ужасное сделают,— ей стало об этом известно,— что именно, я, говорит, не знаю, но уходи любой ценой.

Вопрос. А у нее какая болезнь глаз?

А. Д. Она была на фронте, и в октябре 41-го года у нее была тяжелая контузия. Она находилась в вагоне санпоезда, в вагон попала бомба, она была засыпана землей, контужена. И вот как результат контузии у нее развилась болезнь глазного дна, с множественным кровоизлиянием, ей угрожала слепота, она даже начала изучать азбуку Брайля, ей было запрещено иметь детей, запрещено учиться, но она всем этим пренебрегла...

[1] Юрий Шиханович арестован в сентябре 1972 г. Направлен в психбольницу на принудительное лечение. Вышел в июле 1974 г. Вторично арестован в ноябре 1983-го, освобожден в феврале 1987 г. В настоящее время — сотрудник Комитета по правам человека Верховного Совета РСФСР.

[2] Сергей Ковалев арестован в декабре 1974 г., освобожден в декабре 1984 г. Член Верховного Совета РСФСР, председатель Комитета по правам человека Верховного Совета РСФСР.

[3] Лариса Богораз была одной из 7-ми человек, вышедших на Красную площадь 25 августа 1968 г. 4 года ссылки.

[4] Анатолий Марченко — автор книг: «Мои показания», «От Тарусы до Чумы», «Живи как все». Погиб в Чистопольской тюрьме 8 декабря 1986 г.

[5] А. Есенин-Вольпин — поэт и математик. С 5 декабря 1965 года — инициатор демонстраций на Пушкинской площади «Уважайте свою Конституцию!». Автор первой брошюры «Как вести себя на допросах». Эмигрировал в 1972 г.

Вопрос. Она очень сильный человек?

А. Д. Да, она сильный человек, конечно. Она решила, что бессмысленна жизнь без детей, без учебы. Кончила институт, стала работать врачом, но с глазами у нее становилось все хуже и хуже, и развилась глаукома. А когда ей в 74-м году сделали тиреотоксикозную операцию, то развитие глаукомы приняло совершенно катастрофический характер, ей угрожала полная слепота (из-за подъема глазного давления отпадали все новые и новые клетки, а клетки сетчатки не восстанавливаются), так что у нее происходило сужение поля зрения, но в Москве ей лечиться не удавалось. И вот мы подали заявление на поездку в Италию, вызов ей прислала ее подруга, и началась десятимесячная борьба за ее выезд. За это время ее глаза становились все хуже и хуже, ей стали предлагать здесь лечить и оперировать, но мы уже не хотели отступать и в конце концов добились поездки в Италию. И вот прямо из Италии она поехала получать Нобелевскую премию и получала ее 10-го декабря, в то же время, когда в Вильнюсе происходил суд над Сергеем Ковалевым.

Вопрос. В Ковалеве чувствуется... сбалансированность какая-то...

А. Д. Да, он очень сильный человек...

Вопрос. А эта женщина — кто она?

А. Д. Лариса Иосифовна Богораз. Ее первый муж был Юлий Даниэль. Знаете вы эту фамилию, да? Это было знаменитое дело Синявского и Даниэля. В общем, Лариса с Даниэлем уже разошлись к моменту, когда Даниэля арестовали, но она это не афишировала, наоборот, она ездила к нему на свидания, потому что иначе к нему никого бы не пустили, кроме законной супруги. Поэтому они формально не разводились этот период, и она ему оказывала всю помощь, которая ему была нужна, и действительно была очень верным другом ему, хотя и не была женой. Затем, когда Марченко вышел из тюрьмы,— к этому времени и Даниэль вышел, но они уже не жили вместе,— как только Толя вышел, она стала его женой. Марченко к этому времени был автором книги «Мои показания», его скоро вновь арестовали, а Лара — Лариса Богораз, в 68-м году, уже после ареста Марченко, приняла участие в демонстрации на Красной площади по поводу введения советских войск — войск Варшавского пакта формально — в Чехословакию. И она была схвачена прямо на площади, так же, как все,— они там простояли одну минуту на Лобном месте,— ее сослали в ссылку. Так что она участвовала в таком историческом действии...

Вопрос. Сколько лет она была в ссылке?

А. Д. Три года. И в это же время кончился срок заключения Марченко, может быть, несколько позднее. Потом они вернулись сюда, но в Москву их не пускали, они стали жить в Карабанове под Москвой — больше ста километров от Москвы. 100-километровая зона, где не разрешают жить тем, кто находился в заключении — по какой угодно статье. У Марченко был режим специальный, его заставляли являться на периодическое освидетельствование, потом спровоцировали, будто бы он не явился, на самом деле он поехал с больным ребенком к доктору и из-за этого не явился на очередную регистрацию. Его вновь арестовали и судили, и он оказался в ссылке, туда же поехала с ним Лариса Богораз И вот они долгое время жили в ссылке, потом опять вернулись в Карабаново. Там Толя стал строить дом, но ГБ было очень недовольно им, ему предлагали уехать из СССР по израильскому вызову — в порядке воссоединения семей, как всех заставляют уезжать, но он отказался, сказал, что у него нет никакой семьи в Израиле, его семья вся здесь...

Вопрос. А Марченко — украинец?

А. Д. Фамилия украинская, да, он украинец. Он был вновь арестован и осужден на десять лет заключения и пять лет ссылки: в 80-м году он послал письмо в мою защиту, адресованное академику Капице, за это письмо ему и дали 15 лет заключения. Позже ему два с половиной года не давали свидания с женой, просто так, в порядке зверского поведения администрации лагеря,— два с половиной года он никого не видел, был в полной изоляции. И вот в этом состоянии он в августе 86-го года объявил голодовку. Об этом стало известно каким-то образом Ларисе... да,у него еще были очень большие трудности с письмами: письма его не доставлялись жене, и она по полгода, по году не имела от него ни одного письма. Но тут как раз пришло письмо, из которого она поняла, что он 4-го августа начал голодовку. В конце ноября к ней пришли из КГБ и предложили ей написать письмо, предложили подать документы на выезд, на эмиграцию в Израиль. Она, Лариса, отказалась писать это заявление, сказала, что она должна сначала посоветоваться с мужем. Это было в конце ноября 86-го года. А 9-го декабря ей сообщили, что ее муж умер. И она поехала в Чистополь (он находился в Чистопольской тюрьме). Никаких подробностей узнать не удалось. Мы не знаем, голодал ли он до последнего дня... Вот такая трагическая судьба. От Марченко у Ларисы остался сын, Павлик, очень хороший...

Вопрос. А в Горьком вы знали, что вас снимают, и вообще о всей этой клевете?..

А. Д. ...Снимали, причем скрытой камерой, и меня во время медосмотра сняли совершенно голого, и это показывали по всему миру, ну, в общем, развлекались как могли.

Вопрос. Это чтобы доказать, что вы в хорошем состоянии?..

А. Д. Кроме того, они эти фильмы продавали! Да, подставные агенты за огромные деньги... Эти фильмы — чисто жульнические, там разговоры со мной смонтированы так, как я на самом деле не говорил, искажена моя мысль очень сильно. Это ужасные фильмы. Подать в суд... но пока ничего не получилось с этим. Но вообще и по поводу Люси ведь были ужасные, совершенно клеветнические кампании...

Вопрос. Вы вместе с какого года?

А. Д. Вместе? С 71-го года...

ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «МОЛОДЕЖЬ ЭСТОНИИ»

Интервью было дано в Дагомысе во время работы 38-й Пагуошской конференции. Впервые опубликовано в газете «Молодежь Эстонии» 11 октября 1988 г. В беседе принимала участие Е. Г. Боннэр. Вел беседу специальный корреспондент газеты Марк Левин.

— *Одни говорят: «Эпоха Брежнева», другие говорят: «Эпоха Сахарова». Кто прав, Андрей Дмитриевич?*

— Я думаю, все-таки немасштабно давать эпохам имена конкретных людей. Поэтому мне кажется, что ни то, ни другое название не следует употреблять. Для нашей эпохи уже придумано точное название: «эпоха застоя», давайте так и будем ее называть. А как уж каждый человек действует в эту эпоху — отдельный вопрос.

— *Если государство — это аппарат насилия, то человеку в такой обстановке может оказаться не слишком уютно. Вы это испытали на самом себе... Так можно ли, с вашей точки зрения, найти пути гармонизации отношений индивидуума и государства, личности и общества?*

— Идеальная гармония всегда останется недостижимой, раз уж она — идеальная по определению. Но чем более демократично государство, тем тщательнее в нем соблюдаются права человека, чем больше оно является правовым, то есть чем строже и индивидуум, и государство подчиняются Закону (при любом положении этого индивидуума в обществе), тем больше приближение к гармонии. Законы, конечно, тоже должны быть демократичными.

— *Поскольку мы заговорили о гармонии, то, наверное, уместно вспомнить формулу Достоевского: «Красота спасет мир». Что может спасти мир сегодня? И — человека в мире?*

— В индивидуальном плане, думаю, тут важен некий моральный кодекс, личные качества и свойства, проявляющиеся в действиях людей, их активная нравственность. Что же касается глобальной ситуации, то, я считаю, мир нахо-

дится под угрозой в силу многих причин. Но все они резко обостряются из-за разделения мира на две конкурирующие (или противоборствующие, что еще хуже, опаснее) системы. Сближение этих общественно-политических систем (капиталистической и социалистической), их конвергенция — вот необходимое условие для устранения опасности, грозящей человечеству.

— Вы только что упомянули «активную нравственность». Какое содержание вы в это понятие вкладываете?

— Активную заботу о тех, кто рядом, и, по возможности,— активную заботу о тех, кто далеко от тебя. Но первое условие является обязательным.

Е. Боннэр: У Кайсына Кулиева есть такие строчки: «Легко любить все человечество, соседа полюбить сумей-ка!» Это я говорю в продолжение мысли Андрея Дмитриевича...

А. Сахаров: В нашей совместной жизни Елена Георгиевна не раз цитировала мне эти слова, и я теперь считаю, что именно под ее влиянием такая мысль стала мне более близкой, чем прежде, когда я был, скажем так, несколько абстрактен.

— Тем не менее вы, Андрей Дмитриевич, всегда были очень активным деятелем. Будь то наука, общественная практика... Делали вы и атомную, и водородную бомбы, это тоже общеизвестный факт. А вы никогда не сожалели, что оказались причастным к этому страшному оружию? Хотя какое оружие бывает не страшным...

— Сначала фактическая справка. Я был привлечен к секретной работе в 1948 году — для работы по созданию термоядерного оружия (а не просто над атомным, технически эти две вещи принято различать). Оно было еще более страшным, чем то, которое оказалось примененным над Хиросимой и Нагасаки... Так вот. Мы (а я должен говорить здесь не только от своего имени, потому что в подобных случаях моральные принципы вырабатываются как бы коллективно-психологически) считали, что наша работа абсолютно необходима как способ достижения равновесия в мире. Отсутствие равновесия очень опасно: ту сторону, которая ощущает себя сильнее, оно может толкнуть на скорейшее использование собственного временного преимущества, а более слабую сторону оно может толкнуть на авантюристические, отчаянные шаги, чтобы использовать время, пока преимущество противника не слишком велико. Так я продолжаю думать и сейчас. В конечном счете, работа, которой мы занимались, была оправдана так же, как работа, которую вели наши коллеги на противоположной стороне. Все-таки мы можем сказать, что мир удержался от сползания к гибели, к ужасу Хиросимы и Нагасаки, и удерживается вот уже более сорока лет. Но ведь всегда неправильно для человека сохранять одну и ту же позицию или оценку вне движения, изменения времени. Ты, Люся, как-то приводила слова Томаса Манна...

Е. Боннэр: Он говорил, что не чем иным, как исторической глупостью, нельзя назвать упрямое отстаивание человеком какой-то своей точки зрения или доктрины — невзирая на изменения общественных исторических условий.

А. Сахаров: Мне кажется, что в своей жизненной линии я пытался избежать этой «исторической глупости». Слово «историческая» звучит несколько высокопарно, но судьба моя была в каком-то смысле исключительной. Не из ложной скромности, а из желания быть точным замечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне собственной судьбы и при этом избегать соблазна вот такой «исторической глупости».

— А вообще в судьбу вы верите?

— Я почти ни во что не верю — кроме какого-то общего ощущения внутреннего смысла хода событий. И хода событий не только в жизни человечества, но и вообще во вселенском мире. В судьбу как рок я не верю. Я считаю, что будущее непредсказуемо и не определено, оно творится всеми нами шаг за шагом в нашем бесконечно сложном взаимодействии.

— Если я верно понял, то вы полагаете, что все не «в руце Божьей», но «в руце человечьей»?

— Тут взаимодействие той и другой сил, но свобода выбора остается за человеком. Потому и велика роль личности, которую судьба поставила у каких-то ключевых точек истории. Личная судьба отчасти тоже предопределена, отчасти — нет. Мне, к примеру, несколько раз предлагали участвовать в работах над ядерным оружием...

Е. Боннэр: Добровольно участвовать! Предлагались научная свобода, житейский комфорт, материальные блага...

А. Сахаров: Да, добровольно участвовать... Но всякий раз я отказывался. Однако моя судьба меня догнала... И уж когда меня к этой работе привлекли (а мы, повторяю, считали ее важной и нужной), тогда я стал работать не за страх, а за совесть — и очень инициативно. Хотя не могу скрыть и другой стороны дела: мне было очень интересно. Это не то, что Ферми называл «интересной физикой», тут интерес вызывала грандиозность проблем, возможность показать, на что ты сам способен,— в первую очередь самому себе показать. Так уж устроены ученые. Я хочу добавить, что все это разворачивалось на фоне, определявшемся еще очень свежей памятью о страшной войне, только что завершившейся. Я в той войне не участвовал, и теперь тут была моя война. Как бы война...

Е. Боннэр: Разве работу на оборонном заводе, где ты был во время сражений, следует сбрасывать со счета?

А. Сахаров: Это все же был другой уровень. А теперь я оказался на самой передовой линии. Позднее я даже пошутил, что если уж нас награждать Золотыми Звездами, то — как Героев Советского Союза, а не Героев Социалистического Труда, потому что приходилось брать на себя большую ответственность за технические и за политические решения огромного значения. А для этого требовалась смелость...

— Значит, вы уже тогда сознавали, что политическая значимость ваших исследований, экспериментов, испытаний непреходяща? Что ваша бомба может изменить политический и психологический климат на Земле?

— Не совсем так. Полнота понимания этого пришла позже, где-то в середине пятидесятых годов, в районе второго термоядерного испытания. Но я хочу еще рассказать о нашей психологической мотивировке.

Она, конечно, менялась и у меня, и у Игоря Евгеньевича Тамма (академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, Нобелевский лауреат.— *М. Л.*). Хотя он был гораздо старше, мы были близки. Мы работали тогда в закрытом городе, очень много общались и, кажется, легко понимали друг друга.

— Как вам там жилось?

— С утра шли на работу, за завтраком, обедом и ужином вели беседы на вольные темы, а после рабочего дня я приходил в коттедж Игоря Евгеньевича, и мы вели разговоры по душам. Так у нас с ним продолжалось три года, потом ему разрешили вернуться к науке, и это было правильно, он к этому был наиболее приспособлен. А я остался. Еще очень драматические события в разработке наших изделий ждали впереди. В Москве я бывал не часто, но всякий раз приходил к Игорю Евгеньевичу, наши отношения оставались близкими. Хотя я с течением времени как-то дальше эволюционировал...

Е. Боннэр: Игорь Евгеньевич был гораздо старше, тут-то эффект возраста и сказался. Ведь он был из поколения «отцов» по отношению к Андрею Дмитриевичу и, как всякий старший, мог эволюционировать до какого-то предела...

А. Сахаров: Верно. Однако он продолжал относиться ко мне с уважением. Я думаю, он просто любил меня.

Е. Боннэр: Знаете, когда Игорь Евгеньевич получил Ломоносовскую премию, он уже был тяжко болен, не мог двигаться... Но из большого количества своих учеников он именно Андрею поручил представлять его на церемонии вручения...

А. Сахаров: Не потому, что у меня красивый голос, он как раз некрасивый...

Е. Боннэр: И не потому, что у Сахарова были Звезды Героя. Нет, выбор Игоря Евгеньевича был основан на внутренней близости, и это ощущалось.

А. Сахаров: И сейчас ее ощущаю. Ну, вернемся к мотивировке? Я однажды признался Игорю Евгеньевичу, как мне тяжело, мучительно сознавать, каким ужасным все-таки делом мы занимаемся. Он очень чутко воспринял мои слова, хоть они и были для него неожиданными. Ведь нас захватывало ощущение масштабности, грандиозности дела, которым занимались. Я сейчас вспомнил слова Эйхмана о том, в каком он был восторге, узнав, что именно ему, простому выходцу из германской деревни, доведется исполнить такую крупную акцию... Этот

ажиотаж и эта гордость за масштаб, видимо, свойственны людям, хотя я и надеюсь, что параллель с Эйхманом очень, очень частичная...

— И после того разговора с Учителем вы, Андрей Дмитриевич, стали понимать свою работу иначе?

— Точнее, стал воспринимать ее многограннее. Само присутствие на испытаниях подводило к этому. Впечатления от них были двоякого рода. С одной стороны, повторю, возникало ощущение колоссальности дела. С другой, когда все это видишь сам, что-то в тебе меняется. Когда видишь обожженных птиц, бьющихся на обгорелых пространствах степи, когда видишь, как ударная волна сдувает здания, будто карточные домики, чувствуешь запах битого кирпича, ощущаешь расплавленное стекло, то сразу переносишься в мыслях ко временам войны... И сам момент взрыва, ударная волна, которая несется по полю и прижимает ковыльные стебли, а потом подходит к тебе и швыряет на землю... Все это производит уже внеразумное, очень сильное эмоциональное впечатление. И как тут не задуматься об ответственности?

— Прежде я представлял себе весь этот ужас только умозрительно: неприятно же думать, что где-нибудь нажмут кнопку, на твою голову свалится с неба вот такая штука — и все разом кончится... Теперь я вижу это куда предметнее. А там ведь было много людей...

— В нашем городе все строительные работы до 1953 года исполнялись руками заключенных. И мы все, конечно, понимали, что творится страшная жестокость, несправедливость по отношению ко многим из них... Мы ими, правда, не командовали, но общались с теми, кто теми людьми командовал. Этот фактор имел значение опять же двоякое, как ни странно. С одной стороны, раз такие жертвы приносятся, то нам следует их оправдать результатами работы. Мы же не могли позабыть о тех, кто трудится на урановых рудниках, о тех, кто на рассвете под нашими окнами проходит в колоннах в сопровождении овчарок... С другой стороны, нужно было задуматься: а что ты сам делаешь, не участвуешь ли и ты в страшном преступлении? Значит, нужно так мобилизовать себя, чтоб твои занятия не оказались преступными.

— Я вот о чем подумал, Андрей Дмитриевич. Наше государство стало с бомбой сильнее. Но ведь оно стало и жестче по отношению к человеку... Я не хочу сказать, что оно стало беспощаднее, оно никогда особым милосердием не отличалось, но простые люди эту жесткость сразу на себе почувствовали...

— Эта новая жесткость — не совсем однозначная вещь. Ведь когда некто загнан в угол, находится в безвыходном положении, тогда он наиболее агрессивен и авантюристичен. Так что до известного предела наличие у Советского Союза ядерного оружия приводило не к большей жесткости, а, наоборот, к большей мягкости. Вспомните, СССР после смерти Сталина смягчал свою политику. Это-то и было главным фактором, а стало бы подобное возможным без термоядерного оружия, трудно утверждать. Этот процесс был неоднозначным (вспомним кубинский кризис), но мы же не знаем, как развивались бы события, не будь Советский Союз должным образом вооружен... Я не уверен, что внутренняя и внешняя наша политика оказалась бы в этом плане более мягкой. Я даже больше скажу: я практически убежден, что нет, не оказалась бы. Хотя мы и лишены возможности проводить такие эксперименты над прошлым: историю дважды проиграть невозможно. Однако важнее думать о будущем, о том, как станет развиваться наше настоящее.

— Вы имеете в виду перестройку?

— Я считаю, что за самые последние годы у нас произошли важные сдвиги, получившие название перестройки. Эти сдвиги были подготовлены предшествующими периодами и, в том числе, позицией тех людей, которые уже тогда утверждали, что дальше так развиваться нельзя, что страна на тупиковом пути в очень многих отношениях. Теперь это уже совершенно ясно всем, кроме крайне правых деятелей, которые все еще, к сожалению, обладают немалой властью в нашей стране. Если говорить о сегодняшнем дне, то я думаю, что воплощение идей перестройки — вот спасение не только Советской страны, но и всего человечества.

— Однако до этой мысли не так-то просто, как говорится, дозреть. У нас еще не все до нее доросли, и вам лично пришлось дорого за нее платить... Но вы-то смогли не отступиться, а как простому человеку, не академику, не лауреату всех мыслимых и немыслимых премий, «не потерять лица»? Ведь он-то остается в таком случае один на один с государственной машиной, с ее отлаженным аппаратом...

— Я сначала скажу о себе и о своей жене. Нам-таки досталось довольно сильно, несмотря на все регалии. Регалии скорее отсрочили то, чему суждено было выпасть на нашу долю, но не отменили. А кроме того, произошло следующее: главный удар, центр давления оказался перемещенным, направленным не столько против меня, сколько против моей жены, косвенно — против ее детей. Это была весьма хитроумная тактика, ставившая меня в очень трудное психологическое положение и необычайно тяжелое для Елены Георгиевны. От нее потребовались совершенно исключительные волевые качества. И, мне кажется, она их проявила, да к тому же сохранила меня тем, чем я должен был быть. Так что нам пришлось очень непросто. Что же касается нормальных людей, «неакадемиков», то мы знаем: им действительно достается очень тяжело. В то же время многие все-таки выдерживают, сопротивляемость человека необыкновенно велика. Но само понятие «нормальный человек» — бессодержательно, люди обладают широчайшим диапазоном свойств — от безграничной подлости до безграничного самопожертвования. И мы убедились: даже в самые мрачные эпохи людям удается сохранять свое достоинство. Но это требует от них жертв.

— Вот только хочется, чтобы хоть дальше сохранение достоинства не требовало такой тяжкой дани.

Е. Боннэр: Мне сейчас пришла на память фраза из брехтовской пьесы о Галилее. Там ученик замечает: «Несчастна та страна, у которой нет героев». А Галилей возражает: «Нет! Несчастна та страна, которая нуждается в героях!»

— А наша страна...

А. Сахаров: ...Всегда требовала героев. Но кроме героев она также требовала людей, которые просто сохраняют свое достоинство, которые умеют отыскать достойную линию поведения — в работе, в помощи кому-то конкретно. Такая позиция все же почти всегда возможна. Конечно, в нашей стране довольно часто возникала и такая ситуация, когда человеку приходилось выбирать: стать героем или подлецом?.. И тем не менее достойные всегда у нас находились. Я и сам не раз в этом убеждался, и Елена Георгиевна о том же рассказывала — уже из своей практики...

Е. Боннэр: Я по профессии педиатр и долго преподавала в медицинском училище. Я знала в Москве одну женщину — инспектора детской комнаты милиции, куда приносили и привозили совсем маленьких, грудных еще детей. То ли их бросали, то ли забывали родители, но малыши были замерзшие, некормленные, а порой — умирающие... Каждому из подобранных младенцев эта женщина готова была отдать все сердце. Казалось бы, можно и очерстветь на такой работе, а вот она не переставала тратить на них душу. Это не герой, просто человек с достоинством работает.

— Но откуда же, в чем черпать силы, чтобы сохранять достоинство?

А. Сахаров: В себе.

Е. Боннэр: В себе. Но и семью нельзя сбрасывать со счетов. Все главное, все ценное, что есть в жизни — и в духовной, и в общественной,— все берет начало в семье.

А. Сахаров: Отсюда, между прочим, и консервативность нравственного типа общества: оно медленно меняется. Я бы сказал еще острее: оно медленно меняется к лучшему. В плохую сторону можно изменить его очень быстро. И эту направленность на плохое трудно преодолевать. Когда совсем юные наши сограждане нацелены на карьеру, так сказать, любой ценой, то это уже сигнал тревоги. Потому что готовность платить любую цену означает, в сущности, глубокое безразличие, равнодушие к другим людям — ко всем, кроме себя. Эта тенденция, к сожалению, у нас широко распространена. Изживаться же она способна лишь медленно. А главная опасность в том, что она может вообще не изживаться.

— В таком случае, что является, с вашей точки зрения, наиболее сильным развращающим фактором? Ведь о нравственном разложении в обществе (и общества) мы теперь много и с болью говорим...

— Самое опасное для молодежи — ложь, общественное лицемерие. Когда лгут все — общественные, молодежные лидеры, родители... Этот фактор действовал у нас долго, и потому можно сказать, что общество в какой-то мере больно: оно отравлено ложью.

Е. Боннэр: Возможно, я не права, но мне кажется, что большинство молодых людей у нас сейчас, внутренне отвергая ложь, отворачивается от общества взрослых. Они отрицают его и в социальном плане, и в семейном... Но это не значит, что такие ребята — плохие. Думаю, если общество преобразуется к лучшему, они тоже изменятся.

— Эти надежды вы, Елена Георгиевна, можете чем-то обосновать?

Е. Боннэр: У меня большой опыт работы с подростками. В нашем медучилище большую часть учащихся составляли девочки из малообеспеченных семей, из неполных... И говорить с ними о высоком, о духовных ценностях было поначалу не так-то просто. Но все же... Если попытаться научить их что-то любить, то из этого «что-то люблю» всегда вырастает потом че-ло-век... Мы с ребятами в училище занимались поэзией, музыкой, словом, всем сразу. Причем в основном это были те учащиеся, кого по разным причинам собирались исключать. Они в уборной курили, под лестницей пили, и мы проделали довольно большой путь, прежде чем стали лучшим коллективом художественной самодеятельности в медсантрудовской системе Московской области, ездили по стране с большими представлениями, даже ставили «Голого короля» Шварца. Мы научились говорить друг с другом обо всем, и уже не было равнодушных ни друг к другу, ни к тому, что происходит вокруг. Эти отношения сложились уже на всю жизнь. Но я не боялась вводить их и в свой дом, и в дома наших друзей... Коротко говоря, всегда важно, чтобы нашелся хоть один взрослый, который отыскал бы то светлое в ребенке, за что можно зацепиться. Не важно, что конкретно это будет — страсть к року или к абстрактному искусству. И так же не важно, любишь ли ты сам рок-музыку или предпочитаешь «Франческу да Римини»... У нас же достаточно неравнодушных людей, которые могут понять молодежь.

— Так сегодняшние молодые не отпугивают вас?

А. Сахаров: Сегодняшние молодые — нет. На меня нагоняет ужас то поколение, которое им предшествует, поколение 30-летних. Эти видели, но не отвергали ложь, принимали фальшь... Чрезвычайно важно, чтобы лицемерие у нас больше не восторжествовало. Это было бы катастрофой, психологической трагедией, из которой выйти будет безумно трудно... А сейчас много людей обнаружилось, которым честность дорога.

Е. Боннэр: Мы с Андреем Дмитриевичем несколько раз бывали на митингах или собраниях на Пушкинской площади в Москве. Там все делала молодежь и вокруг тоже была молодежь. С длинными волосами, в невообразимых майках...

А. Сахаров: У кого-то из юношей я даже серьги в ушах заметил... Но ведь это все — мишура...

Е. Боннэр: Там были светлые ребята! Помните, у Друниной есть стихи: «Мы тоже пижонками слыли когда-то, а время пришло — уходили в солдаты»? Эти ребята, по-моему, вполне готовы идти в солдаты перестройки, новой жизни. Как и юные из ленинградского общества милосердия, как эстонские «зеленые»...

А. Сахаров: От этого возникает ощущение надежды, тем более необходимой, что есть в обществе и другое ощущение — неустойчивости. Реально-то пока мало что изменилось. Это значит, что старый аппарат, долгие десятилетия обладавший властью, срывает перемены, он свою власть не отдает. И более того: он пытается идти, переходит в контратаку. Разве не контратака — такой неразумный налог на выручку кооператоров, буквально выбивающий у них почву из-под ног? Частично это пересмотрено, но лишь частично... Госзаказ душит государственное предприятие — тоже форма контратаки. Меня очень пугает, что на партконференции было слишком много людей, настроенных против гласности, она им не по нутру — это тоже вполне реакционно. Вот почему не проходит ощущение шаткости наметившихся перемен, не исчезают опасения, что произойдут такие компромиссы, которые окажутся губительными для перестройки. В этом смысле и Карабахская драма — не исключение. Там решения областного Совета оказались неуслышанными. И последовавшее обсуждение этого вопроса на заседании Президиума Верховного Совета СССР вызвало у меня глубокое разочарование.

— Видимо, здесь мог бы помочь реализованный на практике принцип федерализма?

— Только федерализм! Подлинный союз республик, больших и малых, но — равноправных. Тогда лишь за фасадом громких слов о дружбе народов будет реальное наполнение, реальное и демократическое. Что же касается решения проблемы Карабаха, то давайте вспомним известное положение марксизма, гласящее, что народ, удерживающий в подчинении другой народ, и сам не может оставаться свободным. Сейчас мы видим два потенциально передовых отряда перестройки — Армению и Эстонию, и то, что в Эстонии происходит, я думаю, в интересах всей страны, а не только одной этой республики. Хотя здесь тоже нужна строгая взвешенность, обдуманность...

— Наверное, авторитет Сахарова — весомый аргумент за такой подход. Однако простите за следующий вопрос, если он покажется бестактным. Ведь «академик Сахаров» — это уже не только человек, но — в нашем общественном сознании — это уже и понятие. Как вы сами ощущаете? Легко ли вам быть «АКАДЕМИКОМ САХАРОВЫМ»?

— Легко ли мне быть понятием? Конечно, это внутренне ложное положение. Пастернак говорил: «Быть знаменитым некрасиво»,— и был прав, это действительно очень некрасиво. Я стараюсь всячески гнать от себя ту психологическую отраву, которая с этим связана. Не знаю, удастся ли мне это? Частично, вероятно, удастся, какие-то иммунитеты у меня есть.

— Ваша слава — и «проклятия», изрыгавшиеся рупорами недавнего официоза: как вы переносили и то, и другое?

— «Проклятия» больше всего падали на мою жену. На ее долю выпала чудовищная масса грязи и лжи...

Е. Боннэр: Что ж, это дало мне новую возможность гордиться моим мужем: он сумел дать пощечину обидчику. (Этому почти забытому в наши нерыцарские времена жесту предшествовали потоки гнусных инсинуаций в адрес Елены Георгиевны. Когда же один из авторов мерзких небылиц, обнаглев, заявился в квартиру, где жили оскорбленные им люди, Андрей Дмитриевич потребовал извинений перед Е. Г. Боннэр. Незваный гость удивился, дескать, нужно ли из-за прошлых «пустяков» извиняться,— и тут муж влепил ему пощечину.— *М. Л.*)

А. Сахаров: Я тоже очень горжусь той пощечиной. Хотя наш близкий человек ее и не одобрил, полагая, что надо было действовать словом. Но слово, я уверен, там было бесполезно.

— Достоинство нуждается в защите, но как же трудно порой его защищать... Вот у Пушкина есть горькие слова: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!» А вам, Андрей Дмитриевич, эта мысль сегодня кажется небеспочвенной? Если спроецировать ее на вашу собственную судьбу...

— Я как-то не могу себе представить такого мысленного эксперимента, как мое рождение в другой стране и в другое время. Когда я читаю «Машину времени», то испытываю чувство острой жалости к человеку, попавшему в чуждый ему мир и чуждое время. Это уже не жизнь... И то же касается переезда в другую страну — это тоже как бы переход в чуждое время, вперед или назад — в зависимости от того, в какую страну попал, в США или в Эфиопию...

— Значит, хотя вам неоднократно предлагали (если верить «голосам»), вы никогда не колебались с ответом?

— Мне никогда не предлагали, хотя «голоса» и говорили об этом. Реально такой вопрос никогда передо мной не стоял.

Е. Боннэр: Андрей Дмитриевич сам-то никогда в жизни не был за границей, и не знаю, пустят ли его когда-нибудь посмотреть на белый свет. Но я могу дополнить ответ Андрея Дмитриевича, как бы взглянув со стороны (если жена может взглянуть на мужа со стороны): он очень космополитичен — в хорошем, самом высоком смысле слова.

А. Сахаров: Пушкин тоже был космополитичен. Но я думаю, что эти его горькие слова не надо переоценивать: он не мыслил себя вне России, причем вне России того времени, того языка, который он сам и формировал. Возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что Пушкин написал ту свою фразу эмоционально, в основном-то он чувствовал себя на своем месте, на своем историческом месте,

оно для него было органичным. И относительно себя я, пожалуй, могу сказать то же самое. Понятно, я не сравниваю себя с Александром Сергеевичем, это было бы неприлично, но в чем-то аналогия есть. Где родился, там и сгодился.

— У Эренбурга сказано об этом жестче: «Родину, как мать, не выбирают и от нее не отказываются, как от неудобной квартиры». Вы с этим согласны?

А. Сахаров: В таких вещах все имеет много граней. И Пушкин, когда думал: «Черт догадал...», тоже был вполне искренен. Но я сейчас вспомнил фразу, которую прочел у югославского публициста Михайлова: «Родина — не географическое понятие. Родина — это свобода». Я это узнал во время нашей голодовки за выезд невестки, а позднее написал ей в прощальной телеграмме, когда она вынужденно уезжала... Мысль «где родился, там и сгодился» — правильная, но она немножко квасная, ее не надо абсолютизировать. Как и ту грань, которая так резко выражена у Михайлова. И то, и другое верно. Тут не надо быть догматиком: обе стороны могут быть морально оправданы.

Е. Боннэр: Сейчас много спорят о миграциях. Но ведь все уже сказано во «Всеобщей декларации...» и в «Пактах о правах», где утверждается свобода выбора страны и места проживания...

А. Сахаров: Там это право стоит на одном уровне с правом на свободу убеждений — как одно из важнейших и неотъемлемых прав человека. Без этого как чувствовать себя свободным?

Публикация, текстологическая подготовка, комментарии и примечания Е. Г. Боннэр

Вниманию ленинградцев!

Музей истории Ленинграда совместно с редакцией журнала «Звезда» проводит с 5 по 26 июня этого года в Комендантском доме Петропавловской крепости

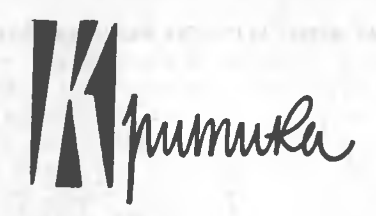
Выставку

«Позитивные негативы»

Известнейшие фотографы
Михаил Лемхин
и Джок Макдональд
представляют

50 портретов знаменитых защитников прав человека СССР и США.

Милости просим на выставку!



Игорь Кузьмичев

«ПРОСМАТРИВАЯ СВОЕ СЕРДЦЕ...»

Автобиографическая проза Павла Флоренского

В прошлом имел место такой эпизод. В 1933 году был опубликован второй том воспоминаний Андрея Белого «Начало века», с предисловием Л. Каменева. Андрей Белый вскоре после того умер, а в парижской газете «Возрождение» летом 1934 года появилась рецензия Владислава Ходасевича на эту книгу. Его возмутило предисловие партийного лидера, насильно пристегнутое к мемуарам выдающегося писателя.

Л. Каменев полагал, что поэты, художники, профессора, философы, музыканты, связанные с символизмом и не без пристрастия описанные А. Белым, очутились в итоге на задворках истории. В. Ходасевич думал не так, считая, что изображенные А. Белым люди «делали общую, весьма замечательную, воистину провиденциальную работу».

Л. Каменев гневно негодовал на тех, кто скатился к «неслыханному падению», к «поповской рясе», и, задаваясь вопросом — чем кончили персонажи А. Белого свой «якобы бунт» против буржуазной культуры? — брезгливо отвечал: «Бегством в церковь, в Бога, в теософию. Эллис и Соловьев — католические, Булгаков и Флоренский — православные попы; Мережковский, Эрн, Розанов, Гиппиус — проповедники поповства...» В. Ходасевич придерживался противоположного взгляда: «...задолго до коммунистической революции этими людьми было предчувствовано и поставлено в порядок дня то религиозное возрождение русской интеллигенции,— писал он,— которое ныне открыто совершается в эмиграции и тайно — в советской России... Продвигаясь ощупью и нередко сбиваясь с дороги, эти люди, главные герои беловских воспоминаний, уже намечали тогда именно путь, по которому должна будет пойти Россия при ликвидации большевизма. Иными словами, они не блуждали по задворкам истории, а далеко опережали ее, заглядывая в очень отдаленное будущее: через голову надвигающегося большевизма — уже в ту эпоху, которая и сейчас еще не настала, которой и сейчас еще только предстоит быть. Весьма возможно, что сроки еще не близки, но, как это ни ужасно для Каменевых, полу-Каменевых и четверть-Каменевых,— Россия вновь станет тою христианской страной, какою она была, или — вернее — какою она хотела, но еще не умела быть. И тогда с бо́льшим почитанием, чем даже нам сейчас кажется, она назовет многих людей, которые изображены в книге Андрея Белого».

Теперь предсказание В. Ходасевича сбывается. Имена, взращенные «серебряным веком» русской культуры, с почитанием названы, духовное богатство и поучительная жизнь тех, о ком писал Андрей Белый, стали достоянием пробудившегося общества. И среди этих имен — Павел Александрович Флоренский. Личность уникальная. Паскаль нашей России, «неизмеримо еще выше Паскаля», как утверждал Вас. Розанов, которому Флоренский казался святым: «до того необыкновенен его дух, до того исключителен».

Ученый, мыслитель, священник — мученик XX века,— Флоренский оставил неповторимый след в науке, в русской философии, богословии, в разных областях культурной и церковной деятельности и

Кузьмичев Игорь Сергеевич (р. в 1933 г.) — критик, автор книг «Вадим Шефнер. Очерк творчества» (1968), «Писатель Арсеньев. Личность и книги» (1977), «Юрий Казаков. Набросок портрета» (1986) и др. Член СП. Живет в Ленинграде.

действительно преподал современникам и потомкам великий нравственный урок. Сейчас публикуются его письма. Письма к родным. Изданы, хотя и не собраны еще под одной обложкой, воспоминания; классический образец русской мемуарной прозы, они словно родились дважды, оказавшись свежим литературным фактом. Все это позволяет приблизиться к истокам поведенческих принципов Флоренского и привлечь к его спасительному опыту читателя, ищущего духовной опоры в обстановке фатальной нервозности и страха.

Когда-то Белому Флоренский виделся «немым барельефом века». Однако автобиографическая проза и письма опровергают такой взгляд и открывают нам во Флоренском страстного, страдающего человека.

О нем, о живом человеке, и речь — с его слов.

1

Флоренский принялся за свои воспоминания осенью 1916 года в Сергиевом Посаде («Ночь... Пишу на аналое, при лампаде...») и цель их определил зорко: «...располагаясь рассказать вам, мои сынки, о своей жизни и о своих жизненных впечатлениях, я сознательно ограничиваю содержание своего рассказа тем кругом сведений, который был для меня родным и впитавшимся в мое сознание с детства... Так мне легче будет дать вам представление о быте нашей семьи, об укладе нашей жизни, о первоначальных интересах моих и о занятиях членов нашей семьи. И, кроме того, только так я сумею изобразить вам уединенность нашего „острова“...»

Отец семейства, человек еще молодой — Флоренскому исполнилось в ту пору всего тридцать четыре года,— он считал непременным долгом загодя обратиться к своим маленьким детям: в 1916 году их было двое, пятилетний Василий и десятимесячный Кирилл, позже, пока воспоминания подвигались (до сентября 1925 года), родились Ольга, Михаил, Мария-Тинатин.

Отсюда в воспоминаниях с первых страниц возникает повышенная чуткость к адресату-собеседнику и нежно-доверительный тон повествования. Отсюда — ощущение глубочайшей ответственности и перед родительской, и перед собственной семьей. Отсюда и навязчивая, разноречивая нота «уединенности» — об уединенности мечтал и всяко лелеял мысль о ней отец автора, убежденный, что замкнутость семьи от окружающего мира должна обеспечить «на чистом поле семейной жизни» тот рай, которому не страшны ни внешняя непогода, ни холод и грязь общественных отношений, «ни, кажется, сама смерть». Нетрудно угадать: судьба такого рая, возводимого в конце прошлого века в России, оказалась драматической, и не потому лишь, что попытка семьею «преодолеть нигилизм», как замечал Флоренский, сама таила «яды нигилизма», но и по причине стихийной — из-за «разрыва мировой истории».

Чем была прекрасна и в чем, может быть, заблуждалась семья Александра Ивановича Флоренского, окончившего в 1880 году Институт гражданских инженеров в Петербурге, тогда же женившегося на юной Ольге Павловне Сапаровой — из старинного армянского рода — и приехавшего в Закавказье строить железную дорогу?

Погружаясь в свою родословную и выясняя мотивы «затрудненности дыхания в безысторической среде», какую он испытал в детстве, Флоренский подолгу задумывался над этим, намереваясь детей вырастить «в более полнокровной, более почвенной жизни».

Семья Флоренских была сплоченной и многолюдной. Помимо отца и матери, исключительно привязанных друг к другу, жила здесь сестра отца Юлия Ивановна; ее, тетю Юлю, маленький Павел — старший среди семерых детей, родившихся между 1882—1899 годами,— любил едва ли не сильнее всех, «нежно и страстно», «глубоко личной любовью». Живали и гостили в доме сестры матери — тетя Ремсо, тетя Соня, тетя Лиза с чадами и домочадцами, изредка наезжал брат матери Аркадий — «Аршак-дядя»...

В закавказском степном Евлахе, где Флоренский родился в январе 1882 года, а потом и в Тифлисе, и в Батуме чувство родовой, семейной слитности умело взращивалось, впитывалось вместе с первоначальными жизненными впечатлениями. «Дом, семья есть живое единство, и в мое детское сознание,— писал Флоренский,— не вместилось бы, если бы и возникло, понимание семьи не как полного, неразрывного даже в отвлечении единства. Не „я“, а „мы“ — таково было отношение к внешнему, то есть за пределами семьи существующему миру».

Причем единство это крепилось на основе до неправдоподобности благородной. В семейной атмосфере наличествовала какая-то нравственная нарочитость, если угодно — стерильность. Изысканная воспитанность не допускала гневных обид и ссор; ни сплетен, ни досужих пересудов дети в доме не слышали; такие слова, как «служба», «начальство», «деньги», «мужья и жены», были вычеркнуты из семейного словаря, их никто не запрещал, но дети безошибочно угадывали их полуприличность или вовсе неприличность. «Уж слишком у нас в доме,— вспоминал Флоренский,— было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное — сплошная порядочность и чистоплотность. Тут все подобралось одно к одному: никогда ни одного пошловатого слова, ни одного приниженного интереса, никакого проявления эгоизма, всегдашняя взаимная предупредительность всех друг к другу при широкой, активной доброте отца в отношении окружающих, посторонних. А со стороны окружающих — признание, уважение, почти благоговение к отцу, ко всей семье».

С посторонними, с подчиненными Александр Иванович бывал внимателен, щедр, великодушен «не соответственно мере равенства» либо проявлял внезапный гнев, возмущаясь грубой несправедливостью или ложью. Общительность, радушие ему никогда не изменяли, хотя и привкус мизантропии, «оттенок невысокой оценки людей» тоже присутствовал. Идолом, идеалом Александра Ивановича всегда оставалась семья, все ее тяготы он с готовностью брал на себя и огорчался, терял равновесие, если старания оказывались безрезультатными. Евангелием Александра Ивановича, по словам его сына, был гетевский Фауст, а Библией — Шекспир. Может быть, больше всего он радовался прогулкам с детьми, в тифлисскую жару любил носить их, маленьких, на плече...

Фигура отца в воспоминаниях Флоренского ключевая. Еще до того, как родилась сестренка Люся и отец принадлежал ему всецело, когда «единство сына и отца» для мальчика было безусловным, он признал Александра Ивановича непререкаемым нравственным авторитетом, разглядел в нем честного, справедливейшего человека, и все последующее узнавание лишь подкрепляло интуитивную догадку. Образ отца — ничуть не идеализированный — обретал новые черты, попадал в связь с новыми обстоятельствами и при всех условиях неизменно оставался эталонным.

Гарантией эталонной чистоты служила *человечность*, любимое слово А. И. Флоренского: «В человечности видел он всеобщий регулятор всех общественных и личных отношений, взамен религии, права и морали — единственное, что должно быть проповедуемо и внушаемо». Он не грешил сентиментальностью, не питал утопических иллюзий об уничтожении сословных перегородок, революционные идеи рассматривал презрительно как «мальчишеские притязания переделать общество», в потрясении государственного строя «предвидел попранными справедливость, здравый смысл, порядок жизни и все общественное строительство». Однако и к горячим поклонникам государственности не принадлежал, с курсом правительства нередко не соглашался, был «скорее охранителем, очень мягким и скептически настроенным консерватором английского склада, нежели человеком, стремящимся к новому». А. И. Флоренский умер в 1908 году, сын писал о нем в начале 20-х и хорошо знал, насколько отец был прав, предвидя грозящий стране «полный хаос», спровоцированный революционными сдвигами. Так вот, ратуя за человечность, А. И. Флоренский и оставлял за ней исключительный лозунг, который «может быть общим, общим всем людям, который дает правильное разумение нравственным заповедям и требованиям религии, который не ведет к ожесточению и нетерпимости».

При всем том Александр Иванович обладал воистину «аристократическим самосознанием», весьма развитым чувством собственного достоинства. Как рассказывает Флоренский, «его предупредительность, деликатность и великодушие, в особенности же отсутствие мелочности, были несомненно и почти неприкрываемо снисхождением высшего к низшим. Он всегда чувствовал себя *обязанным* словно каким-то высоким положением, хотя такового вовсе не было». И примечательно: окружающие с этим соглашались, принимая «оттенок отношений внутреннего неравенства как правильный», может быть, потому, что «аристократическое самосознание» в данном случае нисколько не было искусственным. «Напыщенное, приподнятое, театральное — этот разряд явлений был отцу самым враждебным из всех, даже худшим фанатизма, и малейшая тень аффектации вызывала в нем брезгливость почти физическую. Я уверен,— говорит Флоренский,— вышеописанный характер отношений к людям коренился в каких-то наиболее глубоких слоях его личности и именно потому им самим, как наиболее постоянный в его жизни, не замечался».

Впрочем, аристократизм отличал и семью, для чего были определенные основания. Мать Флоренского — Ольга Павловна,— как уже говорилось, происходила из старинного, культурного и знатного рода. В доме ее отца, Павла Герасимовича Сапарова, «одного из первых богачей на Кавказе, щеголя и законодателя мод», восточные обычаи уживались с симпатиями к русской государственности и европейской роскоши, французский язык господствовал наряду с русским, и чувство фамильной гордости подкреплялось завидной образованностью и широтой интересов. Ольга Павловна пережила в молодости личную драму: узнав о несогласии отца на брак ее с петербургским студентом и поступив вопреки родительской воле, она всю жизнь считала себя непрощенной, оторвавшейся от родового корня, внушала детям: «Мы — люди самые обыкновенные, самые простые», но вековая печать аристократизма сказывалась и на ее поведении, и на воспитании детей.

Отношение к матери у Флоренского исполнено тайны. «Сдержанная, замкнутая, гордо-застенчивая в проявлении чувства, преувеличенно-стыдливо прятавшаяся от меня уже с самого детства — когда кормила и вынашивала детей, она казалась мне с первых дней моего сознания,— признается Флоренский,— существом особенным, как бы живым явлением природы, кормящей, рождающей, благодетельной — и

вместе далекой, недоступной». Сколько он себя помнил, у него не было к матери привязанности чисто сыновней, мать всегда оставалась «родными недрами бытия», но приласкаться к ней было бы странным. Мать окружала атмосфера всеобщего поклонения. А вот с той же вполне доступной тетей Юлей легко было просто жить, играть, болтать, она не подавляла отрешенностью от повседневных пустяков, став для него и товарищем, и учителем, и, главное — единомышленницей...

Рассказывать о матери было чрезвычайно трудно. Флоренский отдавал себе отчет, что и по прошествии лет поздний анализ «не может расчленить аморфного, хотя и очень сильного впечатления», не может адекватно выразиться в слове, не отрицал, что судит обо всем преувеличенно, однако принципа их отношений это не меняет.

Восприятие родной матери как Матери-Природы и безусловное единство сына и отца рано укоренилось во Флоренском. Таинственность окружающего мира с колыбели оказалась эмоциональным фоном его жизни. Он рос нежным, отзывчивым, покорным ребенком, из-за «болезненного чувства правдивости» верил любому слову старших. И едва ли не в младенчестве почти физически ощутил себя струною, по которой «природа ведет смычком». «При психической и нервной крепости,— писал Флоренский,— я все же был впечатлителен до самозабвения, всегда был упоен цветами, запахами, звуками и, главное, формами и соотношениями их, так что не выходил из состояния экстаза. Радость бытия, полнота бытия и острый интерес переполняли все мое существо; я всегда кипел и ни минуты не оставался не возбужденным». Все *красивое* — «либо пленительно-изящное, либо остро-особенное» — влекло его неудержимо. Он любил наряжаться, любил сам изготовлять «курительные свечки, душистую бумагу, одеколон и духи» (потом выливал их в ванну, где его купали); музыку любил «неистово, а ощущал почти до вражды», неслучайно деятельность дирижера представлялась ему позже истинным призванием. И постоянно — уже в самом раннем детстве! — до обмирания поддавался «приливам жалости и ужаса»...

Помимо воздействия отца и матери Флоренский ребенком подвергся многим влияниям. Семейная среда, где он рос, окутана сложной сетью взаимосвязей — наглядных и подспудных, пронизана утонченными культурно-историческими подтекстами. Домашний уклад, возведенный этой средой, заранее предполагал, что «люди вообще» не могут быть мелочными и невоспитанными, ложь в их взаимоотношениях исключена и весь мир должен быть построен — дети в том не сомневались — «как и наш островной рай». Подыскивая подходящую характеристику родительской семье, Флоренский говорил, что «это и не самодовольство, и не американская здоровость и сытость», и менее всего «сектантское чувство праведности». Вместе с тем, писал он, «в нашей семье не было бы места Достоевскому. Он со своею истерикою у нас осекся бы, в этом я уверен. Светский дом, или самодовольный дом, или безбожный дом он преодолел бы и перевернул бы все его благополучие. Но наш отнюдь не был благополучным; напротив, в основе его был фатализм и чувство обреченности всего прекрасного. Именно поэтому-то хаосу был раз навсегда прегражден доступ на этот остров: его можно было разрушить, но не возмутить скандалом...»

Однако при всей цельности и нерушимости домашний уклад Флоренских был достаточно противоречив. Отдаленность от «чужих», жизнь «в себе», хотя вряд ли «для себя», подталкивали к обособленности, настороженности, по-разному обрекали членов семьи на одиночество. Уже в детстве Флоренский заметил в себе некую «двойственность», объясняя ее, правда, не столько семейной, сколько природной ситуацией. В «двойственности природы, меня воспитавшей,— писал он,— я склонен видеть наглядное выражение собственной моей двойственности, в которой север и юг, через кровь исторически самую молодую и самую древнюю, напряженно противостоят друг другу, не только не смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более кренкому самоопределению».

В семье Флоренских наблюдалась такая странность. В том «первозданном саде», в том раю, где родители предполагали вырастить своих детей, отсутствовала религия, причем «не по оплошности, а силою сознательно поставленной стены, ограждающей упомянутый рай от человеческого общества». В результате Флоренский, по его словам, приобрел «задержанный аффект религиозного чувства» и его духовное развитие протекало болезненно. «Я был отрезан от религии столь надежно,— пишет он,— что силою внутреннего влечения сам надстраивал воздвигнутую между мной и религией стену. Чем большей была религиозная потребность, тем далее я, поставленный на известный путь, добровольно и стремительно бежал от возможности удовлетворения. И хотя родители не сделали здесь никакого явного насилия, но они повернули мое духовное развитие так, что много сил было затрачено мною на построение тюрьмы для себя самого, а затем — на разрушение этих стен».

О религии в семье не говорилось как о «неприличном» — ни за, ни против, «разве только более-менее случайно проскакивало слово о культе дикарей или каких-нибудь египтян». В семье молча условились: детское сознание должно созреть «вне гнета на него каких бы то ни было представлений религии», чтобы, когда человек духовно окрепнет, он сам избрал себе ту, какую сочтет истинной. Вместе с тем А. И. Флоренский антирелигиозным убеждениям не сочувствовал и, предоставляя детям свободу выбора, отнюдь не воспитывал в них неверия. Он огорчился бы, если бы дети стали религию вообще отрицать, и был бы удручен, если бы они выбрали иную, нежели христианство, притом православное.

Объясняется такое положение тем, что отец и мать Флоренского по рождению принадлежали к различным вероисповеданиям. Превыше всего чтя семейный очаг, отец боялся «тончайшим дуновением холодного ветерка напомнить о своем православии», а мать старалась воздать ему той же деликатностью относительно церкви армяно-григорианской. Выходя замуж за русского студента, она приносила себя в жертву семье, что требовало от отца достойного ответа. «Это обстоятельство,— пишет Флоренский,— было раной матери и осторожностью с этой раной — отца. Если мать оставила для него свой род и свой народ, то и ему, чтобы восстановить равенство, не оставалось ничего, как сделать то же в отношении своего рода и своего народа. При этом была захвачена и Церковь».

Обоюдные соприкосновения с церковью, безусловно, имели место — бытовые, ритуальные, вроде крещения детей или пасхального стола, но в остальном, что касается церкви, Флоренский, к его печали, «рос совершенным дичком». Мальчика не водили в храм, почти не разговаривали с ним на религиозные темы, а он в глубине души чувствовал: есть священная область жизни, охраняющая от страха, для него пока запретная, область покоя и благодати, куда ему страстно хотелось проникнуть.

Требовалось решить кардинальную проблему — или утвердить в себе Бога, или... Об отрицании Бога речи не возникало — и как бы само собой рождалось в нем богоборчество с пантеистическим оттенком.

Стараясь в точности передать детские ощущения по этому поводу и понимая, что тогда «именно так, как сейчас», не сказал бы, Флоренский отталкивался от строчки гетевского «Фауста»: «Я часть той тьмы, которая вначале всем была, той тьмы, что свет произвела»,— и реконструировал ход своих рассуждений. Бог — реальность и Свет, и я тоже реальность. Я не отрицаю Бога, но человек — тоже Бог, наделенный правом «быть сам по себе». Детская невинность освобождала его от знания греха, а безупречность семейного круга, «некая абсолютность и законченность всего уклада жизни делали невместимой в сознание мысли о смерти». Он не мог думать о мимолетности существования, о себе как о ничтожной твари и — «хоть маленьким, но был богом». Однако подземный, безличный гул Судьбы навевал на него «какой-то невыразимый и бессмысленный ужас», ужас «подымался из бездны и, неуловимый, казался сильнее всего, сильнее Бога, сильнее даже тети, папы и мамы», все уравнивая перед неизбежностью гибели. Если Бог всесилен, он отвечает за ужас,— «не я же, слабый и не делающий ничего плохого». И тут вмешивался гнев, порыв «к восстанию, к богоборчеству, к титанизму».

«Имя Бог,— объясняет Флоренский,— когда мне ставили его как внешнюю границу, как умаление моей человечности, способно было взорвать меня, тогда вздымалась вся гордость — человечностью, семьей, самим собой». Мысль о Боге обрачивалась «влечением к каким-то нормам, мне неведомым, и бунтом против них», а детское сердце «было полно страха, тоски и надежды на чудесную жизнь».

2

Воспоминания Флоренского — вдохновенный монолог о детстве и ранней юности: от младенчества и до семнадцати лет. Принимаясь за них, он полагал, что записи — подобно страничкам дневника, каждая с датой — «едва ли будут соответствовать хронологическому порядку», однако общий замысел, насколько можно судить по сохранившемуся плану, имел целью все-таки последовательное повествование.

Природа, «во всех ее сторонах, во всех событиях своей сокровенной жизни», наука и религия, претендующие стать средством ее познания,— вот что прежде всего волновало Флоренского в пору становления его личности, и путь этого становления, своеобразный «путь прозрения», не мог не оказаться ведущей составляющей его автобиографической книги. В плане указаны семь частей, семь «возрастов», каждый из которых — ступень к кризису. Доведены воспоминания лишь до первого кризиса, совпадающего с окончанием гимназии в 1899 году, заключительные же части — и пятая, и шестая «Конец Университета: кризис: открытие религии», и седьмая «Профессура: кризис фарисейства: открытие рода» — остались ненаписанными, хотя отголоски их явственно слышны.

Обратившись к воспоминаниям, Флоренский анализировал сам метод их фиксации. Он хотел, чтобы его скрупулезная исповедь была предельно правдивой, и хорошо понимал трудности жанра лирической автобиографии, к которому невольно прибегнул. Перебирая события своей жизни, он обнаружил, что удовольствия «бесследно исчезают из памяти», радости витают «как бледные, бескровные тени», и только страдания «по-настоящему формуют нашу личность и оставляют на ней существенные изменения». Флоренского интересовало пробуждение собственной личности, он писал летопись сопряженных с этим страданий — глубинных, мировоззрече-

ских по последствиям, что вовсе не исключало из его многоцветного повествования радостного рассказа о счастливом детстве, каковым оно у него и было.

Работая над воспоминаниями, Флоренский заглядывал в свои ранние дневники. По прошествии лет он находил там множество «тщательно записанных мелочей», наблюдений, заметок о товарищах и знакомых, «записи чувств», когда-то его беспокоивших, все это было поверхностью жизни — «сором и накипью», чем-то не главным. Подлинный же источник боли и «то, что на самом деле было руслом внутренней жизни», в дневниках, как ни странно, не отразилось. Дневник оставался точен, как протокол, но значащие акценты в нем были смещены, «целостный образ событий» не узнавался. В пору дневников Флоренский и не мог писать иначе: вершившееся в нем, «несмотря на мучительность и силу, коренилось в полусознательной области и не имело для себя внятных слов». Глухие «удары из глубокого центра» расшатывали «крепко сложенную кору сознания», и лишь задним числом стало возможным понять наиболее существенное в тех прежних процессах, выделить в них «зерна будущего». Если бы читатель, говорит Флоренский, прочел его дневники, он заметил бы их очевидное отличие от воспоминаний и мог бы подозревать в воспоминаниях «некоторый вымысел», но и дневники, и воспоминания написаны все тем же человеком, только — он сам служит переменчивым «предметом своего сочинения».

Измерять достоверность воспоминаний «безусловной правдой» дневников, писем и записей только потому, что они документальны, значило бы признавать полную «тогдашнюю беспристрастность к самому себе и другим и какую-то нечеловеческую мудрость, позволяющую оценивать смысл и значение событий самих по себе, помимо общих линий жизни». Дневники уподоблялись чужой рукописи, иногда Флоренский даже не узнавал в них себя. Картина прошлого, какой она рисовалась теперь, не соответствовала той, что виделась «в самом ее переживании». Потребовалось немалое время, чтобы найти «подходящую форму мысли», но и спустя годы не избежать было пристрастия. Правда всегда относительна, тем паче правда о самом себе. «И то, что скажу я сейчас,— предупреждал Флоренский,— представляет тогдашнюю жизнь иначе, чем представлялась она тогда, к выгоде правдивости. Весьма вероятно, взойдя на некоторую новую ступень, я смог бы еще по-новому понять все бывшее, и тогда настоящее изложение оказалось бы в каком-то смысле ненужным и ошибочным».

...Каково же то «поле внутренней жизни», та картина душевных переживаний, какую по зрелому размышлению реставрирует Флоренский в своих мемуарах?

Знакомство с миром начиналось у него с обыденных впечатлений, приобретавших вдруг неведомый, чудесный смысл. Там, где привычный взгляд взрослых скользил поверху, обостренная детская интуиция совершала открытие за открытием, повергая мальчика в священный трепет. Это естественно, это — как у всех. Удивительно же то, какой высокий градус впечатлительности обнаруживал у себя этот мальчик, с неодолимостью рефлекса «упиваясь познанием тайны».

Как-то, совсем-совсем маленьким, выбежал он в сумерках во двор и на каменной мостовой «увидел нечто». Испугавшись прежде неслыханному звуку, хотел прошмыгнуть мимо — и остолбенел: перед ним «стоял невиданный снаряд. Что-то в нем быстро вертелось, визжало, скрипело, и от колеса сыпались яркие искры. И, самое страшное, какой-то человек», казавшийся темным силуэтом на вечереющем небе, «стоял при этом снаряде невозмутимо, бесстрастно и бесстрашно и *что-то* держал в руках». Ребенок замер, очарованный. Перед ним «разверзались ужасные таинства природы». «Я подглядел то,— пишет Флоренский,— что смертному нельзя было видеть... Вечное вращение, ноуменальный огонь... мне открывалась живая действительность таинственных сил естества, бёмовская первооснова, гётевские матери. И тот, кто стоял при таинственном искрометном снаряде, тот темный силуэт — это не был, конечно, человек, это не было одно из существ земли, это был дух земли, великое существо, несоизмеримое со мною». Сделалось что-то вроде припадка, мальчика успокаивали, объясняли: точильщик точит ножи, но он не слушал и не спорил, он «тогда уже понимал» — никому не постигнуть открывшегося ему таинства.

«Это чувство откровения тайн природы и ужаса, с ним связанного, тютчевской Бездны и влечение к ней, было и есть, как мне думается, одно из наиболее внутренних складок моей душевной жизни»,— записывал в связи с этим эпизодом Флоренский, замечая: опытное опознание тайн естества пусть и открывает мир «со стороны внутреннего единства», тем не менее, дается человеку, с его дерзким любопытством, слишком дорогой ценой. «Единство,— добавлял он,— может открываться и не непосредственно, каким-то более тонким восприятием, *не* только прямым опытом, и *этого* достаточно».

Тот случай запал в душу на всю жизнь... Занося его в свои воспоминания в марте 1919 года, Флоренский рассказал, как незадолго, недели за две, во время всенощной вдруг увидел в темном пространстве алтаря одиноко полетевшую искру... от кадила... И вновь предстал перед ним таинственный точильщик, и взметнулся из-под колеса огненный поток искр... И «сквозь всю жизнь» искры перекликались с искрами, подавали «весть друг о друге»...

Не менее знаменательный случай — прививка оспы. Мальчик был заранее напуган в ожидании зловещей процедуры,— а ее почему-то откладывали,— и он решил: все обойдется. Но однажды на том же тифлисском дворе появился незнакомый человек — и сердце у мальчика екнуло, почувствовав *какую-то* беду. Он убежал со двора, забился в спальне в угол, его все-таки разыскали, привели в гостиную, где сестре Люсе оспу успели привить. «Надрез ей сделали сильный,— пишет Флоренский.— Вид крови, увиденной мной едва ли не впервые, так поразил меня, что я даже не стал сопротивляться, когда принялись за меня, и застыл от ужаса. От ужаса же я не заметил ни боли, ни самой прививки, находясь в оцепенении...» Здесь воочию открылась ему идея *неизбежного*. Стало ясно: есть в мире нечто такое, что «выше всех, даже взрослых, выше даже родителей», оно, это нечто, внутренне необходимо, зачастую вопреки нашим желаниям. «Подчинение высшей — не скажу воле, а неизбежности, Разуму мира, но безличному, неутомимому и не теплому,— подчинение этому пантеистическому провидению открылось мне,— пишет Флоренский,— как долг. Покорный по натуре, я тут осознал, что покорность *требуется, а не есть моя* уступчивость, *мое* нежелание бороться». Признание над собой некоего закона определяло его самочувствие с самого раннего детства, и, даже проказя, он знал: возмездие неизбежно — «по существу вещей».

Флоренский неоднократно говорил, что его позднейшие религиозно-философские убеждения почерпнуты не из философских книг, а из детских наблюдений и, может быть, более всего из характера родного ему пейзажа — после Евлаха и Тифлиса семья жила в Батуме, где главенствовали горы и море. Возможность видеть землю «преимущественно в разрезе», лицезреть напластования горных пород — в ту же прогулку по Аджарскому шоссе — воспитывала в нем такую «привычку зрения», которая позже «проросла все мышление и определила основной характер его — стремление двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали».

А «никогда непасытимое» созерцание моря?.. Редкий день детей не водили к морю по нескольку раз, и радостям их, восторгу не бывало конца. Взять цветные камешки: «ленточные агаты, тонкослоистые оранжевые и красные сердолики с белыми прослойками», аметисты, желтые и зеленые кварциты, прозрачные топазы — небрежные бусы, рассыпавшиеся с подводного ожерелья! Отец объяснял, что слои в камешках образовались от вековых осаждений в подземных пещерах,— и виделось в этих словах «окаменелое время»: «вот они — слои времен — спят друг на друге, крепко прижавшись, в немом покое; но вапрягусь я, и они заговорят со мною — я уверен, потекут ритмом времени, зашумят как прибой веков». Благодаря все тому же «издетскому нежному чувству слоистости» Флоренский потом увлекся геологией, геологические пласты напоминали книгу, да и книга, думалось ему,— не есть ли осевшее время?

Море было родной стихией, доказательства чему встречались на каждом шагу. Стоило лизнуть палец, вынутый из морской воды, и ее горько-соленый вкус напоминал слезы; стоило вслушаться в шум волн — и «бесконечная сыпучесть» их звука, «узор нагоняющих и перегоняющих друг друга ритмов» совпадали с невнятными «ритмами души»; стоило вглядеться в ежечасно меняющуюся морскую поверхность, в «зелено-синие вдали и зелено-желтые вблизи цвета» — и обжигало «предощущение глубоких таинственных и родимых недр», дорогих до сжимания сердца. Море воплощало в себе единство всего сущего. На берегу моря он в детстве чувствовал себя «лицом к лицу перед родимой, одинокой, таинственной и бесконечной вечностью, из которой все течет и в которую все возвращается». Йодистый запах моря, звук набегающих волн, сливающийся из бесконечного множества шелестов, «шум прибоя, весь состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый, как готический собор», зеленизна морской воды, высвеченная «беспредельно мелким светом»,— все это вместе, зовущее и родное, сливалось для Флоренского «навеки в одно, в *один* образ таинственной жизнетворческой глуби».

Когда же взрослые пытались чисто материалистически объяснять и переменчивость цвета морской волны, и прерывистость прибоя, и физический смысл прочих явлений, мальчика это не устраивало. Живая стихия моря наравне с самоощущением собственной жизни были порождением общих таинственных сил, энергия моря и энергия сердца имели один источник. Он доподлинно знал о море: «В глубине его таятся бесчисленные жизни, странные и вместе прекрасные животные, растения, из которых каждая внутренне связана со мною, внутренне соотносится с моей личной жизнью, посылает в нее истечения своего бытия и признает в ней за равного среди равных, за члена бесконечного царства таинственной, мерцающей флюоресцирующим светом жизни».

Море приобщало Флоренского к тайне «живой жизни», и оно же открывало ему «глубокую правду вещества». Благодаря морю он и полюбил «вещество мира» — «не материю физиков, не элементы химии, не протоплазму биологии, а *самое* вещество, с *его* правдою и его красотою, с *его* нравственностью». Море олицетворяло собой всю Природу, и, общаясь с ним, Флоренский искал «одного, всегда одного» — искал те явления, «где яснее просвечивает чрез нее духовное единство».

По его словам, он унаследовал от отца и обоих дедов конкретность мышления, «плотность мысли», и неслучайно с детства его внутренняя жизнь целиком заполнялась «интеллектуальными волнениями». Причем всегда — и чем дальше, тем упорнее — вызывала его интерес «проблема *Символа*». Пытаясь по прошествии многих лет разобраться в себе самом и объясниться со своими детьми, Флоренский воссоздавал такую интеллектуально-психологическую ситуацию. «Да,— писал он,— если говорить о первичной интуиции, то моею было и есть то таинственное *высвечивание* действительности иными мирами, просвечивание сквозь действительность иных миров, которое дается осязать, видеть, нюхать, вкушать, настолько оно определенно, и которое, однако, всегда бежит окончательного анализа... анализ был бы *самообманом*. Но отказ от него,— рассуждал Флоренский,— был мне не в уныние, не горечью и не скорбью, даже не самообузданием, а просто спокойно-ясным чувством, да, сперва *чувством*, а потом уже мыслью...» Это не был отказ от знания, «отступ перед неведомым», напротив, это и было истинное познание, «ибо неведомое — прежде всего есть неведомое, в своей особой качественности, и то познание, которое сделало бы его *не* неведомым, которое лишило бы его качества неведомости, было бы не познанием, а величайшим заблуждением». Флоренский тревожился о том, чтобы именно такая устремленность к истине была воспринята его детьми. «Мне хочется, чтобы это основное мирочувствие мое,— обращался он к ним,— было понятно вам, мои дети. Все дело было для меня в том, чтобы познать мир в его жизни, в его подлинно существующих соотношениях и движениях... Неведомость — жизнь мира. И потому мое желание познать мир именно как *неведомый*, не нарушая его тайны, но — подглядывая за ней. Символ и был подглядыванием тайны. Ибо тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается, в своей подлинной сущности, т. е. *как тайна...*»

К пятнадцати-шестнадцати годам, к шестому классу гимназии, у Флоренского, по его признанию, вызрело научное отношение к миру, сложилось в «неколебимую систему»: желая познать «железные уставы естества», постичь «ткань всемирного соответствия», он за всяким рациональным законом старался разглядеть «обнаружение иных сил». Его волновали не столько узнанные людьми законы, сколько исключения из них. «Закон — это подлинная ограда природы; но стена, самая толстая, имеет тончайшие щели, сквозь которые сочится тайна»; за рациональным всегда скрывается иррациональное — то, что можно лишь угадать, но никак не свести к теориям. Затратив «циклопический труд» на выработку своего научного миро-чувствия, считая день потерянным, если не удавалось внести хоть несколько параграфов в «Экспериментальные исследования» — тетради на манер Фарадеевых,— Флоренский уже тогда сумел развить в себе «независимость от господствующих понятий».

Однако случилось никак не предвиденное: тщательно выстроенная «неколебимая система», достигнув, казалось бы, «каноничности», стала «быстро трескаться и рушиться от подземных толчков» и сделалась до враждебности ненужной. Произошло «внезапное открытие дверей иного мира», научный рационализм отступил, грянул «разлом, разрыв биографии, внезапный внутренний обвал», и целая полоса жизни, самая трудовая и бескорыстная, неудержимо пошла на слом. Питая нелюбовь к «немецкому духу системы» и склоняясь к «английской непосредственности», Флоренский начал воспринимать современную физику как плохо сидящую на нем чужую одежду. Школьный подход к ней устарел, но языка собственного «смутного подхода» еще не находилось — «за отсутствием собеседника, хотя бы мысленного». Если раньше всякое соприкосновение с природой бросало в экстаз, то теперь наедине с природой он испытывал острые приступы «необъяснимой и беспредметной тоски». Духовное томление возникало оттого, понимал Флоренский, что «между мною и мною залегало чуждое мне, но непреодоленное, научное миропонимание».

Лето 1899 года оказалось временем стремительных внутренних изменений, «голоса из глубины» все сильнее тревожили его, все неотвратимее призывая на какой-то иной путь. И наконец настала ночь, когда во сне, «похожем на обморок», он пережил небывалое потрясение, «мистическое переживание тьмы, небытия, заключенности».

«Я испытывал огромное страдание, которое подавляло меня,— вспоминал Флоренский,— хотя тут не было каких-либо учитываемых причин сознавать свою гибель и свою смерть». Это было самоощущение заживо погребенного, густой и тяжкий мрак — воистину тьма египетская, она обволакивала и давила. Непосредственным чувством он искал выхода, но наталкивался на стены и путался в подземельях. «В это мгновение тончайший луч, который был не то незримым светом, не то — неслышным звуком, принес имя — *Бог*. Это не было еще ни осияние, ни возрождение, а только весть о возможном свете. Но в этой вести давалась надежда и вместе с тем бурное и внезапное сознание, что — или гибель, или спасение этим именем и никаким другим».

Голос из «горнего мира», «небесный вестник», удар «духовного электричества» настигли его...

Выход из кризиса был указан. Вывод сделан: научное мировоззрение — «труха и условность», не имеющие отношения к основе жизни. Произошел «глубинный сдвиг воли, и с этого момента смысл умственной деятельности изменил знак». Началось разоблачение знания. И тут помогли «Исповедь» Толстого, «Экклезиаст», «некоторые буддийские писания». «С Толстым, Соломоном и Буддою,— вспоминал Флоренский,— я ощущал надежность своей безнадежности, и это давало удовлетворение и какой-то род спокойствия... С ними томление пустоты уже явно было не психологизмом, а существенным следствием каких-то, мне неведомых, законов самого бытия. Сознание этого ввергало в безнадежность, но зато самой безнадежности было свойственно мрачное успокоение, поскольку далее падать уже было некуда».

Заканчивался важнейший период духовного становления, и теперь — в начале 20-х годов — Флоренский вспоминал о том жизненном изломе, дабы самые дорогие люди, его дети, поверили ему, услышали его былые терзания и усвоили смысл всего, что пережил он на рубеже столетий.

3

Когда Флоренский в 1923—1925 годах разбирался в причинах своего юношеского кризиса, он уже мог свершившееся с ним поместить в исторический контекст. Более того — воспоминания о лете 1899 года, о далекой личной драме накладывались на драму новую (видимо, о ней — тетрадь «Кризис в 42 года»). Все стягивалось в тугой узел — и память о детстве, и современная трагическая явь.

«О, с какой остротой тогда я почувствовал тщету дел человеческих! — записывал Флоренский в ноябре 1923 года.— И как сравнительно с теми глухо прозвучали во мне разрушение России и наперед уже пережитое разрушение Европы и ее культуры. Это не потому, что там дело шло лично обо мне... В том, что случилось со мною, был пережит разрыв мировой истории. Мне вдруг стало ясно, что „время вышло из пазов своих“ и что, следовательно, кончилось нечто весьма важное не только для меня, но и для истории».

Флоренский работал над воспоминаниями до середины 20-х годов. Писал их, переживая революционные события, к которым, разумеется, не мог оставаться безучастным. Напряжение тех лет, следы утрат и потерь, «ощущение и смертельной тоски, и жгучей боли, и невыносимого сознания, что разрушается то, что строилось величайшими усилиями»,— все отложилось в тексте воспоминаний, проскользнуло в деталях, намекая или прямо говоря о душевном состоянии Флоренского. Он многое предвидел, запрещая себе «выражать свои думы об ужасах, которые надвигаются отовсюду, из каждого угла, из каждой поры жизни», и в том, что случилось в дальнейшем, для него не было неожиданности.

При всем его миролюбии и лояльности к новой власти его сперва ссылали на несколько месяцев в Нижний Новгород, а в феврале 1933 года решением Особой тройки осудили на десять лет и отправили этапом в Восточную Сибирь, в лагерь с издевательским названием «Свободный».

В Свободном Флоренский сначала попал в научно-исследовательский отдел БАМЛАГа, жил в бараке, потом его переместили на опытную станцию в Сковородино, где он занялся изучением речного и озерного льда, успел написать несколько работ по мерзлоте, и куда летом 1934 года к нему сумела приехать с детьми — Ольгой, Михаилом и Марией — жена, это было их последнее свидание. В сентябре Флоренского спецконвоем отправили на Соловки; в Кеми ограбили уголовники, он «сидел под тремя топорами», но спасся, «все это время голодал и холодал»; наконец был доставлен на место, поселили его в большой комнате с рабочими Йодпрома,— заниматься чем-либо при таком скоплении народа казалось немыслимо, но он не оставлял надежды, работал над добычей йода, исследовал водоросли...

Из лагерей Флоренский регулярно — насколько вообще было возможно — писал письма семье. Эти письма — прямое продолжение разговора с детьми, начатого в 1916 году. А сам разговор — единственная трепетная ниточка, которая в казенной неволе связывала его и с прошлым, и с любимыми людьми.

Из Кеми в октябре 1934 года Флоренский писал домой: «Постоянно вижу всех вас пред собою, несмотря на сильное ослабление и общее отупение...»

В зиму 1935-го: «Все время думаю о вас, моя дорогая Аннуля, и живу вашими письмами. Но писать о себе мне нечего. Мелочи сообщаю детям, более важного ничего нет, живу изо дня в день, с утра до ночи и часть ночи в какой-нибудь работе. Ложусь не ранее 2 часов...»

В феврале 1935-го, жене: «Вот опять ночь, время летит, и я никак не поспеваю писать — целый день с утра до ночи занят. Только что пробили двенадцать часов часы Спасской башни, провизжали трамваи Красной площади (это все по радио, висящему почти над моей койкой), и я сажусь за письма... В день твоих именин я, наконец, перевез свои вещи на новое местожительство в Центральную лабораторию, а сегодня вечером переселился туда и отпраздновал переселение халвою, тобою присланной. Эта лаборатория в 2-х километрах от кремля, расположена в лесу, место тихое и уединенное...»

Письма из лагерных Соловков заключенные могли отправлять раз в месяц и, если не нарушали режима, получали право к основному добавить два-три письма до-

полнительных. Флоренский дорожил всякой возможностью написать родным, а письма нумеровал, чтобы знать, не потерялось ли какое. Письма он писал на тетрадочных листах в клетку, экономя буквально каждый квадратный сантиметр бумаги, писал — в пределах одного письма — отдельно жене, сыновьям и дочерям. Далеко не всегда письмо удавалось написать в один присест, чаще это делалось урывками: либо ночью, валясь от усталости, либо чуть ли не на бегу. И тем поразительнее цельность писем Флоренского, ровность разговора, ненарушимость того «уединенного» семейного мира, в котором он только и жил душой и который запечатлен в письмах: будто и не было меж близкими людьми расстояний, тюремных преград, цензорского догляда и постоянного опасения, что любое из писем может стать последним.

Даже малая толика опубликованных писем — из десятков написанных — делает нас свидетелями удивительного человеческого общения.

Жене Флоренский писал о вещах простых, казалось бы, обыденных. Скупо о себе: здоров; либо — слабость после гриппа; либо — тяжелая усталость от постоянного пребывания на народе, ни минуты — наедине с собой. Жаловался: от «быстрого, однообразно проходящего и разбитого времени», оттого, что «все какие-то здесь пустые, как будто во сне», он тоже не вполне уверен — реальность вокруг или сновидение? Она спрашивала: каким снегом лучше набивать погреб? Он отвечал: «Конечно, весенним, слежавшимся, зимний слишком рыхл». Обнаружив, что первых строк в одном письме не хватает, наставлял ее: «Ты пиши, что можно». И непрерывно, из письма в письмо беспокоился о детях. «Мик делает ошибки, это пройдет; но при случае отмечай ему, что написал он неправильно и почему...» Олю надо беречь, «она находится в таком возрасте, когда бывают особенно чувствительны ко всяким толчкам жизни...» Старшие сыновья предоставлены самим себе, но как он, засланный на остров, поможет им и приласкает...

А детям писал — каждому о своем.

Младшему, Михаилу: «Дорогой Мик, ты прислал мне очень красивый рисунок ландыша, к которому подлетает бабочка и подползает гусеница. Мне нравится, как ты изобразил жилки листьев. Очень жаль, что ты не сумел найти ничего о Фарадее (надо писать *Фарадей*, а не *Фородей*). Но ты не забывай моего поручения и, когда удастся, познакрмься с его жизнью».

Ему же в другой раз, в мае 1937 года: «Дорогой Мик, закончились ли у вас занятия? Об збоните я тебе уже писал, на всякий случай пишу снова, что ты можешь заменить его карболитом, которого у меня было много... Приучаешься ли ты, как я просил тебя, записывать и зарисовывать свои наблюдения над жизнью природы? Непременно заведи себе эту привычку...»

Девятилетней Тинатин: «Дорогая Тика, очень скучаю и по своей дочке и думаю, как она растет без своего папы. У нас тут все время почти тепло и было только 2—3 дня немного холодно. Тебе было бы как раз бегать на лыжах...»

В другом письме: «Дорогая Тика, сообщаю тебе новость — у морской свинки родились детеныши, 4, но 2 мертвые. Малыши эти больше, чем я думал, неопрятные. Они рождаются зрячими... На днях кот заел одного кролика, только не родившегося теперь, а более взрослого. Как ни отбивали кролика, кот все же съел его. За это кота сажают теперь в клетку, и он оттуда мурлычит. Кот очень хитрый и смотрит так проницательно, что делается не по себе...»

Такие письма Флоренского, при всей их отрывочности, очень индивидуальны, наглядны, понятны детскому разуму, в них столько заботы, отцовской любви и терпения! Спокойно читать их нельзя, зная, в каких унизительных условиях они написаны. Ничем не утоляемая боль пронизывает их, и сам собой возникает вопрос: за что этого чистого и доброго человека заперли безо всякой вины на глухом острове? По какому изуверскому праву, в угоду какой адской идеологии невежественные нехристи гноили этого упрямого праведника?

Письма детям Флоренский продолжал исправно писать вопреки всему до последних дней, и они — и дети, и письма — помогали ему выстоять и сохранить свое человеческое достоинство...

Чрезвычайно интересны письма к дочери Ольге — она родилась в 1918 году и была в ту пору взрослой девушкой,— в них речь прежде всего о литературе. Стараясь определить для дочери круг чтения, Флоренский рекомендует ей повнимательнее снова и снова перечитывать Пушкина; из русской словесности — Тютчева и Фета, Лескова и Островского; из иностранных писателей — Шиллера, В. Гюго, Гофмана. Будто сидя с ней рядом, разбирает он трагедии Расина: в них «чистота и прозрачность», напоминающая моцартовскую музыку, и «нет ничего пошлого, тяжелого, мажущегося». Рассуждает вместе с ней о Тютчеве и Достоевском, объясняет, что она неправильно принимает их за единомышленников. «Твое внимание,— пишет Флоренский,— поразил *хаос*. Но у Тютчева хаос, ночь — это корень всякого бытия, т. е. первичное благо, поскольку всякое бытие благо. Хаос Тютчева залегает глубже человеческого и вообще индивидуального различения добра и зла. Но именно поэтому его нельзя понимать как зло. Он порождает индивидуальное бытие, и он же его уничтожает. Для индивида уничтожение есть страдание и зло. В общем же строе мира, т. е. вне человеческой жизни, это ни добро, ни зло, а благо, ибо таков закон жизни». Достоевский понял такое мирочувствие лишь частично. Он разрушительную деятельность хаоса толкует «как причинение страданий для страданий, как человеческое же действие, но извращенное, направленное на зло». Если Тютчев «выходит за пределы человечности, в природу», Достоевский «говорит *не* об основе природы, а об основе человека». У Тютчева много страданий, но никакой карамазовщины, а у Достоевского «не только страдание, но и выдуманное, нарочитое самомучительство и мучительство всех окружающих».

Письма Флоренского к дочери Ольге обстоятельны, наставительны и посвящены, конечно, не одной литературе. Знаменателен экскурс «о наследственности в нашей семье», о роде Флоринских-Флоренских — все представители этого рода были «инициативны, изобретательны, предприимчивы, открывали малые или большие, но новые области для мысли», однако никогда никто «не снимал жатв с засеянных им полей». «Дорогая Олечка,— обращался к дочери Флоренский,— я пишу тебе совершенно серьезно и требую, чтобы ты была благоразумна и заботилась о своем здоровье, все же прочее — второй очереди. Ты должна верить опыту жизни не только моему, но и целого рода, родов, так как именно неблагоразумие в этом отношении было уже не раз причиною гибели и глубокой раны в сердцах близких».

В соловецком заточении Флоренский страдал от невозможности каждодневно наставлять детей на путь истинный, просвещать их при всяком жизненном шаге. В письме к сыну Кириллу сокрушался: «Ты пишешь о совпадении предметов наших занятий. Мне это совпадение особенно грустно, так как я не могу передать тебе ни накопленный опыт изучения, ни материалов, ни помочь советом. Меня эта беспомощность угнетает более всего». Мотив неисполненного родительского долга настойчиво, по нарастающей звучит в последних письмах Флоренского. Сокрушаясь, что «наука бескорыстия»,— а он всегда был ей предан,— не принесла радости детям, лишила их естественных удовольствий, удобств, целительного общения с отцом, Флоренский высказывает справедливое сожаление, что скрытые в нем огромные духовные резервы не получили должной реализации, не воплотились в других людях, в родовом и семейном наследии.

Кириллу он пишет: «Если бы не вы, я молчал бы; самое скверное в моей судьбе — разрыв работы и физическое уничтожение опыта всей жизни, который теперь только созрел и мог бы дать подлинные плоды,— на это я не стал бы жаловаться, если бы не вы. Если обществу не нужны плоды моей жизненной работы, то пусть и остаются без них; это еще вопрос, кто больше наказан — я или общество, тем, что я не проявляю того, что мог бы проявить. Но мне жаль, что я вам не могу передать своего опыта, и, главное, не могу вас приласкать, как хотелось бы и как мысленно всегда ласкаю...»

И тем не менее, «просматривая свое сердце» и подводя итоги, Флоренский признавался: вопреки всему с ним случившемуся — нет в нем никакого «гнева и злобы». И в детях он стремился утвердить прежде всего доброту и понимание «своей действительной силы», желал, чтобы сыновья и дочери вняли «чувству отца, которому хочется, чтобы дети его были не просто безукоризненны, но и представляли собою высшую ценность». Он призывал их: быть, а не казаться, «иметь ясное, прозрачное настроение, целостное восприятие мира и растить бескорыстную мысль — чтобы под старость можно было сказать, что в жизни взято все лучшее, что усвоено в мире, все наиболее достойное и прекрасное и что совесть не замарана сором». Так он писал дочери Ольге в мае 1937 года.

А в феврале, прочитав газету, «наполненную Пушкиным», рассказывал родным, что не может отделаться от «неразумной горечи» за Пушкина, видя, как на судьбе его проявляется «мировой закон о побивании камнями пророков и постройке им гробниц, когда пророки уже побиты». Пушкин не первый и не последний, писал Флоренский, «удел величия — страдание, страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от самого себя. Так было, так есть и так будет». Не удовлетворяясь вопросом — почему это возможно? — мы хотим, замечал он, ответа на вопрос — зачем? ради чего? — и ответ здесь таков: «Ясно, свет устроен так, что *давать* миру можно не иначе как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома ее...»

8 декабря 1937 года пятидесятипятилетнего Павла Александровича Флоренского, отца пятерых детей, расстреляли.

В завещании детям (оно составлено в пору работы над воспоминаниями, в 1917—1923 годах) он просил: «Обо мне не печальтесь и не скорбите по возможности. Если вы будете радостны и бодры, то мне этим доставите успокоение. Я всегда буду с вами душою, а если Господь позволит — буду часто приходить к вам и смотреть на вас. Но вы уповайте на Господа и на Его Пречистую Матерь и не печальтесь...»

Теперь — он приходит и смотрит на всех нас.

Олег Волков

ПИСЬМО ШОЛОХОВУ

Не знаю, учуят ли современные читатели по тону и некоторым подробностям моего письма М. А. Шолохову подлинную атмосферу тех лет: усомниться в непогрешимости высканного властью корифея, позволить себе высказаться без одобрения — по тем временам явление наказуемое, и нужны были, очевидно, весь накопленный мною опыт, вся горькая память о режимных арестантах, чтобы открыто возмутиться стряпней Шолохова. Возмутиться настолько, чтобы преодолеть свой страх (лагерь только-только остался позади, и все помнился сокамерник, схвативший срок за критику языка... Горького) и решиться осудить лживый шолоховский апофеоз военнопленного.

Впрочем, я лично слышал, как Шолохов в дни суда над диссидентами сказал: «И чего с ними (речь шла о Даниэле и Синявском) возятся! У нас бы попросту вывели на насыпь и шлепнули!»

11. 1. 1991

27 февраля 57 г.

Глубокоуважаемый
Михаил Александрович!

Я не мог перебороть желания высказать Вам свое мнение о Вашем рассказе «Судьба человека», хотя понимаю, что делать этого не следует,— если судить по манере его опубликования, как бы заранее и всесторонне отводящей всякую критику.

При ознакомлении с Вашим рассказом моим первым ощущением было глубокое удовлетворение тем, что именно Вы взялись за нравственную реабилитацию целой категории людей, несправедливо ошельмованных и поистине многострадальных (речь, само собой, идет не о трусах и изменниках). Но я тут же увидел, что Вы рассказали далеко не все, а лишь первый акт драмы, да и о нем пишете, не затрагивая многих причин нравственных пыток наших военнопленных,— Вам как военному известных, естественно, значительно лучше, чем могу о них знать я, человек невоенный.

Среди книг, которые мне приходилось рецензировать за последние годы, попадались написанные американцами, англичанами и французами — участниками войны. В их рассказах о немецком плене (это у всех — независимо от того, как авторы относились к нам) тяжелее всего было читать про нестерпимо, нечеловечески униженное положение наших пленных, лишенных моральной и материальной поддержки своего народа и своего правительства. О тех пленных заботились Красный Крест, их правительства, родственники, частные лица. Наши были париями среди париев, самыми вшивыми, самыми голодными. Самыми измученными. Немецким часовым случалось стрелять по нашим солдатам и офицерам на помойках, в то время как томми и американцы объедались своим condensed food.

А потом: разве таким апофеозом объятий, поздравлений и обещанием наград завершалась судьба возвратившихся пленных? Не начинался ли именно с этого момента для многих второй и морально *горчайший* (во-первых — «от своих», а потом — в момент наивысшего упоения радостью обретения родных людей, когда истерзанный беглец верил, что «Родина поймет, простит и пригреет») акт драмы с фильтрационными пунктами, лагерями и тяжкими лагерными приговорами? Ведь Вы прекрасно знаете, что, если бы не кинематографический переезд Соколова через линию фронта, ему вряд ли зачли бы все, что он перетерпел. Да и как мог бы он оправдаться, не располагая никакими убедительными доказательствами — ну, скажем, протезом или шрамом? Неужели я должен считать Вашего Соколова, с его непревзойденной и, надо полагать, исключительной удачливостью (ведь он мало того, что без особых трудов и риска заполевал такого бобра, но еще и целый ворох военных тайн добыл!), с его едва ли не чудесным возвращением, именно его я должен считать человеком типической судьбы? Конечно, нет: подобный счастливый исход — случай единственный, не характерный и не способен заставить поверить в правду Вашего рассказа... Согласитесь, что привести на сворке [1] военного туза неприятеля — это все равно что невредимо вывалиться из окна многоэтажного дома...

Не Вам, конечно, слушать речи о художественной правде, и все же логика ее такова, что без правды жизни нет и подлинной художественной правды, хотя бы частности звучали убедительно.

Решаюсь сказать, что ни исповедь Соколова, ни его образ не кажутся мне художественно оправданными и цельными.

Оговорюсь сразу: я считаю нехитрым делом нагромоздить перед читателем (или слушателем, зрителем) таких ужасов, чтобы у него нутро похолодело, и не в том вижу я заслугу художественного произведения — искусство я понимаю так, как рассказано в легенде о греческом художнике Тиманфе.

Кто только не расписывал немецкие зверства, не леденил нам душу кошмарными подробностями пыток, мучений, садистских издевательств! И Вы в своем рассказе тоже не скупитесь на подробности соколовской голгофы: битье, расправы, брюквенный отвар, белобрысые до глаз палачи — всего этого дано словно в фельетоне военных лет, но ничего принципиально нового Вы к эпопее пленного не прибавили. Вы не бросили на его мучения и скорби луч, который осветил бы их по-иному, показал скрытые доселе грани. С одной стороны — предельно бесцельная, тупая жестокость круглых скотов немцев, с другой — предельно сознательная, стопроцентная стойкость и мужество русского — это ли не давно узаконенная, апробированная схема?! От Вас, Михаил Александрович, я был вправе ждать большего.

Задумываясь над тем, почему образ Соколова не кажется мне убедительным, я пришел к выводу, что тому несколько причин.

В этом отчасти повинна манера Вашего рассказа, написанного от первого лица. У одного человека получилось два голоса: один — собственный, другой — автора, причем, как мне показалось, в иных местах Вы усугубляете интонации Соколова только для того, чтобы провести отчетливее грань между ним и собой, дать читателю яснее почувствовать, что тут не Вы, а Ваш герой. Отсюда — нарочитость, ультрапростонародная речь, целые абзацы, написанные только для того, чтобы доказать, что Соколов — простоватый и бесхитростный солдат примитивного склада мышления. Но и сквозь местами чрезвычайную грубость языка можно увидеть, что тут выражено чувство автора, а не Соколова. Так, возмущение писаками слезливых писем — безусловно шолоховское.

Весь рассказ написан в двух ключах: поэтические, тонкие переживания и литературные обороты чередуются с нарочитой примитивностью, некоторым оглуплением и разухабистым, ерническим тоном — и ладу между этими двумя ключами нет. За стилистическим разнобоем угадывается внутренняя противоречивость образа.

По наружности Соколова, ряду его высказываний, манере держаться заключаешь, что он человек, опустошенный горем, но замкнутый, умеющий таить его в себе,— и вдруг! — исповедь первому встречному! Конечно, немало народу готовы вывернуть наизнанку душу перед посторонним («Крейцерова соната»), но ведь это мелкие, болтливые люди либо истерики с надуманными горестями. Образ Соколова, даже двоящийся и непоследовательный, не вяжется с его повестью о самом интимном и сокровенном. Кажется, о таких моментах, как разлука с любимой женой, можно поведать разве звездам или вспоминать наедине, заливаясь слезами, кусая подушку, бессонной ночью...

Мне кажутся невозможными в исповеди трезвого человека подобные переходы от задушевных нот к разухабисто-хвастливому тону, словно рассказчик ищет дешевого успеха перед аудиторией, готов говорить пошловато. Более того: в рассказе Соколова мне чудятся интонации пьяненького, попахивает водочкой. Чувства перемешались с чувствительностью: то сентиментальностью захмелевшего человека, то вдруг похвальба, ерничество, дешевое молодечество — словом, вся гамма настроений за изрядной выпивкой. Помести Вы встречу с Соколовым в трактир с горячительными напитками — рассказ звучал бы убедительнее.

Кое-где высказывания Соколова приобретают декларативный, сентенциозный характер. Так, например, волнующий, заставляющий биться сердце гордостью за подвиг человека эпизод с доктором заканчивается такой фразой: «Он и в плену, и в потемках свое великое дело делал». К чему пояснение? Разве без него непонятно, как должен был звучать в потемках разбитой церкви шепот: «Раненые есть?»

Такого рода общие фразы, на мой взгляд, только снимают эмоциональную силу описываемых сцен. Сошлюсь и еще на один пример: не уместно ли было бы после фразы «И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит» поставить точку? Как громоздко и тяжело разворачивается фраза а тексте: «и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев...» и т. д. Это не только громоздко, но, по существу,— всего-навсего звонкая фраза.

И все же сказанное о Соколове — лишь частности. Основная причина неубедительности этого образа — в его надуманности, в искусственности подбора фактов, рисующих характер. Нельзя не видеть в нем тот «нажим», нарочитую искусственность в подчеркивании идейного замысла, которые мешают непосредственному восприятию художественного произведения, как писал недавно в «Правде» народный художник Юон.

Читатель, приученный восторгаться Тутариновыми, возможно, будет радоваться безызъянному характеру Соколова, но меня он наводит на грустные размышления: раз уж Шолохов стал сбиваться на житийные образы... Впрочем, и в агиографической литературе путь к спасению души бывает

[1] Поводок для собаки *(охотн.)*.

Волков Олег Васильевич (р. в 1900 г.) — писатель, автор книг «В тихом краю» (1959), «Клад Кудеяра» (1963), «Родная моя Россия» 1970), «Енисейские пейзажи» (1974), «Все в ответе» (1986), «Погружение во тьму» (1987), «Век надежд и крушений» (1989) и др. Член СП. Живет в Москве.

нвилистым, святые становятся порой жертвами дьявола. Не то Ваш монолитный, твердокаменный Соколов: он герой с ярлыком «положительный, сорт — экстра». Правда, он малость пображничал в юности, но так безобидно, непорочно! Зато дальше — словно на крыльях летит от благородного поступка к сверхблагородному, от мужественного — к сверхмужественному.

Хочется остановиться на примечательной сцене со шнапсом, меня особенно раздосадовавшей. Щепетильность Соколова в ней достигает непостижимых вершин, его поведение перед врагом — смесь патриотической гордости со скоморошеством. По мне, если уж показывать негодяю фельдфебелю, что он перед тобой свинья и прохвост, то и послать его надо, ирода, к чертим с его угощением или уж поступать по пословице «дают — бери», а то закуску брать нельзя, но шутовским приемом лишний стакан шнапса выманить можно! Меня даже несколько задело это выхваливание перед немцами, и, главное,— чем? — жадностью к водке и неумением пить! Воля Ваша — никудышная вышла сцена... Она напоминает бытовавшие в царской армии анекдоты о царском солдате, его будто бы бессмысленном молодечестве, неразборчивости, сластолюбии, прочих преимуществах перед «басурманами» и «нехристями».

Буду откровенен до конца: Ваш рассказ заставил меня вспомнить заслужившую печальную известность повесть Гоголя. На ее страницах, сквозь беспримерную фальшь тона и темы, тут и там алмазной россыпью сверкает неповторимый поэтический талант автора, иную фразу читаешь с восторгом.

Я бесконечно далек от мысли сравнивать идейную направленность «Переписки с друзьями» Гоголя с Вашей «Судьбой человека»: тут все несопоставимо. Однако сквозь искусственность темы и нарочитость образов в разбираемом рассказе нет-нет да и сверкнет яркая подробность. То, что относится к усыновлению мальчика, правдиво, полнокровно, задевает добрые струны человеческого сердца. Тут уж ex unguae Leonem!

В эпизоде с мальчиком лишь сцена с обретением отца показалась мне искусственной, вернее — сладковатой. Я всегда вспоминаю слова Аксакова, писавшего, что «не дело искусства описывать добродетели»; я добавлю к ним: и чересчур трогательные эпизоды. Понимая, что многим читателям, особенно любителям мелодрамы, сцена будет по душе.

В заключение хочется подчеркнуть, что, будь «Судьба человека» публицистическим очерком, да еще написанным лет пятнадцать назад, и принадлежи он другому писателю, я бы вряд ли стал предъявлять ему такие претензии.

Мое письмо получилось непростительно длинным — сколько можно было сказать о поблекших красках пейзажа, длиннотах или тавтологии... Но рассказ принадлежит писателю, выдвинутому на первое место.

С глубоким уважением

Олег Волков

P. S. Шолохов на это письмо не ответил. Не напечатал его и «Новый мир», куда оно также было послано.

Валерий Прохватилов

«ПОЧТА ПО КРУГУ»

Тридцать страниц о книге, пока не изданной

Не мной сказано, что у каждого писателя должна быть главная книга, которая пишется всю его жизнь. Для меня такой книгой стала «Почта по кругу», начатая в 1961 году и вчерне законченная в 1969-м. Почему вчерне? Да потому, что я работаю над ней и по сию пору: многое ведь теперь, по прошествии двадцатилетия, приходится пояснять, комментировать, порою даже переосмысливать. Ибо в 61-м мне было лишь двадцать два, как исполнится двадцать два и читателю девяностых годов, о котором я не могу не думать.

Ежели уж быть совсем точным, книга эта не задумывалась мною, не создавалась, в общепринятом смысле слова,— она росла. Будто пасмурный куст шиповника где-нибудь на задворках безалаберного строительного массива. Никогда не поливаемый, беспризорный куст, вечно пыльный, порой надломленный, а потому еще более упорно выставляющий против мира свои отчаянные колючки.

«Почта по кругу» — это документальный роман. В него входит многое из того, с чем связаны годы учебы на заочном отделении Литинститута, в поэтическом семинаре И. Л. Сельвинского.

Годы не простые. Они включают в себя и конец того периода, который принято теперь называть «оттепелью», и начало духовного и экономического застоя.

Как поймешь ты сегодня, читатель, ту поистине драконовскую «зажатость», при которой мы жили начиная, примерно, с середины шестидесятых?

Душа глуха, и сердце пусто,
и нет спасения — словам.
Опять война: трещит искусство
и расползается по швам.
Игра, которой нет конца.
Так надоело верить в случай!
— Восстань, пророк: *смотри и слушай*,
и лги — от третьего лица!
И целый мир, меняя взгляды,
играет в славу и борьбу...
О, время, стань со мною рядом
и проясни мою судьбу!
— *Все, что минутно*... Все постыло.
Не надо родины — другой...
И возвращается в пустыню
пророк, усталый и нагой.

«Почта по кругу», 1965

Наша жизнь прошла меж двумя всплесками демократии: в пятьдесят шестом нам было 17—20, в восемьдесят шестом — 47—50. Мы никогда не занимали литературных постов, не имели никаких льгот, никогда никому не кланялись. Мы — те самые фрондеры, кто входил в литературу или только-только начинал писать в период той первой оттепели. С обывателями, принимавшими за социализм то, что было вокруг, общего языка мы не находили — ни раньше, ни даже по прошествии многих лет застоя, ибо дети 56-го года не таковы. Мы и нынче в большинстве своем скептичны, самостоятельны и нелицеприятны в суждениях, в меру оппозиционны к властям. Во всяком случае, никогда не поем с чужого голоса. Это, кстати, суть, а не поза: так уж нами время распорядилось. Да, удел наш был — фронда, скепсис, едкая реплика из заднего ряда, анекдот о Брежневе, самоирония. Тоже правильно пойми нас, читатель: как бы ни ставился мир с ног на голову и обратно, а жизнь одна... Потому-то и ощущение этой жизни горько выливалось в стихи, как у женщин — в слезы...

Четвертый час. Метель. И боль сквозная.
Двадцатый век. Шестая часть земли.
А надо мной — законченность тройная:
три грации, три карты, три шлеи.

И сквозь число гляжу туда — в начало.
И все во мне. И все опять, как встарь:
семерка, тройка, туз — и рябь канала,
семерка, тройка, дама и — фонарь.

Свет фонаря чуть различим во мраке.
Он — как звезда, зажатая в горсти.
И мир готов к последней пьяной драке,
и я не знаю, как его спасти...

«Почта...», 1966

Применительно к литературе — всякое время вообще делит своих певцов на угодных и неугодных. Три пути было у поколения, лишенного гласности и трибуны: либо за кордон, либо в пьянство, либо в могилу. Уезжали за границу (многие не по доброй воле) И. Бродский, Д. Бобышев, К. Кузьминский, С. Довлатов, В. Аксенов и прочие, прочие...

Кроме перечисленных трех путей был у поколения и путь четвертый — это работа и еще раз работа. В основном, разумеется,— «в стол». Без надежды на публикацию, но зато и без уступок цензуре и внутреннему редактору,— истинная работа, дающая радость жизни, реализующая по-

Прохватилов Валерий Алексеевич (р. в 1939 г.) — поэт, прозаик. Автор стихотворных сборников «Возвращение в легенду» (1976), «Полдневная пора» (1985) и книг прозы «Солнце за горизонтом» (1987), «Тень заветного эскадрона» (1989). Член СП. Живет в Ленинграде.

требность сопротивления. Это было, и, к счастью, этого у нас отнять не смогли.

Тем не менее, как сказал наш великий поэт и единственный не сломленный — до конца шестидесятых — редактор: «и все же, все же, все же...» Ибо сегодня, по необходимости оглядываясь назад — почти через тридцатилетие, подсчитав, как говорится, «раненых и убитых», мы так мало видим в литературе нашей имен тех вихрастых, голодных, ершистых мальчиков, что шумели в коридорах Литинститута (или, скажем, в Питере, за столиками «Сайгона») в начале шестидесятых... Не случайно в «Почте по кругу» есть запись — от 12-го апреля 1975 года (Бродский, Кузьминский и многие другие уже уехали, высланы были Галич и Солженицын): «И ТОГДА МЫ ВСЕ ПОНЕМНОГУ УМЕРЛИ...»

Запись эта, как видим нынче, несколько театральна и по тону даже мелодраматична, пожалуй, но она есть... В годы, когда совесть трещала под напором фальшивых цветастых лозунгов, многим оставалось только взывать — то к Богу, то к уцелевшим своим отцам — из духовных, новых наших могил...

А вы-то? Знали вы о Боге?..
И все на ощупь, все впотьмах.
И падали среди дороги
с веселой песней на губах.

Веселые! О вас не плачут
ни ваши вдовы, ни сыны.
Но плавно кони ваши скачут
сквозь наши бешеные сны.

И революция — как бремя
на ваших согнутых плечах.
И замкнут мир. И ваше время
запуталось в ее речах...

Помню, это стихотворение, в числе прочих, я прочитал в январе 1966 года в ленинградском литературном объединении при журнале «Звезда», где бессменным руководителем был известный тогда поэт Н. Браун. В тот же день Дима Бобышев представлял на обсуждение одну из своих поэм — «Дверь». В конференц-зале «Звезды» присутствовало человек тридцать, но впервые традиционного обсуждения не получилось: Николай Леопольдович сразу пошел на нас, словно танк «ИС» через нечастый сосновый бор. Мы лежали в унылых своих окопах плашмя, будто новобранцы с недельным военным стажем, и психическая атака на позиции воспринималась как Божья кара. Но не за эти, только что прочитанные стихи, а за что-то, что мы обязательно еще совершим — в последующем... Понимаем ли мы сами, о *чем* мы пишем?.. Это был не самый трудный в тот день вопрос. Браун был всегда осторожен в своих оценках, всех обычно выслушивал, затем подводил черту, то есть был вполне корректен, но тут... «О таких, как вы... в сегодняшнем номере „Известий“ — статья... Называется „Перевертыши“... Прочитайте, подумайте...»

Разумеется, через несколько дней я статью прочитал. Речь в ней шла о бывшем члене редколлегии «Нового мира» писателе А. Синявском и о переводчике Ю. Даниэле. Оба были арестованы в Москве в сентябре 1965 года и обвинялись в том, что «занимая враждебные, антисоветские позиции, начиная с 1956 года писали и нелегально переправляли за границу клеветнические произведения, порочащие советский государственный и общественный строй». Статья «Перевертыши», опубликованная в «Известиях» и подписанная Дм. Ереминым, очевидно, призвана была *до суда* подготовить общественное мнение к будущему уголовному процессу.

Разумеется, эту старую газету я сохранил. Нисколько не утруждая себя хоть какой-то попыткой литературоведческого анализа, Дм. Еремин («прозаик, поэт, критик, публицист», как сказано в писательском справочнике) в этой статье писал:

«Первое, что испытываешь при чтении их сочинений,— это брезгливость. Противно цитировать пошлости, которыми пестрят страницы их книг. Оба с болезненным сладострастием копаются в сексуальных и психопатологических „проблемах“. Оба демонстрируют предельное нравственное падение...»

Дальше — способ аргументации:

«Невозможно воспроизвести здесь соответствующие цитаты: настолько эта писанина злобна, настолько она возмутительна и грязна».

Наконец — финал, выдержанный в лучших традициях тех (а также прошлых и многих будущих) лет:

«Синявский и Даниэль начали с малого: честность подменили беспринципностью, литературную деятельность, как ее понимают советские люди,— двурушничеством... И в конечном счете докатились до преступлений против Советской власти. Они поставили себя тем самым вне нашей литературы, вне сообщества советских людей...»

А вот, соответственно, и «похороны» (повторяю — *до суда*!) — по всем правилам, то есть с отпеванием и с утрамбовкой могил ногами: «Пройдет время, и о них уже никто не вспомнит. На свалке истлеют страницы, пропитанные желчью. Ведь история не раз подтверждала: клевета, какой бы густой и злобной она ни была, неизбежно испаряется под горячим дыханием правды. Так произойдет и на этот раз».

Вспомним, сколько было подобных — только на нашем веку — пророчеств! Пастернак, Солженицын, Гроссман, Высоцкий, Некрасов, Копелев, Галич...

«Литературная газета» № 128 от 25 октября 1958 года. Редакционная статья (без подписи) — «Провокационная вылазка международной реакции». Она тоже — в домашнем моем архиве, послужившем во многом основой «Почты по кругу».

«Еще в декабре прошлого года новоиспеченный лауреат Нобелевской премии французский писатель Альбер Камю обрушился на советскую литературу, на принципы социалистического реализма, удостоив эпитета „великий“ из всех современных писателей нашей страны только одного Пастернака... Многие русские писатели внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой литературы, но лишь И. Бунин в 1933 году получил Нобелевскую премию, белоэмигрант Бунин, к тому времени окончательно утративший связи с русским народом. И вот теперь этой премией венчают Пастернака, силясь скрыть за формулировкой жюри сугубо политическую антисоветскую сущность кампании...»

Истинно, прав был философ, сформулировавший впервые закон — об истории, идущей вперед — по кругу. «Возвращаются ветры на круги своя»,— как сказано в Главной Книге... И ведь тут — не единичность смысла, тут — множественность.

Для проверки можно совершить еще один шаг — в прошлое, то есть опуститься еще на круг.

Редакционная статья в «Правде» от 28 февраля 1937 года — «О политической поэзии» (это уже из той части архива, что была оставлена мне отцом):

«...глубоко враждебные социализму люди стремились оторвать поэзию от актуальных вопросов социалистической действительности...»

Эта статья «разоблачает» поэтов, которых хвалил Николай Бухарин на I съезде Союза писателей в 1934 году: Пастернака, Сельвинского, П. Васильева, Луговского. Отмечая, что в докладе Бухарина содержится «лишь слегка замаскированная проповедь двурушничества в поэзии», неизвестный автор констатирует:

«Недаром тот же Илья Сельвинский заявляет, что для советского читателя:

Все старое приятно и понятно,
Все новое обидно и темно...

Когда читаешь эти строки первоклассного мастера советской поэзии, невольно задаешь себе вопрос: кто их написал — советский поэт или человек, чуждый советскому строю...»

Впрочем, вернемся опять — в шестьдесят шестой, в тот печальный окопчик, где приходится пребывать до поры нам, грешным...

Через месяц после статьи Дм. Еремина «Перевертыши», в феврале 1966-го, состоялся процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем. Характерно весьма, что Союз писателей не выдвинул общественных защитников — он выдвинул общественных обвинителей: З. С. Кедрину и А. Н. Васильева.

Приведу последнюю выдержку из «Почты по кругу» по этой теме. «Правда», № 46 от 15 февраля 1966 года. Статья «Приговор клеветникам», подписанная Т. Петровым. Здесь дается эмоциональная оценка действа, именуемого судом. Я напомню только, что Т. Петров публикует в «Правде» отчет об *уголовном* деле:

«Тяжело было присутствовать в зале суда, особенно когда шел допрос подсудимых. Попросту говоря, уж очень противно было наблюдать нечистую игру двурушников. К чему сводились заявления Синявского и Даниэля? То к упорному отрицанию антисоветской сущности их произведений, то к туманнейшим рассуждениям о природе художественного творчества, то к настойчивому стремлению отгородить себя от своих героев...»

Суд признал А. Синявского и Ю. Даниэля виновными в преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР, и приговорил к заключению в исправительно-трудовых колониях строгого режима: Синявского сроком на 7 лет. Даниэля — на 5 лет.

Разумеется, «зал встретил приговор аплодисментами»...

И революция — как бремя
на ваших согнутых плечах.
И замкнут мир. И наше время
запуталось в ее речах...

Разве дело было здесь только в этом одном готовящемся процессе? Или в процессе над Валерием Тарсисом? Или в процессе над «тунеядцем» И. Бродским, в Ленинграде, в 1964-м?..

Дело было в сталинистах, почти всюду в стране оставшихся на прежних своих постах. В неизменности самой системы, подавляющей личность. В силу этого нам нетрудно было понять запуганного, приниженного всей прошлой жизнью Николая Брауна в тот момент, когда вопрошал он нас с Бобышевым, на крике,— дескать, понимаем ли мы сами, о *чем* мы пишем?

Мы, конечно же, понимали...

Так что и не такая уж она была «теплая» для нашего поколения, та короткая оттепель... Просто все мы получили в те годы самый первый, самый острый глоток свободы, снова затем отъятой теми же сталинистами. Так и существовали с тех пор в стране два мира, две истины, две культуры, почти не пересекаясь. В этом смысле классики, как всегда, оказались правы, говоря о законе, по которому история повторяется дважды — в первый раз как трагедия, во второй — в виде фарса. По тому же закону на смену сталинской тирании пришел застой. И хотя сегодня, когда перестройка только-только вступает в силу, дети 56 года *активно* живы (их в стране большинство!), но, однако, ведь живы и сталинисты. Потому-то неизбежно снова встает вопрос — кто кого?.. И «андреевцы» всех мастей не теряют своих надежд. Нынче жажда реванша

снова обуревает их — словно в душных миражных снах.

...Две недели назад американское радио сообщило, что 30 декабря 1988 года, в Москве, на шестьдесят четвертом году жизни скончался поэт и переводчик Юлий Маркович Даниэль. Незадолго до смерти подборка его стихов была опубликована в «Огоньке»...

Умер Даниэль, не дождавшись реабилитации. С приговором — от того злосчастного шестьдесят шестого. И на похороны к нему, в Москву, прилетал другой не реабилитированный («подельник», как говорят на зоне), профессор, читающий курс лекций по русской и советской литературе в Париже, Андрей Донатович Синявский...

Боже, помоги нам всем скорей найти истину...

Я невольно ловлю себя на том, что для нынешнего читателя мне не раз еще придется комментировать многие скорбные события двадцати- и двадцатипятилетней давности. Как вот тот же, скажем, процесс над двумя писателями... Между тем уже в «Почте по кругу» есть по этому поводу запись, из которой можно увидеть, что не все встретили приговор тот «продолжительными аплодисментами». Наши «кухонные» митинги собирали нас все чаще бесшумным своим набатом.

Вот запись от 16 февраля 66-го.

«Первое, что приходит на ум, это бросить все и уехать куда-нибудь в глубь России, поселиться навеки в глухом таежном углу, чтобы с медведями, а не с человечьим корыстным родом решать свои земные дела, не боясь ни подвоха, ни злобной зависти. Думая так, начинаешь верить целебной силе травы, и кедру, и вязу дикому, бросающему орешки на середину троп, и видишь белку, уронившую вдруг желтое тельце свое вниз — вдоль ствола, и многое, от чего закружится голова и сладким током пройдет по телу исное ощущение голубой страны, лежащей от тебя в сорока рублях тихой тряски на скором поезде. И уже не по злобе, а с нежной силой возвращается та же мысль, не такая, чтобы, закрыв глаза, бежать от людей, не чуя под собой ни пути, ни времени, а спокойная, тихая, несущая в себе и печаль, и начало действий.

И все-таки не уедешь, нет! Застрянешь там, где родился, где жил, где рожал детей и где суждено тебе умереть, воротясь к отцам, которые давно уже отмечтали и о голубой стране, и о лучшей доле. Нет у нас в этом мире ни прав, ни выбора. Все отняла проклятая кузница. Делают из нас гвозди, сплющивают нам головы глупые и — то забитых, то погнутых — оставляют ржаветь на великих стройках. Ни уехать, ни убежать. Жена, работа, военкомат, прописка — вот четыре штампа, как четыре конца креста, на котором навек распята судьба твоя, маленький человек...»

* * *

Давно стало хорошим тоном утверждать, что Литинститут ничему не учит. С этим я не согласен. Это он сейчас, возможно, «ничему не учит», а тогда учил... Прежде всего учил братству, взаимопониманию старших и младших и — что особенно важно — обмену «закрытой» информацией и осознанию себя в мире.

Мы, заочники, приезжали на сессию дважды в год, обязательно привозя с собой ворохи самиздата — тоненькие зачитанные листочки, без интервалов. Гера Киселев жил в Рязани, Вольдемар Бааль — в Риге, Витя Потанин — в Кургане, Таня Глушкова — в Киеве, Карпис Суренян — в Ереване, Вадик Рабинович — в Москве... Душанбе, Кишинев, Магадан, Одесса, Березняки... Кто откуда, кто с чем... Правда жизни неминуемо противостояла при этом официозу. Кроме того, особо почитаемый «гостями» семинар И. Сельвинского имел свои гуманистические традиции, сложившиеся еще в те годы, когда участниками его были П. Коган, М. Кульчицкий, А. Межиров, Б. Слуцкий, Д. Самойлов, А. Яшин, С. Наровчатов... Вырабатывались позиции, при которых крупные литературные и общественные события (в том числе и «процессы») становились фактами личных биографий. Разумеется, это тоже отразилось в «Почте...»

Собирались мы у Сельвинского на даче, в Переделкино, раз в неделю, по четвергам. Собственно, в том учеба и состояла: чтение стихов на семинаре, их прицельное обсуждение, доходящее порой до крика, и последующая переписка в году — друг с другом и с И. Л. Сельвинским, в течение шести лет учебы. Потому и «Почта по кругу»...

В годы, когда цинично-оптимистические творения певцов застоя спонтанно захлестывали периодическую печать, традиции семинара по-прежнему позволяли нам быть предельно откровенными — и в стихах, и в письмах. Среди моих корреспондентов тех лет (кроме, разумеется, Сельвинского) — А. Солженицын, С. Наровчатов, Ал. Михайлов, Л. Озеров, А. Житинский...

С И. Л. Сельвинским мы переписывались с завидным тщанием, с дома на дом, обходя, как правило, кафедру творчества, руководимую С. Вашенцевым, откуда к концу учебы начали раздаваться в основном уже одергивающие окрики. Стихи мои тех лет, как правило, очень коротки, бессюжетны, порой нарочито книжны (хотя ослепительно «книжный» А. Кушнер жизнью доказал, что это не недостаток). В этих стихах — и время, и душевное состояние, приближенное к отчаянию, в котором нам всем приходилось жить. Состояние это не подделаешь, запоздалой правкой не приукрасишь и в иной жизни не повторишь.

Родись в краю осатанелом
и улови его напев.
Живи, своим корявым телом
к его страданью прикипев.

Живи по трезвому расчету,
тяни, с душою на засов,
одну-единственную ноту
в нестройном хоре голосов.

Умри, но помни: жизнь земная —
лишь увертюра бытия.
Лежи и мучайся, не зная,
чем пьеса кончилась твоя.

* * *

И сутки прочь, и словом тайным
опять, как прежде, дорожим,
и снова кажется случайным,
и снова кажется чужим

там — над Ростральною колонной —
полет пылающий флажка,
пока Радищев потаенный
сдувает пыль с черновика...

«Почта...», 1965

Вполне естественно, что в те годы я не мог найти издателя для своих стихов. И не я один, разумеется... У одних из нас ситуация эта рождала чувство раздвоенности, у других — всепоглощающей и безысходной озлобленности. Кто-то третий поневоле занял уже позиции, которые идеологические «охранители» типа Л. Ф. Ильичева и М. А. Суслова откровенно определяли очень модным в то время и емким словом «антисоветизм». С середины 60-х идеологически порочным, антисоветским (уже при Брежневе) стали называть практически всё, что выходило из-под пера, скажем, таких неуправляемых литераторов, как А. Солженицын, В. Войнович, Г. Владимов, А. Галич... А из нашего круга (из близких, почти ровесников) в этот разряд попали И. Бродский, В. Кривулин, И. Долиняк, Е. Шварц...

Тут опять мне, как видим, три точки пришлось поставить, ибо ряд сей воистину крут и пугающ, и уходит, будто проложенная кратчайшим путем дорога, за горизонт...

По стечению обстоятельств («по законам диалектики», как я чуть было не написал) с поразительной закономерностью именно то, что прежде считалось антисоветским, стало после апреля 1985-го как раз тем самым, над чем мы сегодня (опять на кухнях!) сидим ночами,— острым, честным и историчным. Оказалось в подлинным, и жизненно необходимым тебе, читатель. Не парадокс ли?.. Нет, конечно, не парадокс. Осознав же сию божественную и предельно очистительную метаморфозу, каждый должен теперь, как кажется мне, задуматься — о природе и смысле всякого подлинного дарования и, конечно, о предназначении и личной судьбе творца. О духовном раскрепощении.

...Написал чуть выше — «с середины 60-х...» и сам чувствую здесь неточность. Ибо, скажем, роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был не просто признан антисоветским, но и арестован (роман!) в декабре 60-го, то есть в год смерти Б. Пастернака, которого самого за роман травили, как помним, с 58-го. Впрочем, экскурс в прошлое мы уже проделывали чуть ранее. На примере «Почты по кругу» все эти закономерности легко просматриваются. Они жгучи и отрезвляющи.

Кстати, о парадоксах...

В Ленинграде Архив Октябрьской революции (полностью он поименован как «Архив Октябрьской революции и социалистического строительства») территориально расположен на улице, название которой в данном случае несомненно наводит на размышления: Варфоломеевская. Вот такто... В доме № 15, если кому понадобится...

Ну, а в личном моем архиве, помогавшем оформить «Почту...»,— в основном самиздат, согревавший в застое душу. Письма близких, друзей. Читателей (в последние полтора-два года). И, как стало уже понятно из предыдущего,— бесконечные вырезки из текущей советской прессы, за многие и многие, очень разные времена...

Вот, к примеру, двадцатистраничный краткий отчет (небольшая самиздатовская брошюрка), где воспроизведена стенограмма обсуждения романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба» на расширенном заседании редколлегии журнала «Знамя» в декабре 1960 года.

Говорит главный редактор журнала В. Кожевников:

«Наша редколлегия носит расширенный характер. Сделано это потому, что представленный нам роман — большой, многолетний труд писателя, известного и в нашей стране, и за рубежом. Грубые политические ошибки, враждебная направленность этого произведения вынудили нас обратиться к руководителям Союза писателей (судя по стенограмме, присутствуют Марков, Сартаков, Щипачев.— *В. П.*), чтобы откровенно и принципиально обсудить, как и почему произошла такая беда и даже, можно сказать, катастрофа с нашим товарищем по Союзу писателей...»

Говорит А. Кривицкий (обратим внимание на стиль):

«Имевшие в свое время место нарушения законности роман трактует как явление, органически присущее советскому строю... О перегибах во время коллективизации автор пишет пространно, но ни одного доброго слова о самой коллективизации в романе не сказано... Невольно приходит на ум сравнение с романом Б. Пастернака „Доктор Живаго“, который я читал и по поводу которого подписывал письмо группы членов редколлегии „Нового мира“. И если идти в этом сравнении до конца, то, пожалуй, „Доктор Живаго“ — просто вонючая

фитюлька рядом с тем вредоносным действием, которое произвел бы роман В. Гроссмана».

Вот подводит итоги руководитель Союза Г. Марков:

«Прочитал роман и очень огорчился, что, как говорится, в недрах Союза писателей возникло такое произведение в духе антисоветских писаний, да еще в такое время — в 1960 году. Я абсолютно подписываюсь под духом и буквой вашего решения. Я считаю, что оно дает очень правильную оценку. А если говорить о моем психологическом состоянии при чтении этого романа, то оно было просто тяжким, потому что оказались оплеванными те святыни, которые для меня бесконечно дороги...»

Очень точно сказано: «да еще в такое время — в 1960 году...» Повезло Василию Семеновичу Гроссману: десятью годами ранее при таком единодушии был бы арестован не роман, а сам автор.

Нынче, когда оба романа изданы (не прошло, как видим, и трех десятилетий), проницательный читатель сам может сравнить свое «психологическое состояние при чтении» с «состоянием» Г. Маркова...

Остается горько сожалеть, что за два десятилетия застоя эти яростные любители подписываться «под духом и буквой» решений, подобных приведенному выше, все-таки успели взрастить немалую армию себе подобных. В *самых недрах* Союза, если следовать их стилистике.

Между тем интересно будет отметить, что за годы перестройки очередь «возвращенцев», их достойных эпохи произведений не иссякает. Уже издан «Роман без вранья» Анатолия Мариенгофа, «Неуемный бубен» Алексея Ремизова, только что «Юность» начала публикацию «Чонкина» Вл. Войновича — «с согласия автора и издательства „Ардис“», как уважительно сказано в примечаниях,— этот каверзный слоистый пирог удивительной русской кухни, искрометный роман-анекдот «о бойце последнего года службы» Иване Васильевиче, «маленького роста, кривоногом да еще и с красными ушами». Говоря короче — о брате Швейка (на русской почве) эпохи Великой Отечественной войны. Издан Хармс, возвращен неизвестный Слуцкий, у которого из наследия оказалось, по данным Ю. Болдырева, две трети не опубликовано...

Многие публикации сопровождаются для моего поколения порой трогательными деталями. Что-то ведь было прочитано ранее — в институте еще, в том же всё самиздате, за который, кстати уж говоря, начиная, примерно, с конца шестьдесят восьмого можно было вполне уверенно «схлопотать» семь лет. Мы читали «Котлован» и «Собачье сердце», по листочкам, вчетвером, перехватывали с колен друг друга «Здравствуй, грусть» Ф. Саган, «Процесс» Кафки, «По ком звонит колокол» Хэма — в шестьдесят втором, за шесть лет до издания, в переводе все тех же Волжиной и Калашниковой. Точно так же в семидесятых был прочитан «Раковый корпус», «Архипелаг...»

До сих пор не решаюсь назвать пути, по которым эти рукописи попадали к нам в руки... Что это — рабий отзвук времен застоя? Воспоминание о чугунной плоти ядра, прикованного к иоге каторжника?.. Честное слово, не знаю. До сих пор наш невнятный, неназванный, искореженный всеми ветрами строй не имеет правовых гарантий в том, что все это снова не повторится. Так что лучше эту тему пока оставить. Согласись, брат-читатель,— для чего нам с тобой лишний раз посыпать наши общие раны солью?

Нынче более чем пятисотстраничному Хармсу, изданному в «Советском писателе», предпослано пространное квалифицированное предисловие, где рассматриваются подробно стихи и проза, драмы и письма. Правда, тираж — пятьдесят тысяч (это за пятьдесят-то лет!),— по-моему,— птичка в плане. Да пусть уж... Лично мне все же будет, как видно, дороже тот Хармс, что стоит у меня на полке с весны 67-го. (Вот, оказывается, как далеко простиралась обнадеживающая волна той оттепели!) Тоненькую ту книжицу прочел я, и в свой час прочли мои дети, и друзья детей... Так вот, книга эта дорога мне еще и тем, что в ней имеется послесловие, к сожалению, до сих пор неизвестного мне Н. Халатова. В послесловии, в частности,— ненаучно, конечно, но очень по-человечески — говорится (я напомню: издательство «Малыш», шестьдесят седьмой!):

«В 1937 году, ребята, детский журнал „Чиж“ опубликовал в третьем номере небольшую „песенку“ Даниила Хармса. Суть „песенки“ заключалась в том, что „из дома вышел человек (она так и называлась „Из дома вышел человек“) — и с той поры, и с той поры, и с той поры исчез“. Заканчивалась „песенка“ такими словами:

Но если как-нибудь его
Случится встретить вам,
Тогда скорей,
Тогда скорей,
Скорей скажите нам.

Через некоторое время Даниил Иванович вышел из дома и тоже исчез... Лишь в 1956 году его родные получили официальное извещение, что поэт посмертно реабилитирован. Страницы, посвященные Хармсу, не могли переиздаваться, книги его были сняты с полок детских библиотек, а само имя предано забвению...»

У детей, как помню, в семидесятых было очень много вопросов: «Почему — в 56-м?.. И что значит — реабилитирован?..» «Сняты с полок?» «Забвение?..»

Нынче детям (и друзьям их) слегка за

двадцать. Уверяю тебя, читатель, они не пляшут по дискотекам: они участвуют в наших митингах.

В годы оттепели, как помним, бушевала поэзия. Возвращались понемногу — неполно, выборочно, с купюрами — тексты репрессированных, но лидировали в то время старшие, живущие наши современники: Евтушенко, Вознесенский и — позже чуть — Окуджава. Как ни кощунственно это прозвучит, но, по всей логике развития литературного процесса, они все трое тоже неминуемо должны были погибнуть (да-да, физически!), как погибли Высоцкий, Галич, Вампилов, Шукшин, Казаков, Рубцов, Шпаликов... Ибо таков был их надрыв и такова доля ответственности перед обществом. «Мы — продукты атомных распадов, за отцов продувшихся — расплата»,— констатировал Вознесенский в шестьдесят первом в своей «Треугольной груше». Двадцать первого октября 1962 года мы раскрывали газету «Правда» и на четвертой странице находили стихотворение «Наследники Сталина» Евтушенко:

Он что-то задумал.
Он лишь отдохнуть прикорнул.
И я обращаюсь к правительству нашему
с просьбою:
удвоить,
утроить у этой стены караул,
чтоб Сталин не встал,
и со Сталиным — прошлое...

Увы нам, читатель, увы... Разумеется, Сталин не встал. Но в шестьдесят четвертом (октябрьский Пленум) встали его наследники — как великая зазубренная стена, обнесенная проволокой под током. Это событие вошло в сознание поколения как «дворцовый переворот».

«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» — умолял нас всех Окуджава в семидесятом. И потом — уже укоризненно, через восемь постылых лет:

Взяться за руки не я ли призывал вас, господа!
Отчего же вы не вслушались в слова мои, когда
кто-то властный наши души друг от друга
уводил!..
Чем же я вам не потрафил? Чем же вам
не угодил?

Снова нужно каяться нам, как видим, за кого-то: «Увы... Мы побили своих пророков!..»

В этом плане, если говорить о дне сегодняшнем, мы долго еще будем пожинать не только плоды сталинщины, но и горькие плоды застоя. Ведь за время застоя успело вырасти поколение. Воздуха 56 года представители его вдохнуть не успели. Вся их прошлая жизнь прошла под знаком нарастающих отрицательных явлений: лизоблюдства и коррупции, приписок и парадного пустозвонства, интенсивного партийно-бюрократического диктата и присвоения отобранных у народа прав. А в литературе — того самого расчетливо-циничного оптимизма.

В 76-м, в год выхода первой книги, озаглавленной «Возвращение в легенду», и — соответственно — в двадцатую годовщину съезда, наряду с другими пробовал *до них* докричаться и безвестный В. Прохватилов:

Двадцатый съезд! — во что ты нынче вылился?
Из Мавзолея гроб плывет, на вынос...
Не верю я торжественности выноса:
мне кажется,
змеею Сталин выполз!

Разумеется, строчки эти из книги были выброшены.

Вообще же дело само — с печатаньем — оказалось для всех нас довольно замысловатым. «Возвращение в легенду» я принес в издательство «Советский писатель» в 1968 году. Это была дипломная работа Литинститута, поддержанная руководителем семинара И. Сельвинским, оппонентами С. Наровчатовым, Л. Озеровым, Ал. Михайловым. Все порывы 56 года, как мы помним, были в то время благополучно сведены уже на нет. И вот восемь лет я ходил в издательство, где на меня смотрели как на досадную помеху: как — ты еще не уехал? Ты еще живой? Еще не спился?..

Я ничуть не утрирую.

В 76-м наконец книга вышла. Таков был путь тогдашнего «молодого»: в 29 лет книгу сдал, в 37 она вышла, в 42 принят (по той же книге) в члены СП. Многие и это считают удачей! А для примера, Таня Горичева (из «наших»), вынужденная покинуть страну, выпустила в Париже двухтомник Вити Кривулина. Здесь же, в Ленинграде, у нас в России, девяностошестистраничный сборничек Кривулина продвигался к читателю... двадцать девять лет и три месяца!

Да что говорить! Все мы столько просидели в своих «окопах», столько хлебнули горечи, что наше поколение уже не сбить с толку ни хвалою, ни хулой. Это просто к разговору о крыльях, которые власть предержащие поднаторели ломать нам в младенчестве. Каждый из нас мог выжить и духовно раскрыться, но не каждому, к сожалению, это удалось.

Мне по этому поводу лишний раз не хотелось бы, в принципе, цитировать классика, упоминать лишний раз его скорбные строки всуе, но что поделаешь... Было время, когда некоторые из строк жили в сознании, как живет в сознании многих бывших блокадников утешительно-бесстрастный звук метронома: «МНЕ НА ПЛЕЧИ КИДАЕТСЯ ВЕК-ВОЛКОДАВ...»

Некоторые мои ровесники до сих пор в людном месте (хоть в товарищеской пирушке, хоть в официальном каком собрании) сесть стараются в самый угол, побли-

же к стенке — лицом к дверям. Чтобы видно было *входящих*... Ибо век, что призван давить волков, ненароком может сломать любого. При определенных условиях, при навязанной кем-то жизни (даже и не жизни самой, а изощренных и циничных правил ее) «волкодавом» может оказаться не только век, но и час. Хотя мы-то с тобой, читатель, в общем — не волки... Впрочем, точно так же, как не был им и убитый классик.

У Евгения Евтушенко есть стихотворение, тоже давнее, 60-го года, «Первая машинистка», посвященное Татьяне Сергеевне (я точно не помню, но, кажется, Малиновской: в трехтомнике 1983 года, что стоит у меня на полке, он посвящение почему-то снял). Начинается стихотворение так:

Машинисток и знал десятки,
а быть может, я знал их сотни.
Те —
печатали будто с досады,
те —
печатали сонно-сонно.
Были резкие,
были вежливые.
Всем им кланяюсь низко-низко.
Но одну не забуду вечно —
мою первую машинистку...

Давай, читатель, и мы с тобой отдадим сегодня поклон — всем бессчетным машинисткам, стенографисткам, всем безвестным Татьянам Сергеевнам — этим бдительным сестрам Рихарда Зорге и Штирлица в нашей горькой отечественной литературе. Вообще — всем бесстрашным пополнительницам и пополнителям животворного самиздата времен застоя, не убоявшимся сделать (переснять, украсть, откатать на «эре») лишнюю копию — хоть романа, хоть повести, хоть рассказа... Пусть хоть даже десятка «крамольных» строчек, если в строчках тех заключалась часть нашей общей Истины.

Это ведь тоже порой был подвиг — «увести», например, стенограмму заседания все той же редколлегии «Знамени» (а быть может, даже просто копирку!) из-под носа людей, отдающих предпочтение перед «Пушкинским домом» или «Пашковым домом» одному лишь «большому» дому... Это наши братья и сестры донесли до нас «Реквием» А. Ахматовой, «Завещание» Н. Бухарина, «Письмо Сталину» Ф. Раскольникова, «Письмо Шолохову» Л. Чуковской... Самый низкий поклон вам, до сих пор, к сожалению, не известный мне Н. Халатов, написавший «Послесловие» к Хармсу... Вам, достойнейшие Вера Ивановна и Вячеслав Иванович Лобода, сохранявшие без малого тридцать лет в Малоярославце выправленную В. Гроссманом рукопись романа «Жизнь и судьба» — в старенькой авоське, в невзрачном на вид пакете, завернутом в полотняную ткань... Вам, Надежда Яковлевна Мандельштам, Елена Сергеевна Булгакова и Мария Александровна Платонова... Вам, Борис Яковлевич Ямпольский, первому доверенному хранителю (при жизни!) архива Б. Слуцкого... Вам, безымянная труженица, перебившая для меня около пятисот страниц романа «Доктор Живаго», изданного в Милане еще в 57-м и отринутого на родине до 88-го... И, конечно же, вам, безрассудные операторы полуподпольных домашних студий, размножавшие на десятках тысяч пленок для нас «Биографию», «Баньку», «Колокола» В. Высоцкого...

Правда, нет давно уже Пастернака, нет Гроссмана, нет Высоцкого — многих... И, должно быть, ничего-то они теперь ни о себе, ни о нас не знают...

Сколько *там* еще их, кого неминуемо должно возвратить нам время?

Тут опять задумываешься невольно: правда, это ведь все же достаточно громкие имена — Солженицын, Замятин, Гроссман... А каково же было в свое время начинать безымянным Бродскому, Бобышеву, Рейну, Кривулину? Или — позже чуть — И. Знаменской, Г. Григорьеву?.. В данном случае классическое утверждение Антуана Экзюпери о том, что «в каждом из нас погиб Моцарт», нисколько не утешает. Лично мне не сумел помочь даже мощный борцовский темперамент Ильи Сельвинского. В свое время он (под именем Луриха III, сына Луриха I) в евпаторийском цирке боролся с самим Поддубным, но с редакторами издательства «Молодая гвардия» И. Грудевым и М. Беляевым нам и в паре было не совладать. 24 марта 1968 года Сельвинский умер, а уже 20 апреля моя рукопись, к тому моменту отредактированная, была возвращена мне почтой — без каких бы то ни было объяснений.

Так же (или примерно так же) складывались тогда и судьбы многих моих товарищей.

С одной стороны, у меня был письменный завет Александра Исаевича Солженицына: «только не делайте литературу источником существования, иначе писателя из Вас не получится»,— а с другой... С другой — вполне естественная потребность молодого автора иметь ответный отклик аудитории. Это легенда, что писатель может всю жизнь работать, как Робинзон на своем одиноком острове. Слишком многие все-таки из нашего поколения «детей 56-го года» задохнулись, работая только «в стол»... Ну, а те, кто выжил, недобрали во многом естественной высоты полета. Приходилось зачастую переходить на так называемый «эзопов язык» (тоже, впрочем, вечный как жизнь, потому что к середине 80-х на нем изъяснялось уже пол-России) или применять хитроумную систему «отвлекающих» эпиграфов, названий и посвящений, чтобы хоть как-то обойти двойное и тройное искусственное ограждение, установленное на пути к читателю институтом редакторов и цензурой.

Прошу поверить — в данном случае это не просто очередная словесная эскапада и вовсе не попытка нагнать тумана многозначительности, отнюдь. Чтобы не быть голословным, предлагаю произвести небольшой, но достаточно чистый опыт.

Вот стихотворение, по виду и по смыслу вполне нейтральное, которое и предлагаю сперва прочесть, а затем объясню, в чем тут дело. Так сказать, приоткрою одну из многих охранительных занавесок. Итак:

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ

Безумец! — нет ему пощады,—
о нем рассказывают ложь
рабы его, и прячут взгляды,
и наготове держат нож.
Садится он. Кивает Бруту.
Улыбка падает, горька.
Прожить бы эту вот минуту,
а там — поднимутся войска.
Судьба?.. Но знает ли царица?..
Тяжелый взгляд поверх голов,—
ему противны эти лица
разочарованных рабов.
Но почему-то, почему-то,—
а кто ответит, почему? —
ковца все нет... Еще минута...
Ужасно весело ему!..

Что же мы здесь имеем? Обыкновенную известительно-логическую концепцию, изложенную в стихотворной форме?.. И только-то?

А теперь посмотрите, как мгновенно изменится и смысл, и эмоциональный заряд этой миниатюрной фрески, если осторожно подсказать, что «Юлий Цезарь» — не просто стихотворение, но *акростих*... Есть такая форма в поэзии, когда первые буквы каждой строки, прочитанные по вертикали, образуют изречение, либо «тайное» посвящение...

В данном случае образуется посвящение... БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ.

Так что, оказывается, ни при чем Юлий Цезарь... Смею утверждать, в свое время, когда имя опального поэта нельзя было даже просто упоминать, сия вещь осмысленно вербовала ему сторонников, словно опытный военком, что сзывает со своей импровизированной трибуны солдат на площадь.

Понимаю, что подобным признанием я сегодня как бы сжигаю за спиной определенную часть мостов — на будущее? — но все же давайте сердцем надеяться, что само время перестройки сделает для всех нас эзопов язык ненужным. Пусть он встанет наконец, как латынь, в разряд мертвых.

Выше я уже говорил, что значительную часть «Почты по кругу» составляют документы и письма 60-х. Письма Ильи Сельвинского были большой поддержкой во все годы, когда в печать ни строчки не принималось. Приведу всего лишь один пример. Осенью шестьдесят пятого года, получив по почте мою позму «Сотри случайные черты...», Сельвинский пишет:

«Настроение пролога звучит достаточно внятно. Я наблюдал такое настроение у большого числа молодежи. Здесь перед нами травма, возникшая в результате XX съезда. Он открыл народу глаза на культ личности Сталина, и резкая правда ослепила многих и многих молодых людей.

Тревога — вот моя отрада
и путеводная звезда.
По ней, по ней — туда, в былое...

Это очень царапающие строки. Они говорят о том, что человеку хочется зажмуриться, вернуться к своему неведению, он согласен оправдать даже то страшное, что казалось тогда только справедливостью:

Там ждут меня мои герои,
судьба их — словно водопад:
она в стремательном размахе
с таких срывается камней,
что все живое смотрит в страхе
и отступает перед ней.

Если это всерьез, то мне просто жутко становится за Вас как за поэта.

И ничего необъяснимо,
и в этом — дикая тоска...

Да, многое еще сегодня необъяснимо. Но нужно уяснить, что движение исторического процесса не прямая между точкой А и точкой Б. Если это линия, то скорее зигзаг молнии. Впрочем, объяснять Вам, взрослому культурному человеку, такие элементарные вещи смешно. Понимаете Вы это не хуже моего, но чувствуете иначе. Позвольте просто ответить Вам, как поэт поэту:

Те, кому сейчас пятнадцать лет,
не видали сталинских портретов,
не дышали затхлостью запретов,
не шагали за вождем след в след.

Эти люди вырастут на воле,
внуки благодарные мои.
Ваши деды, зубы сжав до боли,
навек уходили из семьи.

Ну, а те, что дома были-жили...
Сколько мук вытерпеть пришлось!
Как из них вытягивали жилы,
дергали за душу вкривь и вкось.

Но хотя объяла мир суровость
под эгидой грозного вождя,
дедушки работали на совесть,
здание Коммуны возводя.

Труд, великий труд без прекословья,
вдохновенный труд в жару, в зиме,
потому что всей своею кровью
верили мы в правду на земле.

С этой верой все преодолимо.
И когда, от кривды заслонясь,
в будущее всмотритесь из дыма,
вы в грядущем разглядите нас.

Это вы запомните, внучата,
гордо призывая нас на суд.
Если задохнетесь вы от чада,
деды из могилы вас спасут.

Жму Вашу руку.

Илья Сельвинский.

9. 10. 65».

Так вот метр в те годы поддерживал безымянного своего собрата... Не правда ли, как странно сбываются порой пророчества!

Поэма была предложена А. Твардовскому в феврале 66-го года, заведующей отделом поэзии «Нового мира» С. Г. Карагановой, но... Уже начался процесс по делу члена редколлегии журнала А. Д. Синявского, уже были признаны ошибочными публикации в журнале А. Солженицына, чуть позднее — Г. Владимова, И. Грековой, В. Войновича... До студента ли тут было, с социально-невнятной его поэмой?

Вообще же, именно 66-й год навалился на всех нас, как крылонский медведь на путника. Бродский выпущен был из ссылки своей досрочно, но на людях не появлялся. Распадались и без того немногочисленные литературные объединения, а которые не распадались, те меняли постепенно качественный состав. Так поэзия с эстрады, со стадионов пошла в котельные, в мансарды, на чьи-то кухни...

С той поры, как Н. Браун вместо обсуждения стихов посоветовал нам с Д. Бобышевым прочитать в «Известиях» «Перевертышей», я в «Звезде» практически не бывал. Кроме одного раза, в самом начале марта того же 66-го, когда Виктор Кривулин пригласил всех нас на выставку никому тогда не известного Михаила Шемякина, открывшуюся все в том же злополучном конференц-зале, где проходили наши занятия. Творчество студента, разнорабочего Эрмитажа, почти мальчишки, было в тот раз представлено в основном графикой. Темы две — иллюстрации к произведениям Гофмана и Достоевского. Потрясенный необычной трактовкой великих сюжетов, на другой день я собрал всех возможных своих знакомых, и мы ринулись вновь в «Звезду» — открывать фантастически-скорбный мир, не имеющий пошлых границ условности.

Помню ужас разочарования и досады. И конечно, не из-за Михаила Шемякина, а из-за того, что на дверях конференц-зала висел замок. Просуществовав два дня, выставка была закрыта, все гравюры арестованы. Поводом послужило письмо группы художников ЛОСХа, смысл которого оказался так прост, что Кривулин расхохотался. Дело в том, что художники эти сообщали в обком, что вот-де они давно уже обивают пороги различных ведомств в поисках помещения для собственной идеологически зрелой выставки, посвященной XXIII съезду партии, который должен был открыться 28 марта, а Шемякин, значит, *не член Союза* да еще к тому же *авангардист*, моментально получил конференц-зал «Звезды». С Достоевским еще к тому же и с Гофманом своим! Скандал, скандал!..

Гравюры через несколько дней удалось все же вызволить. Жил Шемякин на Загородном, я помогал ему отвозить работы. Помню, поразила меня не просто бедность обстановки, а скорее полное ее отсутствие. В одной комнате — жена с дочерью, в другой — картины. Все картины — лицом к стене, многочисленными рядами, как усталые люди в очереди, в затылок. У окна — гравировальный пресс с привязанным к нему псом Карлушей. Сей внезапный в дому Карлуша черен был и блестящ, как оборотень. Слева от входной двери стояла раскладушка, на которую вместо одеяла брошена была шинель со споротыми погонами. Оказалось, здесь иногда ночевал отец...

Кто поддерживал в те дни умельца, которому — через годы — суждено было покорить огромное число манежей — от Токио до Сан-Франциско, от Парижа до Нью-Йорка? Кто верил в него — кроме жены и дочери, кроме нас?

Через годы же нам открылось вдруг имя мецената, от всех до поры сокрытое,— Сергей Павлович Королев. Через доверенное лицо он приобрел более десяти картин Шемякина. Три картины я видел в семидесятых в кабинете нашего старейшего писателя-фантаста, доныне не оцененного, Геннадия Гора. Несколько литографий из цикла «Галантный век» приобрел Игорь Стравинский (кстати, все на той же выставке в «Звезде», просуществовавшей два дня). И. Ф. Стравинскому шел в то время восемьдесят четвертый год, но «шестым чувством» (по Гумилеву) он владел столь же полно, как и двадцатидвухлетний М. М. Шемякин.

Месяца три назад мне довелось прочитать в газете (кажется, в «Сов. культуре»), что М. Шемякин вместе с американской писательницей С. Мэсси возглавил международный комитет, борющийся за возвращение советских военнопленных в Афганистане. Несомненно — это эхо юности, не знающей компромиссов, не подвластной диктату лжепатриотизма, диктату фальши. Это Миша, которого *здесь* почти год кололи аминозином — в самой обычной районной простой психушке,— добиваясь отказа от «бредовых идей, видений», овладеаших сегодня множеством знаменитейших залов мира.

Из этого же репортажа я узнал деталь, для меня особенную. Речь там шла о копии посмертной маски Пушкина, висящей в нью-йоркской мастерской художника, на Вустерстрит. Так вот — особенным является здесь то, что в 1971 году, незадолго до выезда из страны, Михаил Шемякин сделал не одну, а три копии маски Пушкина (форма изготовлена была по восковому слепку, снятому женой Шемякина с того самого сокровенного подлинника работы С. Гальберга, что хранится в последней квартире Пушкина, на Мойке, 12). Помню, мне позвонил Кривулин — с приглашением от Шемякина: дескать, срочно... Я бросил дела, мы двинулись на Загородный. Цель поездки была неясной, но когда Шемякин, вручив нам по экземпляру маски, торжественно уничтожил форму, я подумал, что юность кончилась. На столе (как казалось мне, среди хлама: осколков гипса, рассыпанного мела, серых каких-то бинтов и корявых тюбиков) с непонятной уместностью красовалась большая Библия, золотистого переплета которой мы все трое суеверно коснулись пальцами.

...До сих пор те три маски, как три точки, живут в пространстве. Если через них провести воображаемые прямые, то получится классический треугольник. Мне приятно сознавать, что основание его лежит здесь, в Питере.

С Виктором Борисовичем Кривулиным отношения сохраняются дружескими доныне. К сожалению, кроме отчеств, мы почти ничего не приобрели за годы...

И последнее — в этих кратких моих заметках о неопубликованной пока книге.

Дело в том, что не все дети, выросшие в период застоя, оказались «детьми застоя». Дело тут во многом зависело — напрямую — от окружения, в котором они росли. От среды обитания, как о том говорит наука.

Моя дочь, к примеру, родилась в 62-м. Было ей чуть более трех недель, когда мир потрясло событие, получившее впоследствии название «Карибский кризис». Семилетней она слышала разговоры взрослых в семье о готовящемся разгроме «Нового мира» (это было летом, когда одиннадцать наиболее метких стрелков «застоя» дали по журналу залп из своих обрезов [1]), а той же осенью — разговоры об «исключении» писателя Солженицына... Впрочем, откуда — «об исключении»,— из каких рядов, этого понять она, разумеется, по возрасту еще не могла... А с начала 70-х пошли *отъезды* (не только близких), и не слышать о них она тоже, конечно же, не могла... Все разгульнее причмокивал губами с экранов «бровастый дядька», поздравляя награжденных по всем городам и весям, и сознание дочери (и брата ее, рожденного позже двумя годами) успешно включилось уже в общий круг намеков, прямых насмешек и анекдотов, что звучали не только в семье, но порой и в школе... В семьдесят девятом, когда наши войска вошли в Афганистан, эти улыбки сменились болью недоумения. «Это не контингент „ограниченный“,— как-то сказала дочь за вечерним чаем, под упругие марши программы „Время“,— *ограниченны* те, кто послал войска...»

В день своего семнадцатилетия, 2 октября 1979 года, она сделала запись, на которой я и закончу рассказ о «Почте...»:

«Жизнь моя течет однообразно и мрачно. Я словно сижу в темном холщовом мешке, крепко завязанном узлом над моей головой. Медленно, спокойно, неуловимо тянется жизнь в мешке. Иногда мне удается проковырять маленькую дырочку в грубом холсте, и лучик света попадает в грустное жилище. И тогда я вижу, что вокруг есть живые люди. Они идут, разговаривают, смеются, любят... Они идут мимо меня... Меня нет...

Я пыталась взглянуть на солнце. Это были чудные мгновения. Свет вливался через мои глаза внутрь меня, заполнял мою душу, обволакивал сердце, и ему становилось хорошо и спокойно, словно его опустили в пух и согрели нежным дыханьем... Но глаза быстро устают глядеть на солнце, вместо тепла и света в них начинает проникать боль. Она режет и рвет на куски мою душу. И я отвожу глаза. Снова становится грустно и темно, в маленькую дырочку не может проникнуть много света...

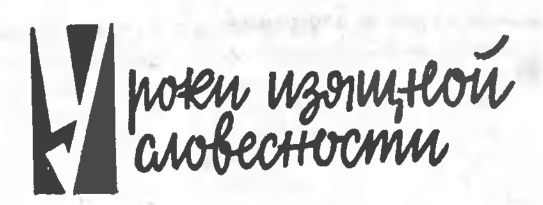
Иногда, правда, кто-нибудь подходит к моему мешку, находит дырочку и смотрит мне в глаза... Мне кажется, что стоит этому человеку только захотеть — и он сорвет грубый узел, вытащит меня из моего убогого жилища и унесет далеко-далеко... Но попросить об этом я не могу. Я смотрю на свободного человека с тоской и надеждой... А он дотрагивается рукой до узла, бросает на меня последний взгляд и уходит, улыбаясь и радуясь свободной и, может быть, бурной жизни... И я остаюсь одна в душном мешке. Я сижу на корточках, заковав колени в объятия своих рук, и не могу пошевелиться, сил нет... Но пока не упала голова на грудь, пока мечется в груди маленький огонек надежды и веры, пока его не растопчут или не потушат грязным плевком,— я не упаду, не сойду с ума, не задохнусь в угрюмом одиночестве... Мне сказали: „У человека не может быть одно только горе... Если есть много горя, будет много счастья...“

Пока я верю в это — я буду жить!»

Ленинград,
29 января 1989 г.

---

[1] Имеется в виду ставшее с годами одиозным так называемое «письмо одиннадцати», которое подписали М. Алексеев, С. Викулов, С. Воронин, В. Закруткин, А. Иванов, С. Малашкин, А. Прокофьев, П. Проскурин, С. Смирнов, В. Чивилихин, Н. Шундик.



П.Вайль, А.Генис

ЧУЖОЕ ГОРЕ

ГРИБОЕДОВ

Один из главных вопросов российского общественного сознания можно сформулировать так: глуп или умен Чацкий?

«Мы в России слишком много болтаем, господа»,—цедили поколения мыслящих русских людей. В этой сентенции предполагался ответ на множество проклятых вопросов — настолько было ясно, что слово и дело понятия не просто разные, но и антагонистические.

Если Чацкий глуп — все в порядке. Так и должно быть: человеку, исполненному подлинной глубины и силы, не пристало то и дело психопатически разражаться длинными речами, беспрестанно каламбурить и потешаться над не достойными внимания объектами.

Человек, противопоставивший себя обществу,— а сюжет «Горя от ума» на этом и построен — обязан осознавать свою нелегкую, но честную миссию. Пустозвонство же Чацкого — раздражает. Он ошарашивает с первых реплик своего появления, до всех ему есть дело: «Тот черномазенький, на ножках журавлиных... А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся?.. А тетушка? все девушкой, Минервой?.. А Гильоме, француз, подбитый ветерком?..» И так далее — Чацкий тараторит, не останавливаясь, так что Софья вынуждена резонно вставить: «Вот вас бы с тетушкою свесть, чтоб всех знакомых перечесть».

И точно: Чацкий, знаменитый остряк, пробавляется досужими толками, перемыванием косточек, сплетнями. Если он декабрист, борец, революционер, диссидент — зачем ему все это? Чацкий ничуть не похож на современных ему лучших людей России: в нем нет вдохновенной пылкости Рылеева, угрюмой сосредоточенности Пестеля, лихорадочной готовности на все Каховского.

Как к пустослову и отнеслись к герою Грибоедова критические умы.

Пушкин: «Чацкий совсем не умный человек... Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому под.».

Белинский: «Чацкий... хочет исправить общество от его глупостей: и чем же? своими собственными глупостями, рассуждая с глупцами и невеждами о „высоком и прекрасном"... Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит».

В самых последних словах, пожалуй, и есть разгадка такого неприятия Чацкого: он профанирует святое.

Сознание сверхзадачи («хочет исправить общество») обязано сообщать человеку черты сверхсущества. По сути, он лишен права иметь недостатки, естественные надобности, причуды. И уж, во всяком случае, наделенный святыми намерениями человек не может понапрасну расплескивать свой праведный гнев.

В основе такого представления о борце, выступающем против общества,— вера в серьезность. Все, что весело — признается легкомысленным и поверхностным. Все, что серьезно — обязано быть мрачным и скучным. Так ведется в России от Ломоносова до наших дней. Европа уже столетиями хохотала над своими Дон-Кихотами, Пантагрюэлями, Симплициссимусами, Гулливерами, а в России литераторов ценили не столько за юмор и веселье, сколько вопреки им. Даже Пушкина. Даже Гоголя!

Зов к высоким идеалам и бичевание пороков — вот занятие достойного российского

человека. Тут все серьезно, и программные документы декабристов нельзя отличить от царских указов, а декларации диссидентов по языку и стилю — близнецы постановлений ЦК.

А вот конфликт Чацкого с обществом Фамусова — прежде всего, стилистический, языковой. Чацкий изъясняется изящно, остроумно, легко, а они — банально, основательно, тяжеловесно. Примечательно, что самые знаменитые реплики противников Чацкого запомнились не своей реакционностью, а редкостью юмористической окраски: например, идея Скалозуба заменить Вольтера фельдфебелем — очень смешна. Но это одно из немногих исключений. Все веселое (читай: легкомысленное, поверхностное) в пьесе принадлежит Чацкому. Этим он и раздражает общество. Любое общество — в том числе и Пушкина с Белинским.

Великий русский поэт вряд ли прав в оценке грибоедовского героя: метание бисера не есть признак человека неумного и пустого. Это просто иной стиль, другая манера, противоположное мировоззрение. И характерно, что самым ярким представителем такого несерьезного стиля в России был — сам Пушкин. Нечеловеческая (буквально) легкость возносила Пушкина над эпохой и людьми. Нечто родственное такому необязательному полету — и у Чацкого.

Критик режима и неявный революционер, Чацкий обязан был, вероятно, выглядеть и вести себя иначе. В духе времени это могло быть что-то байроническое — бледное и в плаще. Но те грандиозные годы дали русской литературе две спровоцированные Байроном фигуры большого масштаба — Онегина и Печорина. Чацкий же — персонаж другого театра: шекспировского.

Чацкий является, выкрикивая и насмехаясь, и сразу напоминает одного из самых ярких героев Шекспира — Меркуцио. Очаровательный балаболка, фигляр, не щадящий никого ради красного словца, тот так же неизбежно идет к трагическому финалу. В первых сценах «Ромео и Джульетты» мы еще не знаем, что Меркуцио произнесет потрясающий монолог о королеве Маб и умрет от шпаги Тибальта. И первоначальная безмятежная болтовня Чацкого никак не предвещает яростных проповедей и позорного изгнания в звании сумасшедшего.

Но Меркуцио умирает за три действия до конца пьесы и потому не может пройти естественный путь развития, становясь тем, кем мог бы стать — Гамлетом.

А Чацкий проходит всю дорогу надежд, разочарований, горечи, краха, на глазах читателя набираясь желчи и мудрости.

Датского принца и российского дворянина объединяет не только клеймо официального безумия. Схожи их наблюдения над жизнью и сделанные выводы, и даже монологи и реплики находятся в стилевом соответствии. «Распалась связь времен»,— по-русски это вышло чуть многословнее:

И точно, начал свет глупеть,
Сказать вы можете, вздохнувши;
Как посравнить да посмотреть
Век нынешний и век минувший.

Полтора ученых века вставляли Чацкого в привычную шкалу ценностей, неважно — с каким знаком. Подвижник святого дела — значит, борец. Если болтун — значит, предатель святого дела. Опять-таки не важно, какое именно дело имеется в виду: что-то достойное, благородное, нужное.

Полтора школьных века заучивали общественно-полезные монологи: о помещике, обменявшем крепостных на собак; о Максим Петровиче, упавшем наземь перед императрицей; о французике из Бордо и французско-нижегородском говоре. За всей этой социальной яростью потерялся истинный, свой, голос героя.

Ну вот и день прошел, и с ним
Все призраки, весь чад и дым
Надежд, что душу наполняли.
Чего я ждал? что думал здесь найти?
Где прелесть этих встреч? участье в ком живое?
Крик! радость! обнялись!— Пустое.
В повозке так-то на пути
Необозримою равниной, сидя праздно,
Все что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый; вот резво
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Все та же гладь и степь, и пусто и мертво...
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.

Кто произнес эти страшные безнадежные слова, эти сбивчивые строки — одни из самых трогательных и лиричных в русской поэзии? Все он же — Александр Андреич Чацкий, российский Гамлет.

Здесь гладкопись «Горя от ума» начисто исчезает, и ловкий четырехстопный ямб переходит в пяти-, а затем и в тяжеловесный шестистопный. Это нестройное мышление истинно трагического героя.

Это шекспировский тупик умного, несчастного, глубоко и тонко чувствующего человека. Просто время иное, да и жанр другой. Потому рядом не обреченная Офелия, а ветреная Софья («не то блядь, не то московская кузина», по Пушкину). И противник — не Лаэрт с отравленной шпагой, а Молчалин с бумагами. И после главных слов появляется не кающаяся мать, а балагур Репетилов.

Карнавально, по-меркуциевски начав, Чацкий избежал его смертельного исхода — хотя мог и не избежать: дуэли были в ходу, и был же ранен на дуэли с Якубовичем сам Грибоедов. Однако «Горе от ума» — комедия, стрельба тут неуместна. Но конец Чацкого так же трагичен, как конец Гамлета, до которого не успел вырасти Меркуцио. Чацкий, конечно, остается жив и куда-то благополучно уезжает в карете. Но это и есть гибель — исчезновение со сцены. В конце концов, куда унесли Гамлета четыре капитана? За кулисы.

Но в соответствии с гражданским подходом к литературе закулисное бытие грибоедовского героя тоже волновало общественность — и не меньше, чем бытие сценическое. Те, кто оценивал пьесу как прогрессивную, полагали, что Чацкий пойдет прямиком в революцию. Однако почвенник Достоевский по-иному анализировал реплику «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету...» Он писал: «Ведь у него только и свету, что в его окошке, у московских хорошего круга — не к народу же он пойдет. А так как московские его отвергли, то значит „свет" означает здесь Европу. За границу хочет бежать».

Концовка соображения звучит прямым доносом, и это современно. Так современен и своевременен главный вопрос: глуп или умен Чацкий? Если, будучи носителем прогрессивных оппозиционных идей — глуп, то тогда понятно, почему он суетится, болтает, мечет бисер и профанирует. Если же признать Чацкого умным, то надо признавать и то, что он умен по-иному. Осмелимся сказать: *умен не по-русски*. По-чужому. По-чуждому. Для него не разделены так бесповоротно слово и дело, идея обязательной серьезности не давит на его живой, темпераментный интеллект.

Он иной по стилю. Разве общество отвергает Чацкого за идеи? Прочтем отрывок:

А все Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям;
Движенья связаны, и не краса лицу;
Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки!..

Пламенное проклятие иноземному засилию. Кто же это так возмущен? Да все: первые шесть строк в этом составном монологе принадлежат Фамусову, последние шесть — Чацкому.

Так кочуют по пьесе и по жизни основополагающие российские идеи. А кто высказывает их — не различить под гладким покровом русского ямба.

Чацкий враг Фамусову в ином. Обществу не нравится его стиль: ерничанье, шпильки, неуместный смех. Человек положительный и рассудительный так себя не ведет. Это — осознанно или нет — ощущается и персонажами пьесы, и ее читателями. Ведь и сумасшедшим Чацкого объявляют всего лишь за насмешки и несерьезность. Поводом становится реплика Софьи после очередной пикировки с Чацким: «Он не в своем уме». Хотя в той конкретной перебранке Чацкий ничего из ряда вон выходящего не сказал:

Молчалин! — кто другой так мирно все уладит!
Там моську вовремя погладит,
Тут впору карточку вотрет...

Вялые нападки, но примечательные. Молчалин и все другие соблюдают правила игры («вовремя погладит»). А Чацкий — нет. Он играет по своим правилам.

Стилистическое различие важнее идейного, потому что затрагивает неизмеримо более широкие аспекты жизни — от манеры сморкаться до манеры мыслить. Поэтому так странен окружающим Чацкий, поэтому так соблазнительно объявить его сумасшедшим, взбалмошным, глупым, поверхностным. А он, конечно, вменяем, умен, глубок. Но — по-другому. Он — чужой.

Эта чуждость обусловила не утихающие полвека споры — кто является прототипом Чацкого. Слишком непонятен грибоедовский герой, требуется поместить его в какую-нибудь шкалу: ретроградов или революционеров, дураков или мудрецов, или уж, по крайней мере, найти ему соответствие в истории.

И во всех концепциях сквозит недоумение: зачем с такой парламентской страстью выступать перед недоумками? В этом и вправду присутствует недостаток здравого смысла — но не ума! Это разные категории, и если здравым смыслом обладает как раз масса, то ум — удел одиночек. Если же эти одиночки еще и преступно веселы, то осуждение следует незамедлительно: за отказ от положительных идеалов, нигилизм, беспринципность, цинизм, пустоту, забвение святынь. Блестящие интеллектуальные вертопрахи вроде Чацкого во все российские времена портили правильную картину противостояния добра и зла.

Нерусская новизна грибоедовского героя вызывала сомнения и в самом качестве «Горя от ума». «Ни плана, ни мысли главной, ни истины» не обнаружил в комедии Пушкин, тут же воздав должное автору: «Грибоедов очень умен». Примерно то же писал Грибоедову Катенин: «Дарования больше, чем искусства».

Подтверждая характеристику Пушкина, Грибоедов возражал Катенину: «Искусство только в том и состоит, чтоб подделываться под дарование».

Это — блистательная отповедь гениального дилетанта крепкому профессионалу. Тогда, в самом начале русской литературы, такое торжество дара над ремеслом еще было возможно. Грибоедов и был одним из последних, кто занимал промежуточное место между любимцем муз и властителем дум.

У него была другая профессия, но в истории России Грибоедов остался не дипломатом, а писателем. Он, погибший в 34 года, занял место рядом с вечно молодыми поэтами России — Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Маяковским. Но — редкий случай в нашей словесности — пал жертвой не поэтической деятельности: персы растерзали его как посла империи. Грибоедов не прошел в литературе предназначенный огромным талантом путь, уподобившись все-таки скорее Меркуцио, чем Гамлету. Весело и размашисто он произнес лишь свой первый монолог — комедию «Горе от ума»,— оставив потомкам непонятного и непонятого Чацкого. Да еще — одну из самых жутких сцен русской литературы в пушкинском «Путешествии в Арзрум»: «Откуда вы? — спросил я их.— Из Тегерана.— Что вы везете? — *Грибоеда*».

ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ

ПУШКИН

Благодаря Пушкину, мы знаем массу вещей, имеющих к нему отношение самое косвенное. Пушкинская эпоха не ощущается отдаленной историей. Есть в ней некая тревожная актуальность, некая взволнованная занимательность, из-за которой нам интересно все, что окружало Пушкина — кибитки, наряды, чины, рецепт брусничной воды (на четверик брусники три ведра воды).

Ученые так добросовестно изучили этот период, что он кажется самым ярким в нашем прошлом, что, может быть, и несправедливо. История часто подчиняется капризам судьбы. Мы, кажется, можем проследить каждый день в жизни Нерона, но путаемся в биографиях куда более достойных Траяна и Адриана.

Еще лучше изучен сам Пушкин. Наверное, нет другого русского человека, чью бы жизнь уже два столетия так прилежно рассматривали под всеми мыслимыми углами. Кстати: бесконечность этого занятия говорит не столько о Пушкине, сколько о загадке человеческой индивидуальности вообще.

Образ Пушкина давно уже затмил самого Пушкина. Его творчество стало поводом, оправданием для самостоятельного существования этого шедевра гармонии.

Следить за эволюцией Пушкина, за ростом его гения значит приобщаться к тайне образцовой жизни. В небывалом в русской литературе органическом слиянии человека и поэта и заключается уникальность Пушкина. Но уникальность означает и противостояние потоку, направлению, даже самой концепции национальной литературы.

Пушкина выделяет его божественный эгоизм. Не зря он совершенно чужд жизнеучи-

тельству — Пушкин строил свою жизнь, а не чужую. Вот это исключительное, по крайней мере до Чехова, осознание ценности личности, индивидуальности, неповторимости, штучности человека — и есть черта, обрекшая Пушкина на долгое одиночество в нашей классике.

Ведь вот что, например, писал Достоевский, который всегда мучался проблемой свободного человека: «Последнее развитие личности именно и должно дойти до того, чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего Я,— это как бы уничтожить это Я, отдать себя целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Это-то и есть рай Христов».

Но этот высокий идеал был чужд Пушкину, и жертва, которой требовал Достоевский, была бы для него неприемлемой. Чужд был Пушкину и своеобразный русский «буддизм» с его страхом перед эгоизмом личного «я», в котором западные исследователи, например, француз Вогюэ, еще в конце прошлого века видели особенность нашей литературы.

Перед Пушкиным стоял другой идеал, который он и воплотил в стихах.

Пушкин — это прежде всего те две сотни главных стихотворений, которые и составляют корпус всех школьных изданий.

Не поэмы, не драмы, не повести, даже не «Онегин». Пушкин — поэт, автор стихотворений. Все остальное — следствие разветвления, усложнения или упрощения главного дела его жизни.

Поэма или повесть пишутся, лирические стихи — сопутствуют, являясь не фактами творческой биографии, а самой биографией. Может быть, в этом разница между писателем и поэтом: первый — автор произведений, второй — автор особого восприятия мира. В стихах нет героя, кроме автора. Стихи, как письма, интимны. Между поэтом и читателем нет посредников в виде сюжета или образов. Все, что он хочет сказать, он говорит сам. Не Мазепа, не Дубровский, не капитанская дочка — сам Пушкин.

Самый обычный сборник хрестоматийных стихов Пушкина — это наибольшее приближение к тому, что называется «Пушкин». И если читать эту книгу подряд, в хронологическом порядке, то мы обнаружим в ней один из самых сложных и увлекательных романов русской литературы.

Черты классического романа этой книге придает естественная последовательность — от рождения поэта до его смерти. Эволюция главного героя — тема книги. От страницы к странице меняется герой, а вместе с ним и форма, в которой запечатлены эти перемены.

Конечно, каждое стихотворение по отдельности — законченное произведение, но внутри сборника они — главы одной книги.

Начинается эта книга со свободы. Это ключевое понятие для Пушкина. Двадцать лет он исследует разные виды свободы, с приключениями которой связаны все его страницы.

Вначале свобода называлась вольность. Причем для Пушкина-дебютанта это понятие еще мало отличается от тавтологического сочетания — фривольность.

В первых главах молодой автор озабочен больше всего своим статусом. Он рвется из «кельи» лицея в настоящую взрослую жизнь.

Самые интересные взрослые того времени занимались любовью, стихами и политикой. Чтобы попасть в общество, Пушкин торопился перемешать эти вещи, видя путь к успеху не столько в правильности пропорций, сколько в густоте замеса.

Пушкин борется за свободу делать то, что уже делают другие. Вырвавшись из-под власти монашеского устава лицея, он сразу подпадает под влияние другого кодекса поведения — по-своему столь же строгого.

Как только автор становится автором, он входит в секту, поклоняющуюся Вольности. Пушкин темпераментно воспринял господствовавшие там правила: порядочного человека выделяет не чин, а опала.

Служа культу свободы, Пушкин, по сути, перекладывает в стихи существовавший миф. Ода «Вольность» пестрит именами богов и героев этой религии, которые, как и положено, пишутся с большой буквы — «Свобода, Судьба, Рабство, Слава, Закон, Власть». Абстрактные понятия здесь приобретают ту аллегоричность, которая позволяла старым художникам изображать смерть в виде скелета с косой. В принципе, из этой оды можно было бы сделать оперу.

Свобода раннего Пушкина спустилась с Олимпа тогдашней поэзии, который она делила с Вакхом и Эротом. Гражданская лирика была лишь частью тех веселых мистерий, которые, кроме фронды, включали в себя вино и женщин. При этом «гнет власти роковой» нужен автору не меньше, чем «минуты вольности святой». Власть и не может не быть роковой, потому что без нее не получится антитеза «свобода-рабство». А именно она оправдывала пыл, с которым Пушкин врывался в литературу.

Сам поэт относился к своей оппозиционности с достойным его гения легкомыслием. Письмо Мансурову, своему приятелю по «Зеленой лампе», он заканчивает таким образом: «Я люблю тебя — и ненавижу деспотизм. Прощай, лапочка. Сверчок». И когда он написал «И на обломках самовластья напишут наши имена», он, конечно, не имел в виду, что потомки поймут его так буквально.

Пушкин быстро отошел от образной системы декабристской мифологии, стремительно исчерпав ее возможности. Пышная богиня Вольность исчезает у Пушкина вместе с условностью его ранней поэзии.

Жадно осваивая современный ему Парнас, автор воспринимал его как данность, как нечто само собой разумеющееся. Стихотворная речь казалась ему не только естественной, но и неизбежной. Поэтические штампы были всего лишь условием игры. Никого же не удивляет, что в опере не говорят, а поют.

Пушкин принял поэзию целиком, со всеми лирическими «ужель», с волжским оканьем — «О юный праведник, О Занд», с общими местами — «И взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья». С готовыми формулами он обращался, как иконописец с традиционными деталями канона.

Главное было в другом: «Мои стихи, сливаясь и журча, текут...» То есть, создают красочный поток речи, где негде споткнуться, некогда перевести дух, где смысл служит подспорьем мелодическому напеву, как в той же опере, которую, кстати, можно слушать и на непонятном языке.

Но Пушкин с первых своих строчек ощущал конечность «пленительной сладости». Упиваясь ею, он предусмотрительно разбрасывал знаки будущего. Создавая русскую поэзию, он втайне закладывал мины, способные разрушить ее сладкую мелодичность.

Вот в «Разбойниках» два брата, скованные одной цепью, бросаются в реку и плывут: «Цепями общими гремим, бьем волны дружными ногами». Эти «дружные ноги» уже не укладываются в самого Пушкина. Их можно пропустить в завороженности пушкинским бельканто, но можно и замереть в недоумении перед этими призраками будущего поэтического авангарда.

Неожиданный эпитет Пушкина существует отдельно от конкретного контекста. Это стихи в стихах. Зашифрованный в одном определении образ, который потомки развернут в пространные метафоры. Память о будущем.

«Счастливые грехи», «в немой тени», «торжественную руку», «порабощенные бразды», «усталая секира», «мгновенный старик». Выписанные отдельно, эти эпитеты создают впечатление тайного послания адепта какого-то языческого культа.

Обычные предметы остраняются и оживают — как отрезанная рука в голливудском триллере. Пушкин с великолепным произволом распоряжается категорией одушевленности. Стрелы у него «послушливые», парус «смиренный», лоза «насильственная». И даже человеческое тело расчленяется на отдельные, вполне самостоятельные части. «Сквозь чугунные перилы ножку дивную продень» — как будто речь идет о протезе.

Эта загадочная путаница объектов с субъектами отразилась и в несравненной пушкинской грамматике. Не зря он так любит пассивный залог: «в наслажденье, не отравляемом ничем», «как дай вам Бог любимой быть другим».

Во всем этом сквозит странная философская картина мира, тотально одушевленного и разъятого на части, каждая из которых важна сама по себе, каждая полна самостоятельной жизни. «За день мучения — награда мне ваша бледная рука». Так и живет по воле автора эта обрубленная стихом рука.

Почувствовав свою власть над миром, свою способность вдохнуть в него жизнь, Пушкин перестает интересоваться прежним, более узким пониманием свободы. Он видел, куда может привести декабристская мифология, которой уже отдал дань. Условный жаргон из оды «Вольность» наполнялся реальным смыслом для тех, кто принимал его всерьез. Кончалось это не только виселицей, но и плакатными стихами: «Любовь нейдет на ум: увы! Моя отчизна страждет, душа в волненье тяжких дум теперь одной свободы жаждет» (Рылеев).

Пушкин жаждал свободы, но не по Рылееву. Главным предметом его забот становится его гений. Чтобы он смог развиться и воплотиться, Пушкину нужна была не столько политическая свобода, сколько личная *независимость* — чтобы никто не вмешивался в тонкий и загадочный механизм становления духовной мощи.

Наверное, его, как д'Артаньяна, устроили бы «времена меньшей свободы и большей независимости». Не случайно же Пушкин изучает английский и презрительно роняет: «Что нужно Лондону, то рано для Москвы».

Свобода, которой Пушкин требовал для всех, теперь ему нужна для себя.

Дойдя до середины главной пушкинской книги — собрания его лирики,— мы обнаружим в ней совсем другого героя. Пушкин последовательно сбрасывает вериги своего окружения. Обогнав всю современную литературу, которую он же и создал, поэт ищет подходящий ему престол. И его не смущает, что трон занят. «Выпьем за царя, он человек! Им властвует мгновенье. Он раб молвы, сомнений и страстей». В трех строчках Пушкин низвел царя до простого человека и даже раба. А ведь когда-то царь был тираном и занимал место на Олимпе.

Молодой Пушкин с царем воевал. Зрелый Пушкин смотрит на него, как на равного. Антагонизм с государством кончается, потому что поэт и государство сливаются. Фронда

теперь была бы нелепа — разросшийся Пушкин включил в себя Россию, не отвлекаясь на такие частности, как правительство. Отныне поэт и страна — одно целое, которое Пушкин называет «мы».

Этот переломный момент заметил мудрый Чаадаев: «Вот вы, наконец, и национальный поэт, вы, наконец, угадали свое призвание».

Стихи, вызвавшие восторг Чаадаева, назывались «Клеветникам России».

Однако дело не в том, что Пушкин воспел подавление польской свободы, не в том, что он грозил своей возлюбленной Европе, не в том, что силу противопоставлял духу. Пушкин дошел до нового осознания свободы — *свободы как необходимости*. Будучи голосом своей державы, он и пел державу. Как Гомер, который не задавался вопросом о справедливости притязаний ахейцев на Трою.

Звание «русского певца» позволяло Пушкину упрекать Запад: «И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир». Когда-то поэт готов был за вольность проливать свою кровь. Теперь он требовал крови Европы. Он перерос проблемы домашней вольности. Гений Пушкина не знал остановок. В его стихах Россия обрела свой голос. Она говорила с миром твердо, не заискивая. Вот когда Пушкин мог бы, наверное, написать стихи для государственного гимна.

Но став национальным поэтом, слив свое «я» в общенародное «мы», Пушкин ощутил ограниченность и этого положения.

К концу книги все чаще появляются античные призраки. Как будто виток спирали возвращает поэта к кумирам его юности. Но это не та античность, что населяла первые страницы аллегорическими фигурами языческого пантеона.

Теперь он находит в античности древнюю тайну единства тела и души. Пушкин, которому всегда был так близок пантеистский идеал одушевленного мира, находит благородный образец в античном покое.

Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
Так Постумия велела,
Председательница оргий...

Всю жизнь Пушкин завоевывал мир, теперь он в нем растворяется. Он уходит в размер стиха, сливается с его вечным ритмом. Превзойдя вольность, страсть, поэзию, царя, родину, историю, поэт нашел, наконец, достойное вместилище своему гению — природу, мир, космос.

В стихотворении «Осень» Пушкин устраивает прощальный парад своих идеалов. Смена времен года здесь — знак того, ниспосланного свыше ритма, которому — единственно — подчиняется поэт. Таинство размеренной жизни, восхищение перед разумностью ее устройства, наслаждение мудрой последовательностью вещей — вот та гармония, которая объединила и заменила все прежние свободы Пушкина.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу!— матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх вниз — и паруса надулись, ветра полны,
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?

Плыть некуда, потому что путь завершен. Поэт вернулся к источнику своего вдохновения. И оказалось, что источник этот равен вселенной. И что любая часть этой вселенной равноправна и вечна, что нет у нее ни пространства, ни времени — она повсюду и нигде.

На последних страницах поэт прощается. Он чувствует, что, сливаясь с космосом, теряет свою индивидуальную жизнь. Но смерть ли это?

«Нет,— говорит поэт,— весь я не умру». Мир принял в себя Пушкина. Его гений полностью воплотился — он стал *всемирным*.

Найдя свою дорогу, Пушкин указал путь для избранных. От мятежного вольнолюбия до последнего примирения, от веселой борьбы к мудрому покою, от Брута к Горацию.

Не тем ли путем идет по нашей литературе Иосиф Бродский? Гармония личности и космоса, одушевленность вселенной, подчинение ее ритму, находящему адекватное воплощение лишь в речи поэта: «Воздух — вещь языка. Небосвод — хор согласных и гласных молекул, в просторечии — душ».

Трудно найти в русской поэзии стихи, которые были бы ближе пушкинскому духу, чем эти строчки из лучшего сборника Бродского, не случайно названного именем Урании, музы, ближе всех стоящей к вечности.

В.Днепров

ЛЮДИ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

Осень 1917 года. В праздники, даже если было пасмурно и мокро, на площади, где стоит памятник Богдану Хмельницкому, как кусты, растущие из гранитной мостовой, разбросаны кучки людей в нескончаемом споре. В каждой кучке свой лидер, который ведет спор наступательно и быстро, парируя возражения. Тут были и красноречивые либералы, были спокойно убеждающие меньшевики, были крикливые эсеры и анархисты. Были, конечно, и большевики. Может быть, оттого, что я провел детство в угнетающей скукой и бедностью среде, в некрасивом, подобном горьковскому, дворе в Кривом переулке,— я твердо выбрал большевиков. Когда ноги мои окоченевали, я бегом пускался домой. Дома с аппетитом хлебал суп из костей с пшеничной крупой, выбивал мозг из костей, красиво распределяя на куске хлеба,— и мне казалось, что более вкусного кушанья не существует.

Год 1919-й. Деникинцы заняли Киев и через несколько дней собрали около двухсот еврейских юношей — главным образом, из интеллигенции — и расстреляли всех возле стены у Байкова кладбища, где неподалеку я тогда жил. Среди расстрелянных был мой друг Боба Кранц, перед которым я преклонялся и был ему бесконечно предан. С душой чистой, как слеза, наивно-добрый, он сумел в такие молодые годы сделаться подлинным ученым.

Самые авторитетные журналы, русские и иностранные, охотно печатали его статьи, хвалили их, одновременно удивляясь тому, что эти зрелые работы делает школьник. Не могло быть сомнения в том, что растет большой ученый. И вот щелкнул выстрел, и Бобу Кранца швырнули в общую яму для мертвецов. Я не умел ни понять, ни передать чувство, которое меня жгло,— да и теперь я не умею рассказать об этом чувстве. Может быть, нужно сказать так: из запасов веселости и радостности, которыми меня одарила природа, что-то заметно и навсегда убыло.

Сознавал я только одно: пришло время принять деятельное участие в той смертельной борьбе, которая идет на всей огромной площади нашей страны. Я знал секретный адрес большевика — рабочего Бабенко, который очень мне верил и накануне прихода деникинцев ушел на тайную квартиру.

К счастью, я в этот день застал Бабенко. Рассказал обо всем и добавил: пришло время и мне войти в борьбу — ведь мне пошел семнадцатый год. Он сказал: «Ты паренек хороший, и я тебе полностью доверяю. Дай подумать, что с тобой делать». Минут через десять он сказал: «Я видел, как быстро ты ходишь и как долго можешь бежать. Это нужно использовать. Будешь ходить к тому, чье имя будет для тебя раз и навсегда придумано, и передавать устные поручения. Если заметишь, что кто-то следом идет,— сворачивай и отправляйся домой». Я успешно выполнял работу подпольного курьера, память у меня была свежая, и я, видимо, по малолетству никого не боялся.

Днепров Владимир Давыдович (р. в 1903 г.) — критик и литературовед, кандидат философских наук. Его книги и статьи посвящены теоретическому анализу историко-литературного процесса. Главные из его работ: «Идеи времени и формы времени», «Идеи, страсти, поступки. О Достоевском», «Искусство человековедения: о Толстом», «С единой точки зрения».

Один эпизод из моих приключений не могу опустить. Меня послали в подозрительные со стороны нравственности номера, наказав выполнить то, что там поручат. О, радость: меня встретила двоюродная сестра, которую я не видел много лет,— веселая и бойкая, как птичка,— и представила мужу Алексакису, красавцу греку, в лице которого мне почудилось нечто античное. Очень охотно и увлеченно они стали рассказывать о московской жизни. Симпатия была обоюдной, и Алексакис вынул из тайника в чемодане книжку в бумажном переплете, остро пахнувшую типографской краской,— книгу Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский», только что вышедшую в Москве. Можете себе представить, с каким чувством я держал в руках эту книгу.

К концу разговора мы уже так подружились, что мои новые друзья решили посвятить меня в свою тайну. Взрезав шов, вынули небольшой листок. На нем было написано очень четким почерком примерно следующее: Дорогие товарищи! Направляем к вам Алексакиса, большевика, достойного полного доверия. Думаю, он будет вам полезен в вашей работе. И подпись: Ульянов (Ленин). Я долго не мог выпустить из рук драгоценной бумаги. Впервые я почувствовал себя причастным к действиям на огромной и страшной арене истории.

Поездка Алексакиса кончилась трагически. Как выяснилось через много лет, матросы турецкой фелюки, согласившиеся за немалую мзду доставить его в Константинополь, решив по костюму и манерам, что имеют дело с богачом, убили его и бросили в море...

В 20-м году, ввиду польского наступления, в помещении киевской думы был объявлен набор добровольцев. Хотя я еще не дожил до 17 лет, члены комиссии не усомнились в моей способности воевать. Засыпая в первую ночь в казарме, я смотрел на разноцветные кубистические изображения воинов с винтовкой и рабочих с молотом.

Мне повезло. Соседом был солдат, казавшийся мне пожилым человеком: за две недели до окончания военной службы его отправили на фронт. Когда он вернулся в деревню, скоро понял, что если не одолеть «беляков», то хорошей жизни не будет, и ушел в Красную Армию. Ко мне он отнесся как к сыну, терпеливо и ласково научая меня быть солдатом. Он рассказывал бесконечные истории из солдатской и солдатско-военной жизни — рассказы всегда интересные, сдобренные иронией,— своего рода солдатский эпос; из него я много лет черпал материал для своего общения с людьми. Другой темой были наши общие — равно детские — мечтания о том, как после расправы с «беляками» войдем в жизнь, как в сад, в котором все люди будут друзьями.

Скоро мы с ним расстались. В атаке у самого Днепра я почувствовал, будто ветер пошел через левую часть моей груди. Тронул рукой, а она мокрая от крови. Мой друг дотащил меня к телеге для тяжелораненых. Я так и не попрощался с ним, надолго потерял сознание...

Госпиталь стал этапом моей жизни не только потому, что я провел в нем много месяцев. Сначала из-за непрерывной лихорадки не мог ничего есть, кроме кисленького киселя (его каждый день приносил мне, как выразились бы сегодня, комсомольский пост), и ссохся в щепку. Но как только стал оправляться, погрузился в нескончаемое, запойное чтение. Просыпаясь, открывал книгу, а откладывал ее, когда глаза слипались. Однажды мои комсомольские снабженцы принесли мне книгу Плеханова «Критика наших критиков». Не могу сказать, с каким наслаждением читал эту книгу. Впервые почувствовал вкус к философии. А изящество и точность полемики Плеханова, его убежденность и способность убеждать читателя восхищали меня. Когда, много позже, я прочитал в воспоминаниях Ленина «Как чуть не потухла „Искра“», что и автор этих воспоминаний был долго «влюблен» в Плеханова,— это ленинское слово доставило мне особое удовольствие.

Так я прочитал все философское из Плеханова, что могли достать мои комсомольцы. Главным, определившим мою жизнь, стало чтение сочинений Ленина, которые читал я безо всякого порядка (собрания сочинений еще не было), перечитывая каждую книгу или статью по много раз. Мне в них открывались не только гигантская интеллектуальная его мощь и воля, не только поразительная историческая проницательность и смелость, я видел личность, единственную в своем роде. Марксизм насквозь всемирный и насквозь русский. Преданность тому, чему учит Ленин, стала основой моего отношения ко всем вещам на свете.

К маю 1921 года меня выпустили из госпиталя и отчислили из армии как инвалида второй группы. Но отдых в дачной местности Пуще-водице под Киевом был недолог. ЦК комсомола Украины, узнав обо мне из рассказов приезжавших из Киева, телеграммой вытребовал меня в Харьков для работы в коллегии политпросвета.

Это важный момент. Здесь я узнал передовых людей поколения двадцатых годов — моего поколения,— людей, которых можно было бы назвать идейными во всей многозначительности этого слова. Игнат [1], Виктор Далин, Владимир Касименко, Михаил Югов и еще другие — все это люди, которые по праву должны быть названы положительными

[1] Это секретарь ЦК комсомола Украины, его псевдоним, под которым его знали все.

героями. Чем больше я общался с ними, тем более убеждался в том, что положительные герои на самом деле существуют. Не идеальные, которых не бывает, а положительные, которые существуют в действительности. Приведу несколько фактов. Не имея свободного жилья, секретарь ЦК комсомола Игнат — человек редких организаторских способностей и, если так можно выразиться, яркой организаторской фантазии, решил поселить меня в своей комнате — так мы с ним больше месяца проспали на одной кровати. С неистощимым любопытством он расспрашивал меня о том, что я видел, что пережил, что слышал в пору гражданской войны и в месяцы пребывания в госпитале.

А вот другой случай, подтверждающий, что в 21—22 годах отношения людей нередко выравнивались по ленинским традициям. Секретарь ЦК партии Украины Косиор предложил Игнату выделить трех комсомольцев, которые вместе с ним поедут на отдых в Крым в санаторий «Харакс», бывший княжеский дворец. На заседании в бюро ЦК комсомола одни предлагали послать работников самых ответственных, другие, поддержанные Игнатом,— послать тех, кто особенно нуждается в такой поездке. Решили послать меня, еще не вполне оправившегося от тяжелого ранения, киевского комсомольского работника, потерявшего в гражданской войне ногу и ловко ходившего на деревяшке, и Виктора Далина, ведавшего в ЦК делами печати. Далин производил впечатление человека очень болезненного: тонкие, слабые руки, тонкая шея, бледное лицо. И удивительно синие, как небо, глаза. Когда Игнат рассказал Косиору о решении Бюро ЦК, Косиор был очень доволен и, смеясь, сказал: «Не по должности, а по нужде послали. Молодцы!» Это была упоительная поездка, мы ехали в вагоне, предоставленном Косиору, по дороге прихватили секретаря Донецкого губкома партии, и в отношениях и в разговорах царствовал дух равенства, веселости, уважения к личному суждению даже таких неопытных «политиков», как наша комсомольская троица. В Крыму мы часто ходили с В.Далиным из «Харакса» в Ялту и в разговорах приходили к выводу, что ленинские принципы коммунистического товарищества остаются живыми и короста честолюбивого высокомерия еще не коснулась людей в нашей среде.

(Скажу к слову, что в душе В. Далина не было ни одного темного пятнышка. Он отличался, если можно так выразиться, нравственной опрятностью, чистотой, цельностью и своего рода тихой веселостью. Он просидел в лагере два срока и, несмотря на это, сумел после реабилитации проявить себя как первоклассный историк — недаром перед смертью он получил из Франции, которой были посвящены все его исследования, большую золотую медаль. Но ход дел в брежневскую пору внушил ему глубокую скорбь и заставлял во многом усомниться. В. Далин, принадлежащий поколению 20-х годов, не должен быть забыт. Несмотря на физическую слабость, он отличался замечательной нравственной выдержкой и воплотил в себе лучшие черты людей двадцатых годов.)

За нашими разговорами скрывалось и чувство тревоги. Пришел нэп, а за ним явился партмаксимум. Такой партмаксимум, независимо от ступеней субординации, достался ответственным работникам ЦК комсомола. Обычно члены коллегии политпросвета во главе с В.Касименко обедали в частной столовой, где непомерно толстая и добродушная хозяйка кормила нас вкусно и сытно, но дорого. Кошелек с «партмаксимумом» таял, как свеча, его, по существу, хватало только на питание. Впрочем, нам именно питание было нужно, чтобы окрепнуть и обрести выносливость, необходимую при работе, поглощавшей все наше время. Затем членов нашей коллегии прикрепили к совнаркомовской столовой. Мы узнавали за обедом много любопытного и интересного из разговоров руководителей. Однако смущало то, что здесь мы, хотя питались почти так же вкусно и сытно, как у «мадам Пузо́», ели на дармовщинку — кошелек наш тощал крайне медленно. Это испортило нам настроение, и однажды, придя в нашу старую столовку, я увидел там Касименко, усердно поедавшего украинский борщ. Борисов, Ломакин и я без рассуждений и радостно тоже ушли из привилегированной столовой. Что-то запрещало нам пользоваться слишком дешевой едой.

Выслушав мой рассказ об этом по дороге из «Харакса» в Ялту, Далин, как всегда, неожиданно и светло рассмеялся, сказав: «Привилегированные коммунисты».

Такой была наша первая встреча с привилегиями, ненавистными массам, против которых сейчас, через 67 лет, Верховный Совет готовит закон. Так, как бы с мелочей, рождалось в нас беспокойство: все ли идет как надо? Как любил повторять Толстой: «Коготок увяз — всей птичке пропасть».

А вот сколь обостряться стала эта проблема через два с лишним года. Я только что ушел с комсомольской работы в Москве и готовился к поступлению в Институт красной профессуры. В ЦК комсомола, на самых верхах, сформировались две враждующие друг с другом группки. Судя по тому, что мне рассказывали о них друзья с Украины и вновь обретенные приятели из ленинградских рабочих, вражда была связана с резким различием индивидуальностей и их нравственного тонуса. Но в эту же пору проблескивали зарницы надвигающейся дискуссии с «ленинградской оппозицией». Чтобы определить, нет ли в конфликте политической подкладки, Сталин вызвал всех участников враждующих групп, чтобы уяснить себе дело. Подзывал к себе каждого и начинал разговор одной и той же фразой: «Зачем деретесь? Вождицкий паек хотите? Дадим вождицкий паек».

Обдумывая этот зачин, мы поняли, что речь шла не о шутке, а об очень крупной вещи. Сталин любил простые решения, он считал необходимым ориентироваться на низменную сторону человека, придавал ей во всех случаях важное значение. Быть с «вождицким пайком» и не знать материальных забот, которые выматывают душу, или возвратиться к скучной и трудной жизни — эта дилемма — как внушающая, подсказывающая сила, как это ни печально признавать. Это подтвердилось и тогда, когда речь шла о старых большевиках. Обсуждая этот вопрос с В. Касименко и В. Далиным, мы приходили к выводу, который мог бы показаться преувеличением, но который в сути своей справедлив: в число мер, которыми Сталин подчинял себе партию, входила сила массового подкупа. Недаром уже к концу двадцатых годов возникла бюрократическая лестница, каждой ступени которой соответствовал распределитель особого ранга. В одном давали папиросы «Казбек», а в другом — «Герцеговину флор». В одном ателье шили неплохие портные, а в другом — явно лучшие. Это была форма «материально-личной» заинтересованности, которая в сердцевине своей была враждебна тому материальному интересу, который имел в виду Ленин. Это была система государственно-организационной дьявольщины, противостоящая социализму.

Помню, как в 1931 году секретаря ЦК Украины Постышева прислали в Саратов выколачивать заготовки. Постышев — меня направили сопровождать его — отправился в Аткарский район, где секретарь райкома имел смелость сказать, что в его районе заготавливать нечего (остальные приняли без оговорок дополнительные задания). Мы шли из одной избы в другую — везде на полу опухшие от голода крестьяне. Лицо Постышева то темнело, то бледнело, то казалось серым. Он вдруг остановился и сказал секретарю райкома: «Прекратите заготовки». Тот ответил: «Я сделаю это после вашего письменного указания», которое немедленно было получено.

Через несколько дней я отправился в Москву в гости к приятелю, проводившему свой отпуск на даче в Воробьевых горах. Когда я туда добрался, меня поразил многоголосый шум пластинок с заграничными модными танцами, казалось, звучащими со всех веранд. После этого был отличный обед с рассуждениями, какие из сухих вин имеют лучший букет. Я возвращался домой с ощущением, будто схожу с ума. Сопоставление двух миров ясно показало мне, какая незаполнимая пропасть отделяет систему бюрократической субординации от народа. Конечно, 31-й год изрядно ушел от 25-го, но направление было ясно намечено формулой «вождицкого пайка».

Еще о разборе комсомольских дел в 25-м году: в то время как Молотов слушал жалобы конфликтующих групп друг на друга, Сталин расспрашивал каждого в отдельности в атмосфере волевого нажима и подозрительности: не может быть, чтобы ответственные деятели ЦК комсомола дрались без политического основания. Впервые комсомольцы столкнулись со способностью Сталина оказывать на собеседника трудно выносимое давление. Позже Ломинадзе не раз говорил со мной об этой его способности и утверждал, что обмануть Сталина необычайно трудно. Однако на сей раз, судя по тому, что рассказывали участники собрания, у них не было никакого намерения и никакой возможности его обманывать. Они впервые столкнулись с проявлением мрачно-агрессивных качеств личности Генерального секретаря. По словам Касименко, ему казалось, что его душат, а такой спокойный и физически мощный человек, как Чаплин, характеризовал свое состояние в процессе разговора как необычайно тяжелое. К концу заседания Сталин был мрачен и сказал, что с ним не были достаточно откровенны. А на следующий день все участники группы, в которую входили ленинградские комсомольцы, получили красные листочки о снятии с работы. Сталин попросту отбросил, как ненужные, суждения Ленина о комсомоле как политически самостоятельной организации.

Мы долго обсуждали с Далиным и Касименко случившееся и единодушно пришли к выводу: то, что не был выполнен завет Ленина о снятии Сталина с поста Генерального секретаря,— это беда гораздо большая, чем мы раньше думали. Мы еще не знали, что не имеем понятия о настоящих размерах этой беды.

В период моего ученья в Институте красной профессуры (в отличие от Далина я выбрал не историю, а философию), я сблизился с кружком, в который входили такие замечательные люди, как Бесо Ломинадзе, Тарас Костров, Лазарь Шацкин и Ян Стэн. Сближение с ним произошло отчасти случайно. Я жил на улице Грановского, в 5-м Доме Советов. Когда Ломинадзе сделали секретарем ЦК Заккрайкома (в который входили Азербайджан, Грузия и Армения), его жене, только что родившей ребенка, дали комнату рядом с моей. Ломинадзе часто приезжал в Москву, и мы сразу же познакомились: как-то вечером, когда я сидел в одиночестве и грыз очередного философа, он предложил мне сыграть в шахматы. С этого времени Ломинадзе стал часто заглядывать ко мне поздно вечером, приходя из гостей чуть выпившим и веселым. Мне так и не удалось выиграть у него ни одной партии — так что я мог считаться приятным партнером для позднего часа. Ломинадзе часто расспрашивал меня, что я читаю так упорно. Я сказал ему, что являюсь интеллигентом в первом поколении и, чтобы сравняться с теми, кто «получил культуру» с детства, я должен проявить в ученье бешеное упорство — было бы слишком печально, если бы молодые коммунисты, которым предстоит войти в науку, будут существенно уступать людям, многое почерпнувшим в семейном общении и из уклада высокообразованной среды. Кроме того, я постоянно читаю и перечитываю сочинения Ленина, которые, на мой взгляд, должны быть основой современного мировоззрения — в том числе и философского. Ломинадзе нередко спрашивал меня, что я сегодня интересного вычитал, и, услышав какую-нибудь особенно остроумную мысль, радовался, как огромный ребенок. Например, читая историю философии Гегеля, я изложил ему взгляд на скептицизм как извращенную форму признания того, что существует. Он много раз возвращался к этой мысли, примеряя ее к различным людям. Поразила и взволновала его мысль Ленина о возможном изменении порядка развития — случаи, когда движение идет не от содержания к форме, а от формы к содержанию.

Он рассказывал мне о разных людях, которыми в данное время восхищался. Такое увлечение людьми, характерами, остроумием было одной из сторон сути характера самого Ломинадзе. Достоевский в «Дневнике писателя» говорит, что зависть неотделима от природы человека и даже самые высокие умы не свободны от этого порока. Ломинадзе представлял живое опровержение этой мысли. Он гораздо меньше интересовался собою, чем людьми, которые его окружали. Поэтому у него было необычно много друзей и приятелей. У него, если так можно выразиться, был добрый ум. Однажды он пригласил меня в гостиницу, где жил в эти дни грузинский поэт Паоло Яшвили. В течение нескольких часов я наслаждался атмосферой нежной доброжелательности, которая соединяла этих людей. Я не понимал грузинских стихов, но они своей музыкой окрасили этот чудесный вечер. По дороге домой Ломинадзе с особым тихим энтузиазмом говорил не только о таланте, но и о душевной прелести, тонкости, благородстве своего друга. Для Ломинадзе в ту первую пору, когда я его узнал, весь мир был, главным образом, хорош и прекрасен. В его отношении к друзьям было нечто специфически грузинское. Ломинадзе был человеком большой душевной силы и непреодолимого обаяния. Вот я сейчас пишу о нем, и у меня как-то по-особенному тепло на душе.

Политически мы с ним сблизились после обсуждения в Институте красной профессуры статьи Шацкина «Долой партобывателя». Тарас Костров, который поместил эту статью в редактировавшейся им «Комсомольской правде», говорил, что эту статью нужно сопоставить с сатирическими стихами Маяковского против мещан — но мещан, удобно устроившихся в партии. Как далеко ушло к этому времени (насколько помню, статья появилась в 28-м году) перерождение даже в среде привилегированной молодой партийной элиты, можно судить по тому, что я оказался единственным человеком, выступившим в пользу статьи Шацкина, а Далин — единственным, голосовавшим против ее осуждения. Меня хотели за это исключить из Института, но Поспелов от имени парткома не позволил этому совершиться. Мое резкое выступление о процессах перерождения, дающих себя знать в партии, поддержка статьи в «Комсомольской правде» быстро сблизили меня с Шацкиным — и с этого времени меня стали приглашать на собеседования кружка Ломинадзе — Костров — Шацкин — Стэн. Я был взят на правах младшего: когда в 19-м году я бегал по Киеву в качестве подпольного курьера, Шацкин уже был секретарем всего нашего комсомола, и Ленин однажды предложил взять его в «большое ЦК», но Зиновьев уговорил его отложить это, пока Шацкин наберется опыта международного революционного движения. Я думаю, меня пригласили в кружок по двум причинам: во-первых, я многое знал о гражданской войне, в которой они не участвовали, во-вторых, я изрядно знал сочинения Ленина, что нередко оказывалось полезным в наших спорах.

С Костровым я случайно познакомился еще летом 1921 года, когда он был редактором главной газеты в Киеве. После военного госпиталя и отдыха под Киевом я потянулся к работе. В губкоме комсомола знали меня и мою историю и — с места в карьер — предложили мне стать редактором молодежной газеты. Я решительно отказался, сказав, что я никогда не писал в газету и не имею ни малейшего понятия о редакторской работе. Я тогда еще не научился говорить твердое «нет», и меня после почти двухчасовых уговоров, советов, уверений в успехе убедили взяться за это новое и страшное для меня дело. Одно я себе выговорил условие: мне придется учиться, и я настаиваю, чтобы меня не торопили. Когда почти через месяц я принес в губком написанную школьной ручкой газету, меня направили к Кострову, предупредив: «Он строгий, но ты не пугайся». Меня порадовало то, что такой важный редактор живет в опрятной, но бедной комнате с тремя разными стульями и железной кроватью, окрашенной в белый цвет». «Настоящий коммунист»,— подумал я гордо.

Костров, не говоря ни слова, взял исписанные мною листы и стал внимательно их читать, делая какие-то пометки. Это продолжалось долго, и, закончив чтение, он спросил меня, почему заметки рабочих разных предприятий написаны одним и тем же языком. Я ответил: «Так ведь это я писал. Поговорю, приду домой и напишу».— «Что ж, вы, может быть, всю газету написали сами?» Я ответил утвердительно. «Сколько же времени вы

ее писали?» — «Около месяца». И тут я увидел, как спокойно-сосредоточенное лицо Кострова — даже, пожалуй, сумрачное — преобразилось, вспыхнуло улыбкой, необыкновенно светлой и доброй. «Так все и написали? — И он весело засмеялся. — Вот так писатель! В вашей газете есть один удачный материал и несколько красивых мест в подвале о международном положении. Из уважения к вашему трудолюбию я разрешу эту единственную в своем роде газету, но поверьте — журналистом вы не будете никогда». После этого он объяснил мне некоторые простые законы журналистской работы. Я шел домой расстроенный и одновременно радостный. А дома меня ждала телеграмма: «Немедленно выезжайте в Харьков для работы в ЦК».

Вот об этом эпизоде я напомнил Кострову, когда нас знакомили. Он сразу вспомнил и стал весело рассказывать то самое, о чем я только что писал,— запомнилось странностью!

«Кружком» я называю это маленькое объединение людей сознательно. Белинский справедливо считал кружок самой ранней и неразвитой формой общественного движения: кружок не начинает с единства взглядов, а добивается этого единства. Именно таким было зародышевое явление, которое в благоприятных условиях могло оказаться голосом поколения двадцатых годов. Например, по вопросу о строительстве социализма в одной стране было пять разных взглядов — мы так и не договорились, но были высказаны, на мой взгляд, серьезные, глубокие, ценные мысли. Но в одном вопросе мы были едины, и в этом было многообещающее начало плодотворного политического движения: Каждый из нас — из своего большего или меньшего опыта — пришел к выводу, что Сталин отменил внутрипартийную демократию. Догма: партия всегда права — сыграла вреднейшую роль на протяжении этого периода, начиная с двадцатых годов до 1935 года. Даже и Хрущев загубил себя, придерживаясь этой догмы.

Оказывалось, что партия ошибалась только при жизни Ленина. В нашем же кружке самым актуальным вопросом был вопрос о коварнейшем объявлении Сталиным того, что решительно противоречит Ленину, «основами ленинизма». Обман стал опорой всех его теоретических построений — факт беспримерный в истории революционного движения. Поэтому мы считали вопрос о внутрипартийной демократии, об антидогматизме центральным, от которого зависит возможность решать остальные вопросы. Более того, мы считали этот вопрос базисом объединения всех партийцев.

Но вернемся к Шацкину. Он был красив и строен телесно и духовно. Его отличительной чертой была честность ума. Не раз после горячих споров раздавался его звонок, и он спокойно разъяснял, в чем он был неправ и почему — и в чем я был более прав, хотя не сумел привести наиболее убедительные доводы. Подобные возвращения к спору были у него и с Костровым, и с Ломинадзе и вошли между нами в обиход совместной духовной работы. Только Стэн смеялся над этим «коллективным мышлением», но в одиночку мы не могли бы прийти к выводам, столь продуманным и верным.

Сдержанности Шацкина, ясно выраженной в его характере, сопутствовала смелость. Приведу пример: разговор Шацкина со Сталиным на совещании в Коминтерне (Шацкин был тогда одним из руководителей Коминтерна молодежи). В Москве появилась книжка некоего литератора — панегирик в адрес Сталина как теоретика. Не стоит говорить о ней потому, что вся она была проникнута духом сикофантства. Случайно Шацкин познакомился с автором, который оказался именно таким, какой может писать такие книги. На совещании в ИККИ Сталин вдруг подошел к Шацкину и спросил: «Знакомы ли вы с автором такой-то книжки?» Шацкин ответил, что однажды виделся с ним. «Понравился он вам?» — «Нет».— «Отчего же?» — «Он показался мне карьеристом.— И тогда отчетливо и зло Сталин сказал: «Что же дурного в таком карьеризме. На кого он работает, этот карьеризм. Разве не на советскую власть действует этот стимул. Ничего дурного в таком карьеризме не нахожу». И, повернувшись спиной, Сталин отошел.

Перечитайте воспоминания Ленина: «Как чуть не потухла „Искра"». Там упрек в карьеризме по адресу революционера рассматривается как самое постыдное и невыносимое. Как везде, и здесь между Лениным и Сталиным лежит непереходимая пропасть. Выслушав рассказ Шацкина, Костров после паузы заметил:«Этого он тебе никогда не забудет». Шацкин ответил молчанием.

Через некоторое время Шацкин поведал о другой сцене с участием Сталина. Сталин на совещании подошел к нему и спросил: «У вас сегодня какой-то семейный праздник?» — «Нет, никакого праздника».— «Чего же вы в таком случае так вырядились?» И отошел.

Можно эти два эпизода посчитать мелочью. Но это было бы непростительной ошибкой. Эти «мелочные» эпизоды — как бы щели, через которые отчетливо видна тщеславная и низменная сущность сталинского характера.

Нельзя здесь умолчать и о тех, вполне достоверных сведениях, которые заставили нас тревожно и горестно думать. Вот повесть Шацкина — конечно, другими словами,— но точно соответствующая смыслу.

У него была знакомая, по виду ничего особенного, женщина как женщина. Только редкая, как бы пружинящая походка выделяла ее и, видимо, привлекала мужчин, потому что у нее были романы с очень знаменитыми людьми. Шацкин случайно встретил ее на

улице: «Сразу удивило меня ее непривычно осунувшееся и печальное лицо. Я не нашел ничего лучшего, как сказать: „Я очень долго вас не видел и не поздравил с замужеством. Поздравляю, но не больны ли вы?" В ответ она рассказала то, что нам обязательно нужно знать: „Со времени замужества моя жизнь стала ужасна. Каждую неделю устраивается роскошный прием — с самой лучшей едой и выпивкой — и обычно для одного или самое большее для двух человек с периферии. Едят, пьют, танцуют со мной, но говорят несколько часов только об одном: о величии Сталина, о нем как единственном человеке, способном привести страну к процветанию, о Сталине как вернейшем продолжателе Ленина — и тому подобное. Но еще и другое: Сталин никогда не забывает людей, которые ему безоговорочно верны, и вы можете надеяться получить с его благословения пост первого секретаря обкома, а, может быть, в будущем положение кандидата ЦК. Эти речи так много раз повторились, что я выучила их наизусть. Я чувствую, что совершается нечто очень плохое, но я боюсь хоть слово кому-нибудь сказать. Мне снятся страшные сны, и бывают минуты, когда я не хочу жить. Я говорю вам об этом потому, что слишком хорошо знаю вашу сдержанность и верность слову". На этом мы расстались: у меня не было слов, чтоб ее утешить».

По мнению Кострова, сначала уничтожали коммунистов материальным благоденствием, независимым от страданий и нищеты народа, а потом их стали уничтожать честолюбивой перспективой, возможностью стать во главе целой области, где все будет от него зависеть,— ведь он рекомендован ЦК. Так быстро идет уничтожение лучшей партии в мире, так форсируется перерождение.

«Да и в вопросах руководства Сталин,— говорил Костров,— действует вроде бы глупо — настоящий политик поймет его хитрости как дважды два. Но те, кто перестал быть принципиальными политиками, думали слишком много о своем положении и авторитете».

На XIV съезде партии, когда Сталин с решающей помощью теоретика Бухарина сокрушал Зиновьева и Каменева вкупе с лучшей в стране ленинградской партийно-рабочей организацией, когда Каменев в своей потрясающей речи заговорил о главном, о судьбе партии, когда было так тихо в зале, что, казалось, в нем никого не было,— вдруг посыпался град ругательств, и обструкция согнала Каменева с трибуны. И тут же Сталин презрительными оценками речи Каменева стал снимать то сильное впечатление, которое она вызвала. Зиновьев и Каменев не понимали, что создана машина сталинских клевретов, которые волчьей сворой и вытренированной верностью Сталину все сметут на своем пути. А как необыкновенно глупо действовал Троцкий — он был рад, что громят его главных врагов, и не вмешался в борьбу. Представьте себе, что было бы, если бы выступил Троцкий во всем могуществе его слова, если бы он выступил со своим остроумием, если бы ринулись на него все противники Сталина. Если бы оппозиция даже потерпела поражение, дальнейшая история пошла бы иначе.

Сталин не препятствовал, когда Троцкий опубликовал два блестящих доклада: один о том, что Америка взяла Европу на паек, и другой, посвященный вопросам культуры. Более того, Троцкий опубликовал подвал в «Правде», где писал, что в цифрах госплана звучит музыка социализма. А ситуация благоприятствовала, чтобы нанести удар Сталину... Троцкий же заботился лишь о своем реноме.

Троцкий был человеком столько же талантливым, сколько и умным. Но он был жалким политиком, хотя Ленин на каждом шагу давал ему уроки того, что нужно называть высоким словом «политика». Хотя он и назвал Троцкого Иудушкой, потом, видя позицию Троцкого в вопросах войны, он переменил тон, а затем взял к большевикам межрайонцев. Более того, Троцкого выбрали в ЦК, дали сыграть большую роль в подготовке масс к Октябрю. Но и позже Ленин, будучи крайне недовольным позицией «перетряхивания» в вопросе о профсоюзах, прочитав статью Троцкого 22-го года о нэпе и найдя в ней спорные места, признал ее превосходной; в записке к Троцкому он рекомендовал вынести статью на страницы «Правды». В годы болезни Ленин не раз предлагал Троцкому вместе выступить против ошибок Сталина и даже однажды предложил Троцкому выступить от их общего имени. Его политическим принципом было: нужно идти с тем, кто в данный момент по данным вопросам современности думает правильно. Но Троцкий, слишком оберегающий свою самостоятельность и единственность, не сумел понять такой ясной и такой верной мысли. Сталин всегда рассчитывал на низменное в своих противниках, на их слабость, и при всей элементарности своей тактики он заставил своих противников делать ошибку за ошибкой. И не только Троцкого. Теоретическая одаренность Бухарина несопоставима с уровнем сталинской. Только с азом у него открылись глаза на сущность переходного периода; Бухарин опубликовал в «Правде» вполне марксистскую статью о рабоче-крестьянском блоке. Тем не менее Бухарин, оставшись наедине со Сталиным, сделался его жертвой, как барашек, которого готовят к столу. Ужас и безмерное горе охватывают тебя, когда думаешь обо всем этом.

Ломинадзе, видя, как взволновал Кострова рассказ Шацкина, а волнение при его тяжелейшей астме может стать опасным, говорил примирительные слова о том, что в партии много людей, которые не поддадутся порче и сохранят ленинскую принципиальность;

но слова эти не успокоили Кострова. Тогда он обнял его, стал говорить ласково, как мать с ребенком, уложил его в постель, а когда признаки приступа прошли, отвел его на остановку и посадил в трамвай. Мы все чувствовали, что произошло нечто важное в нашей среде, но требовалось время, чтобы с ним освоиться.

Сталин, который знал, каким решительным способен быть Костров, встречая Ломинадзе, всегда спрашивал: «Ну как ваш вождь?» Он упорно повторял этот вопрос при встречах, явно рассчитывая на то, что Ломинадзе покажется унизительным иметь такого «вождя», как Костров. Но Ломинадзе нежно любил и почитал Кострова и на дергающие вопросы Сталина отвечал улыбкой — будто услышал шутку.

Костров был очень болен, и даже Стэн выходил в другую комнату курить, чтоб не повредить, и оттуда мы слышали его насмешливые реплики.

Случалось, Кострова вызывал Сталин, в об одном посещении, отлично переданном Костровым в лицах, я попытаюсь рассказать своими словами.

Сталин встретил Кострова посреди комнаты, пожал ему руку и усадил в удобное кресло возле своего стола. Спросив его о здоровье и о том, не нуждается ли он в чем-нибудь, Сталин в том же мягко-любезном тоне принялся объяснять, отчего его снимают с поста редактора «Комсомольской правды»: «Если мы вас оставим редактором, все газеты решат, что им позволены такие же вольности, как „Комсомольской правде". Ваша шалость со статьей Шацкина сама по себе не страшна, но будет плохо, если продолжать в этом роде». Эту мысль Сталин повторил несколько раз разными словами и убеждающим тоном. После этого он сообщил, что на его попечение будет отдан журнал «За рубежом» и он надеется — журнал будет интересным.

И лишь после этого обозначился главный смысл разговора. Сталин заговорил о безнравственном поведении Каменева. Жена Каменева проводит вечера в тоске и одиночестве в то время, когда Каменев заводит роман с английской скульпторшей. «Сейчас я вам прочитаю ее письмо, и все станет ясным». В кармане, где он его искал, письма не оказалось. Тогда он спросил по телефону свою жену о письме. Та, видимо, не знала, где оно. Тут лицо Сталина преобразилось — стало страшным. «Слушай, Алилуева,— закричал ов в трубку,— сколько раз я просил не шарить в моих карманах». И с силой бросил трубку. Через минуту он эпически спокойно, со свойственным ему резким сдвигом интонаций, изложил как бы дословно письмо со всеми выражениями чувств и интимными деталями.

Слушая, Костров подумал о том, что Сталин не может забыть минуты, когда Каменев овладел вниманием съезда, а он испугался. Он считал Каменева опасным и пользовался самыми недопустимо мелочными и подлыми приемами, чтобы унизить врага. Слушая все это, я почувствовал, как презираю этого всесильного человека.

В ходе разговора Сталин звонил и говорил: «Мехлис, чаю». В кружке того так и стали называть «Мехлис, чаю».

Надо сказать, что Сталин ценил таких рабьи, бездумно преданных людей, как Мехлис, и не давал их в обиду. А Мехлис старался во всем — самом дурном — подражать своему усатому богу. Он стал таким же беспощадно жестоким, подозрительным, учился у Сталина нажимной тактике в обращении с людьми, во всем и всегда представлял его интересы. Как огромный ворон, он мог перекусить горло человеку. Это была очень опасная копия «хозяина». В пересыльной тюрьме, направляясь в деревню Тюхтет Красноярского края, я повстречался и за несколько часов непрерывного разговора подружился с бывшим военным корреспондентом, который видел Мехлиса в момент разгрома нашего десанта в Крыму. Мой собеседник рассказал, что он сидел в комнате рядом с той, в которой Мехлис говорил с Москвой. Мехлис выскочил из комнаты с дрожащими губами, желто-бледный и с глазами, похожими на свинцовые кружочки. Подбежав к военкору, он закричал: «Он сказал: „Будь ты проклят!"». Я потом не раз слышал эту историю, но готов верить скромному корреспонденту — и потому, что он производил впечатление человека, которому следует верить, а также потому, что его рассказ имел продолжение. Он, поддерживая рукой мечущегося Мехлиса, просил его успокоиться. А Мехлис, как в бреду, повторял: «Что же теперь будет...» И вдруг переменился: «Я считаю вас вполне порядочным человеком и прошу никому, никому не рассказывать о том, что здесь было: нервы не выдержали». Журналист заверил его, что никому ни слова не скажет. А через несколько дней Мехлис устроил так, что корреспондента внезапно перевели на другой фроят, где ему делать было нечего. «Я там чувствовал себя неприкаянным и, воспользовавшись короткой поездкой в Москву, попросил приема у начальника политуправления Щербакова. Был тотчас принят и просил перевести меня туда, где я буду нужнее и полезнее. Выслушав меня, Щербаков спокойно сказал: „Евреи мало воюют, но много жалуются, но вашу просьбу я все же выполню"». В состоянии какого-то морального окоченения журналист вышел на улицу, ярко освещенную солнцем: «И тут я впервые понял, что может быть черное солнце...» Какие-либо подробности, может быть, и позаимствованы из творимого эпоса войны, но в правде рассказа в целом я не могу усомниться.

Мне не удалось присутствовать на беседе Ломинадзе и Шацкина с Костровым за несколько дней до его смерти. Вот как Ломинадзе передал мне то, что считал главным в словах умирающего. Костров говорил тихим голосом, но небывало резко, как бы желая, чтобы его слова прочно вошли в сознание и память его друзей.

«Только Ленин понимал, какую громадную опасность представляет Сталин — Генеральный секретарь — для судеб нашей революции. Он ясно написал в своем завещании о том, что в короткое время Сталин сосредоточил в своих руках необъятную власть, и нельзя быть уверенным в том, что не злоупотребит этой властью». Яснее не скажешь. Зиновьев и Каменев совершили преступление, гораздо большее, чем в дни Октября, когда ограничились увещеваниями по поводу грубости Сталина. Они не раскрыли ясного, как день, предупреждения относительно «необъятной власти» и возможных злоупотреблений этой властью. Это их преступное умолчание не было никем разоблачено. Троцкий, который презирал Сталина, не вмешался и не представил письма съезду, к которому оно было направлено Лениным. Он нанес тяжелейший удар революции, заботясь о том, чтобы не подумали, что он хлопочет о своем лидерстве. Какое жалкое поведение у такого сильного человека. Все руководящие деятели провалились на первом же экзамене на идейность, принципиальность и нравственную силу. Человек, который наверняка не допустил бы этого — Яков Свердлов, был уже мертв. Мы накопили множество фактов, но нельзя делать анализа всего последующего, не поняв главного — значения происшедшей трагедии. Так мы никогда не поймем всего остального.

«Я попросил бы вас,— сказал Костров Ломинадзе и Шацкину,— чтобы после моей смерти вы написали о трагическом моменте перелома, о первой и решающей измене Ленину, не боясь правды». Шацкин спросил Кострова, как он думает, завершится ли наша деятельность исключением из партии и отсылкой куда-нибудь в глушь. Костров ответил: «Наивные вы ребята. Ленин умел убеждать оппозиционеров и сохранять все полезное, что они могут сделать. А если не мог убедить сразу, то ждал, что события и их собственная деятельность снимут разногласие. Сталин бессилен убедить своих противников, открыть их неправоту — ведь он ликвидирует внутрипартийную демократию, без которой партия не может оставаться ленинской. Уже есть сигналы, что он видит свое бессилие убеждать, и ему, чтобы сохранить власть, нужно идти путем насилия.

Если вас вышлют в Сибирь или будут держать годами в тюрьме — скажите спасибо».

Ломинадзе начал было ему возражать, но тотчас увидел, как устал и обессилел Костров. Он умел говорить с Костровым как-то особо ласково — и на этот раз так же ласково и по-дружески звучали его слова. Оказалось, это было прощанье навсегда...

Костров политически был смелее и проницательнее любого из нас, и, несмотря на тяжкую свою болезнь, он нравственно был сильнее каждого из нас. Потеряв его, мы испытали большое горе.

Интерес Сталина к Кострову, Ломинадзе, Шацкину, Стэну имел свои причины. Основная состоит в том, что это были личности сами по себе, были независимы, не были связаны с каким-либо видом прикрепленности к руководящему деятелю партии и государства. Примером такой свободной прикрепленности была школа Бухарина (ласково «школка»), о которой все знали и о которой написано даже в книгах, вышедших за рубежом. Я во время полуссылки в Саратов познакомился с тремя участниками «школки»: Слепковым, Петровским и Зайцевым. Все они были умные и многообещающие люди. Сталин разослал их на вузовскую работу — и Саратову досталась эта троица. Петя Петровский, которому обо мне много рассказывали, чуть ли не с первых дней со мной подружился. Со Слепковым я впервые познакомился. Если Марецкий был теоретическим центром школы — я слышал, как он с моцартианской легкостью и быстротой разобрался в сложном вопросе политикоэкономической теории,— по-видимому, он обещал сделаться в будущем теоретическим центром этого духовного течения, то Слепков несомненно был организационно-политическим центром группы, обладал качествами лидера. Мы заговорили о строительстве социализма в одной стране, и я заметил, что процесс этого построения охватит немало десятилетий. Тогда Слепков с задором отметил: «Вы, похоже, не признаете возможности построить и коммунизм в такой стране, как Россия с ее гигантскими возможностями». Я ответил, что решительно отрицаю такую возможность. Тогда Слепков раздраженно принялся доказывать неверность моего взгляда. Мне его мысль казалась до того удивительной, что я уклонился от спора. Желая закончить ненужный спор, я сказал: «Энгельс писал, что марксизм ведет от утопии к науке, а вы в данном случае недете от науки к утопии». Слепков промолчал и с этого дня был со мною нежливо сух. Но очень интересно и энергично он, не стесняясь, критиковал поведение Бухарина, который, будучи правым, открыто признает правоту неправого и произносит дифирамбы Сталину, о котором Слепков говорил с нескрываемой ненавистью. «Бухарин не понял, что этим навсегда погубил себя как политического деятеля. Бухарин замечательный теоретик, нравственно привлекательное существо, человек, обладающий необъятным духовным кругозором, но не годится в практические политики: он дал Сталину исполь-

зовать себя, когда тому это было нужно, а тот потом отбросил его, как ненужную вещь». Этот приговор Слепков произнес волнуясь и с большой внутренней силой. Я слушал его с большим уважением: впервые я столкнулся со столь зрелым и энергичным взглядом у бухаринского ученика. Слепков ругал Бухарина очень резко и вместе с тем с большой горечью. Он говорил в таком духе и открыто с другими людьми, как бы демонстрируя свое равнодушие к возможным последствиям. Я до того слушал немало злых критических замечаний, но с этого момента стал относиться к нему с большим уважением. Я еще не знал тогда, что своей откровенностью Слепков обрек себя на пулю в затылок.

Все же нравственным центром школы был несомненно Петя Петровский. Когда я приехал в Саратов, меня приютили «икаписты», тоже прослушавшие курс Института профессуры и преподававшие в саратовских вузах. Но я сознавал, что чертовски их стесняю, и не знал, что делать. Когда я рассказал Пете Петровскому об этом, он закричал: «Так живи у меня, черт возьми, у меня громадный чистый коридор, дадим тебе раскладушку, повесим лампочку, чтобы ты мог читать перед сном, и ты будешь жить, никого не стесняя». Коридор был в самом деле очень велик и совершенно пуст. Мы тут же съездили к «икапистам», взяли мой чемодан, и я сладко заснул, никому не мешая, в свежем воздухе большого пустого пространства. Через несколько дней Петю приехала навестить его мать — крупная и на вид весьма решительная женщина. Она без слов высказывала недовольство моим существованием в квартире ее сына (Петя Петровский заведовал тогда аспирантурой Института засушливого земледелия — весьма странная должность). По этому поводу она завела с ним громкий разговор, оба в голос кричали, и я по отдельным доносившимся до меня словам понимал, что речь обо мне. Читатель понимает, как плохо чувствовал себя во время этого разговора я. Но на следующий день Петина мать принесла с собою стул (единственный, на котором помещалась потом моя одежда) и голосом искренне добрым сказала, что хорошо, что я поживу у Пети, он обещал добыть в доме комнатку для меня. И на самом деле, примерно через месяц я перешел в маленькую, но очень чистенькую комнатку почти рядом с комнатами Петра Петровского. И Петя притом оправдывался в том, что со мной расстается.

Его натура видна и в том, как он относился к Бухарину. Бухарин, по его словам, не тот человек, который умеет ненавидеть или слишком холодно относиться к человеку, с которым работал. Даже в резких спорах с Лениным нельзя было упрекнуть его в отсутствии теплоты, и какой любовью отвечал ему Ленин, ясно понимая недостатки Бухарина в постановке вопросов диалектики. Он не интриган и непременно потерпит поражение, считал Петровский, в столкновении с таким хитрым, двуличным и терпеливым интриганом, как Сталин. Одним словом, видя политическую обреченность Бухарина, он не переставал относиться к нему с глубокой привязанностью и постоянно вступал в спор со Слепковым, если тот зло и непримиримо говорил о своем учителе. Бухарин и в поражении будет стоять много выше, чем его коварный противник.

Позднее, уже в суздальском политизоляторе, я в течение двух дней — по случаю ремонта — оказался в одной камере с Зайцевым из бухаринской «школки». Это был 35-й год, когда Бухарин был еще на воле, а его школа распределилась по одиночкам в нескольких изоляторах. В суздальском кроме Зайцева находился и Петя Петровский. В один прекрасный день ему сообщили, что он освобождается из тюрьмы и может ехать куда хочет. Петя сразу понял, что это результат мольбы его старого отца — всеукраинского старосты, который в подполье не раз попадал в ту же тюрьму, что и Сталин. Разумеется, чтобы Петин отец написал это письмо, понадобилась сильная воля его матери. Получив радостное известие, Петровский потемнел, как туча, как человек, с которым случилась большая беда: как ужасно уйти на волю, когда его товарищи остаются в одиночках. Петя письменно сообщил о полнейшей невозможности уйти из тюрьмы и своем категорическом отказе это сделать: он должен оставаться в тюрьме так долго, как его близкие друзья, вместе с которыми он был посажен. Администрация запросила кого следует и получила указание применить силу. Узнав об этом, Петя объявил голодовку. Тут был взят на помощь Зайцев — из бухаринской школы. Это был человек умный и глубоко рассудительный. Он убедил Петю изменить его решение — ведь должен остаться хоть один человек, который сможет написать о судьбах бухаринской школы и рассказать о каждом, кто к ней принадлежал. Этот аргумент Зайцев приводил многократно и убежденно — и Петровский согласился отправиться домой. Можно не сомневаться, что если бы не Зайцев, он из тюрьмы добровольно бы не ушел. Таков Петр Петровский, который позднее был расстрелян, как и все «бухаринцы» (за исключением одного) и как сам Бухарин. Добавлю еще, что совершать время от времени такие неожиданные поступки входило в тактический канон Сталина.

Сказанное дает возможность сделать два вывода: духовная прикрепленность к выдающимся и руководящим деятелям партии и советской власти была характерной формой дорастания до зрелости способных и талантливых из поколения двадцатых годов. К примеру, Карева — одного из самых многообещающих философов поколения — упорно

связывали с Зиновьевым. Но я, хотя был с Каревым почти дружен, ни разу не слышал от него фамилии Зиновьева, хотя не исключено, что причиной молчания была необыкновенная сдержанность и дисциплинированность Карева во всем, что касалось политики.

Карева и меня объединял интерес к философским проблемам. Мы одинаково оценивали значимость ленинских конспектов «Науки логики» Гегеля. Карев привносил в наши беседы гораздо более высокую философскую культуру, а я — результаты моей работы о логике «Капитала» Маркса. Карев был не только необычайно умен, разносторонне культурен, но, так сказать, на редкость сообразителен: он работал в несколько раз быстрее меня и при этом не упускал ничего глубокого и важного. К нему необычайно подходило определение поэта: «быстрый разумом». Говорил он тоже быстро и очень четко, двигался легко и быстро. Я относился к нему не только с сердечной привязанностью, но и с заслуженным восхищением. Он много серьезных задач себе поставил, но ни одной не успел осуществить: он был расстрелян примерно в то же время, что Зиновьев и Каменев. Да, революция дала толчок многим талантам явиться и начать свое движение вверх. Это было в своем роде поколение талантов (и Карев был одним из ярчайших). Но пули в затылок не позволили поколению войти в зрелость. Так что Сталин расстрелял целое поколение, если иметь в виду его передовых людей.

Сколько было энергичных политических деятелей, имевших достойных молодых учеников. Вместе с Каминским — одним из подлинных героев 30-х годов, выступивших на Пленуме ЦК против репрессий,— работал умный, дельный экономист. Сырцов имел достойного во всех отношениях друга-ученика. Несколько бывших комсомольцев выполняли самые ответственные поручения Орджоникидзе.

Многие молодые люди, способные стать выдающимися деятелями новой культуры, вышли из первых трех наборов Института красной профессуры. Пустили шутку: пока учится — он будущий красный профессор, а как закончит — делается бывшим красным профессором. Шутка злая, поверхностная и несправедливая. В великие эпохи внутренний толчок из глубин бытия выносит на его поверхность немыслимое число талантов и даже гениев. Этот исторический закон проявился и в том, что смелый замысел «красной профессуры» оказался удачным. В первых трех наборах в этом институте — десятки молодых людей, чьи таланты готовы были расцвесть на ниве общественной деятельности. А школа Бухарина, где было несколько ярких талантов, а такие выдающиеся философы, как Карев и Стэн... В кругу закончивших Институт было немало людей, чья ранняя деятельность указывала на выдающиеся способности. Я, разумеется, не помню их имен, но помню впечатление, произведенное их исследованиями. Помню первоклассные сочинения двух специалистов по русской истории. Помню блестящие работы экономистов, посвященные финансам в современном капитализме, остроумную защиту Маркса от нападений Туган-Барановского и еще многое другое в таком роде. Но жизнь этих людей была оборвана в самом начале — все умные и даровитые были расстреляны, и мы можем лишь гадать, что они могли принести науке и жизни. Конечно же, их расцвет был бы не менее значительным, чем расцвет театра или изобразительного искуства двадцатых годов. Сталин перерубил пополам лучших людей поколения, которое могло бы принести выдающиеся результаты.

Наш кружок отличался как раз тем,что он без руководителя, спонтанно, вырос из комсомола как самостоятельной политической организации. Сталин рассчитывал приручить кружок и щедро одаривал членов его правом участия в высших органах партии. Ломинадзе побывал в числе членов ЦК, Шацкин и Стэн — в составе членов ЦКК.

Но здесь должно быть выделено еще одно важное обстоятельство. По общему мнению, Сталин питал особую симпатию, особую склонность к личности Ломинадзе. Это оценивалось как явление единственное в своем роде. Даже Сталин не мог не откликнуться на обаяние Бесо Ломинадзе, на его естественность, внутреннюю честность, на его веселость, жизнелюбие и искренность. Сталин хотел заполучить этого человека — и это подтверждается убедительными фактами. Он писал Ломинадзе письма — явление из ряда вон выходящее. Ломинадзе однажды прочитал мне их. Они были короткими и касались одной и той же темы. Вот что удержала память из содержания этих писем.

Не возитесь с мальчишками. Помните о том, что можете стать одним из руководящих деятелей страны. Мы пошлем вас на год-полтора в Америку набраться знаний и умений. Вам нужно только выбрать направление, а мы сумеем обеспечить вам положение Наркома. Подумайте о том, сколько хороших дел вы сумеете сделать, оказавшись на высоте.

На одном или двух была концовка: Ваш Сталин. Все остальные — просто: Сталин.

Сталин предлагал Ломинадзе то, что тому было не нужно. Даже хуже, чем не нужно — подло. Он действовал по шаблону, который в других случаях приносил успех. (Вскоре он поймет, что не туда гнет, и резко видоизменит прием к достижению цели.)

Однажды, будучи в Саратове, я получил письмо Ломинадзе с просьбой поскорее приехать в Москву, чтобы поговорить. Я приехал, и Бесо Ломинадзе рассказал мне следующее. Однажды в поисках какой-то бумаги он вдруг обнаружил пропажу — исчезли письма

Сталина. Видимо, кто-то по приказу Сталина отыскал в подходящий момент эти письма и уничтожил их. Мы долго обсуждали, в чем тут дело, и пришли к выводу: грозит беда.

Так и оказалось: через некоторое время появилось в газетах Постановление ЦК о праволевацком блоке Сырцова — Ломинадзе. Как выяснилось, это был не удар для разрушения, а удар для острастки. Поразительны нелепость и небрежность в составлении текста Постановления. Разговор, не имевший никаких продолжений, без малейших доказательств превращен в некий блок. Сырцову как правому адресована такая крайняя бессмыслица, что просто диву даешься. Оказывается, правая направленность председателя Совнаркома РСФСР заключается в том, что Сырцов стоит за *сокращение фронта капитального строительства.* Замечу, что вот уже несколько десятилетий мы стараемся сократить этот фронт, и это нам никак не удается. Колоссальные суммы увязают в незавершенном строительстве, принося вместо дохода громадные убытки, и каждый год повторяется вспышка этой хронической болезни нашей экономики. Сырцову не только ставится в упрек его верное предложение — его снимают с должности, исключают из ЦК и переводят на какую-то пустяшную работу. Все дело в том, что Сталин не смел написать, что разговор был об отступлениях от ленинской внутрипартийной демократии. А все, что касается демократии,— запрещенная тема, тут яснее всего обнажается разрыв с Лениным. К сожалению, не могу вспомнить, что ставилось в вину «левакам». Тоже что-то несусветное. Сталин вел всегда борьбу с закрытым забралом. Ломинадзе вывели из состава ЦК, Шацкина — из состава ЦКК.

Ломинадзе рассказал, как возникло дело о праволевацком блоке.

Один из молодых людей, с которым Сырцов был в приятельских отношениях и говорил достаточно откровенно — Борис Резников, работавший в «Правде», вдруг почувствовал себя как бы стоящим на открытом месте — и испугался. Он не нашел ничего лучшего, как советоваться с Мехлисом, который в это время тоже был в «Правде». Мехлис очень обрадовался случаю оказать услугу Сталину: он знал, что «хозяин» подобных услуг не забывает. Уговорить Резникова написать письмо в ЦК о своих разговорах с Сырцовым труда не составило. Несколько сложнее была задача заставить Резникова изобразить единичный, не имевший никаких последствий разговор Сырцова с Ломинадзе как установление постоянной связи — ведь в этом случае и сам заявитель оказался бы причастным к этой связи. Мехлису удалось преодолеть трусость Резникова всякими обещаниями — таким образом и возникло дело о блоке. Ломинадзе добавил еще, что сведения, полученные им, не могут быть поставлены под сомнение.

Через несколько дней я был вызван в партколлегию ЦК. Председательствовал Сольц — на лице его светилась доброта, а рядом сидела строгая, сухая Землячка. Сольц прочитал выдержку из показаний, данных в органах безопасности обо мне самым близким и доверительным другом Сырцова. Показания были верными, точными — и ни одного слова о Ломинадзе. С человеком, давшим эти показания, я как-то познакомился в нашем дворе, где мы оба жили, и раза два беседовал, высказывая в ответ на его мысли свои — в очень осторожной форме. Как обидно, что забыл имя этого достойного товарища.

Сольц спросил: «Был ли такой разговор, и высказывали ли вы изложенные в показаниях мысли, касающиеся вопроса о внутрипартийной демократии?» Я подтвердил это. Отмечу еще, что друг Сырцова оценивал мои взгляды как проблематическое суждение, поскольку в показаниях была оговорка, что на многие вопросы я ответов не давал. Показания подтверждали мое мнение об их авторе как о порядочном человеке — ни малейшей попытки что-нибудь, касающееся меня, преувеличить. Мне предложили перейти в другую комнату и через несколько минут позвали снова. Сольц, глядя на меня необычайно мягко и добро, прочитал строгую бумагу: выговор с предупреждением и запрещение в течение трех лет работать в области идеологии. Когда я выходил, Сольц внезапно сказал адрес Бориса Резникова: «Сходите к нему и выясните, что ему от вас нужно». С телячьей наивностью я ломал себе голову, зачем он направил меня к Резникову. Лишь подходя к дому, где жил Ломинадзе, я догадался, что он этим способом указывал мне, где источник зла.

По заявлению Резникова арестовывают члена партии только за то, что он имел дружеские и откровенные беседы с председателем Совнаркома РСФСР. Добившись от него нужных показаний, его, как позже выяснилось, отправляют в Казахстан, в ссылку, откуда он так и не возвратился. Органы безопасности воздействуют не только на социальные процессы. Бывшая ЧК Дзержинского превратилась в личный аппарат Сталина. Этот единственный факт дал нам возможность угадать явление общественной значимости, хотя мы еще не догадывались о страшных последствиях, к которым приведет перерождение «безопасности» в опасность.

Забегая вперед, скажу: этот факт был последним толчком, который заставил нас решать не только вопрос, что думать, но и вопрос, что делать. После многих раздумий мы пришли к следующему выводу. Необходимо добиваться сближения всех членов партии, согласных с Лениным в том, что социализм возможен только при полной демократии. Мы будем разоблачать точку зрения Сталина, который полагал, что социализм совершенно не нуждается в демократии. Старшие члены кружка, имеющие связи с «задумавшимися» и несогласными людьми, должны образовывать некое идейное единство.

Очень скоро мы из своего горького опыта сумеем извлечь вывод: не только грандиозные социальные процессы в крестьянстве поставлены под контроль и управление органов безопасности, под контроль и управление поставлены также все процессы в толще и на поверхности партии. Формируется именно в это время новая политическая система: наверху Сталин со своим цекистским аппаратом, ниже — партийные аппараты, которые с помощью насилия органов безопасности регулируют, нередко в громадном масштабе, социальные процессы; этим же органам безопасности отныне поручен контроль и упорядочение процессов, идущих в партии. Безопасность — под властью Сталина, партии — под властью безопасности. В 1930—1931 годах мы сможем убедиться — на примере нашего кружка, положение которого становилось все более драматическим,— как быстро происходило перерождение советского строя.

Мы задумались также над таким вопросом — зачем требовались Сталину нелепейшие подстановки, не имеющие ничего общего с действительным содержанием разговора Сырцова с Ломинадзе? Судя по всему, Сталин использует то, что можно было бы назвать приемом забывания. Подобно тому, как некоторые фамилии сделались запрещенными ко всякому упоминанию, так же уже на ранней ступени этой эпохи стало абсолютно запретным выражение «внутрипартийная демократия», а особенно «ленинская партийная демократия». Тактика Сталина была проста и в какой-то мере эффективна: нужно замолчать — тогда забудут [1].

Но почему Сталин в данном случае обошелся без обычного жупела «троцкизм»? В этом случае никаких объяснений не требовалось.

События очень скоро показали нам, в чем дело. Обвинение в троцкизме равнозначно окончательному отсечению. А Сталин со свойственным ему упорством не отказался от своего плана: связать Ломинадзе долгом благодарности. Тогда это чувство, в высокой степени свойственное Ломинадзе, сыграет на руку Сталину. Это была одна из любопытнейших интриг Сталина. Внезапно следует решение ЦК: направить Ломинадзе на большой моторостроительный завод в Москве. На следующий день после решения Контрольной Комиссии я был вызван в ЦК к Маленкову. «Вы, кажется, беспокоитесь о рабочем классе,— сказал он.— Вот мы и решили послать вас плановиком в Саратовское „Союзмясо“. Сейчас же отправитесь в соответствующее управление. Вот бумага с адресом и указанием фамилии работника, к которому вам надлежит обратиться. Не позже завтрашнего дня отправляйтесь в Саратов». И он, не попрощавшись, стал читать какие-то бумаги. Я тут же отправился по указанному адресу, где тотчас получил назначение заведующим плановым отделом «Союзмясо» и билет на поезд следующего дня.

Незабываемо первое впечатление от нового места работы. Дверь открывалась в довольно большое помещение, в которое выходило несколько дверей. За ними царила полнейшая тишина. На деревянной лестнице, ведущей на второй этаж, стоял человек и, подняв над головой копченую миногу, медленно опускал ее в свой открытый рот. Не желая мешать этому человеку, который совершал процедуру поедания рыбки весьма сосредоточенно, я постучал в какую-то дверь. Мне открыла очень хорошенькая машинистка и, сказав, что телеграмму о моем приезде она получила вчера, тотчас проводила меня к начальнику. Тот посетовал, что ему, казаку, приходится заниматься не своим делом, заверил меня, что от меня ничего особенного требовать не будут и я здесь смогу работать мирно и спокойно. Затем, поднявшись на второй этаж, он провел меня в комнату, где сидели худенький, юркий старичок и крупный мужчина с крупными чертами лица и живыми глазами. Он обещал ввести меня в курс дела и помогать мне во всем. Потом меня провели в довольно большую комнату, где у окна стоял большой стол, крытый черной клеенкой. Странным образом стул стоял спинкой к окну. Я поблагодарил всех и уселся, чтобы приняться за работу, о которой не имел никакого понятия.

В тот же день мне принесли на подпись бумагу, где было указано, сколько такой-то район должен заготовить голов скота такого-то среднего веса. Я, разумеется, без всяких вопросов ее подписал — это была первая, подписанная мной в жизни официальная бумага. Принес ее крупный человек с большим лицом. Он сразу заговорил со мной с большой откровенностью. Он сказал, что знает причину моего приезда. «Мы никаких указаний от вас не ждем. Тем более, что и наша работа сводится к тому, что разверстываем цифры, полученные из плановых органов, по районам. И я, и мой сосед по комнате — настоящие специалисты по скотоводству, но такие специалисты совершенно не нужны. Бескормица приводит к тому, что каждый год к весне скот подвязывают, чтобы дотянуть его до новой травы. Скажу откровенно, чтобы вы позже не удивлялись: ни один план не выполняется и не может быть выполненным, хотя в сводки мы помещаем благополучные цифры. Так

[1] Этого же приема замолчать — забыть придерживались и тогда, когда речь шла о знаменитых художниках. Забывание должно включать в себя даже и фамилию нежелательного властям художника. М. И. Дикман, мой редактор и друг, жаловалась, что потратила много трудов и унижений, пока цензура пропускала книгу, где была упомянута фамилия Андрея Белого. Сколько бы она ни объясняла, что список русских символистов существенно неполон без Андрея Белого, ей отвечали, что книга пойдет лишь в том случае, если из нее будет изъята фамилия Белого.

что мы ничему не могли бы научить вас, как бы этого ни хотели. Мы знаем, что вы занимались наукой, а мы будем разверстывать планы, которые вы станете подписывать. Знайте, что мы понимаем нелепость вашего положения и вам искренне сочувствуем».

С чувством огромного облегчения я подумал: какое счастье, что я напал на умного хорошего человека. На следующий день я принес на работу ленинский конспект «Науки логики» Гегеля, и рабочий день сразу стал для меня во много раз короче. На всякий случай я прикрыл книгу кучей бумаг, лежавших на столе. Была странная погода: около двадцати градусов мороза, с ветром, так что трамвай прямо-таки звенел от мороза, а днем сильно светило солнце, и отовсюду капель. «Икаписты», учившиеся в одно время со мною, приветливо меня встретили и поселили у себя на квартире. К счастью, я вскоре мог перестать обременять их своим неожиданным присутствием. Я еще раз убедился, что мой рок — добрый, и Саратов показался мне другим, чем тот, который я знал по «Даме с собачкой», к тому же я мог часто ездить в командировки в Москву, видеть Ломинадзе.

Настроение у Ломинадзе соединялось с личностью, и угадать не стоило труда. Когда он открыл дверь, у него был вид человека, страдающего от зубной боли.

«Что, на заводе плохо?» — «Да, большая часть продукции — негодный ни к чему брак».— «Но ты говорил с рабочими?» — «Много говорил, но все без толку. Спрашиваю: „Как же, такой парень, а портишь дело, не стараешься".— „Да нет. Я изо всех сил стараюсь, а ничего не получается". Вот о чем нужно подумать: у массы рабочих не хватает умения работать точно, не хватает элементарной культуры труда».

В следующий мой приезд Ломинадзе позвонил и пришел раньше обычного. Сразу вижу — лицо спокойно удовлетворенное. «Значит, на заводе положение улучшилось?» — «Несомненно. И любопытно, как это произошло. Один подсобный пожилой рабочий сказал мне: „Тут пару лет все омолаживали, выпроваживали с завода стариков, еще способных работать, а работа была у них — блеск". Вот и мелькнуло решение. Погнал моего собеседника узнать адрес того, кого он имел в виду. Взял машину, приехал: тот сидит в кресле возле дома. „Здравствуйте, я с завода".— „Здравствуйте",— отвечает холодно. „Вы обижены тем, как к вам отнеслись?" — „Как же не обижаться: выставили, ни до свиданья, ни спасибо не сказали". Я объяснил, зачем приехал. Нужны мастера своего дела, которые сумеют научить несмышленышей и безруких достойной и точной работе. Сами старики работать у станков не будут: будут лишь следить за группой молодых, показывать, заставлять, исправлять, объяснять, где ошибки, учить, доводить до точности. „Жалованье положим хорошее и спасибо скажем большое. Подумайте о том, что нужно спасать завод — такую махину". Договорились на завтра, но я взял у него еще несколько адресов. А к концу дня собрал уже группу. Собрал всех на заводе, поговорили, выпили грузинского вина (не понравилось) и посмеялись вдоволь. Сначала ничего не получалось. Затем то там, то здесь проскакивала хорошая работа. Так, помаленьку-помаленьку, и к концу квартала пришли с цифрами, которых давно не было. Теперь приду на завод — и радуюсь».

И еще одна, последняя, встреча с Бесо Ломинадзе, связанная с его судьбой на заводе.

«В связи с успехами завода,— рассказывал Бесо,— вызвали в ЦК, чтобы дать награды заслужившим. Мне, разумеется, как „леваку", да еще и участнику „блока", не дали ничего — храбрецы! Когда прочитали список наград, Сталин вдруг спросил тихим, но опасно-насмешливым тоном: „А Ломинадзе у вас ничего не заслужил?" Тут засуетились и сразу выяснили, что Ломинадзе вот как заслужил. И дали орден Ленина. Я был и обрадован, и подавлен: принимаю награду из рук человека, о котором думаю и говорю так плохо. Никому не показал, не разрешил выпить за награду. Чувствую, запутываюсь. Мне присуща грузинская склонность к благодарности, а тут все запуталось. Тревожит это меня очень»[1].

Сталин с присущей ему настойчивостью и волей продолжал «завоевывать» Ломинадзе. Он назначил его руководителем партийной организации Магнитогорска — той самой «Магнитки», на которую были устремлены все взоры. Состояние Ломинадзе можно было сравнить с состоянием пловца, впервые бросившегося в морские волны. Он был среди сотен и тысяч людей, нерасторжимо связанный с ними. В каждой строке его писем звучала большая радость. (Отныне Сталин мог рассчитывать на победу: любовь к делу и усиливающаяся благодарность должны были сделать Ломинадзе тем, кого он называл «своим человеком».)

Вот одно из его писем, уцелевшее в памяти, и я, надеюсь, смогу сохранить его сюжет.

---

[1] Как только появилось газетное сообщение о награждении Ломинадзе, меня вызвал секретарь обкома по пропаганде — очень инициативный работник — и перевел меня из плановика в руководители семинара по философии для аспирантов научно-исследовательского института сельского хозяйства — читать двухгодичный курс истории философии в университете для всех гуманитарных факультетов и для всех, кто этим интересуется. Легко представить мою радость. Примерно через неделю передо мной был не скучный стол с черной клеенкой, а большая, ярко освещенная аудитория с множеством устремленных на меня глаз. Впечатление незабываемое, судьба еще раз внезапно повернулась на сто восемьдесят градусов.

К сожалению, это письмо забрали при обыске, хотя оно не имело отношения к политике. Все письма, заключавшие хоть малейший политический намек, уничтожались. Оговорившись сначала о захватывающем величии дела, к какому он теперь приставлен, и о том, что он не сразу сообразил, в чем его личная задача, он рассказывал о приезде в Магнитогорск Серго Орджоникидзе. Приезжий не отправился сразу на завод, а сказал: «Бесо, сначала пройдемся по квартирам». В каждой он смотрел, насколько там чисто, и непременно заглядывал в кровати и на стены. Везде кишмя кишели клопы. Бесо написал, что у него при этом зрелище как бы судорога прошла по спине. Серго Орджоникидзе стыдил и жильцов, и соседей, и всякое начальство за такое огромное безобразие. Он каждой группе жителей давал листочек, где было сказано, как истреблять клопов «подручными» средствами. Были отменены занятия в школах, мобилизованы все, без кого работа могла на один день обойтись... И битва началась. Вещи из квартир выносились на улицу, везде кипятили воду, везде лился кипяток. Изготавливались какие-то смеси, которыми обмазывали кровати, стены, вещи. Противник погибал молча, зато нападающие весело шумели и даже пели. Сражение заняло больше двух дней. Затем Орджоникидзе вместе с Бесо совершили контрольную прогулку по квартирам. Пахло кипятком, мокрыми полами, едкими смесями — и главное: пахло чистотой. Контролеры вышли на улицу. Бесо обнял Орджоникидзе за плечи и сказал: «Ты дал мне хороший урок за эти два дня». Орджоникидзе взял его за руку: «Спасибо тебе за эти слова». Дружба этих двух замечательных людей запечатлена и в этом письме. Имя «Серго» Ломинадзе дал своему сыну. Он безмерно радовался появлению сына и приносил в кружок всякие потешные сыновьи словечки.

В воспоминаниях о Ломинадзе нельзя упустить одного многозначительного разговора. Ломинадзе вошел ко мне веселый и будто помолодевший. Он сел на стул, не раздеваясь, как человек в легком подпитии: «Сегодня мы не будем играть в шахматы, сегодня расскажу о посещении Серго Орджоникидзе — посещении, которое и вряд ли когда-нибудь забуду». Речь шла о деловой ситуации, из которой не видно было выхода. В это время пришел Пятаков, его заместитель. Почти не задумываясь, Пятаков развязал всю путаницу и решил вопрос с исчерпывающей, неопровержимой правильностью. После его ухода Серго стал рассказывать о замечательной изобретательности Пятакова в решении сложных ситуаций. Он один заменяет целый аппарат специалистов. Никогда не встречал столь законченной деловитости. Целый час Серго с восхищением и очевидным удовольствием рассказывал о достоинствах Пятакова как работника. Что меня поразило в самое сердце: ни малейшей зависти, ни малейшего чувства соперничества, только радость успехам товарища по работе, искренняя готовность признать превосходство Пятакова там, где он это превосходство обнаруживает. Слушающему было очевидно: высокие достоинства Пятакова притягивают Орджоникидзе к нему как к личности.

«Вот настоящее,— думал я про себя.— Это, наверно, было и у Ленина». И я всем существом постиг в этот момент, что не высокие достоинства Серго как работника, воспитавшего великолепную когорту директоров крупнейших предприятий, а именно нравственная суть — основа моей дружбы с ним.

Тем временем в жизни кружка происходили драматические события, каждый раз наносившие ему тяжелые удары. Одним из непоправимых для жизни кружка ударов было появление написанного секретарем московской партийной организации Рютиным обращения. Это отчаянно смелое обращение к партии, требующее немедленно снять Сталина с его поста как предателя дела Ленина, изменника делу революции. Стэн, прочитавший это обращение, но давший слово никому о нем не рассказывать, ограничился немногими словами: неслыханно резкая, уничтожающая характеристика Сталина и еще другое, чисто стэновское замечание: «Я не думал, что партаппаратчик может писать так сильно».

Это было неслыханное единоборство: на одной стороне человек, вооруженный только твердостью своего убеждения и несокрушимостью высказанной им правды, а на другой стороне — Сталин с покорными ему силами партаппарата и органов безопасности. Сталин мог объявить Рютина кем угодно, и в его распоряжении было множество средств, чтобы заставить того замолчать. Но тут-то сказалась трусость Сталина. Он боялся людей, которые идут на него с открытым забралом, ничего не смягчая и не учитывая. Убивать людей, упрятывать их в одиночки за их убеждения — самая выгодная форма победы. Даже десяток действующих открыто — десяток людей, готовых на самопожертвование, могут стать опасными. Поэтому нужно сделать так, что никакого обращения Рютина к партии не было, а также сделать небывшими тех, кто передавал документ Рютина другим лицам,— и даже тех, кто прочитал его без всяких последствий. Нужно, чтобы поступок Рютина превратился в миф, в нечто нереальное. Идя по цепочкам, были выловлены все, кто распространял обращение Рютина или хотя бы прочитал его, не высказывая с ним никакого согласия.

Эта операция была проделана очень быстро, все люди, хоть как-нибудь знакомые с заявлением Рютина, исчезли, переместившись в далекие края. В число таких людей попал и участник кружка Ян Стэн, которому предъявили обвинение в том, что он не донес об антигосударственном обращении,— чуть ли не через сутки он отправился в Казахстан. Примерно через два года ему разрешили вернуться в Москву. Видимо, он написал Сталину покаянное письмо, и тот решил допустить его переезд в Москву и даже позволить

работать в Большой Советской Энциклопедии, где ему доверялось писать ответственные статьи о марксистской философии. (На последнее обстоятельство прошу читателя обратить особое внимание.) Явившись в Москву, Ян Стэн не сделал ни малейшей попытки встретиться с кем-нибудь из кружка. Его встреча с Ломинадзе произошла случайно и продолжалась несколько минут. Стэн сказал, что в ссылке пересмотрел свои взгляды, что на сей раз ничего не рассказал о нашем кружке, но если его еще раз призовут к ответу, он расскажет обо всем, что было и к чему кружок стремился. Прощания, по существу, не было: кивок головы и расставание навсегда. Стэн отломился от кружка и этим сломал кружок...

Но высылка такого замечательного человека лишь за то, что он прочел документ Рютина, не высказав никакого сочувствия и никому не показывая его, заставила нас глубоко задуматься. Если арест и высылка молодого собеседника Сырцова могли казаться единичным случаем, то теперь, когда судьба нескольких коренников-партийцев определилась лишь тем, что Сталину потребовалось сделать поступок Рютина всего только мифом, чем-то небывшим, и он добился своей цели, заставили нас задуматься над новыми отношениями между партией и органами безопасности. Последние все успешнее становились орудием контроля за всем, что в партии происходит, бросали в заключение тех членов партии, чьи взгляды не нравились Сталину. Таким образом, партия перестала быть суверенной организацией, она стала управляться Сталиным в решающей степени через органы безопасности. Легко представить себе, какое значение имело это для нравственного уровня партии. Все больше и больше людей превращалось в трусливых и послушных приспособленцев. Мы еще не знали, к чему это приведет, но чувствовали за этим большую и страшную проблему.

Рютина я увидел впервые в тюремной бане. Лицо энергичное и мрачное. И в теле чувствуется недюжинная физическая сила. Однажды, принеся кипяток в тяжелом медном чайнике, надзиратель сказал ему что-то обидное. Ни секунды не медли, Рютин швырнул тяжелый медный чайник, полный кипятка, в надзирателя. К счастью для последнего, тот успел заслониться дверью. Раздался оглушительный грохот, послышалась беготня, и через несколько минут снова воцарилась та тишина, которая — особенно по вечерам — царит в мире одиночек. К оппозиционерам, не выступающим открыто, он относился с молчаливым пренебрежением; ни с кем не здоровался и вел себя так, будто кроме него в Суздальском изоляторе никого нет. Он прибыл в Суздаль около 1931 года, в 1935-м продолжалось его заключение. Не помню, когда он оттуда исчез.

Это была резко определившаяся личность, и никакая сила не могла бы заставить его говорить не то, что он думал. Убежденность и активность делали его бесстрашным — и безнадежна была бы всякая попытка его испугать. Я не знаю, как протекал его путь к расстрелу, но не сомневаюсь в его верности себе.

Каждое новое сообщение участника кружка делало горизонт темнее. Навсегда запомнил встречу с Ломинадзе, когда его лицо было, как никогда, грустным. Он пересказал мне то, что сообщил ему человек, полностью осведомленный, и слова которого заслуживают абсолютного доверия. Суть была в том, что процесс «Промпартии» был устрашающим спектаклем, в котором сказанное было только обманом. Это было тем страшным видом обмана, который называют самооговором. То же можно сказать обо всех остальных процессах, где подсудимые будто бы добровольно признавали то, что вело их к расстрелу, но в чем не было ни грана истины. Ломинадзе не допускал мысли, что эти ужасные инсценировки шли под режиссурой Сталина. Зачем ему уничтожать лучших, опытнейших инженеров в пору напряженного промышленного строительства? Самому вредить главному своему замыслу: это полнейшая бессмыслица. Видимо, дело в том, что репрессивные органы с присущими им методами представляли себя спасителями государства от вредительства — будто бы оказывая важнейшую услугу. Всякое другое предположение ведет к абсурду. Такая независимая деятельность органов безопасности несет в себе громадную угрозу — тем большую, что с ведома Сталина эти органы установили контроль над внутрипартийной жизнью. Зона опасности дли людей громадно расширилась. Но какими средствами они добиваются своей, непостижимой нормальному человеческому уму, цели? О, для этого создана безукоризненно действующая система. Сначала запугиванием и обещаниями свободы получают клеветнические показании на людей, которых надо вывести на процесс. А потом серией очных ставок дезорганизуют сознание главных обвиняемых — они попадают в фантастический и вместе с тем непостижимо реальный мир. Под градом обвинений — от людей, с которыми мирно работали,— терпит глубокий ущерб их чувство собственного достоинства. Эта фантасмагория как бы раскачивает, деформирует нормальное человеческое сознание. А когда такая дезориентация достигает нужного градуса, предлагают выбор: вы признаете то, в чем вас обвиняют, и за это получите в награду жизнь. И эта дьявольская комбинация по большей части удается.

Видно было, с какой мукой Ломинадзе обо всем этом говорил: высокая идея нового общества выкупана в грязи.

Затем мы встретились с Шацкиным, и Ломинадзе повторил свой рассказ и высказал свои недоумения. Шацкин выслушал все с обычным своим самообладанием. Он согласился с Ломинадзе, указывающим на вред, приносимый уничтожением лучших инженеров по выдуманным обвинениям. Однако он при этом высказал некоторые возражения: Сталин мог послать в органы безопасности группу проницательных и безусловно честных людей, которые без труда установили бы, что процесс покоится на лжи. Но Сталин этого не делает, он принимает на веру всю жуткую галиматью, которую приписали себе обвиняемые. Почему он при всей своей хитрости принимает происходящее за чистую монету? Вот чего мы не понимаем и что нам крайне важно понять.

Говорили мы и о том, как нам держаться, если попадем в капкан, поставленный наветами и подлыми выдумками. Пришли к выводу: главное, исключить провокацию, на которой строились доселе все кровавые инсценировки. Да, главное, не оставить ни одной щелки, которая дала бы вползти провокации. Для этого нужно с точной правдой говорить обо всем, что думали, что обсуждали, что стремились сделать. В этом случае не будет возможности ни на одной мелочи уличить нас в обмане — и все без всяких расхождений будут говорить одно и то же. Свести к тому, что на самом деле было: к выяснению и обоснованию убеждений и того, что из них вытекало. Ничего не скрывать и ни в чем не дать себя запутать. И никаких отказов от того, что мы считаем правильным. Обо всем этом мы подумали хорошо — и наивно. Нам и в голову не могло прийти, что учреждение, представляющее социалистическое государство, будет — с благословения Сталина — прибегать к пыткам, не уступающим тем, к которым прибегают фашисты.

В нашей прессе и литературе в последние годы много говорится о злодействе Сталина, погубившего цвет революции, крупных ее теоретиков и практических деятелей, людей, в течение многих лет проходивших умственную и нравственную школу Ленина. Это огромная, невосполнимая утрата, незаживающая рана для всего общества и для души каждого из нас. Думаю, не ошибусь, если назову Сталина самым ужасным злодеем из всех, каких знала история. Но не надо упускать из виду порчу, которая затронула характеры этих — самых необходимых — людей, выразившуюся в слабости, способности к недопустимым компромиссам, внутреннему надлому, измене самому себе и своим убеждениям, в готовности ради того, чтобы не быть отброшенными общественными процессами, публиковать похвальные оды «великому» Сталину,— и самое главное: дошедших в своем страхе смерти до того, что перед лицом своего народа и всего мира они принимали на себя такие обвинения, которые рука отказывается даже перечислить на бумаге. Короче, в том слое партии, который представлял собою громадную, незаменимую ценность, уже шел, правда, под постоянным давлением, процесс перерождения. Они постепенно утрачивали способность достойно жить и, тем более, утратили способность достойно умереть.

Замечу только: если бы все они, подобно Рютину, придерживались требования «Коммунистического манифеста» — всегда открыто высказывать свои взгляды (даже и тогда, когда это грозит смертью), никакому Сталину не удалось бы заставить каяться в том позорном и немыслимом, в чем они каялись. Но об этом позже.

Удивительно другое: слишком мало говорят, слишком мало стараются понять тех людей, которые не давали о себе ложных показаний и сумели победить страх смерти. А иные были подлинными героями.

Вот один из них.

В коридоре одиночек Бутырской тюрьмы однажды вечером кто-то, только что выведенный из камеры, во весь голос закричал: «Товарищи! Не оговаривайте себя, товарищи, не оговаривайте себя!» После этого на него набросились и заставили его замолчать. Он сопротивлялся, и избиение, думаю, было жестоким. Потом его оттащили в камеру. Судя по всему, призыв шел от молодого, высокого и очень сильного военного. Прошло три или четыре дня, и громкий призыв не оговаривать себя прозвучал снова. Видимо, сопровождающих было больше, ибо второй раз ему удалось прокричать только «оговарив...» — и послышался шум борьбы. Было ясно, что кричащий обороняется, и звук ударов показывал, что в дело пущены охраной не только кулаки. На этот раз его тащили в камеру волоком. Коридор пришел в неописуемое волнение: во всех камерах стучали по железной двери мисками. Только тогда, когда послышался шум запираемой камеры, наступила обычная тишина. Вызов на допрос повторился еще два раза, и оба раза он повторял свой призыв — но в одной фразе. В последний раз мы услышали уже слабый голос, но с той же твердой, мужественной интонацией. Больше он не появлялся. Мы его не видели, но вряд ли кто-нибудь из слышавших это сумел его забыть.

Следует непременно сказать о директоре Института Маркса и Энгельса Д. Б. Рязанове, по внешности похожем на старого льва. Когда следователь решил испытать его очными ставками и Рязанов услышал мертвый от трусости и стыда голос, выговаривающий грязные небылицы, он прокричал: «Уберите от меня эту мразь!» Судя по рассказам, он не стесняясь выказывал следователям свое презрение. Удалось ли им дотянуть этого неукротимого старика до расстрела? Не знаю.

А вот еще факт, в котором сосредоточилось незабываемое содержание. В первые годы моей жизни в Москве я познакомился с И. Дейчманом. Это было шапочное знакомство, Но

через много лет я встретил его в красноярской ссылке и подружился с ним. История его жизни весьма примечательна. Вступив в партию в 1917 году и пройдя гражданскую войну, он в годы нэпа много работал под руководством Микояна, затем проводил денежную реформу в Монголии и, наконец, работал в Торгпредстве в Японии. Небольшого роста, ловкий и быстрый в движениях. В его лице отражались смекалка и веселый нрав. Его срочно вызвали в Москву, тут же арестовали. Следователи интересовались временем, когда он был связан с Микояном. Выяснив и записав все подробности этого периода его жизни, они вдруг потребовали показаний на Микояна, чтобы он рассказал о связях Микояна с японской разведкой и многом другом в этом роде. Можете себе представить его изумление, остолбенение: давать гнусные показания о человеке, который в данный момент спокойно работает, входит в Политбюро,— человеке, которого он высоко ценил как деятеля, ценил его характер. Обдумав свое положение, он на следующем допросе заявил, что никогда не скажет о Микояне ни одного дурного слова — даже и в том случае, если его замучают пытками (о них следователи прозрачно намекали). Видимо, его дело было дебютом в новом направлении: ему не грозили никакими очными ставками. Сразу в этот же день начались пытки: невыносимая боль и полное отсутствие каких-нибудь следов на теле. Ему особо запомнились многочисленные удары носком сапога в пах. Но маленький человек с веселым лицом, казавшийся палачам легкой добычей, оказался железным. Он неизменно повторял, что в их власти затерзать его до смерти, но ни одного плохого слова о Микояне они от него не услышат... Тем временем следователи кое из кого выбили какие-то показания, так как вскоре поставили его перед военным судом. Суд находился в весьма щекотливом положении. Осудить человека, категорически и обоснованно отрицающего свою вину,— как же тут осудить его, если Микоян преспокойно заседает в Политбюро. Выход нашли обычный: отправить дело на доследование. Мучители свирепствовали еще дольше, еще страшнее, но маленький железный человечек оставался непробиваемым. Снова — уже с большим количеством «свидетелей» — его дело направили в военный суд. Но обвиняемый играючи показывал несообразности и немыслимости того, что твердили «свидетели»,— и суд снова послал его на доследование. Тогда начальство госбезопасности приказало передать его дело особому совещанию. Оно послушно — при совершенно пустых протоколах — дало ему 8 лет обычных лагерей. Там сказалась умная осмотрительность И. Дейчмана: за 8 лет он ни разу не произнес имя Микояна — он угадывал, что будет, если он хоть раз, хоть словом упомянет о Микояне. А по газетам он видел, что Микоян попрежнему в чести. Тем тревожнее он чувствовал себя, и тревога была не напрасной. За месяц до конца срока начальство лагеря «состряпало» новое «лагерное» дело и милостиво дало ему еще 8 лет лагеря. И. Дейчман видел их насквозь, никому не жаловался, не просил о пересмотре дела,— умирать он еще не собирался. Лет через пять, уяснив, что И. Дейчман усвоил правила хорошего тона в мире госбезопасности, маленького железного человечка перевели в красноярскую ссылку. Там, на скамейке возле Енисея, мы увидели друг друга. Это, видимо, была весна 1952 года, когда меня после тяжелейшего сердечного приступа направили из деревни Тюхтет в Красноярск на лечение.

В поисках работы я познакомился с двумя семьями ссыльных — чудесными людьми (мой добрый рок, по-видимому, начеку), и я ввел И. Дейчмана в ссыльный кружок, где мы дружили так радостно, с такой преданностью друг другу, с таким духовным равновесием, что, уже встречаясь позже в Москве, вспоминали о красноярской дружбе как о поре, когда мы были тягостно несчастны и вместе с тем счастливы неповторимым счастьем. Но И. Дейчман был уже так запуган, что никому, кроме меня, не рассказывал в подробностях своей истории, которую я здесь изложил в нескольких фразах. И когда умер Сталин, И. Дейчман все еще не помышлял о каком-нибудь пересмотре своего дела. Но когда наконец раздавили такую гадину, как Берия, я вместе с женой И. Дейчмана, приехавшей к нему на время своего отпуска, решили уговорить И. Дейчмана написать письмо Микояну с рассказом о своем деле и просьбой о поддержке. И. Дейчман отбивался, говоря, что эмгебешники что-нибудь сделают, чтобы письмо не дошло и их антимикояновская акция не открылась. Все же мы его уломали, а жена обещала через верного человека доставить письмо в Москву и бросить в тот ящик, куда бросают письма к сильным мира сего.

Мы не ждали скорого ответа, и когда через две недели И. Дейчмана вызвали в красноярское управление безопасности, он встревожился и просил меня пойти вместе с ним, чтобы ему спокойнее было. Ходил я возле здания около получаса и наконец увидел И. Дейчмана, очень бледного, сразу похудевшего. Он приблизился ко мне вплотную и мертвыми губами сказал: полнейшая реабилитация. Он был первым, кто отправился в Москву. Его тотчас же принял Микоян, обласкал, благодарил, добыл для него квартиру. Я же отправился в Борисоглебск, чтобы с философии переметнуться на литературоведение. Приезжаю в Москву и останавливаюсь у одного из красноярских друзей. В этот же день мы отправились в больницу для старых большевиков, где лежал И. Дейчман. Мы его увидели изжелто-бледного, с синими губами, только глаза не сдавались и как бы были готовы к борьбе. Он подал нам исхудавшую руку и сказал: «Вот видите, как все получилось». Через несколько дней его не стало. Как мучительно трагична жизнь этого подлинного

героя. Конечно, мы должны писать о крупных людях, которые не показали себя героями. Но высокой нашей обязанностью является рассказ о тех подлинных героях, которые умели одержать моральную победу в борьбе с навалившимся на них огромным чудовищем.

Как только Сталина избрали Генеральным секретарем, он всеми дозволенными и недозволенными средствами стал стремиться к роли лидера партии. Но он понимал, что стать таковым может лишь человек, высоко проявивший себя в сфере теории. Чтобы подготовить место для своего идеологического авторитета, он постарался очистить идеологическую сферу от всех других претендентов. В январе 1931 года обнародовано Постановление ЦК о журнале «Под знаменем марксизма», отбрасывающее в сторону самую влиятельную группу философов. В Постановлении говорится, что журнал попал под влияние «группы Деборина, Карева, Стэна и пр.», не занимается проблемами ленинского этапа в философии, отрывает философию от политики и защищает позиции «меньшевиствующего идеализма» [1]. Прошло уже около 60 лет, как создана эта удивительная формулировка: «меньшевиствующий идеализм», но никто не пытался объяснить, что это значит. Видимо, это излюбленный Сталиным прием амальгамы (троцкистско-зиновьевский, троцкистско-военный и тому подобное). Амальгама как бы усиливает осуждение, независимо от того, имеет ли она определенный смысл или нет. Через несколько дней после опубликования постановления Деборин, Карев, Стэн (и я грешный) были единогласно исключены из общества диалектиков-материалистов. Особенно сильно Постановление ударило по Стэну, который был как бы негласным советником ЦК по философским вопросам. Он и раньше информировал нас о курьезных претензиях Сталина в учении о диалектике. Сталин спросил Стэна: «Как вы понимаете закон отрицания отрицания, на котором так настаивает Энгельс». Было известно, что Сталин Энгельса недолюбливает. Стэн постарался как можно яснее объяснить, что закон отрицания отрицания логически устанавливает различие между изменением и развитием. Ленин говорил, что этот закон указывает на возвращение к исходному пункту, необходимое во всяком подлинном процессе развития. Та же мысль и у Плеханова, указывавшего, что всякий реальный процесс диалектического развития непременно содержит в себе не только процесс изменения, но и момент тождества.

Сталин некоторое время ходил молча, а затем сказал: «Вы так думаете, а я полагаю, что мы отлично обойдемся без этого закона». Таково было первое открытие Сталина в теории диалектики. И он не забыл об этом своем заявлении. В «Кратком курсе» автор сократил законы диалектики с трех до двух.

Пришло время сказать о Стэне — одной из ярких фигур нашего кружка. Ян Стэн — крупный, подвижный, с большой шапкой по-северному светлых волос, при каждом резком движении головы распадавшимися прядями. Гневным он становился легко, и в гневе бегал по комнате, извергая проклятия, затем вдруг успокаивался. Мне никогда не приходилось видеть столь образованного и умного человека, который бы смеялся так много, как Ян Стэн. Смеялся от веселья, для осмеяния противника в споре, сопровождая ироническим смехом характеристику персонажа, в котором никто из нас не умел найти ничего смешного. Общаясь с ним хоть полчаса, каждый мог сказать, что перед ним явно выраженный холерический темперамент. Но шумное легкомыслие было только верхним слоем. Неожиданно он высказывал серьезные и тонкие мысли, доставлявшие истинное удовольствие. Можно сказать, что у него был талантливый ум,— слово «талантливый» подчеркивает его специфичность. Две его небольшие статьи оказались началом обширной философской дискуссии с «механистами». Мы обычно находили его сидящим на стуле посреди большой красивой комнаты, а кругом на полу грудами лежали книги самого разнообразного содержания. Даже строгий в оценках Рязанов считал его очень образованным человеком и сделал своим помощником по институту. Стэн поглощал книги в немыслимом изобилии, так как поставил себе нешуточную цель: написать материалистическую феноменологию духа; если воспользоваться выражением Ленина, он хотел прочитать гегелевскую феноменологию материалистически. Но обширность и сложность задачи лишали его воли, и поэтому за годы наших с ним отношений он так ничего и не написал, хотя потенциально он был человеком большого духовного размаха.

Когда была выпущена троица Митин, Юдин, Ральцевич для нападения на группу Деборин, Карев, Стэн, Стэн расправлялся с их инсинуациями, разнося их в пух и прах. Здесь и пригодился зажигательный темперамент Стэна в сочетании с точностью мысли. Как бы тонкой шпагой поражал их Карев. В дискуссии Митин с компанией были разбиты вдребезги. Было неопровержимо доказано, что Плеханов не просто хороший пропагандист марксизма, а его творческий представитель. Была показана связь наступившей эпохи войн и революции с ленинскими в 1914—1915 гг. занятиями «Большой логикой» Гегеля — он оттачивал диалектическое оружие, чтобы оно могло стать оперативным средством в управ-

---

[1] КПСС в резолюциях и решениях, т. 5, с. 264—265.

лении историческим процессом. Именно сочетание исторического процесса с процессом диалектического мышления давало то соединение философской теории с исторической практикой, о чем неумолчно говорили Митин и иже с ним, не предложив ни одного намека на содержательную мысль. И после этого разгрома появляется решение ЦК о «меньшевиствующем идеализме». Сталину было безразлично сопоставление доводов: он решал другую задачу — отодвинуть сложившуюся группу философов, чтобы победоносно утвердиться на их месте, чтобы стать непререкаемым представителем ленинского этапа философии. О полном безразличии Сталина к существу дела говорит следующий факт. Когда Бухарин выпустил свою книгу об историческом материализме, было предложено Кареву редакцией журнала «Коммунист» (т. е. Сталиным) написать в короткий срок рецензию на нее. Сталин знал, что Карев будет резко критиковать бухаринское понимание диалектики, хотя полемика исходила из тех самых положений, которые так недавно были объявлены «меньшевиствующим идеализмом». Сталин всегда исходил из того, что у людей короткая память [1].

Мы имеем драгоценную возможность знать, как Ленин отнесся к написанной Сталиным теоретической статье. Ленину, уже больному, дали возможность ознакомиться со статьей Сталина, посвященной нопросу о взаимоотношениях стратегии и тактики в революционном процессе. По словам Ломинадзе, Ленину статья решительно не понравилась и даже встревожила его. Вместо живой диалектики здесь были окоченевшие в своей неподвижности формулы, катехизис правил. То же подтвердил и Шацкин, который, видимо, слыхал о мнении Ленина от другого человека, непосредственно общавшегося с Ильичем по этому поводу. Он передал слова Ленина об опасности, которую могут принести подобные собрания застывших формул, и его желание, чтобы подобные опыты Сталина не попали в печать. Более того, Ленин дал понять, что не возражал бы, если бы его осуждение теоретического опыта Сталина было последнему передано. Можно усомниться, было ли это пожелание передано Сталину, чья опасная мстительность была хорошо известна в кругу людей, окружающих Ленина. Во всяком случае, вскоре после смерти Ленина статья, о которой речь, была опубликована в центральном партийном органе. Каждый сразу видит непреодолимое различие, если прочитает одно за другим теоретические рассуждения Ленина и Сталина. Мысль Ленина можно сравнить с живой птицей, трепещущей в нашей ладони, мы слышим, как напряженно бьется сердце птицы. А мысль Сталина, внешне похожая, неподвижно покоится, и мы не слышим биения ее сердца. Это и понятно — у нее нет сердца. Трудно представить себе большее различие в формах мысли, чем то, о котором мы ведем речь. И эти мертворожденные «Основы ленинизма» предлагаются вместо вечно цветущих мыслей Ленина. И какое ужасное падение: сталинский катехизис для миллионов людей заменил собою животрепещущие идеи Ленина.

Расскажу историю, в которой смешное и жалкое соединяются с подлинно трагическим. В день появления «меньшевиствующего идеализма» мне позвонил Карев и пригласил пойти вечером к Деборину — старику ведь очень плохо. Мы отправились на квартиру Деборина. Его там не было, а молчаливые родственники передали нам листок, на котором было сказано: «Не могу перенести позора. Жить больше незачем. Ухожу». Родные сообщили в милицию, но пока — никаких известий. А тут подошел Рязанов, и за ним и Бухарин, ему успели сообщить о происшедшем. Ждали молча, изредка перебрасываясь пустыми словами. Время шло в глубину ночи. Вдруг резкий звонок. Входит дюжий милиционер, держит за руку Деборина в теплой шубе. Оказывается, он решил покончить с собой по способу замерзания: сяду на скамейку и в конце концов замерзну. Зрелище было до того унылым и жалким, что все, не говоря ни слова, вышли из дома, один Рязанов зло чертыхнулся. После решения ЦК и этого эпизода Деборин быстро одряхлел и, бесполезный, тянул время до смерти. Так постановление убило хорошего безобидного человека, занимавшегося полезным делом: историей диалектики.

Каков же общий смысл того, что здесь рассказано? Поколение двадцатых годов шаг за шагом отходило от поддержки Сталина и отходило тем дальше, чем большую личную власть приобретал Сталин. Впитанные в плоть и кровь с молодых лет демократические традиции ленинской поры не мирились с державной властью одного лица. Это справедливо не только относительно кружка, не только относительно бухаринской «школки», не только Карева и ему подобных, но и любого человека, способного к независимому мышлению. Можно с уверенностью сказать: политически мыслящая часть поколения 20-х годов все дальше шла по пути противопоставления себя Сталину,— хотя и с отдельными срывами и колебаниями. Принципиально то же происходило в среде ученых, вошедших в науку в 20-х годах,— здесь решающее значение имело варварское отношение Сталина к современной науке и ужас «лысенковщины».

Это предрешало судьбу поколения 20-х годов — его можно назвать погубленным поколением. Какая скорбь и боль охватывает, когда думаешь о громадных духовных, интеллектуальных и нравственных ценностях, которые погибли вместе с ним. Не побоюсь сказать: поколение 20-х годов, родившееся в Октябре, было в лучшей своей части поколением положительных героев.

К сказанному добавлю: статья Шацкина «Долой партобывателя!» в «Комсомольской правде» и реакция на нее сверху, обсуждение в Институте красной профессуры сделали ее неким событием на ровном политическом фоне, какой образовался после шестнадцатого съезда. Наш кружок превратился в нечто, для многих заметное. Количество разговоров с «чужими» значительно увеличилось. Так создалась атмосфера, в которой Сталину могла прийти в голову мысль о праволевацком блоке. Это было наказание и вместе предупреждение.

Вопрос о том, в каком отношении находился Сталин к кровавой фальшивке «Промпартии», заставлял нас снова и снова думать о скрытых возможностях. Ленин говорил о капиталистической дисциплине, заставляющей рабочего добросовестно трудиться даже и на эксплуататора. После гражданской войны, после громадных потерь среди кадровых рабочих, резко уменьшился слой пролетариев, усвоивших капиталистическую дисциплину. На стройку пятилеток двинулись мужики. Хватит ли хлебного пайка и захватывающего романтизма огромных строек, чтобы создать прочную и надежную трудовую дисциплину? Не следует ли ко всему прочему повесить над массой трудящихся самый сильный кнут — страх. И не этот ли всеобщий страх обеспечивается кровавыми спектаклями? Этот ход мыслей был одним из тех, к которому мы еще и еще раз обращались.

Даже Товстуха, которого считали первым секретарем Сталина, не мог избавиться от непобедимого страха перед своим владыкой. Редакционная группа во время шестнадцатого съезда обнаружила в тексте доклада Сталина цитату Ленина, истолкованную обратно ее действительному смыслу. Пришли к Товстухе, тот много раз сравнивал цитату с ее интерпретацией и вынужден был признать, что дело неладно. Его просили показать ошибку Сталину, чтобы он ее исправил, но Товстуха уперся: Сталин этого не любит, и никакие уговоры не могли его убедить показать Сталину эту страницу доклада.

А вот еще эпизод. Серго Орджоникидзе поручил одному из основателей комсомола и другу Шацкина — Цейтлину отправиться в Сибирь и самому проверить многочисленные жалобы об ужасных происшествиях при переселении так называемых кулаков из европейской части страны. Цейтлин выполнил задание с величайшей добросовестностью и привез в Москву целый том, в котором правдиво рассказывалось обо всем, что творилось при «раскулачивании», и передал том Орджоникидзе. На следующее утро его вызвал Орджоникидзе, явно потрясенный прочитанным. Он очень серьезно и резко сказал Цейтлину: «Вы никуда не ездили, никакого отчета не привозили, и Сталин не должен об этом ничего знать. Ничего не было». Но Цейтлин не мог примириться с тем, что вся эта правда бесследно исчезнет, и читал Шацкину несколько часов свой отчет: пусть хоть еще один человек знает, как там было. Когда Шацкин рассказал об этом в кружке, зная отлично, что за его границу ни одна подробность не выйдет, мы сидели с замершей, как бы окаменевшей душой и слушали. Серго Орджоникидзе, ближайший друг Сталина, не смел показать Сталину, что было на деле. Не будем гадать о том, что в это время думал и чувствовал Орджоникидзе.

Шацкин строго следовал манере: только точные факты, никаких субъективных впечатлений, никаких выражений эмоции. Чем объективнее было изображение того, что произошло и еще происходило, тем сильнее и неизгладимее было то, что каждый из нас, слушая, пережил. Только сердце становилось тяжелым, как гиря. Шацкин, который уже более суток прожил с услышанным и был самым хладнокровным из нас, предложил собраться назавтра, чтобы хоть как-нибудь понять и оценить случившееся.

Я в течение ночи сделал ряд выписок из трудов Ленина, где ясно говорится о непозволительности экспроприации кулаков. Ленин убедительно разъясняет, почему он отвергает такую экспроприацию. Между тем Сталин, вопреки завету Ленина, не только осуществил в зверских формах «ликвидацию кулака как класса», но и допустил обращение с кулаками, как с преступниками. Не говоря уже о том, что в деревне процесс дифференциации не настолько углубился, чтобы говорить о существовании кулаков «как класса». Сталин сознательно действовал вопреки тому, что думал и отстаивал Ленин.

И другое противостояние Ленину, о котором знает теперь каждый политически грамотный человек. Была причислена к кулакам едва ли не значительнейшая часть середняков, умело ведущих свое хозяйство и достигших зажиточности. Таким образом были изъяты из деревни и вывезены в глубь сибирской тайги те самые люди, которые могли и должны были стать в будущем организаторами коллективного труда.

[1] То, что Митин подписал своим именем чужую статью, идентичную по содержанию и форме опубликованной на несколько лет ранее,— это, конечно, поступок весьма странный для академика, каковым Митин стал в результате его борьбы против «меньшевиствующего идеализма». Но поскольку эта украденная статья была написана рукою Яна Стэна, не так уж давно расстрелянного и проявившего себя как особо темпераментный противник Митина и его компании, это придает событию особую оригинальность. Митин поплатился за свой неслыханный плагиат лишь тем, что лишился должности редактора философского журнала.

Ленин придавал умелым, культурным хозяевам особо важное значение в осуществлении союза рабочих и крестьян — главной опоре нэпа. Разорение и высылка этих умельцев стали непоправимым уроном для всего дальнейшего развития производства. Ленин не допускал ни малейшего насилия и требовал полнейшей добровольности во всех изменениях в укладе крестьянской жизни. Сталин же именно насилием и страхом осуществлял перестройку деревенской жизни. Так что во всех аспектах проблемы отношений рабочих и крестьян Сталин враждебно противостоял Ленину и рушил те устои, которые Ленин считал незыблемыми вплоть до перехода к социализму. Сталин поступал вопреки Ленину, постоянно клянясь в верности ему, а это коварнейшая форма измены.

Обсуждая все, что мы узнали, мы пришли к единодушному выводу: политика Ленина в ненасильственном, органическом развитии деревни — единственно правильная. То, что сделал Сталин,— неслыханно огромное преступление не только против людей (особенно против детей и стариков), но и чудовищная операция в сфере экономического развития, исторического процесса. Только план Ленина, вытекавший из постижения новой экономической политики, был верен, а осуществившийся план Сталина — чудовищное преступление.

Особенно драматически звучали слова Ломинадзе, когда он с горечью сказал: «Я сам полагал, что крестьянство согласилось идти к коллективной работе». Все, что он тогда говорил, Ломинадзе теперь оценил как ненужную ветошь. Только сейчас у него открылись глаза на гигантское преступление Сталина.

Наша троица пришла к решительному выводу: Ленин во всех вопросах крестьянства и сельского хозяйства был безоговорочно прав — и это с неопровержимой убедительностью доказали первые годы новой экономической политики.

В числе специфических законов социалистической революции Ленин устанавливал и такой: эта революция не может обойти сделанной серьезной ошибки, не может смыть, растворить ее в последующем развитии. Она должна хоть десять раз вернуться и, если нужно, переделать, чтобы ошибка была в конце концов исправлена. Справедливость этой мысли подтверждена историей. После насильственного переворота во всем укладе деревни предлагались десятки панацей, проводились стоившие огромных денег преобразования, предоставляли уйму всякой техники,— а воз и ныне там. Более того, все росли закупки хлеба за валюту. И, наконец, чуть ли не через шестьдесят лет пришли к той органической, свободной форме развития, которую несколько десятилетий тому назад имел в виду Ленин. Конечно, сохраняются неустранимые элементы прошлого, но их ассимилируют гибкие, естественно приспособляющиеся к изменяющимся условиям формы хозяйствования, которые предлагал Ленин. Как видим — верна мысль Ленина о невозможности перепрыгнуть через ошибку и двинуться дальше по дороге социалистического развития. Да, приходится вернуться назад и начать с того места, где политика Ленина была отброшена.

Один из самых важных разговоров с Ломинадзе. Я приехал на каникулы в Москву к жене. Телефонный звонок. Слышу мягкий низкий голос Ломинадзе. Как хорошо! Он сказал, что очень нуждается в разговоре со мной. Мы встретились вечером (теперь у него была другая квартира) и проговорили до глубокой ночи. Он начал с того, что обдумывает поведение Бухарина, пытаясь уяснить себе его логику... Пока положение в деревне в главном оставалось прежним, Бухарин продолжал отстаивать позицию, несомненно, близкую к ленинской, но когда двинулась машина насилия, когда переместили многие сотни тысяч людей, когда слабого середняка, желавшего сохранить на своем подворье корову, стали называть «подкулачником»,— тогда создалась другая действительность. Увидев это, Томский покончил жизнь самоубийством. А Бухарин пришел к тому выводу, что и на сталинских путях движение к социализму возможно. Если так — нужно мириться со Сталиным и демонстративно поддерживать его. Так Бухарин и сделал.

Когда мы сейчас с болью читаем неумеренные похвалы Бухарина Сталину, мы готовы резко его осудить. Но ведь речь идет о человеке высокого духа, который исходил из убедительных оснований. Довод этот ясен и прост: если движение к социализму на сталинских путях возможно,— нужно делать все, чтобы помогать Сталину, а не быть отброшенным с дороги социалистического строительства.

«Сейчас, в тридцать четвертом году,— говорил Ломинадзе,— когда снова перешли от разверстки к налогу, появляются признаки оживления в сельском хозяйстве. Не следует ли из этого урока для нас? Несколько дней назад я встретил на улице Гамарника, который стал хвалить нас как представителей нового поколения, принесшего с собой свежую струю. Я шутя спросил его: „А вы почему не в этой струе?" Он ответил вполне серьезно: „Я не из породы смелых и, кроме того, слишком люблю свою семью, чтобы попусту рисковать". Гамарнику молодые нравятся, но их дело он считает пустым. В деревне положение определяется, в промышленности растут социалистические гиганты, подобные Магнитке. Я всем своим существом чувствую социалистическую природу того, что в ней происходит. Не остался ли и у нас только один путь — строить социализм по Сталину?»

Я спросил Ломинадзе: «А возможно ли построить социализм неправильным путем? Вот о чем следует подумать». Ломинадзе ответил, что он пока только советуется: «Нас зажало противоречие, из которого не знаешь, как вырваться. Еще много и упорно нужно думать».

И он, и я не понимали, что время для такого думанья упущено и всякое сколько-нибудь свободное решение уже невозможно.

Мы были очень взволнованы и обнялись на прощание. Чуял ли я, что живого Ломинадзе больше никогда не увижу?

Легко понять Ломинадзе, который видел в Магнитке одну из крепостей воздвигаемого социалистического общества. Завод-гигант — часть этого общества. С какой радостью он рассказывал не только о могуществе этого завода, но и о множестве славных, прекрасных людей — его самом важном украшении. Мне удалось провести несколько дней на только что пущенном тракторном заводе в Сталинграде (секретарь обкома задумал создать вуз при заводе и поручил мне отобрать кандидатов для него). Там тоже стояла праздничная атмосфера, хотя завод выпускал пока тридцать с чем-то тракторов вместо 144 в сутки. В разных концах страны поднимались промышленные громады, и их совокупность вместе с коллективизированной деревней якобы образовали реальное, уже существующее социалистическое общество. Каждый год добавлялось какое-нибудь определение: окончательный, завершенный социализм — и Сталин стал заглядывать в подходы к обществу коммунистическому. Люди моего поколения хорошо помнят эту пору могучих свершений.

И все же это построение социализма, так сказать, с разгону, не имело ничего общего с представлением Ленина о процессе создания, процессе рождения социализма и его сущности. Заглавие статьи, входящей в завещание Ленина, гласит: «Лучше меньше, да лучше». Во главу угла поставлено качество, а сталинская экономика — безоглядная, бешеная погоня за количеством. Ленин видел, какие потери принесла гражданская война ядру, высокопрофессиональной опоре рабочего класса. В своих речах в преддверье нэпа Ленин со свойственной ему прямотой говорил, что рабочего класса в том смысле, в каком он был в семнадцатом году, у нас больше нет. Крестьяне, составляющие главный резерв для возобновления рабочего класса, не обладают необходимой способностью к точной, высококачественной, вошедшей в плоть и кровь добросовестной работе, тем стремлением к безупречному качеству сделанного, которым отличался высококвалифицированный русский рабочий, в особенности рабочий, принесший наибольшие жертвы — по призыву Ленина,— чтобы обеспечить ту победу в гражданской войне, которую сам Ленин назвал «чудом».

Задача воспитания навыков фабричного труда, добросовестного стремления к наивысшему качеству входит в завет, выраженный словами: «Лучше меньше, да лучше». Но неумеренная гонка за количеством создала тип, так сказать, приблизительного рабочего. Ленин отлично понимал, что, так сказать, орабочивание рабочего займет немалое время. А господствующей стала работа на троечку, а не на пятерку. Громадную роль в этом играли диспропорции, неравномерность нагрузки в течение месяца — авралы чуть ли не в конце каждой недели и конца месяца. Авралы — тяжелейшая болезнь, поразившая нашу промышленность. Поселившись в Ленинграде, где Союз писателей дал мне маленькую комнатку в конце Московского проспекта, я это видел: рядом с моей была комната побольше, где жили рабочий и работница и еще прелестная девочка — какая-то особенно милая и кроткая. В субботу, после сверхурочной работы приходил вдребезги пьяный сосед — и в их комнате творилось бог знает что. На следующее утро я спрашивал присмиревшего соседа: «Ну как?» Он с отчаянием махнет рукой и скажет: «Гнали брак...» Он, приехав из деревни, умудрился стать мастером высшего класса, заводской труд стал его призванием. Всю неделю он ни капли в рот не брал, был ниже травы, тише воды. А разврат аврала гнал его за водочкой. Тут, как в микроскопе, через детали познавалось большое и важное. Когда они съезжали на новую квартиру, мы на прощанье обнялись с этим полюбившимся мне человеком. Я сказал: «Авось кончатся авралы». Он ответил: «Хотелось бы, но не верится». С того времени прошли десятилетия, а авралы — на месте.

Я коснулся одного из многих проклятых вопросов. Наша экономика — огромная машина по производству безнравственности. За многие годы не было ни одного общегосударственного плана, в котором не было бы разрывов, множества мнимых величин, невыносимых натяжек. Директор лжет, чтобы категорический императив плана был выполнен. Начальник цеха не обойдется без приписок — одной из отвратительнейших форм лжи. Недостроенные дома сдаются как готовые,— и это стало обычаем. А рабочие «гонят брак», чтобы все сошлось и «выводиловка» сработала. Бесчестная экономика плодит бесчестных людей. Нужны годы на тормозах, чтобы выровнять диспропорции и поднять качество сырья, работы и продукта, отбросить сумасшедшую гонку за количеством. Честная экономика будет формировать честных людей.

Короче говоря, не только в деревне, но и в городе ленинская перспектива противостоит

сталинскому социализму, «построенному» в предельно короткий срок. Сталин начал с галопирующей экономики в промышленности. Он не понимал, что подымающиеся из земли гиганты — только камни в фундамент социализма. И нужна целая эпоха, пока этот фундамент будет создан. А Сталин утверждает своим державным словом: социализм построен, несмотря на то, что фундамент его еще далеко не достроен. Не боясь сроков, собрав народную волю, сойти со сталинского пути и перейти на ленинский.

Все же меня тревожит мысль, не подумает ли читатель, что я идеализирую поколение, вышедшее из Октябрьской революции. Я прекрасно знаю, сколько всякой скверны было даже и в передовом слое моего поколения. Достоевский, заглянув в него, без труда нашел бы множество подтверждений амбивалентности в их нравственной природе. И множество склок, и проявления мелочного честолюбия, и зависть к чужому таланту, недобрые ссоры, вытекающие из недоверия друг другу,— и эти и другие моральные пороки мы в изобилии найдем даже и в передовом слое поколения. Пожалуй, только сребролюбия не было или почти не было.

Но была черта, которая перекрывала все эти проявления нравственной недостаточности и которая — особенно в критических ситуациях — определяла лицо поколения.

...В Одессе ненужные дрязги и споры губили комсомольскую работу. Меня послали туда на помощь. Какой чудесный город — Одесса! Гуляя, я находил все новые очаровательные места. Я стал выступать в комсомольских клубах со всякими докладами, чтобы восстановить затухающую связь с комсомольской массой. Но огонь склок не затихал. Тут мое спокойное слово оказалось неслышным. Из-за неудачно сказанного слова вспыхивали обиды, активизировалось недоверие, являлось желание побольнее уколоть друг друга. А я клял себя за свою неумелость... И вдруг поток сообщений о надвигающейся революции в Германии. Все преобразилось. Наговоры друг на друга сразу исчезли. Сильное общее чувство мгновенно смыло грязную накипь. Вчерашние противники в нескончаемых разговорах намечали планы для надвигающейся революции — один смелее другого. Общая идея, общее ожидание великих событий будто переделали тех самых людей, которые вчера выглядели столь неприглядными. А тут еще прибыл Семашко, старый большевик и нарком здравоохранения («подтяжки имени Семашки»). Он сделал доклад, настолько полный радостью и ожиданием революционных побед в Германии, что мы уверовали в скорый триумф немецкой революции еще больше. Это были поистине светлые дни. Но вот удары рейхсвера разрушили все надежды, вожди движения были убиты или брошены в тюрьмы, волна революционных настроений схлынула. И мы — те же самые люди, которые вчера грызлись из-за пустяков,— почувствовали нестерпимое давление общего горя. Наступили темные дни! Некоторые выглядели как больные. Миша Югов — самый образованный и самый революционно крепкий — старался объяснить нам временность неудачи. Но — напрасно. Лечил только великий целитель: Время. Урок всего происшедшего я сохранил на всю жизнь. То, что Ленин называет энтузиазмом великой революции, охватывает всю душу целиком. Идея становится над раздробленностью и недостатками личности. Мысль о главенстве идеи над характером была у Толстого. Утверждение этой мысли руководит построением всего образа Пьера Безухова. Но в цветущий период революции это главенство идеи над характером становится явлением массовым. Я выбрал один из примеров этого, навсегда отпечатавшийся в памяти и прочно вошедший в представление о сущности человека. Я запомнил и тот день, когда я, встретив М. Югова, сообщил ему о смерти Ленина. Этот сильный и духовно властный человек рыдал, как ребенок. То были дни великой скорби, охватившей миллионы и включившей в себя все лучшее, что в людях было. Мы, уделяя непомерное внимание уродствам сталинского времени, уделяем слишком мало временам ленинским — временам двадцатых годов. В это время ленинский пепел стучал в сердца людей; в это время попытка Сталина привлечь к себе лучших из поколения окончилась неудачей...

Пришел день первого декабря 1934 года. День, когда убили Кирова. Большое число людей — ни в чем не повинных людей — почуяли: надвигается черная туча.

Через несколько дней было опубликовано сообщение о расстреле десяти бывших деятелей комсомола. Как само собой разумеющееся предполагалось, что троцкистско-зиновьевские оппозиционеры являются также и террористами.

Это сообщение потрясло Ломинадзе до глубины души. Через пару дней после сообщения о расстреле Ломинадзе вызвал меня поздно вечером на телефонный разговор из Магнитогорска. Он говорил не своим, прерывающимся голосом, выдававшим необыкновенную взволнованность. Все же он соблюдал правила эзоповской речи: нужные слова и небольшие фразы он вставлял в рассказ о семейных делах.

Вот что примерно было сказано в этих словах и фразах.

Костров был прав. Но все оказалось еще хуже. Уничтожают людей, давно забывших о ленинградской оппозиции. Все они безупречные и убежденные ленинцы. Повторяется «Промпартия», но уже в применении к той части партии, которая не порвала с ленинизмом. По сути — переворот. Потрясен ужасно. Как жить теперь — не знает. Через пару дней получил оказией небольшое письмо. В нем я выловил несколько фраз.

Наши товарищи абсолютно невинны.

Это только начало.

Смогу ли поступать, как мы условились.

Еще через какие-то дни вернулся из Москвы заведующий кафедрой физической химии профессор Шлезингер — круглый, веселый, славный человек. Поздоровавшись со мной, сказал: «Вся Москва — все говорят о самоубийстве Ломинадзе». Я, ни жив ни мертв, спросил: «Может быть, легенда?» — «Нет, об этом говорят серьезные люди, которые слухами не питаются. Ломинадзе застрелился на ходу машины и умер на операционном столе».

Один из очень сведущих и информированных людей говорил потом мне: «Сталина спросили, как хоронить Ломинадзе — как партийного руководителя или как самоубийцу? Сталин, отвернувшись к окну, махнув рукой, сказал: „Делайте, как знаете“». Теперь уже нелегко установить, правда это или апокриф. Хоронили, насколько я знаю, торжественно — за гробом шла вся Магнитка.

Что я испытывал в эти дни?

Пожалуй, в мире не было человека несчастней меня. И еще вот что: мгновенно атрофировалось чувство самосохранения. Мне было все равно: посадят ли меня или нет, убьют ли меня или нет. (И во время обыска и во время заседания партколлегии ЦК, исключавшей меня из партии, и по прибытии в тюрьму, и во время следствия я вел себя так, будто все это меня не касается. Такая атрофия самосохранения надолго стала моим основным состоянием.)

Только через неделю ко мне пришли из обкома, передали бумагу: вызов на партколлегию ЦК такого-то числа, в такой-то час. Передали мне также билет на поезд.

В партколлегии разбирательство продолжалось три минуты. Задали несколько незначащих вопросов и отпустили. Сказали, что решение сообщат позже. Я все время смотрел на Сольца: его лицо было очень печально, но зла в нем не было. Я попрощался. Никто не ответил, и я навсегда покинул это место.

Придя домой, я узнал от жены, что приходил Шацкин,— ему очень нужно было со мной поговорить. Узнав, что я уже ушел на партколлегию, сказал: «Жалко. Очень жалко». Но внешне был столь же спокоен и держался с присущим ему чувством собственного достоинства. Через несколько минут после его ухода в дверь постучали: вошел худощавый человек в стрюцком пальтишке, держа в руке шапчонку. Не здороваясь, сказал: «Пройдемте в НКВД». Я сдуру спросил: «А я вернусь?» Невольная улыбка тронула его губы, и он ответил: «Конечно». Много лет, вспоминая эту сцену, я обливался жаром стыда. В истрепанной, замученной черной «эмке» доехали до ворот на площади Дзержинского. За воротами меня передали какому-то младшему чину в военной одежде. Он долго вел меня по коридорам. Наконец открыл дверь крошечного помещения со скамеечкой, на которой трудно было уместиться — так что ноги сидящего почти касались двери. Это помещение заключенные прозвали «собачник». Сидеть было так неудобно, что я то и дело вставал, но, постояв, садился вновь. Так прошло несколько часов. Затем провели в комнату с окном и взяли у меня все вещи, не положенные заключенному. Затем провели в высокий, красивый зал с украшениями на потолке — по периметру тянулись двери с точно очерченными номерами. Налево от входа, не доходя до середины, провожатый открыл дверь, и я увидел не только мое обиталище с двумя железными койками, но также и человека, который быстро встал с постели и устремился ко мне, не дожидаясь, пока дверь захлопнется. На какое-то время я обрел устойчивое существование. Он очень дружественно пожал мне руку и назвал себя. Запомнил я только фамилию: Андрейчин. Учитывая мою способность забывать фамилии самых знакомых людей и исторических деятелей, приходится удивляться тому, что я никогда не забывал фамилии Андрейчина. Сразу бросилось в глаза, что мой сокамерник очень красив. Мужественная и вместе с тем изящная фигура, легкость движений, гармоническая мягкость черт лица с глазами, похожими на засветившиеся черные виноградные ягоды. Женщина, разносившая хлеб арестованным, всегда подавала поднос так, чтобы соблазнительно-хрустко-запеченная корочка поворачивалась к моему сокамернику и никогда — ко мне.

Когда я вошел и дверь за мной с железным звуком закрылась, он положил мне руку на плечо, сказал: «Как хорошо, что вы появились. Какая была скучища! Около месяца я тут, никто меня не вызывает, и я все время был один, точнее сказать — вместе с одним собою... Это надо отпраздновать». И вынул из ящичка круглую, плоскую, зеленую с цветочками коробку, открыл ее: в ней лежали в серебряной бумаге треугольнички. Он спросил: «Вы никогда не ели лучший из швейцарских сыров?» Он подал мне один из треугольничков. Было действительно восхитительно вкусно, и, пока я ел, он переспрашивал: «Ну как, вкусно?» Его способность извлекать радость из самой печальной жизни была для меня важным открытием.

Его биография — насквозь приключенческая и насквозь романтическая. В его расска-

зах была такая убедительность деталей и такая полнота жизненности, что я верил всему, что от него слышал.

Совместное пребывание в камере было для меня благодеянием. Андрейчин был овеян духом веселья и бесстрашия. С бестрепетным любопытством смотрел он в черный мрак будущего. Это была стойкость человека, прошедшего через опасные передряги и всегда выходившего сухим из воды. Оружием его психотерапии было веселье и никогда ему не изменявшая бодрость. Однажды, проснувшись и всмотревшись в мое лицо и позу, он спросил: «У тебя было большое горе?» Я ответил: «Да, было». И в течение более чем месяца, когда мы были вместе и когда нас ни разу никуда не вызвали, он ни разу не вернулся к этой теме. Никогда я не забываю того блага, которое он принес в мою жизнь.

Его рассказы нередко упирались в факты, доступные проверке. Вот вкратце один из них. Живя в США (где только он не живал), он принадлежал к тем левым синдикалистам, которые выступали против первой мировой войны и всякого вмешательства в нее Америки. Как антипатриоты они получили каждый по десять лет тюрьмы. Это была та знаменитая тюрьма, внутри которой огромное пространство с камерами-клетками, просматриваемыми с висящего в центре мостика, где взад и вперед прохаживался надзиратель. Это был как бы построенный по кругу зверинец, где зверей можно было обозревать, как обозревают клетки в зверинце, но почти не двигаясь с места. Заметив мирный характер и ловкость движений Андрейчина, ему поручили роль мыслящей обезьяны, которая с большой быстротой, хватаясь за перекладины, передвигается по всему пространству, доставляя передачи и покупки, меняя книги — и в том числе незаметно доставляя записочки от одного заключенного другому.

От времени до времени, под залог в десять тысяч долларов, арестованных выпускали на волю — до первого прегрешения. Пришла очередь и Андрейчина: синдикалисты собрали нужную сумму. В счастливом волнении Андрейчин отправился домой, открыл дверь своим ключом — и увидел жену с утешителем в позе, не оставляющей никаких сомнений. Тихо закрыв дверь и навсегда выбросив из головы эту женщину, он предложил свою кандидатуру в число синдикалистов, отправляющихся на конгресс Коминтерна в Москву. (Следовал вставной рассказ о воодушевлении, охватывавшем зал при каждом выступлении и появлении Ленина, о его естественности, о поразительном сочетании мудрости и доброты — человечности.) В числе задач синдикалистов была просьба к Ленину: освободить русских анархистов из тюрьмы. Ленин, подумав, предложил выбор: либо пускай откажутся от убийств и разбоя, либо пусть остаются в тюрьме. На их усмотрение!

«Приехали мы в Бутырки,— вспоминал Андрейчин,— нас проводили в коридор, где все двери в камеры были открыты и лишь в одной призакрыты; оттуда доносился гул голосов. Мы вошли в камеру, где шли какие-то занятия („анархистского университета“, как выразился один из них), и дословно изложили содержание нашего разговора с Лениным. Мы, со своей стороны, призвали их согласиться с предложением Ленина и перебраться в ту страну, которая им нравится. Анархисты попросили нас выйти, чтобы свободно обсудить полученное предложение. Часа полтора мы ждали в коридоре: шум и гам были страшные. Наконец вышла их авторитетная тройка и заявила, что по свободному выбору анархисты остаются в тюрьме. Узнав о решении анархистов, Ленин усмехнулся и ничего не сказал».

И еще рассказ, интересный для меня как профессионала. Андрейчин отлично говорил на многих языках (и там побывал, и там попал в тюрьму, одну, по его словам, из самых тяжелых, давящих), и поэтому его взяли переводчиком в разговоре между Павловым и Уэллсом — автором замечательной «Борьбы миров». В разговоре коснулись и общих вопросов мировоззрения, заметив, как само собой разумеющееся, что Павлов отвергает всякий материализм и диалектику. На это Павлов ответил: «Материалистом быть не могу как человек верующий, но вот диалектика — это мое. Посмотрите: торможение, а торможение торможения — растормаживание. Как видите, противоположности переходят друг в друга». У меня сразу сердце задрожало: я подумал о многих разговорах и спорах Павлова с моим другом Каревым и почувствовал в словах Павлова нечто, идущее от Карева.

Чтобы пересказать рассказы Андрейчина, которые крепко держатся в моей памяти и которые я не раз вспоминал в суздальской одиночке, нужно много времени. Всегда, всегда вспоминал моего первого соседа по камере с чувством живого удовольствия:

— Андрейчин, где ты?

Так мы прожили больше месяца в крошечной вселенной, замкнутой в четырех стенах,— и никто нас не беспокоил. Но вот однажды вечером, когда мы готовились ко сну, дверь с клямканьем отворилась, и показался надзиратель: маленького роста, со всякими значками и нашивками, в ловких блестящих сапогах,— как бы увеличенный в размере солдатик из сказки Андерсена. Но очень строгий. Мы с Андрейчиным сразу попрощались глазами, не зная, кого из нас потребуют. Обращаясь ко мне, он сказал резко: «Фамилия?» Я сказал. «Инициалы?» Я сказал. «Инициалы полностью». Я сообщил «инициалы полностью». «На допрос».

1989 г.

Раздел ведет Ив. Толстой

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Среди русских издательских начинаний в США необходимо отметить «Новый Журнал» — продолжение «Современных Записок», «Новоселье», «Опыты» и — конечно же — *ИиЧ*, «предприятие такого масштаба,— писал Г. П. Струве,— о каком довоенная эмиграция могла только грезить».

ИиЧ возникло в 1952 г. под влиянием огромного числа эмигрантов второй волны — ди-пи (от displaced persons — перемещенные лица военного времени), по существу, впервые докричавшихся до западного общественного мнения с правдой о жизни в СССР. «...в силу сложившегося в послевоенные годы международного положения она (вторая волна.— *Ив. Т.*) быстро приобрела влияние, к ее голосу стали прислушиваться, ее услугами стали пользоваться и правительственные учреждения (особенно в США), и общественные организации в размерах, в которых это и не снилось старой эмиграции 〈...〉 ...это положение рикошетом сказалось и на старой эмиграции, среди которой было больше квалифицированных элементов, людей со знанием иностранных языков и западноевропейских и американских условий, которые могли быть с пользой употреблены в „Голосе Америки“, на разных радиостанциях, занимающихся передачами за „железный занавес“, и в разных исследовательских учреждениях».

В этой ситуации *ИиЧ* символизировало возрождение полноценного русского читательского рынка, интересовавшегося самой разной литературой.

За 4 года работы *ИиЧ* выпустило 178 книг 129 авторов. Из них 7 антологий: «На Западе» (антология русской зарубежной поэзии под ред. Ю. Иваска; вошли стихи 88 поэтов, разделенные на три основных тематических цикла: Россия, Чужбина, Одиночество. В сборник вошли произведения поэтов, проживающих или проживавших во всех странах эмигрантского рассеяния. Представлено как старшее поколение поэтов, определившихся еще в России, так и поэзия новых эмигрантов); «На Перевале» (под ред. и с сопроводительными статьями Г. Глинки; сб. избр. произведений группы «Перевал»: А. Воронский, А. Лежнев, Д. Горбов, И. Катаев, Б. Пильник и др.); «Опальные повести» (под ред. В. Александровой; сб. состоит из произведений шести советских, в той или иной степени замалчивавшихся авторов: «Записки Терентия Забытого» А. Аросева, «Остров» И. Макарова, «Охранная грамота» Б. Пастернака, «Красное дерево» Б. Пильняка, «Впрок» А. Платонова и «Шоколад» А. Тарасова-Родионова); «Пестрые рассказы» (под ред. В. Александровой; сб. эмигрантской прозы в большинстве своем начинающих писателей; название сб. откровенно заимствовано у А. П. Чехова); «Приглушенные голоса» (под ред. В. Маркова; антология поэзии за железным занавесом); «Русская лирика от Жуковского до Бунина» (под ред. А. Боголепова; стихи 75-ти русских поэтов); «Православие в жизни» (под ред. С. Верховского; сб. статей с целью «дать краткие сведения о православии, как оно открывается в своем учении и жизни»; помещены ст. С. Верховского «Православие и современность», «Христианство», «Христос»; В. Зеньковского «Вера и знание»; А. Шмемана «О Церкви»; И. Мелиа «Малая церковь» (приход как христианская община); А. Карташева «Церковь и государство», «Православие и Россия»; А. Князева «Что такое Св. Писание»; Н. Арсеньева «Духовные традиции русской семьи»; Б. Бобринского «Молитва и богослужение в жизни православной церкви» и Н. Струве «Великие примеры»).

ИиЧ выпустило ряд книг русской классики: петербургские «Повести» Н. В. Гоголя с предисловием В. В. Набокова, «Сожженную Москву» Г. П. Данилевского, однотомник К. Н. Леонтьева («Египетский голубь», «Дитя души»), «Соборяне» Н. С. Лескова, роман Д. Л. Мордовцева «Железом и кровью», «Девять повестей» В. Ф. Одоевского, «Три разговора» В. С. Соловьева, «Избранные стихи» Ф. И. Тютчева, сочинения А. Хомякова и роман А. Эртеля «Смена».

Русская литература XX века представлена здесь тремя романами М. А. Алданова («Живи как хочешь», «Ключ», «Ульмская ночь»), сборником рассказов М. А. Булгакова, пятью книгами И. А. Бунина, романом Г. И. Газданова «Ночные дороги» (мир парижских преступников, сутенеров, проституток, сумасшедших глазами парижского таксиста), автобиографическим романом Р. Гуля «Конь Рыжий», сборником «Неизданный Гумилев» (под ред. Г. П. Струве), стихами И. Елагина, прозой Б. К. Зайцева, а также им написанной литературной биографией Чехова, романом «Мы» Е. И. Замятина, обеими главными книгами Ильфа и Петрова (баловнями не только отече-

ственной публики), двухтомником Н. Клюева, романами и рассказами С. Максимова, ставшего известным еще в послевоенной Германии («Буят Дениса Бушуева», «Голубое молчание», «Тайга»), драматургией С. Малахова («Беглецы», «Отец», «Летчики» — о невозвращенцах и о советской действительности), романом Д. С. Мережковского «Александр I и декабристы», тремя книгами В. В. Набокова («Дар», «Другие берега», «Весна в Фиальте»), романом Н. Нарокова «Мнимые величины», книгой И. Одоевцевой «Оставь надежду навсегда» (о крушении всех иллюзий у героев с приходом большевиков), сборником рассказов Б. Пантелеймонова «Последняя книга», романами А. М. Ремизова «В розовом блеске», Л. Ржевского — «Между двух звезд» (партизаны, немецкий плен, армия Власова), избранным В. В. Розанова (ни одно из произведений не представлено полностью), романом П. Романова «Товарищ Кисляков» (предыдущее заграничное издание книги вышло под заглавием «Три пары шелковых чулок»), сборником эмигрантских рассказов Н. Тэффи «Земная радуга», историческим романом Н. Ульянова «Атосса» (о походе Дария к скифам), «Прозой» М. Цветаевой, повествованием Н. Федоровой «Семья» (о жизни русской колонии в Китае), еще в России написанным романом Е. П. Чирикова «Юность», сборником рассказов И. С. Шмелева 1926—1937 гг., сатирической поэмой С. Юрасова «Василий Теркин после войны» и его же романом «Враг народа» (советский майор в Германии решает порвать с большевизмом), довоенным романом В. С. Яновского «Портативное бессмертие» (доктор-эмигрант в среде обездоленных русского Парижа).

Особую известность *ИиЧ* принесли мемуарные и философские книги. Важнейшие из них — «Поезд на третьем пути» Дона Аминадо рисовал Одессу, Киев, Москву и эмиграцию; двухтомные воспоминания А. Н. Бенуа «Жизнь художника»; «Встречи с Лениным» Н. Валентинова; «Незамеченное поколение» В. Варшавского (о младшем поколении первой эмиграции, обретающем себя в испытаниях и страданиях, которые им принесли годы глубокого исторического кризиса); «Лица» Е. И. Замятина; «Петербургские зимы» Г. В. Иванова; «Тюрьмы и ссылки» Р. В. Иванова-Разумника; «Из воспоминаний» В. А. Маклакова; «Портреты современников» С. К. Маковского (В. Соловьев, Шаляпин, Дягилев, И. Анненский, Вяч. Иванов, М. Волошин, О. Мандельштам, А. Бенуа и др.); «Путешествие в страну Зе-Ка» Ю. Марголина; «Воспоминания» П. Н. Милюкова; «Бывшее и несбывшееся» Ф. А. Степуна (в 2-х тт.); «Встречи» Ю. Терапиано; воспоминания Александры Толстой «Отец» (2 т.); «На путях к свободе» А. Тырковой-Вильямс и «Перед бурей» В. М. Чернова.

В *ИиЧ* изданы также «Записки певца» А. Александровича (Мариинский театр, Шаляпин, Направник, Дягилев, Преображенская и др.); «Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине» М. Бок, «В Царской Ставке» адмирала А. Бубнова, «Москва купеческая» П. А. Бурышкина (о роли купечества в культурном и экономическом развитии России), «Дань прошлому» М. В. Вишняка (период от конца XIX в. до разгона Учредительного Собрания), «В Мраморном Дворце» вел. кн. Гавриила Константиновича (сын К. Р-а описывает жизнь придворных и высших военных кругов, а также картину расправы с русской аристократией, дает портрет Урицкого и др. чекистов), «Путь русского офицера» А. И. Деникина (годы жизни, предшествовавшие гражданской войне), «Укрощение искусств» Ю. Елагина (воспоминания музыканта о деятелях культуры в СССР), «В доме Третьякова» В. П. Зилоти (мемуары дочери создателя галереи — о Репине, Васнецове, Сурикове, Перове, Толстом, Тургеневе, Чайковском, Скрябине и др.), «Осада Ленинграда» К. Криптона (записки очевидца), «От Москвы до Нью-Йорка» М. М. Новикова (воспоминания ректора Московского университета об интеллектуальной жизни в революционную пору), сборник «Порт Артур» (воспоминания участников русско-японской войны), книга М. Пупина «От иммигранта к изобретателю» (автобиография с размышлениями об американской науке), «Записки советского военного корреспондента» М. Соловьева (военкор «Известий» описывает закулисную игру на верхах Красной Армии, финскую и Великую Отечественную войну), воспоминания О. Н. Трубецкой о своем брате — «Князь С. Н. Трубецкой», «Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота» о. Георгия Шавельского (период с 1910 г. до разгрома Добровольческой армии), соловецкие воспоминания Б. Ширяева «Неугасимая лампада».

В жанре историко-философских эссе изданы «Одиночество и свобода» Г. В. Адамовича (о Мережковском, Шмелеве, Бунине, Набокове, Куприне, Алданове и др.), «Вечерний день» В. В. Вейдле (лучшие страницы из истории европейской архитектуры, искусства, литературы: «...наследники христианской Европы пробьются сквозь ночь к неведомому дню»), его же — «Задача России» (место России и истории европейской культуры, роль Пушкяна и Тютчева, значение Петербурга), «Бог и Человек» С. Верховского (учение о Боге и Богопознании в свете православия), «Вечное в русской философии» Б. П. Вышеславцева (русская философская мысль всегда была близка религии, в русской художественной прозе и поэзии «поставлены все основные проблемы русской души»), его же — «Кризис индустриальной культуры» (анализ марксизма и капитализма), «Время веры» епископа Иоанна Сан-Францисского (Дм. Шаховского) (в сб. вошли «Беседы о вере», которые епископ вел с 1948 г. на «Голосе Америки», а также главы: «Спутники Дамасской дороги» — о незаметных деятелях апостольского времени — и описание поездок в Печенегский монастырь, по Южной Америке, Японии и Корее), «Достоевский и его христианское миропонимание» Н. О. Лосского (философ ставил себе целью «изобразить великие достоинства христианства посредством гения Достоевского»), «Письма о незначительном» М. А. Осоргина, «Отец Иоанн Кронштадтский» священника А. Семенова-Тян-Шанского, «Три любви Достоевского» М. Л. Слонима (о роли женщин в жизни писателя), «Новый Град» Г. П. Федотова (сборник очерков по истории современной культуры, философии и литературы), «Биография П. Б. Струве» С. Л. Франка, «Литературные статьи» В. Ф. Ходасевича, «Антисемитизм в Советском Союзе» С. М. Шварца, «Исторический путь православия» прот. А. Шмемана и «Художник в ушедшей России» кн. С. Щербатова (ряд портретов знаменитых художников конца XIX — нач. XX вв.).

Менее замеченными оказались такие исторические исследования, как «Идея государства» проф. Н. Алексеева (развитие политической мысли Европы начиная с Древней Греции и до середины XIX в. в связи с социальными и экономическими событиями), «Этюды по истории русской музыки» Ю. Арбатского (история музыки как «процесс жизни русского народа»: музыка языческих времен, Киевской, Новгородской, Московской Руси, влияние Запада, XIX век), сборник статей и речей «В защиту права» А. А. Гольденвейзера, «История советского театра» Н. А. Горчакова, «История русского театра» (с древнейших времен до 1917 г.) Н. Н. Евреинова, «Узники коммунизма» К. Петруса (сб. очерков из лагерной жизни), «За Курс!» П. Пирогова (советского летчика, перелетевшего на самолете в американскую зону Австрии) и двухтомник «История древнерусской литературы» Ю. Сазоновой.

Две книги в *ИиЧ* выпустил известный историк С. Г. Пушкарев: «Обзор русской истории» и «Россия в XIX веке (1801—1914)»; опыт исторического обзора «Русская литература в изгнании» принадлежит Г. П. Струве, а шеститомная «Вторая мировая война» — Винстону Черчиллю.

Это не единственный иностранец, представленный на страницах *ИиЧ*. Переводные книги 20 авторов выпущены тут за те же 4 года. Американка Вилла Катэр в романе «Моя Антония» нарисовала путь европейских переселенцев в молодых Соединенных Штатах, Стивен Крейн (неоднократно переводившийся и у нас) представлен романом «Алый шеврон мужества», а Онорэ Морроу — книгой об Аврааме Линкольне «Свободны навеки». Двухтомное историческое повествование Элизабет Пейдж «Утро свободы» посвящено трем поколениям американцев эпохи борьбы за независимость; в романе Конрада Рихтера «Дебри» семья колонистов в глуши Огайо борется за существование.

Наиболее известные из переводных писателей в *ИиЧ* — Вильям Сароян («Человеческая комедия»), Анри Труайа («В горах») и Торнтон Уайлдер («Мост короля Людовика Святого»).

Ряд иностранных авторов представлен историко-публицистическими произведениями. Герберт Агар — биографией «Авраам Линкольн» и книгой «Во что верит Запад» («научиться уважению и сочувствию к тем, кто живет внутри стен нашего христианского мира»,— значит «без особого усилия распространить эти чувства на все человечество»). «Американская эпопея» Джемса Трослоу Адамса — картина политического роста США, а «Большие перемены» Фредерика Льюиса Аллена — анализ I пол. XX в. для Америки (США бессознательно обогнали социалистические надежды, не вступив при этом в столкновение с частной инициативой). Автобиография Эдуарда Бока рисует Америку конца XIX — нач. XX вв. глазами иммигранта-редактора. Современную Америку показывает журналист Джон Гюнтер в книге «По Соединенным Штатам». Лекции «Проблемы внешней политики США» принадлежат перу бывшего посла в СССР Джорджа Кеннана. Гражданским и политическим потребностям новых эмигрантов служит книга Арнольда Д. Марголина «Основы государственного устройства США» (пособие включает также текст Декларации независимости, статей Конфедерации, Конституции, Геттисбургской речи Линкольна и Устава Организации Объединенных Наций). Падению культуры в условиях демократии посвящена знаменитая книга «Восстание масс» Ортеги-и-Гассета. «Огонь в пепле» — книга Теодора Уайта, посвященная событиям в Европе после второй мировой войны, оздоровлению Старого Света и рождению типа нового европейца. Э. Франклин Фрежер в книге «Негры в Соединенных Штатах» начинает с рабовладельческой практики ранних американских колонистов и доводит свою историю до 1950-х гг., времени интеграции негров в современное американское общество. В книге «Вырванные с корнем» Оскар Хандлин указывает, что цель его книги — осветить проблему иммиграции в Соединенные Штаты с точки зрения самих переселенцев, уклад жизни и мировоззрение которых совершенно менялись в Новом Свете.

Две книги *ИиЧ* были отданы под советологические проблемы: «Пути советского империализма» Л. Васильева (консультанта советского посольства в Иране) и «Народное хозяйство СССР» проф. С. Н. Прокоповича.

Вечно популярный жанр литературной биографии был представлен в *ИиЧ* книгой о В. Э. Мейерхольде Ю. Елагина («Темный гений») и о А. П. Чехове Б. К. Зайцева.

Лишь два живых советских автора появились в *ИиЧ*: Анна Ахматова («Избранные стихотворения») и Михаил Зощенко («Повести и рассказы»).

XX съезд КПСС, обнадеживший столь многих в Советском Союзе, сослужил в то же время плохую службу некоторым нашим изгнанникам: ряд политиков в США восприняли его как аргумент для закрытия *ИиЧ*, было решено не тратить денег зря, раз Москва сама собирается писать правду. Как всегда, Запад поверил нам. И, оказавшись более ненужным, появился в продаже «Справочник для авторов, переводчиков, корректоров и других работников печати», содержащий в себе разделы по русской орфографии и пунктуации, указания по подготовке рукописей к печати, словарь иностранных имен собственных и пр.

За прошедшие с тех пор 35 лет в американских издательствах то и дело появляются книги, самозванно подписанные *ИиЧ*. Среди них: «Остановка в пустыне» Иосифа Бродского, «Воспоминания» Надежды Мандельштам и др., а совсем недавно — мемуары А. Д. Сахарова.

Ив. Т.

СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Владимир ЩИРОВСКИЙ. Вчера я умер, и менн... и другие стихи. *Публикация Л. Г. Чащиной. Вступительная заметка Игоря Сухих* 3

Валерий ПОПОВ. Два рассказа 6
Михаил ГОЛОВЕНЧИЦ. *Стихи* 30
Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Март Семнадцатого. *Роман (продолжение)* 31
Александр КОНДРАТОВ. Из разных циклов. *Стихи. Вступительная заметка М. Л. Гаспарова* 92
Глеб ГОРБОВСКИЙ. Остывшие следы *(Записки литератора) (Продолжение)* . . 97

К 70-ЛЕТИЮ А. Д. САХАРОВА

А. Д. САХАРОВ. Четыре интервью. *Предисловие, публикация, текстологическая подготовка, комментарии и примечания Е. Г. Боннэр.* 125

КРИТИКА

Игорь КУЗЬМИЧЕВ. «Просматривая свое сердце» *(Автобиографическая проза Павла Флоренского)* 147 158
Олег ВОЛКОВ. Письмо Шолохову . . . .
Валерий ПРОХВАТИЛОВ. «Почта по кругу» *(Тридцать страниц о книге, пока не изданной)* 161

УРОКИ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС. Чужое горе (Грибоедов). Хартия вольностей (Пушкин) 172

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

В. ДНЕПРОВ. Люди двадцатых годов 179

КНИЖНЫЙ УГОЛ

Издательство имени Чехова 205

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Сообщаем, что всеми вопросами доставки журнала занимаются местные отделения «Союзпечати». Редакция не имеет свободных экземпляров журнала для рассылки читателям.